ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2020

Виктор Рогачёв | Хакасия. Первый снег

Виктор Рогачёв | Сумерки на Енисее

На обложке:

Валерий Ковин | Птица-гора (фрагмент)

На обороте обложки:

Владимир Капелько | Наскальные рисунки Оглахты

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№5 | 2020*

В номере

Д*и*Н краеведение

Марина Саввиных
3 Наследники Гефеста и Гермеса

Д*и*Н диалог

Юрий Беликов, Александр Дугин
19 Ссыльный бог в расколдованном мире

Сергей Шулаков, Анна Евтихиева
27 Хуже мы всех прочих

Д*и*Н ревю

Марат Валеев
26 Груша на ночь

Д*и*Н юбилей

Олег Пащенко
32 Колька Медный, его благородие

Д*и*Н симметрия

Анатолий Мариенгоф
50 Тучелёт

Максим Горький
74 Из письма К. И. Чуковскому

Рюрик Ивнев
137 Любви моей мучительное детство

Бенедикт Лившиц
169 Одна и та же вечность…

Валерий Брюсов
199 Любимцы отринутых дней

Д*и*Н память

Арэг Демирханов
51 О ценностях и чувствах…

Юрий Беликов
53 Новелла о невидимке

Новелла Матвеева
56 «Любви моей ты боялся зря…»

Владлен Белкин
62 Пока есть небо, музыка и книги

Д*и*Н стихи

Ольга Горицкая
66 В обнимку с облаками

Геннадий Васильев
68 Письма из города

Александр Гутов
71 Стойкий оловянный солдатик

Константин Емельянов
73 Среда обитания

Наталья Тагорина
174 Дом на берегу

Екатерина Сергеева
176 Время стеклянных шариков

Денис Калакин
179 Итака

Елена Минина
181 Глазами Блока

Александр Салаутин
185 Хочу позвать тебя с собой

ДиН проза

Евгений Анташкевич
75 1916. В окопах

Александр Молотков
80 Ягода Малина

Сергей Михеенков
97 Повесть о бессмертном сержанте

Владимир Ярош
138 Московский пациент

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Владимир Еселевич
152 Абильдаш

Юрий Коряков
158 Купе

Александр Жданов
165 Белая шляпа

Анжела Бецко
170 Соседи

ДиН артефакт

Аркадий Константинов
164 И эта мелодия неповторима

ДиН пародия

Евгений Минин
175 Я всё сказал — чего же боле?
178 А душа совсем босая…

ДиН эссе

Нина Ищенко
182 Фандомная проза как сад расходящихся тропок

ДиН взгляд

Дмитрий Косяков
186 «Книгуру 2020»

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

191 Что на первом месте?

193 Устами младенца

195 ДиН авторы

ДиН галерея

«Енисейская Сибирь — меридиан художника»

В конце октября в Красноярске завершила работу межрегиональная художественная выставка «Енисейская Сибирь — меридиан художника». На выставке представлено 80 работ живописцев Тувы, Хакасии и Красноярского края, а также произведения заслуженных художников России Сергея Ануфриева, Николая Рыбакова, Александра Волокитина, хорошо знакомого зрителям мастера-керамиста Светланы Шинкоренко, профессора кафедры института искусств Виктора Рогачёва, известного творческого дуэта Юлии и Евгения Поротовых.

Посетители смогли ознакомиться с новыми работами Анны Осиповой, автора уникальной скульптуры из дерева Валерия Сысоева, народных мастеров резьбы по камню Тувы Юрия Ооржак, Александра Баранмаа и Хеймер Оола Донгака. В произведениях выставки отражены культурное наследие народов, проживающих вдоль берегов Енисея, природное богатство енисейских земель, их самобытность, красота и величие. Репродукции с картин участников выставки публикуются с любезного согласия организаторов — красноярской частной художественной «Арт-галереи Романовых».

Марина Саввиных

Наследники Гефеста и Гермеса

Главы из книги «Горизонты Рожкова»[1]

Седьмого февраля 2007 года Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова прощался с Павлом Ивановичем Рожковым. В заводской Дворец культуры проводить бывшего директора в последний путь пришли ветераны труда, те, кто помнил его по работе; пришли и те, кто уже не застал Павла Ивановича на директорском посту, но встречался с ним на научных конференциях, спортивных площадках, на всевозможных праздниках и мероприятиях, в заводских цехах, куда он нередко заходил уже пенсионером… Неподдельное горе, боль утраты звучали в словах прощания… «Человек-легенда… человек-эпоха… настоящий хозяин… безвременно ушёл!..» Казалось, речь идёт о работнике в самом расцвете сил! А ведь прощались с человеком, которому дано было прожить, по всем человеческим меркам, удивительно долгую жизнь. Таким сроком на Земле во все времена отмечались немногие.

Из девяноста шести лет, отпущенных Рожкову судьбой, он был директором завода почти двадцать. До своего назначения в 1955-м работал здесь на руководящих должностях — лет девять. Получается тридцатилетие активной и плодотворной деятельности, так сказать, у всей страны на виду. Треть жизни… В семьдесят четвёртом директорский пост он вынужден был оставить и… продолжал работать на заводе инженером-технологом цеха номер семь. Покинуть родное предприятие было для него немыслимо. А совершать нетривиальные поступки — уже давно вошло в привычку! Так что можно сказать, что П. И. Рожков трудился на «Красцветмете» до конца своих дней. До последнего дыхания. Личная история, незримая лестница, по которой каждый поднимается к вершинам судьбы или опускается в её провалы, личные радости и беды, вдохновения и разочарования, труды и дни — всё это было для него неразрывно связано с родным заводом, а значит, с разворачивающейся на его глазах и при его непосредственном участии историей двадцатого века.

Позволю себе простейшее обобщение. Я убеждена, что П. И. Рожков — представитель той породы людей (к несчастью, стремительно исчезающей), которые, как когда-то Маяковский, могли совершенно искренне сказать о себе:

> Я счастлив, что я — этой силы частица,
> Что общие даже слёзы из глаз…
> Сильнее и чище нельзя причаститься
> К великому чувству по имени «класс»…

Трибун революции писал, конечно, о рабочем классе, о пролетариате. А для Рожкова «силой», частицей которой он, крестьянский мальчишка, наделённый неутолимой жаждой знаний, ощущал себя с детства… этим чувством, этим «классом» была духовная общность, которую принято называть русской интеллигенцией. Эта общность не укладывается в границы поколений, профессий и социальных групп. Она зиждется на другом. Стержневая черта этих людей, начиная, может быть, ещё с «архангельского мужика» Михайлы Ломоносова, есть глубокая убеждённость в собственной причастности ко всему и в своей прямой ответственности за всё, что происходит в виду «твоего горизонта». А горизонт, как известно, по мере пути — бесконечно удаляется. Эту воображаемую линию нельзя ни приблизить, ни перешагнуть. Парадокс — и тем не менее факт! — заключается в том, что тот, кто к ней, вроде бы и тщетно, стремится, постоянно открывает новые пространства — во всём размахе и многообразии их трудовой, светской, политической, научной жизни, — осваивает и передаёт идущим вслед. В результате мир вокруг — заметно меняется. Шаг, другой — а там, глядишь, иной горизонт манит своей недостижимостью. Новыми звуками, красками, светом и тенью, ветром и дождём — всем изобилием ощущений, которые даёт человеку максимальная жизненная активность. Значит, снова — в путь. Не за страх (тем более — не за деньги!), а за совесть.

Что же касается совести, то она в сознании русских интеллигентов во все времена составляла тончайший сплав с любовью к делу, с благородным азартом труженика, в руках которого, как и в руках великого Творца, любое создание обретает душу. Будь то несколько миллиграммов никем до сих пор

1. *Марина Саввиных.* Горизонты Рожкова. Документальная повесть о судьбе металлурга. — Красноярск: «Платина», 2008.

не полученного вещества, колосок нового сорта пшеницы, научная теория или большой завод, ставший семьёй для тысяч людей, отдающих ему разум и силы. Так жил Рожков. Так жили его учителя и ближайшие сотрудники. И, перелистывая страницы воспоминаний, перебирая документы и фотографии, чувствуешь, как трудно, рассказывая о судьбе хотя бы одного из них, удержаться от волнения. Приподнятость над бытом, целеустремлённость и страстная любознательность, энциклопедический кругозор, высокая образованность, готовность к преодолению препятствий, к самопожертвованию — таков был общий нравственный фон деятельности немногочисленного слоя высшей технической и научной интеллигенции сороковых-шестидесятых, когда судьба Рожкова достигла апогея. Не рискуя впасть в преувеличение, я готова утверждать, что некоторые факты духовной высоты (как, впрочем, и морального падения) многих его современников нынешнему исследователю могут показаться невероятнее самой смелой фантастики. Подавляющее большинство из них либо подверглись репрессиям, либо жили под постоянной угрозой репрессий. Каждый знал, что в любую минуту может попасть под то же самое колесо, которое раздавило коллегу, соседа, родственника. Ничто не могло служить страховкой от механизма, который казался (да, собственно, и был) абсолютно беспощадным, безликим и лишённым всякой логики. Узниками ГУЛАГа становились генералы, академики, орденоносцы. А кое-кому приходилось выбирать, по какую сторону «колючки» отбывать опалу. И всё же лишь единицы из них безвозвратно ломались, теряли веру в собственное предназначение. «Сталь», о которой писал в своё время Николай Островский, «закалялась» и так: в лагерях, в «шарагах», в лабораториях и цехах предприятий НКВД, как, впрочем, и в... директорских кабинетах. Эти люди могли совершать, как сейчас говорят, «непопулярные» поступки, принимать жёсткие решения. Но они переносили выпадавшие на их долю беды, как правило, с достоинством и терпением и делу, которое считали своим долгом, не изменяли. Хотя... уже на моей памяти в общественном сознании не раз менялись оценки того, что было ими сделано. И с каждым годом остаётся всё меньше живых свидетелей каждой из этих судеб. Поэтому так непросто рассказывать о Рожкове сегодня. Тем ценнее для меня была возможность обратиться к опыту людей, которые по крупицам собирали материалы по истории завода и сумели воплотить их в прекрасном издании, доступном восприятию даже далёких от металлургии «простых смертных». Я имею в виду книгу «И встал завод над Енисеем» (Красноярск, 1998). В её создание Павел Иванович внёс немалый вклад, и она оказалась незаменимым подспорьем в моей работе.

Мой рассказ о Рожкове мыслился прежде всего как документальное повествование, я старалась не «обезличить» его, не превратить в перечень трудовых подвигов, научных достижений и наград человека, которому она посвящена. Мне хотелось написать не просто об отдельной личности, даже такой крупной и привлекательной, как П. И. Рожков, а о явлении времени. И таким образом выразить горячую признательность своего поколения, начинавшего взрослую жизнь в семидесятые-восьмидесятые, нашим дедам и отцам, тем, кто среди страшных потрясений, которые переживала страна, сумел вывести её науку и промышленность на мировой уровень и удерживал этот уровень поистине титаническим трудом. Но даже не эта благодарность по-настоящему будоражит моё сердце, когда я пишу эти строки. Книгу о Рожкове я хотела бы видеть в руках подростков, юноши или девушки, «обдумывающих житьё». Молодёжь сейчас живёт в стремительно меняющемся мире, охваченном азартом потребления. Существуют ли в этом мире нерушимые блага, не сводимые к набору престижных вещей и элитной недвижимости? Существуют ли драгоценности помимо тех, что хранятся в слитках, разлетаются по свету купюрами и цифрами банковских счетов или сверкают в роскошных ювелирных изделиях? Существуют ли вообще добро и смысл жизни в том понимании, каким наделяли их подобные Рожкову люди? И моё-то сердце живо отвечает: да! Весь мой опыт — конечно, не столь богатый и насыщенный, как у них, но всё-таки уже вполне приличный, — подтверждает это! И всё же моё уверенное «да» вряд ли убедит ребят, на которых с утра до вечера лавиной катится теле- и радиобред, начинённый гипнотизирующими заклинаниями вроде «оторвись по полной!», «оттянись!», «не дай себе засохнуть!», «хватай, а то убежит!» и так далее... Убеждает — документ, факт. Поэтому книга о Рожкове — это галерея документов, их многоголосая перекличка в анфиладе времён. Задача писателя, работающего с историческим материалом, — привлечь внимание людей к документу и факту своей собственной заинтересованностью. Поэтому я сохраняю за собой право авторского присутствия в книге — вместе со своим временем, бросающим сегодняшние отсветы на пожелтевшие страницы прошлого.

К тому же... Затаив дыхание, я призываю в собеседники и соавторы самого Павла Ивановича, хочу, чтобы в этой книге звучал его негромкий голос, голос «златоуста», прирождённого рассказчика. Этот голос и сейчас живёт в его рукописях, на сотнях страниц писем, газетных вырезок, отзывов, распоряжений, благодарностей и поздравлений. Возможность поработать с личным архивом Рожкова стала для меня огромной удачей! Более того, я испытала в этой работе подлинное читательское

наслаждение! Наблюдения Павла Ивановича над жизнью и бытом сибирской деревни, впечатления путешественника и охотника, воспоминания военных лет, на мой взгляд, сами по себе имеют немалую историческую и этнографическую ценность. При другом «расположении звёзд» Рожков мог бы стать, как сейчас говорят, крепким писателем. А нет — так историком. А может быть, замечательным врачом. Всю жизнь в нём развивались и давали о себе знать многочисленные природные задатки. Но призвание, которое стало для него судьбой, — быть руководителем завода цветных металлов, «отцом цветной металлургии Красноярска», как его называют журналисты. Этому призванию он и отдался сполна. Завод стал его детищем, пожизненной любовью, источником энергии и постоянной заботы.

За время работы над повестью я искренне привязалась к её герою. И мне хочется, уважаемый читатель, чтобы, прочитав книгу, и ты полюбил его. Может быть, рассказ об этой жизни в какой-то момент даст и тебе необходимый стимул к действию. А может быть, удержит от неверного шага. Так мы в своё время читали биографии Вернадского и Королёва, а позднее — «Белые одежды» Дудинцева, гранинского «Зубра»… Как писатель я, конечно, не претендую на лавры маститых предшественников, но мой герой — в высшей степени этого достоин. Признаюсь, я очень рассчитывала на его «метафизическую» помощь, предпринимая труд, поначалу казавшийся неподъёмным… Его портрет и сейчас — на моём рабочем столе. Павел Иванович смотрит на меня и одобрительно улыбается. Иногда я даже слышу его голос… дескать, ничего-ничего, пробьёмся! И, может быть, не насовсем, на некоторое время, но отступает острая тревога и злоба дня. Если такие люди, как Рожков, действительно жили, жили долго и добились успеха, то неужели мы, нынешние, уроним планку?!

Я верю, что возможность и после физического ухода воздействовать на сердца и умы людей — лучший памятник П. И. Рожкову, инженеру, учёному, организатору и мыслителю. Надеюсь, что мой скромный вклад послужит осуществлению этой возможности.

1.

Москва тридцатых… Почти не осталось живых свидетелей её бурного многообразного существования, бившего ключом во время феерических торжеств на Красной площади и замиравшего по ночам в тёмных углах коммуналок при звуке каждого приближающегося мотора. Образ столицы тех лет у людей старшего поколения сформирован фильмами Григория Александрова «Весна», «Цирк», «Волга-Волга»… А тем, кто помоложе, Москва тридцатых представляется чем-то средним между страшными фантазиями Михаила Булгакова и юмористическими картинками Ильфа и Петрова.

Марширующие под разноцветными полотнищами дородные комсомолки. Героини Любови Орловой со слезами счастья на прекрасных глазах. Джаз Леонида Утёсова. Подземные дворцы Московского метро, открывшегося в 1935-м. Помпезные фонтаны и павильоны ВДНХ. Симфонические концерты в Колонном зале Дома Союзов. Атмосфера всеобщего энтузиазма и осуществляющихся надежд.

…Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полёт наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ…

…Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая!

…Страна встаёт со славою
На встречу дня!

…Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Такой она была, Москва тридцатых? Или к истине ближе другие её черты?

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища…
(Осип Мандельштам, ноябрь 1933)

Удушливый зной на Патриарших прудах. Трамвайный турникет, где Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Бесследные исчезновения людей. Гул разоблачительных процессов. Ореол мрачной безысходности вокруг пресловутого серого здания на Лубянке. Орудующее на вокзалах и в транспорте ворьё. «Квартирный вопрос», испортивший москвичей, которые и в прежние-то времена не слишком жаловали приезжих. А в середине тридцатых в Москву стремились отовсюду! И, как двуликий Янус, она к каждому поворачивалась то светлой, ликующей, то более чем негостеприимной, страшной и жестокой стороной.

Чего ждал от столицы приехавший покорить её двадцатитрёхлетний сибиряк Павел Рожков? Вершина, которую он был намерен взять, — Московский государственный университет. Однако Павел уже прекрасно понимал, что вот так, с разбегу, эту ступень ему не одолеть. Москва — не Канск. И даже

не Томск. Нужно было приглядеться к ней, хотя бы мало-мальски освоиться. Павлу удаётся найти работу на станции Удельная Московско-Казанской железной дороги. Он устраивается лаборантом во Всесоюзный НИИ кролиководства. Ухаживает за кроликами и готовится к вступительным экзаменам. МГУ по-прежнему его влечёт, но каким-то чудесным образом (а чудеса нашей жизни всегда имеют достаточно простое житейское выражение) Павел узнаёт о другом высшем учебном заведении — Московском институте цветных металлов и золота, который тогда был только что (с 1930 года!) открыт на основе факультета, отделившегося от Горной академии. В туманах будущего задрожала-вспыхнула перед Рожковым путеводная звезда Металлургии.

Теперь я позволю себе некоторое отступление… Чтобы лучше понять, как складывалась и чем была наполнена деятельность Павла Ивановича Рожкова на протяжении всей дальнейшей жизни, совершим краткий экскурс в историю науки о цветной металлургии и производстве редких и благородных металлов в России.

Первого инженера в истории человечества, если, конечно, не считать ветхозаветного Яхве, который, впрочем, всё же был скорее Художник, нежели Инженер, надобно, по всей вероятности, видеть в божественном мастере, боге-кузнеце Гефесте. Мало того, что он был первый инженер, он был — первый Металлург. Кузни Гефеста греки искали именно там, где из-под земли время от времени извергались дым и пламя. Гефест был богом подземного огня. А значит, мог обрабатывать металлы. Прежде всего, конечно, медь. В отличие от железа, которое в древности попадало в руки человека, только если буквально «падало с неба» — в составе метеоритов, медь встречается на Земле в самородном состоянии, в виде кусков металла. Первыми людьми, которые научились — по воле Гефеста — плавить медь, считаются жители острова Кипр. Легенда гласит, что именно благодаря киприотам медь получила своё латинское название «Cuprum». А когда примерно в двенадцатом-одиннадцатом веке до нашей эры греки ввели в обиход разнообразные предметы из медного сплава — бронзы, то это не только дало название целой исторической эпохе, но и послужило толчком к развитию одной из самых древних и в то же время чрезвычайно важных для экономики отраслей — обработке цветных металлов.

Гомеровский Гефест поражает участью несправедливо униженного Творца. Он — именно интеллигент, мудрец, изобретатель. Бог-мастер, бесконечно внимательный к тайнам Земли и умеющий извлекать из них максимальную пользу для богов и людей. Прометей украл у Главного Бога небесный огонь и дал человечеству разум: членораздельную речь, устную и письменную, и прочие «гуманитарные» способности. А Гефест пользовался огнём подземным, который он сумел приручить и заставил служить техническому прогрессу. Тем не менее боги не слишком жалуют его. И некрасив-то он, и хром на обе ноги, и работает не покладая рук, несмотря на высокий божественный ранг! Бог-чернорабочий! И хотя золото и серебро — привычный для него материал, но когда речь заходит о драгоценных металлах, сразу вспоминается другой олимпиец — покровитель алхимии Гермес, защитник торговцев и путешественников, пращур всех обманщиков и воров, знаток политики и основатель самых первых «масс-медиа»: ведь именно он, Гермес, служил посредником между небожителями и доводил до сведения смертных божественные распоряжения! Для Гефеста золото — красивый и удобный в работе металл, для Гермеса — валюта, универсальный товар, открывающий дорогу к вершинам власти. В тайных лабораториях, субсидируемых европейскими монархами, а иногда даже главами церквей, используя магию и всевозможные чары, алхимики искали «философский камень», чтобы с его помощью превращать в золото не столь редкие в природе вещества. И, несмотря на то, что чудесное средство не было найдено, алхимики — попутно — сделали массу важных открытий, в том числе и таких, которые послужили развитию цветной металлургии. Таким образом, в этой сфере производства соединились интересы обоих олимпийцев — кузнеца Гефеста и химика Гермеса. Профессии, представители которой добывают и обрабатывают драгоценные металлы, присущи черты и того, и другого. Огонь и всевозможные химические реактивы. Недра Земли и тончайший лабораторный анализ. Наука и политика. Творческий труд и рычаги власти, прочность которых напрямую зависит от производимого здесь продукта.

Руководители молодого рабоче-крестьянского государства прекрасно понимали эту зависимость. Уже в 1918 году был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении Московской горной академии (МГА). Это событие достойно упоминания ещё и потому, что МГА стала первым высшим учебным заведением, созданным в России после Октябрьской революции. Здесь, в МГА, закладывались основы будущих научных школ, академических, производственных и даже «поведенческих» традиций, которые предопределили умонастроение и стиль жизни целого поколения советской технической интеллигенции. Академию создавали известные русские учёные, среди которых — «отец советской нефтяной промышленности» Иван Михайлович Губкин и Владимир Афанасьевич Обручев, выдающийся геолог и к тому же знаменитый писатель-фантаст, автор «бестселлеров» «Плутония» и «Земля Санникова»,

которыми ещё недавно зачитывалась молодёжь. Сохранились фрагменты актовой лекции, прочитанной Обручевым на собрании студентов и преподавателей в день открытия МГА. На мой взгляд, сказанное им тогда не утратило значения и по сей день.

«Назначение МГА — подготавливать деятелей по горному промыслу, которые должны изучать, развивать, добывать и обрабатывать различные полезные ископаемые. Каждого из этих будущих горных работников, естественно, должны интересовать вопросы: каковы же эти ископаемые богатства, много ли их, как они распределены на территории государства и как пользовалась Россия ими до сих пор?.. Может быть, земля русская совсем оскудела и наши ископаемые богатства исчерпаны?..» На геологической карте Владимир Афанасьевич показал главные районы добычи минерального сырья и также те, где это сырьё можно найти, «если приложить к этому знания и уменья». И подытожил: по величине запасов ископаемых богатств «мы могли бы стоять на первом месте в мировой добыче, и, во всяком случае, рядом с Соединёнными Штатами, а мы во всех отраслях горного промысла, кроме нефти и платины, занимаем пятое, шестое, восьмое или ещё более далёкое место среди разных маленьких государств, не имеющих и десятой доли наших запасов». Обручев выразил уверенность в том, что «Россия, одарённая природой огромными ископаемыми богатствами, будет быстро развивать своё горное дело, и в ближайшие годы спрос на образованных горных деятелей будет огромный. Пора готовиться к этому спросу, чтобы он не захватил нас врасплох и чтобы не пришлось обращаться опять за помощью к варягам. Страна наша велика и обильна, пора умело использовать это обилие, чтобы нельзя было сказать про свободную русскую республику, что глупому сыну не в помощь богатство».

Слова профессора Обручева «упали», как говорится, на благодатную почву. Первыми студентами МГА становились чаще всего не вчерашние школьники, а люди, уже поработавшие на заводах, в шахтах, служившие в армии. Знаний многим явно недоставало, но имелось огромное желание овладеть профессиями, нужными в мирной жизни. Учились жадно, много читали. Занимались в научных кружках, выпускали собственный научный журнал «Вестник Московской горной академии», выходивший поначалу тиражом в сто экземпляров. Даже термин «цветные металлы» был придуман и введён в научно-производственный обиход учёными МГА — с 1925 года, а за рубежом до сих пор не могут найти ему адекватный перевод (*англ.:* non-ferrous metals — нежелезные металлы; *нем.:* Buntmetalle — пёстрые металлы). В двадцатые годы студентами МГА были легендарный директор Норильского медно-никелевого комбината А. П. Завенягин и будущий писатель А. Фадеев, не говоря уже о целой плеяде советских учёных самых разных направлений, связанных с разведкой, добычей и промышленным использованием полезных ископаемых.

В 1926 году в МГА под руководством В. А. Ванюкова была создана лаборатория цветных металлов. Чуть позднее появились соответствующая кафедра и факультет. Начались исследования по извлечению из руд олова, ртути, мышьяка, по переработке вторичного сырья. Особенно важными считались работы по совершенствованию технологий получения меди и никеля. Это была, помимо всего прочего, и военно-стратегическая задача. Академия успешно готовила инженеров соответствующего профиля. А ещё через четыре года факультет — в числе других пяти факультетов — был выведен из состава МГА и преобразован в Московский институт цветных металлов и золота. Слово «золото» предложил добавить к названию нового вуза профессор А. П. Серебровский. Магическое слово! Новый институт начинал учебную и научную деятельность в ореоле особой избранности и благородства своего направления. Тем более что исследовательские тропы, по которым пробирались тогдашние искатели промышленного золота и других редких металлов, пролегали в непосредственной близости от путей, ведущих к получению и использованию радиоактивных элементов, к атомному будущему страны. Нередко эти тропы и пути причудливо переплетались.

И — что по-человечески очень важно! — продвижение по ним было связано не только с научными достижениями, общественным признанием и почётом, но и со смертельным риском! Правда, риском совершенно другого свойства, чем даже тот риск, которому подвергались, допустим, супруги Кюри, изучавшие радиоактивность. Ибо в тридцатые годы исследования, организованные в МИЦМИЗ, приобрели характер первостепенной государственной важности, и за всеми, кто ими занимался, со всею строгостью надзирало недремлющее око НКВД. Можно было бы специально подсчитать, сколько профессоров и научных сотрудников МГА, а потом и МИЦМИЗ, было репрессировано с 1929 по 1953 год. Наверняка даже есть такая статистика. Но я не стану её поднимать. Судьбы некоторых людей, увиденные вблизи, иногда убедительнее чисел представляют нам то, что происходило со многими. В 1938 году, всего за год до защиты дипломного проекта Рожкова, был арестован первый декан факультета цветных металлов МГА, один из организаторов МИЦМИЗ, заведующий кафедрой металлургии лёгких металлов, выдающийся учёный В. А. Пазухин. Он вернулся в институт только

в сорок шестом. Лишь благодаря вмешательству А. П. Завенягина удалось спасти академика Губкина! А если пристальнее посмотреть на биографические справки других учёных-металлургов — не только Московской, но и Петербургской (Ленинградской), Томской научных школ, — то связь «цветная металлургия — репрессии» становится как-то уж слишком очевидна. В исторической хронике «И встал завод над Енисеем», изданной к 55-летию ОАО «Красноярский завод цветных металлов», специально отмечено, что при создании научно-исследовательского подразделения завода, «укомплектованного крупными специалистами — химиками, физико-химиками и другими специалистами…», у государства не осталось другой возможности, кроме организации на предприятии «такой структуры, которую А. И. Солженицын назвал „шарашкой“. Ибо многие учёные, которые могли работать над проблемами аффинажа, к тому времени стали жертвами политических репрессий, связанных с культом личности Сталина, находились в заключении или под надзором НКВД. Такими учёными, многие из которых являлись крупнейшими специалистами в своих областях знаний, НКВД и укомплектовал созданное в одном из красноярских лагерей особое конструкторско-технологическое бюро для работы по проблемам Красноярского аффинажного завода, то есть „шарашку“…»[2].

Зачем это делалось? Для чего сталинский режим загонял гениев в «шарашки»? Трудно понять. Хотя… красноярский журналист Б. Иванов, рассказывая о судьбе И. Я. Башилова, фактически возглавившего исследования в заводской лаборатории, выдвинул по этому поводу гипотезу, которая кажется мне очень близкой к истине. «Где-то „наверху“, — пишет Иванов в книжке «Плата за платину», — одного из первооткрывателей советского радия и не считали вовсе подлинным стопроцентным врагом народа. Он просто был очень нужным „товарищу ГУЛАГу“ в таком качестве специалистом, и по этой причине его держали там, „где надо“, вопреки его устремлениям, жизненным планам и, наконец, состоянию здоровья… В годы мрачной сталинской солнечности другие очень нужные „враги“, к примеру, будущие академики Сергей Королёв и Андрей Туполев, мастерили в гулаговских „шарашках“ советские космические системы и новинки самолётостроения. Словом, ГУЛАГ был своеобразным питомником для содержания талантов, причастным ко многим сферам человеческой деятельности, из которого в мир иной они чаще всего уходили неизвестными даже для ближайших родственников путями»[3].

2. «И встал завод над Енисеем». Красноярск, «Платина», 1998. С. 38.

3. *Иванов Б.* «Плата за платину». Иркутск, 2001. С. 8.

Всё — так. Готова согласиться. Только когда читаешь список выдающихся учёных, репрессированных, как говорится, «на почве цветной металлургии», то он кажется каким-то уж слишком длинным или… наоборот, слишком тесным. Даже по сравнению с другими наиболее пострадавшими «сферами человеческой деятельности». Кроме Башилова, на Красноярском аффинажном практически со дня его основания работали выдающиеся учёные, достигшие в своей деятельности впечатляющих результатов: профессор Сергей Матвеевич Анисимов, заведующий кафедрой Северо-Кавказского горно-металлургического института; доктор химических наук, заведующий кафедрой Ленинградского университета Рудольф Людвигович Мюллер; талантливые инженеры Всеволод Васильевич Недлер и Вячеслав Константинович Кострыкин… «Иных уж нет, а те — далече». Так что реальная стоимость сибирских драгоценных металлов, помимо валютного, имеет ещё и нравственное, духовное выражение. Она — неизмеримо высока!

II.

Летом 1934 года Павел Рожков подал документы в Московский государственный университет и в Институт цветных металлов и золота, решив для себя: куда раньше зачислят, там и буду учиться. В МИЦМИЗ по какой-то причине зачисление прошло немного раньше, чем в МГУ, таким образом — «судьбы свершился приговор». Рожков попал в такую интеллектуальную среду, где он мог достаточно близко общаться с признанными светилами мировой науки… Среди них — профессор Игорь Николаевич Плаксин. Он был всего на десять лет старше Павла, но уже возглавлял кафедру в новом институте. Эрудит, тонкий знаток музыки и литературы, он в самые тяжёлые послереволюционные годы сумел получить образование специалиста-металлурга и к середине тридцатых стал одним из ведущих учёных страны в области цветной металлургии. Названия фундаментальных работ Плаксина звучат как заглавия приключенческих романов: «Обработка золотых руд», «Металлургия золота, серебра и платины»… Павел был слушателем его факультатива. Или — академик Давид Михайлович Чижиков, ставший позднее научным руководителем дипломного проекта Рожкова. Не говоря уже о друзьях-однокашниках. О них Павел Иванович всегда помнил, их имена остались на страницах его рукописей.

Золотые годы студенчества! Рожков рассказывал, что на одиннадцать студентов в «Минцветметзолоте» в годы его учёбы приходилось семнадцать преподавателей! Что и говорить — «штучная» была подготовка. К тому же профессора стремились привить студентам вкус к высокому искусству, к настоящей музыке, к точному и яркому

художественному слову. Стараясь не отстать от своих кумиров, ребята становились страстными театралами, вместе с преподавателями ходили во МХАТ, в Большой театр, слушали концерты в консерватории, не пропускали ни одной заметной выставки. Перед студентами и профессурой МИЦМИЗ выступали знаменитые артисты Малого театра — Кторов, Царёв, Тарасова, Ильинский, Жаров… Должно быть, именно тогда у Павла открылся тот особенный филологический слух, благодаря которому он всегда живо отзывался на игру словесных сочетаний, гармонию звуков, замечал красоту отточенных фраз, изящество неожиданных парадоксов. Всё, что поразило его воображение, он выписывал в блокнот, в записную книжку, в тетрадь. Из таких импровизированных «фолиантов» за жизнь собралась целая рукописная библиотека. Павел Иванович начал «копить» её со студенческих лет. Большая часть этих записей сохранилась, так что мы и сегодня можем судить о необыкновенном диапазоне его интересов.

Но поначалу учёба давалась Павлу очень тяжело. Главное — ему негде и не на что было жить. Днём он слушал лекции, участвовал в семинарах, стараясь не отстать от самых успешных товарищей (он ведь не привык плестись в хвосте, значит, должен был знать всё, о чём бы ни спросили!). А сразу после занятий, вместе с несколькими такими же «бойцами», отправлялся на московские вокзалы разгружать вагоны. Потом садился в электричку и — на ходу — готовился к семинарам, читал конспекты и… спал. Несколько месяцев такой жизни довели парня до того, что у него стали выпадать волосы. Я смотрю на его фотографию 1936-го: кожа да кости, выпирающие скулы придают лицу даже несколько монгольский вид, но глаза исподлобья сверкают отважно и упрямо! Как всегда.

Кто знает, чем закончились бы эти подвиги, если бы однажды профессор Чижиков на занятии не обратил внимание на полуобморочное состояние своего студента. «Рожков, что с вами?» — испугался он. Ребята рассказали преподавателю, как бедствует Рожков. Давид Михайлович взялся хлопотать, и Павлу вскоре дали место в общежитии. Кроме того, профессор устроил парня в МИЦМИЗ-овскую поликлинику — поправить здоровье. «Вот тогда я зажил… — вспоминал Павел Иванович. — Место было, кровать была. Что ещё нужно студенту?» Хотя… ощущение «гордой бедности», впервые пережитое в Канске, довольно долго не оставляло его и в Москве. Институт считался престижным, поступали в него дети видных и обеспеченных родителей, держаться с ними на равных можно было только за счёт блестящих успехов в учёбе. Но уж в чём в чём, а в этом Рожков был всегда на высоте! Талантливый, общительный, легко располагавший к себе и преподавателей, и товарищей, он со второго курса работал помощником декана на металлургическом факультете. А после защиты дипломного проекта был приглашён к сотрудничеству в институте в качестве члена Государственной квалификационной комиссии и мог бы остаться в аспирантуре у своего научного руководителя Д. М. Чижикова. Но в то же время получил приглашение и от самого В. А. Ванюкова, заведующего кафедрой тяжёлых цветных металлов. Профессора были друзьями, каждый видел в Рожкове своего идейного наследника. А тот любил обоих и не в шутку опасался, что они из-за него поссорятся. Десятилетия спустя Павел Иванович рассказывал, что, не желая разочаровать ни того, ни другого, он вообще отказался от аспирантуры и вместе с другими выпускниками распределился в Норильск. Таких оказалось тринадцать человек.

Особенностью учебного процесса в МИЦМИЗ была теснейшая связь с производством. Студенты ежегодно проходили практику на металлургических предприятиях во всех концах страны. За годы учёбы Павел Рожков успел поработать на Карабашском медеплавильном заводе, на комбинатах «Алтайполимет» и «Североникель» (в Мончегорске), а преддипломную практику проходил в Ленинграде. МИЦМИЗ готовил прекрасных специалистов — теоретически подкованных и не понаслышке знающих практическую сторону дела. Именно здесь в тридцать восьмом году работала Государственная экспертная комиссия, которой было поручено рассмотрение Генерального проекта Норильского горно-металлургического комбината, разработанного в Ленинградском институте «Гипроникель». Руководство института привлекло студента Рожкова к работе в секретариате этой комиссии, и он получил возможность весьма основательно изучить материалы по уникальному месторождению полиметаллических руд Енисейского Заполярья. Тогда и определилась тема его диплома: «Проект завода по переработке 500 тысяч тонн медно-никелевого концентрата норильских руд». В тридцать девятом этот проект прошёл успешную защиту, и Павел получил диплом инженера-металлурга. Диплом с отличием! Молодого специалиста с нетерпением ждал Норильск…

Со свойственной Павлу Ивановичу скрупулёзностью он ещё в институте стал изучать всевозможные вопросы, связанные с открытием и освоением Норильского месторождения. Вот фрагмент его фундаментального труда «Красноярский завод цветных металлов. Краткая история». Сведения, собранные в нём, и сегодня представляют значительный интерес — не только профессиональный, для металлургов, но и краеведческий, для всех, кто интересуется историей региона.

«В 1864 году братья Сотниковы проводили геологические изыскания на обширной территории правобережья Енисея. На западном склоне одной

из норильских гор они обнаружили выходящую на поверхность богатую медную руду. Через четыре года Сотниковы соорудили у горы Рудной небольшую шахтную печь[4] для плавки добытой здесь же медной руды. Чтобы не терять времени, предприимчивые братья разобрали построенную ранее в Дудинке кирпичную церковь. Полученный при разборке кирпич перевезли на оленях в Норильск и употребили для кладки печи. Примитивная в технологическом отношении шахтная печь позволила выплавить 200 пудов меди, которую предприниматели сдали в казну по довольно низкой цене. Предприятие оказалось убыточным, и печь остановили. Так закончилась первая попытка промышленной переработки богатейших полиметаллических сульфидных руд[5] Норильского месторождения. А полуразрушенная печь Сотниковых—почти сто лет спустя—стала экскурсионным объектом города Норильска.

В 1872 году район Норильского месторождения посетил крупный учёный Ф. Б. Шмидт, выполнявший задание Академии наук по доставке в Петербург мамонта, найденного в вечной мерзлоте возле озера Нельтато. Фёдор Богданович внимательно осмотрел лимонитовые жилы[6], отобрал пробы, при анализе которых было определено содержание меди до 5%. К тому времени коренное сульфидное медно-никелевое месторождение ещё не было обнаружено.

В 1915 году внук первого Сотникова А. А. Сотников вновь обращается к проблеме использования руд Норильского месторождения. Чтобы технически грамотно решить поставленную задачу, он поступает на горный факультет Сибирского технологического института, основанного в 1896 году в городе Томске. Собрав необходимые геологоразведочные данные по Норильскому месторождению, А. А. Сотников вместе с однокашником Н. Н. Урванцевым[7] произвели довольно тщательное изучение открытого рудного месторождения, произвели предварительные расчёты, составили пояснительную записку. Но… разразилась Первая мировая война, а потом и Октябрьская революция. И только в 1919 году Урванцев возобновил поиски месторождения меди в районе Норильска. В 1920 году энергичные работы поисковой группы увенчались успехом—один из шурфов вскрыл тёмно-серую массивную породу. Так было обнаружено первое медно-никелевое месторождение, получившее название „Норильск-1“. В 1926 году в Норильск отправляется хорошо оснащённая экспедиция во главе с П. С. Аллилуевым. Урванцев, производя геологическую съёмку, открывает новое медно-никелевое месторождение—„Норильск-2“. В 1933 году геолог А. Е. Воронцов организовал детальное изучение обоих месторождений. Буровики, получив новое оборудование, успешно прошли более трёх тысяч погонных метров штолен и выявили колоссальное рудное тело с запасами в миллионы тонн руды.

В марте 1935 года было принято решение Политбюро ЦК КПСС о строительстве Норильского никелевого комбината. Строительство передали в ведение НКВД…»

«В ведение НКВД…» Мы знаем, читатель, что стои́т за этими скупыми словами. Норильский ГМК и Норильлаг (Норильский исправительно-трудовой лагерь) были единым целым. Инженер-металлург Павел Рожков, отправляясь к месту распределения, фактически поступил на службу в НКВД.

Вот и не верь в мистические предзнаменования! У истоков Норильска—разрушенная христианская святыня. А само слово «Норильск», говорят, происходит от долганского «болото». Трудно вообразить место на Земле, которое было бы менее пригодно для обитания людей. Чтобы такое место обжить и поставить на службу государству, нужен героический труд! А проще—рабский. Советская страна за несколько десятилетий своего существования куда как преуспела в стимулировании ударного труда на самых горячих участках индустриализации и всеобщего подъёма! Эти участки как раз и совпадали с расположением исправительно-трудовых лагерей. Рекорды и прорывы

4. Шахтная печь—печь с вытянутым вверх рабочим пространством, шахтой, цилиндрической, конической или прямоугольной формы. Обрабатываемый материал загружается сверху, а готовый продукт выдаётся снизу. Газообразные продукты сгорания топлива поднимаются вверх, навстречу спускающемуся материалу. Применяется главным образом для получения металлов из руд, плавки металла, обжига огнеупорного сырья.
5. Полиметаллические сульфидные руды—природные минеральные образования, состоящие из сернистых соединений металлов (сульфидов). Важный источник для получения никеля, кобальта меди, цинка, свинца, молибдена, ртути. Во многих сульфидных рудах в качестве примесей присутствуют золото, платина, серебро, кадмий, селен, теллур и другие редкие металлы. Рудные тела чаще всего представлены жилами, а также пластами, линзами, штоками и трубообразными залежами. Такие тела протягиваются в длину и на глубину на сотни метров—несколько километров. Запасы сульфидных руд в них достигают сотен миллионов и даже миллиардов тонн, а запасы металлов—десятков, сотен тысяч и даже нескольких миллионов тонн, при содержании металлов в руде от десятых долей до нескольких десятков процента.
6. Лимонит—собирательное название для природных железистых минералов. Скопления лимонита образуют месторождения бурого железняка и так называемые «болотные руды».
7. Урванцев Н. Н.—советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, один из первооткрывателей Норильского рудного района.

обеспечивались сотнями тысяч жизней героев ГУЛАГа[8].

Первым начальником строящегося Норильского комбината был Владимир Матвеев, в тридцать восьмом тоже репрессированный «за саботаж». Тогда-то Норильлаг и «принял» А. П. Завенягин. Об этом человеке до сих пор ходят легенды — как самого мрачного, так и самого восторженного свойства.

Сын машиниста, он уже в восемнадцать-девятнадцать лет — опытный партийный работник-большевик. Ещё в начале двадцатых в Донбассе Завенягин познакомился с одним из самых ярких большевистских деятелей Серго Орджоникидзе, который настоял на том, чтобы Авраамий, возглавлявший тогда Юзовскую партийную организацию, а заодно и местную газету, получил серьёзное инженерное образование. В результате Завенягин стал студентом Московской горной академии. Здесь он учился, совмещая академические занятия с партийной работой. Орджоникидзе внимательно следил за успехами своего «подопечного», и когда Авраамий закончил МГА, выдвинул молодого инженера на должность директора Государственного института по проектированию заводов чёрной металлургии. Это кажется фантастикой, но остаётся фактом. Завенягин позднее и сам будет доверять важные управленческие посты молодым специалистам, как случилось, например, с Павлом Рожковым, который меньше чем через год после приезда в Норильск возглавил Малый металлургический завод.

Под руководством Завенягина «Гипромез» в рекордные сроки создал проект Магнитогорского металлургического комбината. Потом работа в ВСНХ[9], в Днепропетровске — директором металлургического завода имени Дзержинского, строительство Магнитки… Наконец, Орджоникидзе, в то время нарком тяжёлой промышленности, рекомендовал Авраамия Павловича на должность своего первого заместителя. Однако и над тем, и над другим уже сгустились тучи.

<…>

А. И. Микоян, по воспоминаниям Хрущёва[10], рассказывал, будто бы Серго говорил ему незадолго до смерти: «Не могу больше, не могу мириться с тем, что творится. Бороться со Сталиным я тоже не могу и не вижу сейчас возможности продлевать свою жизнь». Серго нашли в собственной квартире мёртвым. Принято считать, что он застрелился. Официально же было объявлено, что нарком тяжёлой промышленности скончался от паралича сердца.

Что же касается его «протеже» Завенягина, то НКВД завёл на него дело ещё в Магнитогорске. Новый нарком тяжёлой промышленности Каганович своего первого зама, мягко говоря, невзлюбил. Дело шло к аресту. Помогло вмешательство председателя Совнаркома В. М. Молотова, который лично знал Завенягина. Говорят, именно Молотов предложил отправить опального зама в Норильск — руководить строительством горно-металлургического комбината. Таким образом, Завенягин был вынужден подставить голову под тот же самый топор, который только что разбил судьбу его предшественника Матвеева. Он прекрасно знал, что́ ему грозит, если он окажется недостаточно расторопным.

8. Норильлаг (Норильский ИТЛ) был промышленно-строительным лагерем. Он образован в 1935 году для добычи цветных металлов, в основном меди и никеля. Подневольным трудом узников Норильлага в заполярной таймырской тундре созданы город Норильск и горно-металлургический комбинат, речной и морской порты в Дудинке (в низовьях Енисея), железная дорога от Дудинки до Норильска, шахты Кайеркана и многое другое. Первый маленький этап пригнали на место будущего города летом 1935 года. Это был ленинградский этап. Из Дудинки его гнали пешком по заболоченной тундре. Начиная с 1936 года, в Норильлаг шли один за другим этапы из тюрем и из других лагерей, со всех концов СССР. В сентябре 1938 года туда отправили многотысячные этапы из Красноярской и Енисейской тюрем. Этапы шли в основном через Красноярск по железной дороге, а потом вниз по Енисею на баржах. В пути многие заключённые умирали, и их хоронили на берегу во время остановок. Были случаи, когда эти караваны терпели бедствие. В. П. Астафьев рассказывал, как в Игарке в 1939 году во время шторма разломило баржу с заключёнными, и люди стали спасаться на берег, но с берега охрана нефтебазы открыла огонь. Мы знаем также о крушении барж на Казачинском пороге, когда люди также не смогли спастись, потому что стрелки не выпустили их наружу. В июле и августе 1939 года в Норильлаг пришли этапы из «срочных» тюрем: из Орла, Ельца, Кустаная, с Соловков. Причём соловецкий этап везли с Белого моря по Северному Ледовитому океану, через Баренцево и Карское моря. Осенью 1941 года в Норильлаг пригнали из Юхновлага (ныне Калужской области) «интернированных» офицеров литовской, латвийской и эстонской армий. Все они сидели без статей и сроков. Лишь потом, в Норильлаге, их «оформили» особым совещанием на разные сроки, от 5 до 10 лет, причём многих осудили посмертно. Новые этапы продолжали приходить в Норильлаг вплоть до 1953–1954 годов. В начале 50-х годов в Норильлаге насчитывалось около 30 лагерных отделений. Лагерь прекратил своё существование в 1956 году, когда большинство заключённых вышло на волю.
9. Высший совет народного хозяйства — высший советский хозяйственный орган со статусом наркомата с 1918 по 1922 год.
10. Насколько можно доверять воспоминаниям Хрущёва о Сталине и его соратниках — вопрос особенный и отдельный.

Завенягин приступил к исполнению должности начальника Норильскстроя двадцать восьмого апреля 1938 года.

«Он немедленно начал принимать энергичные меры, — *читаем в рукописи П. И. Рожкова,* — по организации строительно-монтажных, геолого-разведочных и научно-исследовательских работ широкого профиля. Перед исследователями была поставлена большая, можно сказать, главная задача — разработать новую эффективную технологию переработки сульфидных медно-никелевых руд. Но особо важной задачей считал Завенягин строительство и пуск опытного Малого металлургического завода. Четвёртого декабря 1938 года Завенягин подписал приказ: все силы — стройке ммз. На практике так и было: 25 февраля 1939 года запустили ватержакетные печи и началась металлургическая плавка уникальных сульфидных медно-никелевых руд заполярного месторождения».

Психологический портрет А. П. Завенягина сегодня может быть восстановлен только по фрагментам воспоминаний и публикаций, содержащих, как уже говорилось выше, самые полярные оценки. Эти высказывания важны и для воссоздания атмосферы, которая окружала начало самостоятельной производственной деятельности Павла Рожкова, и для характеристики того влияния, которое молодой специалист испытал на себе в качестве подчинённого легендарного директора Норильскстроя. Перелистаем страницы газетных и журнальных подшивок.

«5.11.1938 г. нас, в числе 20 человек, в морозный день пешком отвели в штрафной лагерный пункт „Каларгон“, находившийся в тундре, в 18 километрах от Норильска, чтобы там расстрелять. В числе обречённых на казнь были: сопроцессник Димитрова по лейпцигскому процессу, бывший секретарь цк Болгарского комсомола и член Политбюро Болгарской компартий Благой Попов, заместитель наркома пищевой промышленности СССР Чигринцев, член коллегии Наркомфина СССР Пётр Четвериков, начальник Главного управления соляной промышленности СССР Никита Куликов, посол СССР в Румынии Островский, консул в скандинавских странах, бывший ранее секретарём губкома комсомола на Волге, Владимир Фишер, бывший первый секретарь Ереванского горкома партии Абел Ордуханян, бывший секретарь Казанского горкома партии Абдулла Юнусов, профессор истории Сергей Дубровский, профессор права Леонид Гинзбург, профессор права Пётр Климов и др. Две недели мы ждали расправы. От нас этого особенно и не скрывали. У нас отобрали одежду, одели в тряпьё. Нам предложили заказать перед смертью „пожрать и накуриться вдоволь“, послав в Норильск подводу за продуктами и табаком. У меня и Куликова личных денег нашлось только на пачку махорки и пачечку курительной бумаги… Приставленный к нам в помощь охране и лагерной администрации комендант из уголовников узнал меня. Он был в Невьянске на Урале старостой старательской артели, когда я в 1937 г. посещал невьянские золотые прииски. Комендант сказал мне на ухо: „Батя, вас привезли «на шлёпку», мне это точно известно…“ И сунул мне в карман бушлата пачку папирос. Спас нас начальник Норильского строительства и лагеря А. П. Завенягин. Он выждал две недели, а потом вразрез с „директивой центра“, под свою ответственность, приказал вернуть нас в Норильск. Эта готовившаяся бессудная расправа над нами вызвала много разговоров в лагерях»[11].

«„Либеральный“ начальник Завенягин с контингентом не считался. Без тени сомнения бросал голодающих и измученных людей на самые тяжёлые работы. На пайку хлеба полагалась норма, которая сегодня была бы не под силу откормленному, привыкшему к тяжёлому труду рабочему. Завенягина до сих пор считают добрым начальником строительства. Нет, не добрыми чувствами, а соображениями прагматическими руководствовался Авраамий Павлович. В конце тридцатых годов в Норильск прибыл большой этап заключённых из Соловков. Среди них — специалисты в геологии, химии, минералогии — инженеры, учёные. По приказу Завенягина их снимали с общих тяжёлых работ. Давали более сытные пайки, чуть улучшали бытовые условия. Возникали так называемые „шарашки“, учреждения, где репрессированная интеллигенция (на положении рабов) занималась умственным трудом на пользу великой социалистической стройке. В норильлаговских „шарашках“ разрабатывались инженерные и научные проекты, позволявшие создавать чудо-город и комбинат в Заполярье.

…„Форпост цивилизации“, как называют до сих пор Норильск, построенный на принципах насилия, по здравому смыслу таковым считаться не может. Цивилизацией в Норильлаге и не пахло. Этот термин никакого отношения к царству Завенягина и его сподвижников по ГУЛАГу не имеет»[12].

«Он был ещё из „орджоникидзевской команды“, кажется, одно время был начальником Магнитстроя, в 30-е годы попал под удар, но не был арестован, а послан в Норильск начальником строящегося комбината. Известно, чтó это была

11. Из записей *Александра Ивановича Мильчакова*, бывшего Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, ответственного работника ЦК ВКП(б) и золотодобывающей промышленности СССР, затем сотрудника Норильскснаба. Журнал «Смена» №2, 1998.

12. *В. Евграфов*, «Цивилизация насилия».

за стройка,—руками заключённых среди тундры, на голом месте, в условиях вечной мерзлоты, пурги, бо́льшую часть года—полярной ночи. Бежать оттуда было почти невозможно—самые отчаянные уголовники иногда пытались бежать вдвоём, взяв с собой „фраера“, чтобы убить и съесть в пути (я не думаю, чтобы это было только страшными рассказами). Смертность там была лишь немногим ниже, чем на Колыме, температура в забоях лишь немногим выше, но тоже минусовая. После смерти Завенягина в 1956 году Норильскому комбинату присвоено его имя. Завенягин был жёсткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник; он очень прислушивался к мнению учёных, понимая их роль в предприятии, старался и сам в чём-то разбираться, даже предлагал иногда технические решения, обычно вполне разумные. Несомненно, он был человек большого ума—и вполне сталинистских убеждений. У него были большие чёрные грустные азиатские глаза (в его крови было что-то татарское). После Норильска он всегда мёрз и даже в тёплом помещении сидел, накинув на плечи шубу. В его отношении к некоторым людям (потом—ко мне) появлялась неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. Завенягин имел чин генерал-лейтенанта ГБ, за глаза его звали „Генлен“ или „Аврамий“»[13].

Двадцать второго июля 1939 года Павел Рожков был принят на работу сменным инженером Малого металлургического завода Норильского ГМК НКВД СССР.

«ММЗ был первым небольшим заводом строящегося комбината,—отмечает Павел Иванович в своих записках.—В тридцать девятом году здесь была организована переработка уникального сырья—полиметаллических сульфидных руд, содержащих, помимо меди, никеля и кобальта, значительное количество платиноидов, а также золота, серебра и других металлов. Особенно богатыми по благородным и цветным металлам оказались руды Морозовского рудника. Эти сложные по составу руды перерабатывали сначала на двух небольших ватержакетных печах[14], изготовленных в местном ремонтно-механическом цехе. Позднее, когда были изготовлены и смонтированы два конвертера[15], удалось наладить переработку штейна[16] на файнштейн, продукт обработки, ещё более богатый по меди, никелю и особенно по драгоценным металлам»[17].

Сразу же после приезда группы выпускников МИЦМИЗа в Норильск Завенягин пригласил их—и молодых специалистов из других вузов—к себе в кабинет. Авраамий Павлович подробно расспросил каждого, как учился, какова тема дипломного проекта и почему приехал в Норильск.

Павел Иванович рассказывал, что кто-то из парней стал важничать, хвалиться успехами в учёбе

13. Из «Воспоминаний» академика *А. Сахарова.*
14. Ватержакетная печь (*англ.* waterjacket, от water—вода и jacket—рубашка, кожух)—шахтная печь, стенки которой составлены из охлаждаемых водой пустотелых металлических коробок, так называемых кессонов. Применяется в металлургии свинца, меди, никеля и др.
15. Конвертер—металлургический агрегат для переработки медно-никелевых штейнов путём продувки исходного материала воздухом или кислородом.
16. Штейн—промежуточный продукт при получении некоторых цветных металлов из сульфидных руд и рудных концентратов. Представляет собой сплав сернистого железа с сернистым соединением извлекаемого металла.
17. Качество добываемых в России сульфидных медно-никелевых руд сравнимо с качеством аналогичных руд в зарубежных странах: среднее содержание никеля в них составляет 1,6%, в то время как в сульфидных рудах Канады—1,3%, Австралии—2,1%. Норильские руды, помимо никеля, содержат в значительных количествах медь, кобальт, золото, серебро и металлы платиновой группы. Значительная часть восточносибирского никеля (около 80%) добывается в богатых рудах, в которых среднее содержание металла составляет 2,6–2,9%. Отрицательными факторами развития отрасли на таймырском Севере являются тяжёлые природные условия (холодный климат, многолетняя мерзлота, полярная ночь, короткий вегетационный период) и значительная глубина залегания рудных тел на рудниках Норильского комбината. В России добычу никелевых руд осуществляют четыре предприятия: «Норильская горно-рудная компания», «Кольская горно-металлургическая компания» (оба предприятия входят в состав РАО «Норильский никель»), «Уфалейникель» и «Южуралникель». Крупнейшим из них является РАО «Норильский никель», в состав которого входят рудники Норильского ГМК и комбината «Печенганикель», разрабатывающие сульфидные медно-никелевые руды месторождений Норильского района и Кольского полуострова. На долю этих руд в последние годы приходится 92-93% общероссийской добычи никеля и кобальта. Обогащению подвергаются только сульфидные никелевые руды на обогатительных фабриках РАО «Норильский никель». Сульфидная медно-никелевая руда проходит стадию обогащения. Затем с помощью электроплавки получают переходный продукт—штейн (содержание никеля 10–15%, повышенное содержание кобальта), но перед выплавкой чернового никеля существует стадия так называемого файнштейна—медно-никелевого сплава, образующегося при продувке штейна в кислородном конвертере. Затем методом флотации, основанном на разной плотности различных металлов в водной среде, никель отделяют от меди и продолжают его восстановление в электрических печах. Рафинированный никель получают, так же как и медь, методом электролиза. При этом образуется особо чистый никель, с долей примесей не выше 0,01%.

и сожалеть, что в Норильске ему будет трудно развернуться. Завенягин посмотрел на него пристально и сказал: «Есть у меня горняк Хромченко, который в институте неважно учился, но зато отлично работает на руднике. И я бы лучше таких вот „хромченко" брал, не стал бы смотреть, что у них в дипломах».

Тема дипломного проекта Рожкова очень заинтересовала Завенягина. В тот раз они долго беседовали. И Авраамий Павлович, как потом выяснилось, хорошо запомнил грамотного энергичного новичка.

В 1939-м Норильск был маленьким неблагоустроенным посёлком. Двухэтажные шлакоблочные и деревянные дома по единственной заводской улице. Ни тебе асфальта, ни деревьев, ни цветов. Молодых специалистов поселили по две семьи в комнатки недостроенного деревянного двухэтажного дома в так называемом «соцгороде», строительство которого тогда только началось. Из всех «удобств» — лишь электричество. Всё остальное — водопровод, канализация, отопление — в отдалённых мечтах. Павел Иванович вспоминал, что во время дождя жильцы вынуждены были подвешивать над кроватями брезентовый полог — так протекала крыша. Позднее в комнатах поставили железные печки-буржуйки с трубами, выходящими в окна. Топили их дровами и углём. Тепла они давали мало, дымили нещадно, так что можно себе представить, что это была за жизнь! Особенно зимой, в пятидесятиградусный мороз. И всё же…

> «Все эти бытовые неустроенности нас мало тревожили, так как, воодушевлённые Завенягиным, мы всё своё время отдавали заводу — и рабочее, и свободное. Вместе со мной работали молодые инженеры, однокашники по институту И. И. Быховский, С. И. Лунёв, Л. Н. Сомин, А. И. Аристов, Ф. А. Лебедев, Г. В. Ильичёв… Нам, вчерашним выпускникам института, удалось без посторонней помощи отработать устойчивую технологию плавки богатых сульфидных руд Морозовского рудника, а несколько позднее, в смену инженера Быховского, была получена на конвертере первая кондиционная партия файнштейна. Успешно были закончены опытные работы инженера Лунёва по агломерации мелкодроблёной руды и оборотной пыли на упрощённом агломерационном оборудовании»[18].

В общем, ребята из московского института так решительно подтолкнули развитие новорождённого норильского производства, что руководство не замедлило сделать кардинальные выводы. В мае сорокового года Завенягин вызвал Рожкова к себе и в присутствии своих заместителей предложил молодому инженеру должность начальника ммз. Рожков смутился: «Авраамий Павлович! Я ещё к этому далеко не готов!» Тогда Завенягин рассказал, как когда-то его самого, начинающего инженера, Орджоникидзе назначил начальником строительства Магнитки. Времени для того, чтобы постепенно набираться опыта, просто нет! После этого Рожкову ничего не оставалось, как начать работу на новом посту. Приказ о назначении был подписан двадцать второго июня 1940 года. А уже в июле — впервые за всё время своего существования — ммз выполнил месячный государственный план.

Павел Иванович часто вспоминал одну удивительную встречу с Завенягиным. Это произошло примерно через месяц после приёма молодых специалистов в кабинете начальника комбината. Рано утром Павел шёл со смены и вдруг видит — навстречу ему по дороге идёт Завенягин. Павел сразу узнал его — по добротному пальто и дорогой меховой шапке. Авраамий Павлович тоже узнал встречного, хотя прежде видел его только раз, поздоровался с ним, назвав по фамилии, поинтересовался, откуда он идёт и где живёт. А потом неожиданно сказал, что хочет посмотреть, как Рожков устроился. Осмотрев комнату, которую Павел делил с другим служащим, Авраамий Павлович вздохнул: «Плохо, плохо вы устроены, но потерпите, скоро улучшим». И слово сдержал! Вскоре Павел получил отдельную комнату в деревянном доме недалеко от ммз.

Завенягин, как большинство тогдашних руководителей высшего эшелона власти, вынужденных приспосабливаться к привычкам Сталина, работал по ночам. К тому же в Норильске приличный временной разрыв с Москвой, и Авраамий Павлович установил себе такой рабочий график, который позволял быть постоянно на связи с московским руководством. Бывало, он звонил «новоиспечённому» начальнику ммз часа в два ночи: «Ну… как день прошёл?» А через полгода на митинге заявил: «Мы назначили молодого инженера начальником завода. Он поставил дело. План стал выполнять. Поэтому принято решение выдать Рожкову премию в размере восьмисот рублей». Запись об этой премии сохранилась в трудовой книжке Павла Ивановича.

Здесь, в Норильске, Рожкову довелось встретиться с бывшими преподавателями Томского университета, которые были арестованы в начале тридцатых и влились в «трудовую армию» Норильлага. До последних лет Павел Иванович вспоминал острое чувство стыда и боли, которое он переживал тогда, глядя в глаза своим учителям. «Как могли мы, молодые специалисты, чего-то требовать от них, измождённых и униженных… от них, которые всегда нас учили не только своим научным дисциплинам, но и чести, порядочности?!» Наверное, это было одно из самых тяжёлых

18. Из записок П. И. Рожкова.

испытаний, которые Рожкову пришлось пройти, хотя позднее судьба не раз пробовала его на прочность — гнула и ломала, не щадя!

Как совмещались мучительные переживания стыда и вины со стандартными славословиями в адрес партии, правительства и советского строя, которыми начинаются и заканчиваются заметки Рожкова в тогдашней норильской многотиражке (если только эти общие фразы не вставлены осторожным редактором — как положено! — в бесхитростный рассказ молодого инженера)? Да так и совмещались, как совмещаются во все времена глубокая внутренняя жизнь человека, его душа, подотчётная только Богу (уж кто в какого верит! ведь даже если кто-то не верит ни в какого Бога, то всё равно же во что-то да верит!), и её внешняя сторона — дежурная, вынужденная, необходимая для элементарного выживания. И Рожков, и его товарищи, и Завенягин, конечно, понимали, что в стране творится что-то неладное, но откуда исходит «порча», знали, догадывались немногие. Даже из тех, кто сам пострадал. Во всяком случае, на идею, которую во плоти представлял высший партийный эшелон, подозрения в неверности падали в последнюю очередь. «Мы так вам верили, товарищ Сталин…»

Счастье, если догматическая воля не насилует главное, душу. Павел Рожков к началу войны уже доказал не раз, что душу он не сдаст. Но ведь для него тогда истиной были не только несправедливость, ужас и нелепость совершающегося варварства, но и товарищество, героизм, самоотверженность, доброта и щедрость в условиях, казалось бы, абсолютно их исключающих. Норильск был местом трудового подвига сотен людей, с которыми он ежедневно работал плечом к плечу. Северная стройка стала одной из вершин его личной истории. Ещё в тридцать девятом году, в институте, он подал заявление о вступлении в КПСС и был принят кандидатом. В сорок первом — получил партбилет, документ, по своей значимости для коммуниста не сопоставимый ни с каким другим удостоверением личности.

В начале 1941 года Завенягин был назначен заместителем наркома внутренних дел (как говорили, стал правой рукой всесильного Лаврентия Берии). Авраамий Павлович уехал в Москву. Его место занял В. С. Зверев, с которым у Рожкова как-то сразу не заладилось. Молодого начальника ММЗ без всяких видимых причин переводят с должности на должность, снижают зарплату. И когда, наконец, Зверев предложил ему — перспективному и уже достаточно опытному инженеру-металлургу — место главного диспетчера комбината, Рожков почувствовал: в Норильске ему не работать! *«Мы с ним расстались, потому что не нашли общего языка*, — уже в середине девяностых рассказывал Павел Иванович. — *Он от меня требовал одно, а я ему говорил, что Завенягин не так делал. Он, правда, Завенягина любил и уважал, Завенягин его поддерживал. Но… мы разошлись, я уехал на фронт, он остался на комбинате. Потом мы встречались — по-разному. Иногда — хорошо, иногда — плохо. Я после войны работал на Красноярском аффинажном заводе, и наши интересы, бывало, сталкивались»*.

Но вот уже июнь сорок первого. С первых дней войны Павел Рожков думает об отъезде на фронт. Его, понятно, не отпускают. В Норильск тогда возвращали даже и мобилизованных по недосмотру инженеров. Но ситуация всё отчётливее складывается так, что увольнение становится для Рожкова делом принципа! А значит, свернуть его с намеченного пути не смогли бы уже никакие человеческие силы! С детства очень мягкий и впечатлительный, он в такие моменты становился твёрже камня. В конце августа Рожков уволился с комбината с формулировкой в трудовой книжке «по состоянию здоровья», чтобы тут же уехать в Красноярск и явиться в военкомат. Впереди был фронт: грохот и дым военного горизонта…

Из личного архива П. И. Рожкова[19]

…Каганович был тогда заметной фигурой! А Завенягин тоже всегда был политической фигурой, ещё с тех лет, когда он работал в Юзовке, на Украине, тогда уже выступал против Троцкого. Фактически пребывание Завенягина в Норильске было не очень хорошо завуалированной ссылкой, финал которой был заранее предначертан. «Наверху» считали, что он оттуда не вернётся. Он вызывал опасение всем: умом, энергией, своим отношением к людям. Он был мыслящий человек, государственный человек. Его просто насильственно убрали из руководящей группы, которая должна была заниматься всей страной. Он, отправившись в Норильск, занимался Норильском и в то же время не выпускал из виду всю страну… Его и здесь не оставляли в покое. Однажды приехала из Москвы комиссия с явным намерением обвинить Завенягина, обличить в неправильных приёмах развития комбината. Но у обвинителей ничего не получилось. На большом многолюдном собрании — я присутствовал, я был кандидат в члены партии, а собрание было партийное, и я принимал участие, — когда все эти члены комиссии высказались, поднялся Завенягин и без всяких бумажек так раскритиковал, так «разложил» все их доводы, все аргументы, что аудитория зааплодировала.

…Авраамий Павлович Завенягин был, несомненно, выдающийся деятель и Коммунистической

19. Сердечная благодарность Н. П. Рожковой, вдове героя книги, за возможность работать с личным архивом П. И. Рожкова.

партии, и промышленности. Он был, как он сам всегда утверждал, учеником Серго Орджоникидзе. Впоследствии, когда я уже работал начальником Малого металлургического завода и бывал у него на совещаниях, — ручаюсь, не было такого дня, чтобы он не упоминал имя Орджоникидзе. Это обычно получалось так: «А Серго по этому поводу сказал бы…» — или: «А Серго принял бы такое решение…» Так что у него Орджоникидзе был не только «в уме», но и в душе. В отличие от нынешних руководителей, Завенягин по Норильску ходил один. Причём — в неурочное время. Был он начальник совершенно особенный. Во-первых, очень доступный. Он с любым человеком разговаривал. Во-вторых, он сразу сделал заявление, что он более всего склонен работать с молодыми специалистами, чтобы не связывать себя неблагоприятными для Норильска традициями. Ведь здесь очень своеобразные условия. Он сам был ещё молод и нередко продвигал молодёжь на очень ответственные посты. Завенягин рассказывал, что, когда его назначили директором Магнитогорского комбината, для него это было совершенно неожиданно. Ему было очень трудно это принять. Но Серго сказал, что он сам тоже так принимал дела, поэтому нечего смущаться: здесь мы должны уже думать о стране.

Завенягин вообще любил «полевые» работы: на стройках, в цехах, на площадке, которая только что открывается, на складах металла — в Норильск тогда прибыло много всякого рода материалов, — и, конечно он обойдёт площадку лично, сам всё проверит, и если найдёт непорядок, тут же на месте принимал решение… и, как правило, не наказывал, а предупреждал. Это, конечно, был человек необыкновенных способностей. Поразительно было то, как он умел доходить до каждого, выказывая каждому глубокое уважение. Это уважение к людям меня настолько покорило, что Завенягин всегда в моей душе. Когда я демобилизовался и приехал с фронта в Москву, то в первый же день там встретил Завенягина — в здании НКВД, у лифта. Я ещё был в военной форме, подошёл к лифту — и вижу: стоит Завенягин. Я сразу узнал его! Почему он обернулся, не знаю. Но он обернулся — и мы оказались лицом к лицу. И, как когда-то на Севере, когда он шёл по территории комбината, а я возвращался домой со смены, Авраамий Павлович говорит: «Здравствуйте, Рожков!» И потом сразу: «Как вы возмужали!» Необыкновенно умный, необыкновенно внимательный, настоящий гуманист! Может быть, он даже более гуманист, чем писатели, художники и люди гуманитарных наук. Он, конечно, техник необыкновенной силы. Он хорошо разбирался в строительном деле, в горном деле. Все проекты он рассматривал. Какие бы организации ни привозили проект в Норильск, он лично в их обсуждении участвовал. И привлекал всегда нас. Он ничего не забывал. У него память была совершенно поразительная. Норильчане рассказывали, что спустя годы, когда кто-то из них переезжал в Москву или в Ленинград и плохо складывалась жизнь, все шли к нему, и он находил время встретиться, назначал время, заказывал пропуск человеку — и в здании НКВД принимал просителя. И помогал. Я многих таких знал, кому он точно помог. Завенягин вошёл в мою жизнь очень прочно, и когда я узнал о его смерти, для меня это было большое горе[20].

…О возможности возникновения войны с Германией мне приходилось неоднократно слышать от Авраамия Павловича Завенягина. Будучи начальником Малого металлургического завода, я неоднократно бывал в его кабинете на всевозможных совещаниях. Иногда по окончании официального разговора Авраамий Павлович приглашал меня и ещё кого-нибудь из присутствующих задержаться. Развернув на приставном столе большую политическую карту мира, он читал сводки ТАСС, которые регулярно получал из Москвы. На карте Завенягин отмечал все военные операции, происходящие в Европе. И тут же глубоко и тонко комментировал общую ситуацию, делал весьма обоснованные выводы и прогнозы. Он был убеждён и нас убеждал, что Германия — агрессор и что война неизбежна. Гитлер усиливает милитаризацию Германии, переходит к открытой агрессии против стран Европы. Всё говорит о том, что он готовит молниеносный удар по Советскому Союзу. Для обороны страны, для ведения неизбежной войны стране необходимы медь, никель, драгоценные металлы. Поэтому надо всеми силами форсировать строительство металлургических, горно-обогатительных объектов и других предприятий комбината. Завенягин был эрудит. Он увлекался политикой с юношеских лет и был коммунистом в лучшем смысле этого слова. Многогранность его знаний и круг интересов меня всегда поражали и восхищали… Обладая великолепной памятью, быстро схватывая сведения о событиях, происходящих в мире, Завенягин умел анализировать разнообразные явления науки, техники, политики и делал это очень интересно. Как руководитель комбината он постоянно соотносил свою деятельность с жизнью всей страны.

…Малый металлургический завод являлся смелым творением начальника комбината. Металлург-доменщик обязал проектировщиков, возглавляемых молодым инженером А. Е. Шаройко, запроектировать металлургические печи — ватержакеты для плавки медно-никелевой сульфидной руды с площадью сечения на уровне форм в один

20. Фрагмент интервью П. И. Рожкова пресс-центру «Норильский никель», 1995 г. Расшифровка видеоролика.

квадратный метр. Проектировщики разработали также небольшой конвертер и воздуходувку. Два ватержакета, один конвертер и два вентилятора-воздуходувки ускоренно изготовили на местном ремонтно-механическом заводе. В Норильске всё оборудование было упрощённое, можно сказать, самодельное. Монтаж оборудования, его футеровку выполнили быстро, под строгим контролем самого Завенягина. Кокс получали кучным способом из угля горы Шмидтиха. Флюсы — известняк, кварц — добывали на карьерах Кайеркана. Вначале плавка богатой норильской руды была поставлена неудовлетворительно. Продукты плавки выпускались из печи в небольшие ковши-тележки. Разделения их в жидком виде практически не получалось. Шлак и штейн плохо разделялись и после охлаждения превращались в крепкий конгломерат. Их разделяли вручную, кувалдой. Все работы на ммз осуществлялись заключёнными…[21]

…На ммз мои товарищи получили работу в плавильном цехе, мне же предстояло работать в строящемся обжиговом цехе. В моём подчинении оказался всего один человек. Это был заключённый Иван Григорьевич Сибилев, которому было в то время более шестидесяти лет. Моя работа состояла в оформлении заказов на изготовление оборудования, предусмотренного в проекте. Иван Григорьевич, бывший профессор одного из вузов Москвы, много лет заведовал кафедрой. В свободное время он иногда рассказывал о своей работе в институте и о том, как внезапно, без причин, был арестован, судим и отправлен под конвоем в Норильск. По прибытии в Норильский лагерь Сибилев некоторое время был использован на разных подсобных работах, как человек неквалифицированный да к тому же ещё и почтенного возраста. Это было печальное, трудное время. Но однажды лагерное начальство обратило внимание на «безработного» профессора и устроило его на гидрометаллургический пост, оборудованный на берегу речки Норилки в местечке Валек. Там Иван Григорьевич подружился с диким гусем, который отстал от своей стаи. Гусь был ранен, и Сибилев приютил птицу у себя в избушке. Так они вдвоём и зиму пережили — старый зэк и раненая птица. Ходили вместе на рыбалку, «разговаривали», поддерживали друг друга в трудный час… Когда началась весна и стали прилетать дикие гуси, приятель Сибилева заволновался. «Ну что? Твои сородичи прилетели. Ты меня бросишь?» — говорил Иван Григорьевич, глядя, как беспокоится в речке гусь. Птица то подплывала к берегу, то принималась догонять удаляющихся собратьев. Наконец гусь вышел на берег, вытянул шею, словно прощаясь с другом… «Что ж… будем прощаться, дружочек, — вздохнул Сибилев. — Ступай! Тебе со своими будет лучше!» Гусь в конце концов уплыл и не вернулся…[22]

Стахановцы-металлурги выполняют самообязательства

Участвуя в соцсоревновании имени Третьей Сталинской пятилетки, рабочие-стахановцы, ударники и инженерно-технические работники мало-металлургического завода с каждым днём повышают темпы в борьбе за высокие показатели производительности труда, добиваясь хорошей выработки продукции. Смена инженера т. Рожкова 3 сентября на ватержакете №1 дала проплав шихты 17,9 тонны против планового проплава 12,7 тонны, что составляет выполнение программы за смену 140,9%. На втором ватержакете было проплавлено 18,5 тонны. В этот день смена т. Рожкова по двум ватержакетам выполнила план на 143,3%… Смены тт. Лунёва, Рожкова, Ильичёва и Резницкого соревнуются между собой за лучшие показатели в работе…[23]

Получил высшее образование

Мне 29 лет. В 1939 году я закончил Московский институт цветных металлов и золота и получил звание инженера-металлурга. Получить высшее образование я мог только при советской власти. При старом же строе, при царе, высшего образования мне бы не видать никогда. Мой отец — бедный сибирский крестьянин, который, кстати сказать, даже не мог пользоваться землёй, так как мой дед был политическим ссыльным. Отец мой и мать моя, которые бóльшую часть своей жизни прожили, когда у власти стояли капиталисты и помещики, образования не получили никакого, с большим-большим трудом окончили они 3 класса сельской школы. Советская власть дала мне возможность закончить институт без всяких забот. Пять лет получал я стипендию, бесплатно обучался, пользовался сокровищами науки — лучшими книгами. Получив право на образование, я всё время старался как можно лучше оправдать его. Я, будучи студентом, стремился получить как можно больше знаний, помимо аккуратного посещения академических занятий, работал в техническом кружке, активно участвовал в общественной жизни. Моя упорная учёба не пропала даром. Дипломный проект я защитил на «отлично». Сегодня, в историческую годовщину принятия Сталинской Конституции, я хочу сказать ещё и об остальных членах своей семьи, которые, как и все граждане ссср, имеют право на образование и пользуются этим правом. Моя двадцатилетняя сестра Анна

21. Фрагменты записок П.П. Рожковой.
22. Фрагмент восстановлен по рассказу Н. П. Рожковой.
23. *Н. Дубцова* (вырезка из газеты «За металл» Норильского комбината, октябрь 1939 г.)

сейчас учится в государственном медицинском институте в Иркутске, другая сестра, Нина, учится в Сибирском лесотехническом институте. Есть ещё у меня три сестры, но они ещё небольшие и учатся в школе. Я думаю, что они, как и я, с помощью советской власти получат также высшее образование. Сейчас я работаю на Малом металлургическом заводе. Я отдаю всю свою силу и энергию, чтобы отблагодарить партию, правительство, товарища Сталина за то, что они открыли мне широкую дорогу в счастливой жизни нашей страны[24].

Инженеры нашего завода

Были люди, которые убеждали, что с существующими механизмами, на таких металлургических агрегатах работать нельзя, что у Малого металлургического завода нет будущего и что его надо закрыть. Но другого мнения были молодые инженеры-металлурги. Иначе думал инженер-механик Сергей Иванович Мудров, пришедший на завод в марте 1940 года. Разболтанное и расхлябанное хозяйство завода не испугало молодого механика. Многие дефекты, допущенные конструкторами, проектировщиками и монтажниками в оборудовании ММЗ, были устранены Сергеем Ивановичем. Чтобы облегчить труд технологов, Сергей Иванович упростил конструкцию конвертера. Изменив фурменный пояс, увеличив диаметр фурм[25], он достиг увеличения подачи воздуха в конвертер. С приходом тов. Мудрова на заводе организовался хороший коллектив слесарей, токарей, электриков, крановщиков. Теперь ММЗ имеет оснащённый машинный зал, хорошую механическую мастерскую. Страстный производственник, Сергей Иванович в то же время является хорошим и чутким товарищем. Большую работу проводит по линии поселкового совета, являясь его депутатом. Кандидат в члены ВКП(б), тов. Мудров не забывает о своём политическом росте. Много времени уделяет он работе над собой, изучению истории нашей большевистской партии. В большой дружбе с Сергеем Мудровым инженер-металлург т. Ильичёв, ныне работающий заместителем начальника опытно-металлургического цеха. Много юношеской энергии, жизнерадостности принёс с собой т. Ильичёв на завод, будучи начальником смены. Не считаясь со временем, он кропотливо занимается теперь научно-исследовательской работой. И не только ими — Мудровым и Ильичёвым — может гордиться семья инженеров-металлургов. Не менее известны норильчанам имена Василия Николаевича Потапенко, выдвинутого теперь на ответственную работу в отдел технического контроля, деловитого мастера смены товарища Сердакова[26], начальника лучшей смены завода товарища Сомина. Только в советской стране, где навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком, где труд является делом чести, доблести и геройства, возможен такой расцвет личности[27].

24. *Павел Рожков* (вырезка из газеты «За металл», 5.12.1940 г.).
25. Фурма — устройство для подвода дутья в металлургические печи и агрегаты; наконечник, которым заканчивается подводящий дутьё трубопровод.
26. Сердаков — в те годы отбывал наказание в Норильске, позднее — Герой Социалистического Труда.
27. *П. Рожков* (вырезка из газеты «За металл», 1940 г.).

Юрий Беликов, Александр Дугин

Ссыльный бог в расколдованном мире

Он сразу же разрушил драматургию намеченного мною диалога. Для разминки я предложил сыграть в своеобразный блиц: вопрос-ответ в режиме «да-нет». Я опирался на сведения, почерпнутые в Сети. Тем более что гость проекта «Русские встречи», в рамках которого он прилетал из Москвы в Пермь, где выступал с лекцией в большом зале ДК студентов госуниверситета, проделал довольно пёстрый, если не экзотичный, путь. От бунтаря-левака, в своё время стоявшего в национал-большевистской партии бок о бок с Эдуардом Лимоновым,—до солидного учёного, профессора МГУ, автора многих толстых книг и монографий. А кроме того—лидера Международного евразийского движения и фактического идеолога в одночасье провозглашённого главами трёх государств—России, Белоруссии и Казахстана—Евразийского союза. Как тут не поддаться искушению «поиграть» на биографических струнах, намотанных на колки «Википедии»?

И здесь Дугин, подобно шукшинскому герою Глебу Капустину, «срезал» вашего покорного слугу на первом же вопросе:

— Всё, что написано в «Википедии», никакого отношения ко мне не имеет! Там сидит какая-то мразь и удаляет всю подлинную информацию, добавляя ложную…

Тогда я решил блеснуть познаниями из Иосифа Бродского. Мол, Александр Гельевич, не становимся ли мы постепенно из Евразии «Азиопой»? И вот что из этого получилось.

— Я не люблю Бродского, а его определение—глупейшее.

— Я тоже Бродского не жалую,—обрадовался я нежданному «союзничеству». Однако при всем при том отнести неологизм Иосифа Александровича к разряду «глупейших» всё-таки не мог. Посему попытался высказать собственные резоны:—Но…

— Никаких «но»! Это антипоэт и нытик!—застолбил Дугин.—И Нобелевскую премию ему дали с прицелом на распад Советского Союза. Всё, что он говорил, это—бред…

Сразу же замечу: то, что вы прочтёте ниже, отстаивалось в бочках обстоятельств моих архивных подвалов. Однако, судя по всему, многолетняя выдержка придала коньяку нашей беседы отменную крепость и неповторимый вкус, непостижимым образом обостряющий зрительные и слуховые рецепторы настоящего. Я—о «чёрной» волне, прокатившейся по Новому Свету после памятного удушения белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда и вызванного этой волной погромного цунами в Старом Свете. Вольтовы дуги событий, закодированных в дугинских предсказаниях! И ведь они далеко себя не исчерпали. И предсказания, и события…

— Идёт массовая миграция Востока в Европу, и в частности в Россию, с неизбежной при этом переменой координат. Ислам медленно, но настойчиво перекраивает карту мира. Через сколько лет, по вашим прогнозам, Европа может стать мусульманской?

— Это другой разговор. Но только я противник слова «Азиопа». Это оскорбительно. Что касается ислама в Европе, то, во-первых, мы—не Европа. Мы—самостоятельная православно-тюрская евразийская цивилизация. Наше отношение с исламом или странами Востока—это совершенно отдельная модель. Европа долгие столетия колонизировала исламские страны. И когда туда прибывали европейские колонисты, устанавливавшие свои законы и притеснявшие местное население, это европейцами воспринималось совершенно нормально. Как модернизация третьего мира, архаических культур. Вот эта европейская империалистическая сволочь должна платить по счетам. Они гуляли над исламским миром, делили его, как хотели, проводили свои границы, членили, устраивали марионеточные режимы, навязывали свою ценностную систему. А теперь пусть расхлёбывают то же самое.

Когда европейская экспансия, ослабнув, захлебнулась, когда она перешла на новый уровень постмодернистских технологий, а европейский человек стал вырождаться, теряя свою идентичность, пришли сильные традиционные народы и стали эту Европу постепенно захлёстывать. Поэтому европейцы во всём виноваты сами. Они построили демоническую, антирелигиозную, антихристианскую культуру, светскую, масонскую и очень агрессивную. И чем быстрее сгинет это омерзительное образование, тем лучше! Они сами со своими правами человека создали себе самоубийственную

ситуацию. Стали принимать эмигрантов со всех точек мира, давать им мультикультуралистскую возможность полностью реализовывать свои собственные стратегии, не обязывали их впитывать европейскую модель, которую, впрочем, европейцы уже утратили, и, соответственно, сами создали себе головную боль. Если европейцы хотят собраться и отстоять свою культуру—ради Бога. Мне это будет очень симпатично. Но они не соберутся и будут ныть и разлагаться. Поэтому пусть Европа будет исламской.

—Не получится ли так: чтобы спасти себя, русским придётся спасать Европу?

—Никогда! Ни в коем случае не надо спасать европейцев. Европейцы—это самостоятельный путь, у них—своё начало, своя середина и свой конец. Они сами пришли к гибели. И России надо категорически отстраняться от тех деструктивных и катастрофических процессов, которые происходят на Западе. Запад гниёт, как говорили ещё славянофилы. Вот сейчас можно сказать: Запад догнивает. И в данном случае слова Ницше: «Подтолкни то, что падает»,—вполне уместны. Нам плевать на этот мир. Он нас не любил. Он нас всё время пытался втянуть в собственную орбиту на третьестепенных основаниях. Он строит против нас систему противоракетной обороны. И если ислам подтачивает европейский мир изнутри, сбивая его внутреннюю агрессивную готовность, я этому аплодирую. Исламская миграция в Европу? Великолепно! У меня, кстати, есть ряд друзей, которые являются мусульманами-европейцами и прекрасно понимают, что Запад в том виде, в каком он существовал, кончился.

Вот шейх Абдель-Вахид Паллавичини. Он принял ислам. И вся семья его приняла ислам. А знаете, кто он? Потомок итальянских королей! Первые Паллавичини в эпоху Средневековья участвовали в крестовых походах. А нынешний Паллавичини, будучи взрослым человеком, принял ислам вслед за Рене Геноном, великим французским философом, которого я очень люблю. Мой ближайший друг, итальянец и евразиец Клаудио Мути, тоже давно принял ислам.

—Чем они это объясняют?

—Они объясняют это тем, что Европа—такая современная сущность, выродившаяся и утратившая свою духовную идентичность, что лучше взять чужую, восточную, живую духовную традицию, чем копаться в этих правах человека, правозащитном движении и толерантных браках марширующих гомосексуалистов. Я, конечно, может быть, предпочёл бы иметь дело с рыцарской Европой немецких романтиков или Средневековья, которая мне очень близка и интересна. Но такой Европы, увы, нет. И те люди, которые разделяют этот идеал—настоящей, духовной, глубокой, интеллектуальной, героической, мощной Европы,—они же с омерзением отворачиваются от Европы современной и ищут спасения на Востоке—в Евразии, в исламе, в индуизме, в китайской традиции, в православии русском. И правильно делают. Потому что на самом деле Европа завершена.

—Но даже в крупных городах русской провинции, преимущественно православной и, казалось бы, далёкой от всех азиатско-исламских веяний, некоторые люди принимают ислам. Как быть с этим?

—Во-первых, на индивидуальном уровне каждый может принимать религию сам. В восьмидесятые годы, несмотря на то, что я был русским православным крещёным человеком, передо мной встал вопрос о выборе духовного пути. И это был сознательный и рациональный выбор, к которому я пришёл после долгих размышлений, поисков и исследований самых разных религий. Пока у нас есть живая православная вера, то долг русского традиционалиста—не искать чего-то лучшего, а возвращаться к её корням и постараться максимально возродить её наиболее древние основы. Уже в девяностые годы постепенно эта мысль привела меня к старообрядчеству, а точнее—к единоверию. Я—единоверец. Потому что единоверие предполагает возврат в рамках нашей православной Церкви к древним обрядам, ритуальным и доктринальным теоретическим канонам. Вот это путь. Путь русского традиционалиста, который хочет вернуться к духовности и обнаруживает эту духовную родину в русском православии. И этот путь мне представляется самым естественным. Но…

Я хочу сказать, что, когда я вижу русских, принимающих ислам массовым образом, у меня возникает некоторое недоумение. И я замечаю, что они, как правило, немедленно начинают обливать грязью русскую веру. И здесь, мне кажется, любой человек, живущий в России и обливающий грязью русскую веру,—мусульманин ли он, не мусульманин, русский ли или не русский, атеист или буддист,—тем самым ставит себя в некоторую неловкую позицию по отношению к обществу. Русское православие—это часть нашей святыни. Да, люди делают свой выбор. Но начать тут же его декларировать, пояснять и стараться сделать нормативным?.. Я считаю это неверным. Кстати, каждый мусульманин может принять православие. Но я бы тоже не делал из этого факта некой кампании. Принял—молодец. Но если принял и начинает осуждать ислам, вот тут я не поддерживал бы тех людей, которые, поменяв веру, начинают оплёвывать веру предшествующую. Обратите внимание: даже если он перешёл в мою веру. И я бы такого человека осадил. Точно так же я очень плохо отношусь к русским, которые

предают православие и начинают воспевать ислам буквально. Когда я вижу таких людей, как Али Вячеслав Полосин, который был попом, удостоенным священнических таинств, и он не просто принимает ислам и делает это публично и с размахом, но начинает оплёвывать православие, я считаю, точно так же, как многие русские мусульмане, это неприемлемым. Чемодан—вокзал—Саудовская Аравия!.. И там делай что хочешь, если тебе это позволят. Тот, кто неверен в своей вере, уже подозрителен. Тот, кто отказывается от неё, уже сомнителен. Это слишком серьёзная вещь—смена конфессий. Может такое произойти? Может. Мало ли—ударило. А вот дальше должно быть правило: пятнадцать-двадцать лет молчать. Через пятнадцать-двадцать лет посмотрим. Если есть какой-то русский мусульманин, который принял ислам двадцать лет назад и достиг в этом определённых результатов—стал уважаемым в исламской умме, я с таким человеком буду разговаривать. Но если новоиспечённый (по три-четыре года, а то и по три-четыре месяца) русский мусульманин начинает предъявлять собственную новоиспечённость, это вызывает у меня омерзение.

— После моего неудачного захода с Бродским я уж и не знаю, как вы относитесь к Василию Розанову…

— Я очень люблю Розанова…

— И тут мы совпадаем: я тоже люблю Розанова! Так вот, Розанов в своё время говорил, что все походы Ганнибалов, Македонских, Суворовых, Наполеонов—это лишь увертюра истории. А настоящая мировая история начнётся с диалога религий. Похоже, она началась, но начался ли диалог?

— Это очень серьёзно. Конечно, диалог религий возможен. Только в этом диалоге нельзя найти истину. Потому что, если каждый из нас откажется от своей религиозной позиции, мы уйдём от истины, а не придём к ней. Уйдём от своей истины, но не обретём другую. Поэтому этот диалог, как и диалог цивилизаций, возможен, но не в целом. Никогда мусульманин не убедит христианина, что его вера права. Никогда христианин не убедит иудея, индуиста или буддиста, что его вера права. Диалог вести можно. Но глобально веры—вот эти мощные анклавы религиозных цивилизаций—они на самом деле в течение тысячелетий неизменны. Последняя появившаяся мировая религия—это ислам. И все попытки создать в религиозном контексте что-то ещё не дали никакого результата. Только секты, какие-то комбинации.

Впрочем, кроме ислама, возникла ещё одна религия—религия прав человека, масонство, либерализм. Это тоже своего рода атеистический культ. Но он-то как раз и приходит сегодня к кризису, когда мы говорим о том, что религии снова поднимаются. Об этом писал социолог Питер Бендер, который ввёл такой термин—«десекуляризация». Мы живём в эпоху десекуляризации. Десекуляризация—это значит возврат к религии. И эти религии обречены на диалог друг с другом. Но это диалог обмена позиций. Можно прийти к частному мнению—например, какую зону мира считать приоритетно христианской или исламской? Вполне. В рамках этого диалога можно договориться, как относиться к иноконфессиональным меньшинствам в случае преобладания той или иной конфессии. И это немало.

Можно говорить об определённом философском сходстве в рамках теологии. Мы проводили очень серьёзный симпозиум, который назывался «Против постсовременного мира». Это был съезд традиционалистов. И там был разговор с представителями самых разных конфессий. Говорили относительно того, что платоническая и неоплатоническая философия является в значительной степени ключом или инструментом перевода многих религиозных и богословских доктрин между различными традициями—между иудаизмом, исламом, христианством, индуизмом. То есть надо найти язык, на котором этот диалог религий можно вести.

И вот один из выводов этой конференции мне представляется очень ценным. Это осмысление платонической и неоплатонической топики для того, чтобы на её основании вести диалог. Давайте помиримся? Давайте. Но на базе чего? На уровне догматов примирение невозможно. Догматы у религий взаимоисключающие. Потому что если иудей откажется от некоторых своих фундаментальных идей, он просто перестанет быть иудеем. Точно так же—христианин и мусульманин. Надо вести этот диалог религий, стремясь ни в коем случае не скатиться в опасность создания некой мировой псевдорелигии.

— Однажды я прочитал в журнале «День и ночь» прозу сибирского классика Эдуарда Русакова. Называется она «Рассказы завтрашнего дня». Автор моделирует сюжеты будущего. В одном из этих рассказов, который называется «Крестильная каша», описывается, как отец не может устроиться на работу, потому что у него нет свидетельства о крещении ребёнка. Чиновник всячески тому препятствует. Сегодня это будущее уже заглядывает в наши школы. Каким оно вам видится, если религиоведение становится частью школьной программы?

— И хорошо, что становится. Я считаю, что детей надо крестить. Русский человек должен быть православным. Либо—православие, которое является нашей общей религией. Либо, если мы говорим о мусульманских анклавах,—посвящение в ислам. Это их право, потому что они воспитывают детей и это их дети. Когда они вырастут, тогда могут

сделать осознанный выбор. Пока они его не сделали, родители обязаны быть верными своим традициям. Мы же учим детей тем или иным культурным и нравственным принципам? И не спрашиваем, нравится им это или нет. Мы говорим: «Так заведено, и это—правильно». Если мы сами верим в Бога, мы не можем в Нём сомневаться. И не можем думать: крестить или не крестить? Обязательно крестить. Если человек не крещёный, значит, он, наверное, мусульманин или (поскольку у нас меньше иудеев) иудей…

— Ну а вдруг—атеист? Я—против атеизма. Но—всё-таки?

— Атеист? Я таких не знаю…

— А я, представьте, знаю.

— Они исчезнут. Потому что без Бога человек существовать не может. Европа своим уничтожением на наших глазах демонстрирует, куда приводит смерть Бога. Ницше возвестил: «Бог умер». Для европейского человека это стало нормой. Но не прошло и ста лет, когда другие философы сказали: «Умер человек». Потому что без Бога он не смог протянуть долго. Атеистическая гуманистическая культура пришла к своему закономерному краху в постмодернизме, к тем самым красным человечкам, которые галерист Марат Гельман расставил в центре Перми. Пришла именно потому, что без Бога человек стоять не может. Поэтому атеист—это очень неустойчивая позиция. Эта позиция своё отсуществовала. Она внедрялась активно и насильственно советским строем и постепенно пришла к собственному краху.

— Но разве сегодня было бы верным считать, что русские люди все поголовно—верующие?

— И это очень плохо. Что делает писатель, когда он предлагает нам «Рассказы завтрашнего дня», о которых вы сказали? Он описывает нормативное будущее. И правильно делает.

— А может, оно, с его точки зрения, ненормативное?

— Нормативное будущее будет таким. В царской России церковная метрика была, по сути, фактом регистрации рождения. Человек рождался физически, и он рождался в духовном. Рождаясь в духовном, получал метрику о своём крещении. В него всевали семена Святого Духа. Другое дело, мы говорим, что современные русские люди—неверующие. Современные русские люди—это жертвы страшного эксперимента. Что-то в нём было очень хорошим. Социальная справедливость, державность, патриотизм. А что-то—чудовищным…

— Извините, но я не могу не поделиться личным ощущением: как ни парадоксально, современные русские люди менее верующие, нежели в тот самый чудовищный атеистический период, о котором вы говорите. Я крестился, кстати, тайно, в советские времена. Ладно, это мой личный пример. Но наше прошлое общество в своём большинстве верило в то, что мы не построили,—в коммунизм. И эта вера сочеталась с православными догматами.

— Сочеталась, но не напрямую.

— Но это сочетание ведь крепило общество?

— Да, но впоследствии пришла ещё более страшная идеология, чем коммунистическая,—либеральная. Она лишает каких бы то ни было социальных связей. По сути, она не только антисоциалистическая, но и антисоциальная. Либерализм—это идеология, которая в основе своей тоталитарна, в отличие от того, что она преподносит словесно. Она сознательно, очень активно и насильственно разрывает связи между людьми, отрывает человека от всяких высших духовных горизонтов и, в сущности, превращает его в грязную эгоистическую полуобезьяну-полумашину. На фоне этого либерализма, который утвердился в девяностые и в значительной степени в двухтысячные годы, советский период кажется идеалом.

— В своих ответах «Литературной газете» вы сказали буквально следующее: «Национализм приведёт к краху России, и Путин это прекрасно понимает. Либерализм абсолютно не проходит в нашей стране… Соответственно, остаётся только евразийская модель». Не противоречит ли это вашему высказыванию о том, что общество тяготеет к консерватизму, а власть—к буржуазному национализму? Как же тогда это сочетается с желанием власти применить евразийскую модель?

— Евразийская модель—это и есть консерватизм.

— А тяготение власти?

— А тяготение власти—это та борьба, которую… Если бы Путин стоял на евразийских позициях, он бы всё это время занимался другими вещами. Когда он пришёл к власти, у него был один выход: стать евразийцем. Единственный!

— Кстати, вы приветствовали в своё время приход Путина?

— Приветствовал. Приветствовал его первые действия. Приветствовал его победоносную войну в Чечне. Приветствовал его назначение губернаторов. Приветствовал его укрепление России. И вообще все шаги, которые он поначалу стал делать. Потом, после две тысячи второго—две тысячи третьего годов, Путин вступил в очень сложную ситуацию, когда он совершенно неправильно

прореагировал на американские события, связанные с нападением «Аль-Каиды». Это был первый сигнал того, что он плохо понимает геополитику. И я ему об этом откровенно написал. Я просто категорически осудил допуск американцев в Афганистан. Я считаю, что после этого Путин был блокирован и оказался в ловушке. Как, с помощью какого алгоритма Запад управляет евразийцем Путиным, я ему лично и подробнейшим образом транслировал через очень серьёзные инстанции. И он об этом не может не знать. Естественным образом Путин склоняется к евразийству, но…

Политические элиты, которыми он окружён, ориентированы исключительно атлантистски. И многие из них являются осознанными агентами влияния либерально-западной модели. И тот факт, что Путин делает одно евразийское заявление, а потом—десять атлантистских, означает, что он не сам колеблется, а он просто-напросто блокирован. И евразийство в данном случае—то, к чему Путин должен прийти. Как только Владимир Владимирович встанет в позицию евразийства, он будет по-настоящему народным президентом. Он стал им, когда спас страну от послеельцинского развала. Он укрепил её. Сделал её управляемой. Но он не последовал дальше и начал даже по некоторым вопросам отступать.

Путин считал, что он выиграет у Запада время, в очередной раз пуская пыль в глаза либералам, поднимая Юргенсов и Гондмахеров, создавая эффект якобы либерального кредо, а потом возвратится легально. Может быть, он на это пошёл. Я не осуждаю. Но он заигрывает с либерализмом. Это очень опасная игра. Если Путин хочет спасти Россию, он должен быть евразийцем и опираться на консервативное большинство.

— Считаете ли вы, что в потенциальном создании Евразийского союза есть в определённой степени ваша идеологическая победа?

— Конечно. Это моя идеологическая победа. Но что оттеняет радость от реализации моих проектов на высшем уровне? Это упущенное время. И— сохранение тех же самых деструктивных элементов в окружении Путина. Я знаю нескольких людей, которые управляют в том числе идеологическими и политическими проблемами и превращают любую идею в её противоположность. Видя этих людей на своих местах, я прекрасно понимаю, что любые патриотические заявления и действия Путина будут пущены под откос.

— А наши национально-патриотические силы, которые себя никак не выражают во время очередных предвыборных кампаний, если не брать во внимание их эмблемные обозначения в программах «проходных» партий? Может быть, их реальный приток в отечественную политику оздоровил бы сложившуюся ситуацию? И присутствие в ней национально-патриотических сил лучше, чем присутствие либералов?

— Чем присутствие либералов, лучше присутствие обезьяны. Либералы—это как яд. Что лучше— цианистый калий или прогнившая колбаса? Конечно, прогнившая колбаса. Вот наши патриоты— это прогнившая колбаса. Лучше, чем цианистый калий, но хуже, чем свежая. На самом деле наше патриотическое движение находится в глубоком кризисе, которому способствуют следующие факторы. Первый: это умственная неполноценность их лидеров, просто какая-то антропологическая их дисквалификация!..

— Например?

— Все! Это просто продажные, слабоумные, одержимые тщеславием люди. И к ним подваливают новые—такие же. Это паноптикум. Второй момент: либералы очень хитры, они сознательно поднимают в национал-патриотическом движении наиболее одиозные фигуры, помещают их в идиотский контекст и постоянно выставляют дегенератами. Это уже тактика врага. Как с этим бороться? Очень трудно. Даже—неглупым людям. Третий фактор: среди национал-патриотов ещё очень много людей недальновидных, реагирующих и опирающихся на бытовую ксенофобию, которая в нашем обществе нарастает. Это очень опасная вещь. Потому что благодаря такой экзальтации можно очень легко разрушить страну. Можно, конечно, её разрушить и путём толерантности, и это происходит довольно часто, но ксенофобия—не лекарство от толерантности. Это другая форма заболевания.

То есть здесь вместо одного либерального яда предлагается другой. Но справедливости ради надо сказать: предлагается далеко не всеми национал-патриотическими силами. Есть вполне вменяемые. Самые приличные национал-патриотические силы—это левые. Это такие люди, как Александр Проханов. И его позиция в национал-патриотическом движении мне ближе всего.

Но, к сожалению, имея огромные возможности объединить здоровую оппозицию, начиная с девяностых годов, Александр Андреевич этого не сделал. У него были и есть талант, оргспособности, колоссальная энергия, совершенно правильный взгляд на баланс красного и белого в нашей истории. Проханов уникален тем, что не отступает от этого баланса—он и русский, и советский патриот. При этом он ещё и прекрасный организатор, чудесный администратор, идеальный человек-менеджер. И как, обладая такими дарами, он ничего не смог сделать вокруг своей газеты? Почему его кидало то в поддержку Зюганова…

—…то в поддержку Путина, в котором он потом разочаровался?

— А вот что затем его бросило к Березовскому и Закаеву, когда он разочаровался в Путине?.. Это я считаю абсолютно недопустимым. Взгляды Александра Андреевича — его идеология и мировоззрение — правильные. Но я, как человек, хорошо знающий Проханова, видел ряд технических ошибок, которые он совершал на разных этапах, и поскольку ему было много дано, с него много и спрашивается. И, в принципе, Проханов за все эти двадцать — двадцать пять лет в оппозиции — единственный, кто мог что-то сделать. Я много раз ему говорил: «Чего вы ждёте? Почему вы делаете ставку на одного, на другого, на третьего? Надо пробовать самому. Надеяться на какого-то там Бабурина и Павлова?.. Вы же — на десять голов их лучше, активней, ярче, известней». Мне кажется, у Проханова, при всех его амбициях, есть какая-то недооценка личных качеств. Я помню, мы в тысяча девятьсот девяносто втором году ехали с ним и Зюгановым в Питер. Беседовали, будучи в одном вагоне. И вдруг Александр Андреевич говорит: «Мне бы — на двадцать лет меньше!» Ну какое — на двадцать лет?.. А теперь мы отматываем ещё на двадцать лет вперёд после этого разговора и видим, что эти двадцать лет он провёл как борец. Чего сетовать-то было тогда, когда ему было пятьдесят? Если бы эти двадцать лет он не сетовал и не обкладывался какими-то неумехами, или — звёздно болеющими константиновыми и аксючицами, или — хасбулатовыми и руцкими и не выдвигал их на первый план…

— Может, Александр Андреевич в детстве любил играть в солдатики? Передвигать их по комнате?..

— Вот и надо было передвигать их дальше! Надо было взять солдатика Зюганова и сказать: «Ты будешь так ходить и так!» Зюгановым любой человек повелевать может. Секретарша Суркова строила Зюганова как хотела. Конечно, можно сказать: у Суркова была власть. Но у Суркова, в первую очередь, есть решимость давать затрещины всем в политической системе. Проханов же обладает самыми мужскими качествами на фоне этой вечно ноющей и абсолютно бабской национал-патриотической оппозиции, готовой подстелиться под кого угодно, продать друг друга, получив деньги от власти. Где гордость у наших национал-патриотов? Где их воля и самостоятельность?!

— Выступая с лекцией в пермском госуниверситете, вы сказали, что «по всем статьям советское общество выигрывало над буржуазным либерализмом». И далее: «Национализм для России губителен, социализм — нет. Социализм имеет шанс на восстановление». Каким вам этот шанс представляется?

— Я думаю, что это, конечно, не марксистский социализм, не догматический коммунизм, не материализм и не атеизм. Я предполагаю, что это может быть некое социальное православие или социальный традиционализм, социал-консерватизм. Кстати, это очень хорошая идея. «Единая Россия» одно время даже пыталась её развивать, но поскольку это опять же чисто марионеточная, совершенно недееспособная структура, то здесь, конечно, ожидать каких-то результатов не имело смысла. А направление очень хорошее — социальный консерватизм. Что это означает?

Ценности традиционные — семья, религия, вера, дисциплина, порядок и общественная иерархия. А с точки зрения социальной организации — справедливость, в значительной степени — равенство, солидарность общества, отсутствие мощного различия между бедными и богатыми, ориентация на поддержку слабых… Таким я вижу будущее. Более того, если консерватизм будет держаться на либеральной основе в экономике, на капиталистической модели организации общества (кто богатый — тот прав, кто бедный — тот не прав), вот тогда этот консерватизм будет дискредитирован. Поэтому сам я являюсь сторонником социально ориентированного консерватизма, но только хочу подчеркнуть: не марксистского, не атеистического и не материалистического. То есть нам нужен другой социализм. Вопрос: есть ли теория другого социализма? Сколько угодно. Начиная от социал-демократии и кончая экстравагантными моделями Эзры Паунда — великого американского поэта и мыслителя, который разрабатывал совершенно альтернативную экономическую теорию. Это гениальный человек, обладающий тем самым другим взглядом на экономику. У меня очень много работ на эту тему и издана книга «Конец экономики», где в том числе я описываю модели той социально ориентированной экономики, которая не являлась бы марксистской и была бы жёстко оппонентной либерал-капитализму. Я противник капитализма вообще.

— Говоря на лекции о русской идентичности, вы обмолвились: «Нет доказательства влияния крови на социальные установки общества». И тут же сказали: «Сербы с русскими если знакомятся, то между ними что-то настоящее дрожит…» Не опровергаете ли вы тем самым самого себя по поводу отсутствия доказательств «влияния крови»? Мне вспоминается, как Василий Аксёнов, известный фанат джазовой музыки, выступая на ТВ, однажды во всеуслышание признался: «Что-то во мне такое происходит, когда я слышу песню „Светит месяц, светит ясный…“. Слёзы наворачиваются». Это ли не пример того, что одна его половинка — русская — пересилила другую? Вот вам второй пример: легендарный поэт Юрий Влодов как-то сказал: «Если даже представитель той или иной нации пишет на русском, всё равно он

остаётся еврейским, армянским или татарским поэтом». Пожалуйста, Чингиз Айтматов. Что это? Это проза киргиза, пишущего на русском. Или — Олжас Сулейменов. Это — поэзия казаха, пишущего на русском. В моём представлении кровь — очень сильный элемент. У меня есть университетский друг, живущий в Перми, писатель Юрий Асланьян. По паспорту он — русский. По-армянски знает только пару крепких выражений. Но он мыслит-то как армянин! А в стихах тяготеет к мужским аскетическим рифмам, характерным для армянского языка. То есть, даже если ты забыл свой язык и на нём не пишешь, а пишешь на другом языке, даже если ты его никогда не знал, ты продолжаешь мыслить так, как если бы писал на своём кровном, корневом. Значит, ведёт уже не язык, а что-то другое?

— Культура. Культура шире, чем язык. Культура — это то, что мы впитываем в детстве. Это микрожесты, отношения в семье. Есть понятие социума. Немецкий философ и антрополог Адольф Портман говорил очень интересную вещь: для животных с массой человека, который рождается, существует очень короткая беременность. С точки зрения млекопитающих, это бросается в глаза, это аномалия вида. Из этого Портман вывел идею: что беременность продолжается, но, поскольку человек существо социальное, она продолжается в матке или… в матрице общества. Когда человек появляется на свет, он здесь, в этом состоянии, уже будучи младенцем, впитывает в себя из общества те компоненты, которые животное формирует, находясь в утробе. Таким образом, происходит наше культурное кодирование — не на уровне крови, а на уровне воспитания самых первых младенческих элементов. И вот это младенческое состояние, которого мы не помним и считаем, что оно не существовало в нашей сознательной жизни, является долговременным формированием наших базовых реакций.

Например, как может появиться армянин у русских родителей? Ясно, что родители — армяне. И ясно, что армяне-родители были младенцами среди родителей-армян и так далее. И всё происходящее на этом уровне может передать то, что мы приписываем крови. Это культурное воздействие даже не языка, а кодов. А кровь — метафора. Об этом, в частности, говорит Вильгельм Мюльман, немецкий историк этносоциологии. По его теории, есть А-раса и Б-раса. А-раса — это принадлежность людей к конкретным родителям. Это на самом деле недоказуемо. Только научными методами можно доказать, к кому мы принадлежим. И есть Б-раса. Это то, к чему мы думаем, что принадлежим. Так вот, с точки зрения социологии, имеет значение только Б-раса. К чему мы относимся социально. Если все будут считать человека армянином, он сам начнёт считать себя таковым, кем бы он ни был, и будет мыслить по-армянски.

— У вас есть работа «Тамплиеры Иного»…

— Только я её не опубликовал…

— Но те выдержки из неё, которые я отыскал в Сети, меня заинтересовали. В какие годы вы пришли к ощущению, что «божественное присутствие покидает бытие»? «Мир „расколдован“, сакральное измерение исчезло». Это же ваши слова? «Люди, лишённые связей с небесным планом, превращаются в „недолюдей“».

— По-моему, это были семьдесят восьмой — семьдесят девятый годы. Мне тогда было лет шестнадцать-семнадцать.

— Дело в том, что я тоже пришёл к сходному ощущению, но, разумеется, не читая этой вашей работы…

— А никто не читал. Её никто не знает. А то, что вы нашли в Сети, это я сам о ней рассказывал…

— Я-то пришёл вот к чему: Бог из Слова ушёл. Пусто! Осталась скорлупа ореха. Куда Он ушёл из Слова? Может — в Музыку? Или — в Живопись? Но потом, через длительный отрезок времени, я вдруг почувствовал, что скорость существования Бога в Слове не только восстановилась, но и убыстрилась. Значит, он туда вернулся?.. То есть (не ощущаете?) всё происходящее в мире становится в разы стремительней. Допустим, я мысленно обращаюсь к Высшей субстанции. Прежде — в ответ — ничего не происходило. Или — долго не происходило. Сейчас — происходит практически мгновенно…

— Я имел в виду нечто другое. А именно: фундаментальные свойства космической среды, не связанные ни со Словом, ни с искусством, ни с политикой, ни с жизнью. Это более глобальный взгляд.

— Но вы с этим давним своим утверждением согласны? Или «божественное присутствие» возвратилось в покинутое бытие?

— Нет, я считаю, что в этом вопросе ничего не изменилось.

— То есть фактически мы живём в окружении подавляющего числа «недолюдей»?

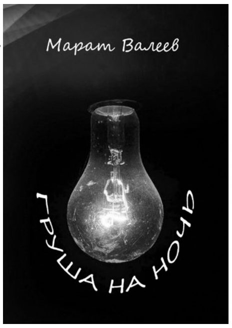
— Абсолютно точно.

— Это касается и России, и мира в целом?

— И — России, и — мира. Потому что, когда мы утрачиваем сакральность, веру, мы утрачиваем статус человека. Я не верю в автономного человека — никакого человека нет. Существует маска, персона, которая может скрывать за собой либо

вот это тяготение к божественной воле, либо — демонические силы. Сегодня мы действительно живём в окружении «недолюдей», именно потому, что они утратили это сакральное измерение. Но… почему они — «недолюди»? Почему они не просто люди без Бога? Потому что без Бога, по моему глубочайшему убеждению, человек существовать не может вообще. Ни одного мгновения!.. Без Бога он может существовать только в рамках Дьявола.

Поэтому, как только это место освобождается, оно не остаётся пустым. Ещё Достоевский чётко различал, что сердце человека — это вместилище битвы Бога с Дьяволом. Если Бог удаляется из нашего сердца, то оно немедленно заполняется Дьяволом. Мы не можем находиться в состоянии человека. Человек, как, например, говорил немецкий антрополог Арнольд Гелен, — это человек с недостатком. Он должен быть чем-то заполнен. И он может быть заполнен либо лучами божественного (но это явно не наш случай, не нашей цивилизации), либо начинается демоническое вторжение. Сегодня люди не потому «недолюди», что они такие биологически или по собственной воле, а потому что без Бога они становятся игрушками Дьявола.



Марат Валеев

Груша на ночь

юмористические и сатирические рассказы
Красноярск: «Литера-принт», 2020

Свидание

— Мужчина, вы тут кого-то ждёте?
— Жду. Но не вас.
— А может быть, всё-таки меня?
— Почему вы так решили?
— Ну, я же вижу, вы в руках держите газету «Флирт», и рубашка на вас кремовая.
— Погодите, погодите… Ну-ка, назовите свой ник.
— «Нефертити».
— Ну да, как же я сразу не понял. Вот и кофточка на вас любимого киркоровского цвета. Юбочка синяя. Всё точно, как написали. Что ж вы так долго не подходили? Я уже чуть было не ушёл.
— Не забывайте, что я всё-таки дама. И потом, я хотела убедиться, что вы в самом деле тот, как вы себя описали. Я шла к Гераклу. Ведь это ваш ник?
— Да, я «Геракл». А что, непохож?
— Нет, почему же. Правда, вот этот ваш нос картошкой как-то не вяжется с тем греческим профилем, который вы приписали себе.
— Что вы говорите?! А вы вот написали, что у вас большие голубые глаза. Они, конечно, с голубизной. Немного. Но вот насчёт больших… Может, вы слегка прищурились?
— Кто бы говорил! А где широкие плечи? Что за опухоль скрывает ваш брюшной пресс? Впрочем, я вижу, что он у вас действительно накачан. Вот только чем?
— А как насчёт «длинных стройных ног»? Или по дороге нечаянно погнули?
— Ах ты, коротышка! Тоже мне, Геракл недоношенный! Лгун несчастный!
— Сама-то, сама-то! Нефертитька, вот ты кто!
— Прощай! И забудь мой электронный адрес!
— Да уж конечно! Сейчас приду домой и убью все твои посты. И без тебя всякого хлама в компе хватает!
— Ну, что же ты не уходишь, Геракл? Или как тебя на самом деле?
— Да Коля я. Слушай, а ты вообще-то ничего. Не Нефертити, конечно. Да и кто она такая, эта Нефертити? Миф египетский. А ты — вот она, живая, сердитая, но в моём вкусе. Как тебя зовут?
— Ну, допустим, Вероника. А как насчёт погнутых ног?
— Вероника… Какое чудное имя. А насчёт ног, — извини. Это я со зла ляпнул, когда ты по моему носу проехалась. Очень даже ничего ноги. Я бы даже сказал — ножки. Признаться, не люблю глупых дылд с ножищами. До них, как до уток, всё доходит только на седьмые сутки. И вообще, мне кажется, мы подходим друг другу.
— Ты так думаешь, Николай? Признаться, и ты мне сразу понравился. Иначе бы я к тебе просто не подошла. Вот только зачем наврал про себя?
— Веронька, ну это же реклама. Ты, кстати, тоже пропиарила себя — будь здоров. Ладно, забудем об этом. Предлагаю продолжить нашу беседу у меня дома за чашкой шампанского.
— Надеюсь, приставать не будешь?
— И не надейся!
— Тогда пошли.

Сергей Шулаков, Анна Евтихиева

Хуже мы всех прочих

Две ипостаси Гоголя

Анна Сергеевна Евтихиева — кандидат филологических наук, специалист в области русского языка и литературы, преподаёт в МГУ имени Ломоносова. Лауреат Международного литературного форума «Золотой Витязь» и премии «Имперская культура». В работе «Два облика Гоголя. Мистические искания автора „Мёртвых душ“ и его влияние на развитие русской литературы в работах авторов русского зарубежья» Анна Евтихиева анализирует суждения писателей и литературоведов, в эмиграции обратившихся к фигуре Гоголя. Некоторые из них говорили о Гоголе — породителе «ночного сознания» русской литературы. «Для одних Гоголь стал „чёртом, выгнанным за что-то из ада“, магом, чьё безблагодатное волшебство стало чёрным, лицемером, взвалившим на себя миссию поучать других, или даже просто душевнобольным, — говорит автор. — Другие видели в нём человека, искренне стремившегося достичь духовной чистоты, пытавшегося бороться со страстями, писателя, как никто другой осознававшего необходимость воцерковления искусства, пророка православной культуры». С литературоведом Анной Евтихиевой беседовал Сергей Шулаков.

— Анна Сергеевна, вы указываете на мнение Владимира Ильина о том, что Гоголь обладал гипертрофированным чувством зла и область положительных понятий, может быть, была ему недоступна. Как, по-вашему, повлияла сама обстановка, в которой работали исследователи-эмигранты, — крах православной империи, личные несчастья — на их мнение о «тёмной стороне» творчества Гоголя?

— Вопрос непростой… Может быть, и не столько из области философии, сколько из нейрофизиологии, в том смысле, что невероятно сложно до конца определить, как именно внешние события влияют на наш мозг, на нервные клетки и насколько объективны мы в своих реакциях и оценках… Да и можно ли вообще здесь говорить о какой бы то ни было объективности, если речь идёт о личных переживаниях?.. Все мы так или иначе находимся под гнётом собственных страданий и сомнений. Думаю, что если человек переживает трагедию, надлом, вряд ли он может отстранённо и непредвзято судить о жизни вообще, а в искусстве, в литературе особенно, возможно, как раз и ищет каких-то созвучных горестных нот… И в связи с этим мне кажется, что прав Б. Зайцев, восклицавший: «Не было в Гоголе никакого благополучия! Или спасение, или гибель. И надо сказать, ужас гибели непомерно велик». Уже сколько было сказано и написано о том, какими невосполнимыми потерями обернулась для нас революция тысяча девятьсот семнадцатого года, в области культуры особенно; пережить невероятное, непосильное испытание тяжело и страшно человеку вообще, и человеку творческому — писателю, философу — насколько мучительно видеть и понимать, что всё, сделанное тобою и веками до тебя, вдруг бессмысленно летит в тартарары, оказывается ненужным и даже объявляется вредоносным и опасным. Каково было именно деятелям культуры, убеждённым в том, что культура истинная по сути своей должна быть глубоко созидательна, способствовать укреплению мира и физического, и духовного, а когда на глазах этот мир разрушался… Мы можем только отдалённо представить себе эти «окаянные дни», как это было, по книгам, воспоминаниям, а что на самом деле тогда происходило в душе людей, мы можем только догадываться. Да, думаю, что атмосфера определённым образом на восприятие влияла…

— Некоторые из авторов, чьи исследования вы приводите, считают, что не будь Гоголя, русская литература пошла бы по-другому, пушкинскому, праздничному и яркому и при этом, конечно, глубокому, направлению. Вы верите в то, что хватило гениального, но единственного Николая Васильевича Гоголя, чтобы изменить вектор развития такого мощного явления, как русская литература?

— Вот сразу хочется вспомнить слова А. Пушкина о том, что если несчастье — лучшая школа, то счастье — лучший университет. Пушкин — солнце русской поэзии, пусть и трагически закатившееся. Гоголь — совсем иной, и это замечательно: он и ироничен, и по-своему жизнерадостен, красочен, но, я бы сказала, более осознанно трагичен, что ли… Вспомним, как он говорил о том, что если мы и видим что-то забавное, смешное, то стоит задержаться — и смешное сразу обернётся

грустным… Ведь по мере духовной и творческой эволюции всё написанное им как-то всё более и более подходило под определение поэзии, данное И. А. Буниным: «боль крестных ран». Думаю, задача Гоголя, христианская, творческая, была во многом в том, чтобы призвать человека к покаянию, насмешкой ли, прямой проповедью — посыл один: остановись, задумайся, осознай, кто ты есть перед Богом, не живи надеждой и иллюзией, что ты примерный христианин, и изменись, пока не пришёл настоящий Ревизор. Собственно, для этого и была задумана такая долгая сценическая пауза в конце комедии. Начнём говорить о праздничности и яркости — через несколько ходов придём к рассуждениям о проблеме положительного образа и идеала в искусстве. Это уже вопрос ко всем писателям и поэтам, да и не только к литературе: почему положительный образ в искусстве так часто такой искусственный, ходульный, сусальный, неубедительный, а зло и порок не лишены известного обаяния?.. О чём, кстати, предупреждал Николай Васильевич: страшно не то, что показывают зло, а что его выставляют в привлекательном виде… Конфликт — основа любой драмы, а с положительными персонажами он возможен ли? И не случайно именно трагедия с античных времён считалась жанром высшим, в отличие от комедии. Даже в фольклоре мы видим, что праздник и радость выражаются скорее в танце, а вот грусть-печаль уже рождает песню, воплощается не в движении, а в слове…

Мог ли он один изменить вектор развития русской литературы? Думаю, что здесь будет уместным, как это ни странно, сравнение с научным открытием. Для того, чтобы учёный пришёл к нему, нужна долгая, незаметная и кропотливая работа его соратников… Так вот и творчество Гоголя во многом было подготовлено секулярным восемнадцатым веком, состоянием русского общества и вообще христианского мира в целом. Но всё же для меня именно Гоголь — пожалуй, первый признанный гениальный художник, который столь серьёзно решает вступить на путь нравственного совершенства, так бесстрашно и откровенно заглядывает в бездну собственной души и не боится говорить о своих пороках, начинает с себя, с устроения «внутреннего хозяйства». В связи с этой темой мы чаще вспоминаем Льва Толстого, его исповедальность, самобичевание, откровенность, порой отталкивающую, мучительные поиски себя в Боге и Бога в себе, рассуждения о возможном соответствии евангельских истин и земного пути конкретного человека. Бесконечный мучительный поиск той самой внутренней гармонии духа, которая и есть счастье, как позже определил Ф. М. Достоевский. Так вот, в начале этого пути в русской литературе стоял Гоголь, все творческие и человеческие силы которого были направлены на то, чтобы его плоть, душа, дух соответствовали тем истинам, которые он проповедовал в художественном слове, и он очень остро, болезненно, с какой-то непосильной, на мой взгляд, ответственностью переживал именно духовную слепоту своих современников; его фраза о том, что дьявол уже без маски вступил в этот мир, — это же отчаянный глас вопиющего в пустыне… Эти призывы и предостережения не были поняты даже близкими по духу людьми, Гоголя обвиняли и в излишнем менторстве, и в высокомерии. До какой степени возможно несоответствие между тем, кто ты есть в морально-нравственном отношении, и тем, что ты пишешь, чему ты учишь, что ты несёшь в мир своим словом?.. Нам хочется разделять художника и его творения, думать, что его произведения не есть отражение личного мира и даже душевного состояния. И действительно, можно ими восхищаться, но, как правило, подробностей житейских лучше не знать, тут заповедь «не сотвори себе кумира» нам в помощь. Хотя есть и другие слова: «По плодам их узнаете их…» Мы зачастую воспринимаем художника «по-ахматовски»: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Так вот, вернувшись к гоголевскому выражению «внутреннее хозяйство», скажем, что его задачей было вымести этот сор… На мой взгляд, Гоголь был уверен в том, что если уж писатель ставит перед собой задачу нести в мир истину, высокую правду, призывать человека к преображению и самосовершенствованию, то и сам он, владеющий словом, — а для православного писателя особенно значима евангельская фраза «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — так вот именно писатель и должен в первую очередь обладать особой духовной крепостью и чистотой, чтобы отстаивать правду, иначе она и не будет услышана. Во многом именно об этом гоголевская повесть «Тарас Бульба»: казаки вроде бы и борются за святые узы товарищества, за Родину, православную веру, но ведь что мешает им побеждать? Их земные страсти, слабость духа и тела: привязанность к вещам, к женщине, к вину и тому подобное. Не в том дело, что идеалы ложные или слишком уж недостижимые, хотя идеал и должен быть таким, а рыцари недостойные… Сознательный отказ Гоголя от писательского дара, сожжение «Мёртвых душ» — это и был, по-моему, выбор другого пути. Слишком много сил уходило на служение искусству, слишком невелика была отдача, люди не слышали и не понимали, а обретая мир в себе, спасая себя, спасаешь и тех, кто вокруг себя… Возможно, именно это и было главной целью Гоголя.

— Как вы указываете, К. Мочульский предполагал, что, не будь Гоголя, в нашей литературе воцарились бы «вечный Майков и бесплодие». Не

представляется ли вам, что лучше вечный Майков и необязательное бесплодие, чем логичное завершение гоголевского вектора — «евангелие» от Толстого, секта имени Льва Николаевича, смущение массового читателя и его последствия? Не хочется ли вам, чтобы литература, хоть и обязанная подтверждать обещание жизни вечной и подталкивать человека к её достижению, ещё и помогала бы жить земной жизнью, могла поддержать, позволить глотнуть свежего воздуха?

— Для меня Гоголь и Толстой всё же антагонисты. Путь Толстого — в большей степени борьба, вызов, переиначивание, даже и богоборчество, сомнение в евангельских истинах; Толстой ощущал себя своеобразным соперником Бога по творчеству, в то время как гоголевская стезя — это смирение, в конечном счёте — осуждение своей морально-пророческой позы, покаяние… Условно говоря, Николай Васильевич пытался вести человека к Богу, а Лев Николаевич увести от Бога к себе… Поэтому соглашусь с Б. Зайцевым, который писал, что «толстовский путь бесповоротно кончен, гоголевский может быть продолжен». А что касается вдохновляющей поддержки литературы — так это бесспорно, угнетать не должна ни в коем случае. Призыв Н. А. Некрасова «сеять разумное, доброе, вечное» относится и к писателям, он уже порядком подзабыт и потому перестал быть банальным, да, собственно, между банальностью и истиной граница довольно размытая, так что можно его и процитировать. И почему-то вспомнился мне шукшинский Егор Прокудин, который так жаждет радости, думает, что заслужил её по праву, нагрешил, искупил, настрадался — и вот теперь «душа просит праздника», а праздника-то нет. И интуитивно он понимает, что ликовать угнетённая душа не может, он пытается начать новую, правильную жизнь, едет к брошенной матери, ему надо сбросить груз грехов, и только тогда, постепенно, душа обретёт покой и будет способна радоваться. В этом смысле гоголевский призыв — это как раз призыв к радости, к гармонии духовной, лёгкости и свободе, к единению с Богом, с миром, но всё это возможно только при условии покаяния и очищения, только так человек и может достичь той радостной свободы, которую и даёт ему вера: свободы от греха, свободы выбора, свободы от необходимости совершать зло, иначе говоря.

— В работе «Пасхальность в поэтике Гоголя» профессор Есаулов объясняет явные противоречия в художественной прозе классика: «Сочетание „римского“ и „славянского“ элементов в именах героев (Хома Брут, Тиберий Горобець) можно истолковать как контаминацию католичества и православия в пределах одной личности»; отражение в зрачках ведьмы позлащённых куполов киевских церквей на рассвете — «скрытое взаимодействие высших сил… ставшее „открытием“ для персонажа… свидетельствует о качественно новой ступени апостасии». Не чувствовали авторы русского зарубежья, в том числе лица духовного звания, в своей собственной судьбе исполнения гоголевских пророчеств, последствий отступления от Бога, которому ужасался Гоголь: «Всё глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоём мире!» — и прочее.

— Мир, как известно, во зле лежит… Революция для многих и была торжеством Антихриста; сбылись, наверное, пророчества не только Гоголя и Достоевского, ведь Гоголь говорил: «Старайтесь больше видеть во мне христианина и человека, чем литератора». Как для христианина, мне кажется, особенно значим был для него завет: «Помни страх смертный — и не согрешишь», — и слова из Екклесиаста: «Веселись, юноша… но помни, что за всё это Господь приведёт тебя на Суд». То, что земные испытания и несчастья посылаются в наказание за грехи человеку, который вроде бы и знает, как правильно жить, но сил в себе не находит, «что хорошего хочет делать — не делает, а что плохого не хочет делать — делает», — так это многим людям понятно в теории и без гоголевских пророчеств. Некий замкнутый круг или своеобразная роковая предопределённость. Сейчас не вспомню, кто из античных авторов восклицал: «Что мне делать, о боги?! Ничему не учатся люди», — да и кто только потом этим словам не вторил. Да, русская эмиграция — во всяком случае, многие её представители, — свои мытарства и лишения и революцию в целом воспринимала как возмездие, кару за грехи, и богоотступничество в том числе…То, что писатель настоящий всегда и пророк, — а как может быть иначе? Мне кажется, человеку, владеющему словом, действительно многое открыто, и он по-особому воспринимает и оценивает мир, безусловно; а Слово вообще самый мощный инструмент воздействия, потому и Господь пришёл к человеку через слово, через жанр литературный — притчу… Не через музыку, не через живопись, не через танец…

— Анна Сергеевна, в своём исследовании вы говорите о том, что связь Булгакова с Гоголем очевидна как в прозе, так и в драматургии: их роднит «…ощущение повседневного присутствия зла, вмешивающегося зримо и незримо в деятельность человека и готовящего его гибель (от Воланда и его шайки — до мистического жильца в Зойкиной квартире)». Не простирается ли влияние Гоголя через Булгакова дальше — или по кругу? — на массовую культуру? Уважаемый шекспировед, профессор МГЛУ, переводчица Марина Литвинова в книгах о Гарри Поттере злого мага Волдеморта назвала Волан-де-Мортом, разве что на Патриарших прудах на скамейке не сидел; то же касается и некоторых других героев Дж. Роулинг…

— Трудно сказать, движение это по кругу или по апокалиптической прямой… Между Гоголем и Булгаковым стоит и Алексей Толстой, его дьявольская шайка, граф Калиостро… Опять же, тема древняя, вечная о персонификации зла… тут и де Гевара, и Лесаж, и Гёте… Оно приходит в мир всегда в как минимум интригующем и загадочном обличии, иначе бы мы его испугались и уж точно дел с ним иметь не стали. Нечистый вроде как и слышит быстрее, и знает о твоих нуждах, и помогает эффективнее… Опять повторю слова Гоголя о том, что страшно не то, что изображают зло, а что представляют его в привлекательном виде. У Гоголя, в отличие от Булгакова и А. Толстого, обаятельных злодеев не припомню… И всё же и Гоголь, и Булгаков, и А. Толстой — художники и гуманисты величайшие в этом. Их бесы всегда являются человеку не в совсем уж обычном виде, и, скажем так, у них всегда какая-то внешность запоминающаяся, интересная, таинственная, способности паранормальные. Это притягательно, но и настораживает… соответственно и бдительность, чуткость и способность к распознаванию зла обостряется. Как минимум человек начинает подозревать, что здесь что-то нечисто… Но, как правило, в ловушку всё равно попадает. А ведь в обычной жизни самое настоящее и очевидное зло воплощается и без всякого романтического и мистического флёра, обычными людьми, и деяния их очень хотелось бы считать выдумкой и страшной фантазией, но — увы…

— Недавняя кинотрилогия, разбитая на сериал, — «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» — Николаю Васильевичу, скорее всего, не понравилась бы. Как, по-вашему, в современных условиях само обращение к Гоголю в пространстве молодёжной массовой культуры хорошо или дурно?

— Думаю, что никак… По сути, сериал и к Гоголю, и к его произведениям имеет весьма условное отношение — судьба, к сожалению, многих произведений в эпоху так называемого постпостмодерна, когда ничего своего нового и самостоятельного придумать, кажется, невозможно, поэтому чужое искажается до неузнаваемости, — фабула гоголевская переиначена, и от его замысла, идей, сложнейших ассоциаций, — а передать это в кино хотя бы в минимальном приближении — вполне посильная задача для профессионалов, — так вот от всего этого в сериале, на мой взгляд, нет и следа.

С трудом себе представляю, что кто-то из молодых людей после просмотра сериала подумает: дай-ка я почитаю Гоголя… Ведь основные сюжетные ходы раскрыты, интрига разрушена, авторы сериала скорее «спойлернули», в данном случае воспользуюсь молодёжным жаргоном… У зрителя не читавшего сложится впечатление, что он уже имеет об этих повестях представление, в этом смысле сериал скорее отпугнёт потенциального читателя. Ради интереса спросила у своих студентов, как им этот сериал, получила ответ: «Да ничего, можно один раз посмотреть, только не надо думать, что это имеет отношение к Гоголю». Хорошо может быть только в том смысле, что любое упоминание, даже в отрицательном контексте, лучше, чем замалчивание. Надеюсь, что тех, кто захочет после просмотра всё же почитать Гоголя, ждёт немало удивительных и радостных открытий. Вообще, я бы добавила, что экранизация всегда довольно далека от самого произведения — есть более удачные, есть менее; но ведь двадцатый век убедил нас в том, что значительная часть художественной литературы вообще не нужна… Сейчас попробую пояснить: то, что сводится к сюжету, к фабуле, пусть даже затейливой, что можно без потерь превратить в кино, — вот такие книги зачем читать? Возможно, со мной многие не согласятся, но в тексте мы ищем не только событийную канву, есть ещё художественный образ, авторский стиль, поэтика, его язык, его личность, его замысел, который может быть и глубже, и сложнее, чем режиссёрский, а кино всегда навязывает именно режиссёрское восприятие; литература — искусство слова, кино решает другие задачи и совсем другими методами и приёмами. Так вот в этом смысле Гоголь — литература высшей пробы, любая экранизация его будет вторичной и чтение не заменит.

— Писатель и литературовед Владислав Отрошенко, много занимавшийся Гоголем, в одном из интервью рассказал мне о поисках выбранного им места из его переписки с властями; Гоголь подал Николаю Первому прошение о выдаче паспорта, такого, чтобы перед этим паспортом «склонялись все народы Европы». «Я подумал: ведь должен быть ответ, ведь канцелярия работала исправно, — рассказал Владислав Отрошенко. — Долго искал, пока не нашёл ответ министра двора Адлерберга. Он пишет в том смысле, что: милостивый государь, император просил уведомить, что таковых паспортов у нас никогда и никому не выдавалось. Но чувствуется, что такой документ — теоретически — мог бы быть составлен. Это архетип великого паспорта. Гоголь хотел получить такой паспорт, который мог бы предъявить апостолу Петру». Не кажется ли вам, что Гоголь, в некоторой степени и сам писатель зарубежья, всё же признавал за Россией некую особую роль в мире?

— Уж в любом случае жить с ощущением величия собственной державы и верой в могущество своего царя куда приятнее, чем наоборот… Вместе с тем хочется мне видеть в такой просьбе гоголевскую иронию и даже некий художественный ход… Ведь Николай Первый сознательно выполнял миссию не просто русского, но именно православного царя, защитника Европы от антихристианских

революционных настроений, поэтому и польский мятеж был подавлен, и в Австро-Венгрию русский корпус отправлен; но в первую очередь Николай мыслил себя защитником православных братьев… Собственно, из-за попытки вступится за интересы единоверцев в Вифлееме и началась Крымская война. Так что гоголевская формулировка вполне соответствовала державной риторике. А его мысли об особой роли России совпадали с уваровской триадой «Православие. Самодержавие. Народность». Под народностью прежде всего понимались духовные задачи и устремления нации, Россия виделась как преемница и защитница православия во всём мире. В чём видел Гоголь особую миссию русских? И было ли в этом что-то унизительное для других народов? Тут лучше привести цитату, пусть сокращённую, из «Выбранных мест…», где Гоголь писал о том, что русский Третий Рим устоит до Второго пришествия, и вот тогда и будет Светлое Христово Воскресение: «Отчего же одному русскому ещё кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского?.. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе… Не умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется как следует прежде у нас, чем у других народов! На чём же основываясь, на каких данных, заключённых в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь ещё неустроенней и беспорядочней всех их. „Хуже мы всех прочих“ — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит… Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа?.. Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что ещё нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе… и есть у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванётся у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чём основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других».

— В этом году проходит одиннадцатый Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Одна из кинематографических работ Николая Бурляева, возглавляющего форум, — роль графа Толстого в почти мистической драме на биографической основе «Гоголь. Ближайший» Натальи Бондарчук. Вам, как участнику форума, не представляется ли, что текущая литература и даже кино, сделав крюк через русское зарубежье, поворачиваются на путь, предначертанный Гоголем?

— Удивительно, но любой разговор о Гоголе выводит на обсуждение невероятно широких тем и тех самых «проклятых вопросов», а лучше сказать — риторических, на которые конкретно ответить довольно сложно… Как ответить на вопрос о пути русской литературы, которая в лучших своих образцах немыслима вне христианского, православного контекста? Так или иначе, вся она — о человеке, о его нравственном выборе, о его поиске Правды, Истины, поисках Бога. Не тот ли это путь, о котором и говорит сам Николай Васильевич в «Мёртвых душах»: «Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребёнок. Какие искривлённые, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озарённый солнцем и освещённый всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведённые нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь всё ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеётся над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнём исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлён пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеётся текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки»? Если тот, то идти нам всем под путеводной Вифлеемской звездой и не сворачивать…

к 75-летию

Олег Пащенко

Колька Медный, его благородие

Одинокая

Должно быть, её обманули—не встретили.

Растерянно оглядывая шумный зал ожидания аэропорта, молодая и высокая, черноволосая, в красном, туго опоясанном плаще и красных остроносых сапожках, стояла она вполоборота к выходной двери. Глыбился рядом чемодан, раздавшийся с боков, чёрный, перехваченный двумя светлыми, издали похожими на бинты, широкими ремнями. Не опуская растерянных глаз, девушка время от времени прижималась сапожком к чемодану, как бы проверяя, на месте ли он.

Дождь, взявшийся омывать тротуары и крыши города ещё засветло, льёт и теперь, в полночь, и на паркете у дверей поблёскивает полукруг, мокрый, в чёрных подтёках. Вбегая с улицы, люди тут же складывают зонты, расстёгиваясь, отряхивают плащи и куртки—брызги во все стороны. Девушка в красном морщится, вздёргивает недовольно плечи, однако с места ни на шаг.

Анисимов, грузный и широколицый, втиснувшийся на скамью между худым стариком и толстой, средних лет, женщиной, наблюдал за девушкой и чемоданом сперва равнодушно, потом с насмешкою, а потом и сочувствуя: должно быть, милая, тебя обманули—не встретили.

Вот хорошо бы, живо размечтался он, подойти и познакомиться, с тайным удовольствием понять, что обрадовалась, что совсем, допустим, одинокая, если не брать в расчёт какого-нибудь вертлявого дружка, что есть и квартира, скромная и нагретая, свободный диван, горячая вода в ванной и котлеты в холодильнике—их можно мигом оживить и поднести к столу. Хорошо-то хорошо, отвёл глаза Анисимов, сожалея о её красивой фигуре и о своей лени природной, о возрасте и, короче говоря, много ещё о чём. Усмехнувшись, стиснув губы, горчившие табаком, он приткнулся щекою к острому плечу старика и нехотя прикрыл глаза.

«Произвёл посадку самолёт из Горького… Объявляется посадка на рейс до Владивостока… Гражданка Тихонова Генриетта Ивановна, у справочного бюро вас ожидают…»

Анисимов посмотрел: не Генриетта ли Ивановна? Нет, девушка не бросилась, волоча по полу чемодан, не заоглядывалась, глупо и радостно кривя лицо, бледное и скуластое, с глубокими притемнёнными глазами, а как стояла, так и стоит, понурившись. Ладно, что же теперь, сказал себе Анисимов, ещё сколько-нибудь понаблюдаю и подойду и, если не испугается, провожу к стоянке такси.

«Есть свободные билеты до Симферополя…»

Покурить бы… Как-то всё было складно в студенчестве: шутя подойдёшь и там, гляди в оба, не шутя познакомишься—лёгкость в языке необычайная, и всё почти удавалось. Покурить—и тогда уже собраться с духом: я могу быть полезен, девушка? Нет, так, наверное, нельзя, не пройдёт, не тонко. Что значит—полезен?.. Генка, например, давно бы уж красиво подкрался и затеял лёгкое знакомство, а дали бы ему от ворот поворот—убрался бы так же красиво, держа осанку, немедля обо всём позабыв и ничуть не жалея. Брат Генка моложе на двенадцать лет, целая эпоха, вот человек прямых действий и победного холодка в чуть раскосых глазах.

Часа два назад Анисимов неосмотрительно оставил место на скамье, покурил, подышал свежим воздухом, вернулся в зал—место занято. Пришлось долго блуждать по залу. Задумчивый старик подозвал, усадил рядом. Девушки в красном у дверей ещё не было. Скорей всего, она появилась позже, когда Анисимов, объяснив задумчивому старику, что возвращается из командировки и рейс перенесли до семи утра, тяжко, будто провалившись, заснул на стариковском плече.

Кстати сказать, Анисимов возвращался в родной город не один, а с Василием Нагих, мастером из тарного цеха. Друг Василий не пожелал ночевать в жёстких условиях. Помялся и дал Анисимову телефон какой-то здешней Людмилы, наказал, что если объявят рейс, мало ли что, нужно позвонить этой Людмиле, скоком же он примчится в аэропорт. Понимаешь, казак, проникновенно говорил Василий, это моя первая жена, ну, ты сам понимаешь… Анисимов неодобрительно хмыкнул, бумажку с номером телефона, конечно, взял и упрятал в паспорт, где, впрочем, лежал и билет на самолёт, и попытался вспомнить: говорил ли прежде Василий о первой жене? Наверное, всё же придумал, шифруется.

Всё бы ничего, жить можно, думал Анисимов, но очень хочется есть. Причём желательно бы

поесть горячего, густого, с ржаной краюхой. Лежит в портфеле скоросшиватель с документами, рядом свёрток, обтянутый целлофаном, в нём холодный обрубок колбасы и сладкая булка, вот, всё на месте, можно сунуть руку в портфель и нащупать, но не вытаскивать же, не глотать принародно? Может, ещё час-другой — и народ в зале угомонится... Что свёрток он не вытаскивал из портфеля, тем более не разворачивал, принюхиваясь к колбасе, Анисимов помнил точно. Не мог же он, положим, проделать это во сне? Положим, сонный мог бы как-то вытащить и развернуть свёрток, но тогда бы уж непременно проснулся и срочно затолкал в портфель. Но почему-то Алка потом утверждала, что видела, как с остановившимся лицом Анисимов достал колбасу, понюхал и даже, кажется, пытался откусить.

— Да что вы, Бог с вами, — сердился Анисимов, уверенный, что девушка неловко пошутила. — Неправда... А потом, если откровенно, вы на меня ни разу не посмотрели. Да? Это я таращился, соображал: как же она, милая?

— С чемоданом-то? — спросила она, смеясь.

— Ну да. Хотя нет... Я вообще, — уклонялся Анисимов. — Знаете, вам, наверное, часто льстят, что у вас доверчивая улыбка?

Она взглянула исподлобья, неодобрительно, застегнула верхнюю пуговицу, красную, в цвет плаща, и поморщилась:

— Говорят... Все говорят и говорят. Не переслушаешь.

Слов нет, понятно, сам он первым никогда бы не подошёл к ней, не осмелился, зная о случайных знакомствах много приятного, но ещё больше смешного и горького. Просто в какое-то мгновение ему почудилось, что девушка вроде бы как сделала едва уловимое движение рукой, подзывая, и при этом точно в мокрый лоб ему смотрела. Он вскочил и, неуверенный, готовый тут же опуститься на скамью, ткнул себя в грудь пальцем. Она чуть заметно кивнула и улыбнулась робко, опасливо, словно бы готовая тотчас отказаться от улыбки, если снова он угнездится на скамье. Схватился Анисимов за портфель мимо ручки, портфель выскользнул... Так и пошагал он к девушке — портфель под мышкой, шея багровая, и зубы не разжать ножом.

Одинокие в ночи, выстелив под фонарём две длинные тени, молчали затем на стоянке такси, уговорившись, что он её усадит, сам вернётся на вокзал коротать часы до утра.

Как бы между прочим, вкрадчиво, она заметила:

— Если по уму, товарищ, надо вас и вернуть, откуда сняла.

— Не понял, — сказал Анисимов.

— Я говорю: может быть, проводить вас? Я уж сама уеду.

— Ну зачем же? Всё равно до семи сидеть...

— Нет, я прямо не знаю, — голос у неё был звучный, говорила — будто бы шла по тёмному лесу, покрикивая, чтоб отогнать страх. — Я стою, стою, жду, жду... Эдька, подлец, не встретил. Ну и чёрт с ним! А вам, товарищ, спасибо навек.

— Подумаешь, мне даже приятно помочь.

— Не знаю, как насчёт приятно, — ухмыльнулась она, — а плечики натрудили и брюки измарали снизу.

— Ладно, чего уж там, — Анисимову стало приятно, давно его никто не хвалил. — А вы откуда прилетели? Устали, наверное...

— Стою и думаю: чем вас отблагодарю? Не знаю прямо.

— Откуда, говорю, прилетели?

— Не всё ли вам равно, а? Может, я никуда и не летала.

Анисимов слегка насторожился.

Поначалу, правда, он не слишком-то и ждал такси, думая, что оно не к спеху, надеясь, вот-вот завяжется разговор с девушкой — всё ближе время к утру. Справившись с её чемоданом и отдышавшись, распрямив плечи, некогда плотные, теперь немного обвисшие, он почувствовал себя враз помолодевшим. Но... Минуты шли — молчание становилось невыносимым, и Анисимов готов был, не простившись, податься вон. Что самое поразительное, недоумевал он, опустив глаза, молчим-то мы вдвоём, а будто я один виноват, а она — что же? И эту как бы совместную вину, мучаясь, Анисимов, рядовой мужчина, тут же мысленно свалил на спутницу, одновременно, впрочем, спутницу и оправдывая.

Сверху, от слабо натянутых проводов, срывались, бились о сырой асфальт тяжёлые капли. Анисимов подставил ладонь, ждал, капли падали всё мимо, наконец одна угодила-таки, шлёпнулась и растеклась по коже — ни тёплая и ни холодная. Девушка, поглядывавшая искоса, вдруг улыбнулась по-доброму и чуть, пожалуй, снисходительно.

— Я думаю, вы одинокий. Лицом смахиваете на одинокого.

— Не понял.

— Знаете, вид у вас... Вот, кажется, щеками улыбаетесь, а глаза — что прямо подбитые.

Анисимов бездумно проговорил:

— Конечно. Ни кола ни двора. Только механосборочный цех.

— Я ж говорила! У меня — опыт!

— Опыт, — пробурчал он. — Наговариваете на себя. А что, если я соврал? Да ведь я точно соврал. Имею трёхкомнатное жильё, дочку, жену Светлану и сына Егора. Сын в третий класс перешёл, маленький ещё... Но я, знаете, поздно женился.

Он сказал это и подумал: «Нехорошо, что я зачем-то вроде перед ней оправдываюсь». И добавил:

— Правильно, что поздно женился. Надо было и ещё позже...

— А лучше бы и совсем не женились,—подхватила она.—И куда мужчины спешат? Потом маются…
— Зато брат Генка—он молодец, он не спешит. Хотя тоже скоро,—Анисимов запнулся.—Пожалуй, смотрю на вас, с Генкой вы одних лет, одного темперамента. Наверное, нашлось бы много общего. А я что? Мне скоро сорок.
— Разве предел?—сказала она беспечно.—Это самый смак.
— Да? Слово какое-то…
— Нормальное слово, сочное: смак!—Она как будто с ним заигрывала.—Я, например, только за сорокалетнего выйду. Вот попадись он на горизонте.
— А Эдька?—вспомнил Анисимов.—Простите, что напоминаю.
— Ничего, даже прекрасно, что интерес проявляете. Если уж вас потянуло ко мне, спрашивайте, не трусьте!—она погладила Анисимова по плечу, смахнула какую-то нитку.—Да белая, белая нитка! Блондинка привяжется. Не я, значит, последняя.

Анисимов достал из куртки сигареты и зажигалку. Женщины со звучными низкими голосами, подумал он, не такая уж и редкость. Другая особенность—говорить и при этом заглядывать собеседнику в глаза, наклоняясь, почти тыкаясь носом, особенность близоруких и неуверенных, вызвала у Анисимова прилив жалостливого любопытства. Кто она вообще такая? Где работает? Кто её родители?.. Ну хорошо, отвечал он сам себе, допустим, всё это я узнаю—и дальше что? Скорее всего, часто и горько её обманывали и продолжают обманывать, рассудил он спокойно, и так же часто смеялись над ней, и она в себе чуточку разуверилась. А может, неудачница от рождения? Не докурив сигарету, он поплевал на дымящийся уголёк, бросил под ноги и, намеренно огрубляя голос, спросил:
— Родители-то есть? Живы?
— Есть, есть,—ответила она неохотно.—В Кондауровке живут. Всего пять часов на автобусе. А-а, всё это неинтересно… Слушайте, знаете что?—она расширила глаза и быстро проговорила:—Чего здесь толкаться? Поедем ко мне!

Анисимову вдруг стало жалко её заранее. Он отвернулся, чтобы не показывать своё растерянное лицо, слушал, отвернувшись.
— Я понимаю, конечно… Накормлю вас борщом. Заодно ваши брюки почистим. Соглашайтесь!.. А то я сейчас уеду. Чувствую, буду свиньёй, что не предложила.
— Нет, спасибо,—строго сказал он.—Нельзя мне ехать.
— Так и знала,—она поморщилась.—Теперь я свинья, что предложила. Вот и не знаешь, что лучше, а что хуже.
— При чём тут свинья? Не надо так на себя.
— А как надо? Научите!—она стала кусать губы.

Она сунула руки в карманы и, чуть сгорбив спину, направилась к газетному киоску, слабо мерцающему витриной, и стояла там, опустив голову, думая о чём-то, конечно, невесёлом.

Анисимов смотрел в сторону киоска: дурак я, дурак, напросился с дурацкой помощью, лучше бы уж дремал на стариковском плече…

Он стал думать о жене, зная по опыту, что как только начинаешь в командировках беситься, срочно думай о жене—это возвращение с небес на землю.

Вспомнил, нынче в мае обмывали двухэтажную дачу Василия Нагих, который как-то уловчился отгрохать её почти в черте города, в сосновом бору, на берегу рыбного озерка, купил моторку, сети и акваланг. Сидели долго, захмелели, и пришлось заночевать. Звёздной ночью, лёжа под овчинной шубой и прислушиваясь к неразборчивым голосам, доносившимся снизу, с первого этажа, Анисимовы долго притворялись, что спят. Наконец, вздохнув, Светлана повернулась к Анисимову, обняла и зашептала: «Борька, я, конечно, им завидую. Они молодцы. Но ты заметил, что Василий спит в обнимку с бескурковым ружьём и под тремя замками?! Лучше уж так жить, как мы, беспортошные!..» Утром она была настроена иначе: «Лопух ты, Боря. Знаю, мы до старости не вытащимся из долгов…» Вечером же, когда сидела перед телевизором, ни с того ни с сего заявила: «Василий, понятно, красавец, но в голове—чужие жёнки и сберкнижка. А душа? Мне, допустим, зачем красивая рожа? Главное, Борис, ты не рвач и не грубый. Ничего, как-нибудь…» И выскочила в кухню, там расплакалась.

Подкатила к стоянке долгожданная машина с зелёным светляком. Анисимов радостно сдвинул на затылок шляпу. Потом приподнял, крякнув, чемодан и засеменил к машине—девушка обогнала, заглянула в полуоткрытую дверцу и отпрянула.
— Нет, нет, ни в коем случае,—зашептала умоляюще.—Что у него за челюсть? Он бандит, бандит. Как завезёт на пустырь—я ведь не пикну.

Заглянул и Анисимов—водитель был седой, прилично одетый, даже в галстуке, приветливо улыбался.
— И не спорьте, милый,—шептала она, тесня Анисимова от машины.—Это он для маскировки.

Подкатила и вторая машина. Анисимов кинулся к ней, попутно удивившись своей прыти, понимая уже, что важно скорее утолкать чемодан. Судя по всему, спутница почему-то искала причины не ехать. Анисимов бежал, дыша сердито и неровно.
— Остановитесь!—крикнула она за спиной.—Я не поеду.
— Что опять?—крикнул он.
— А вы не ослепли?.. Ведь женщина за рулём.
— Ага-а-а! Ну, ясно! Также бандитка! Шпионка!

— Не надо, милый,— тихо сказала она.— Противно слушать. Дёргаетесь, как с цепи сорванный.

Твёрдым плечом она толкнула Анисимова, наклонилась и неожиданно легко приподняла чемодан. Анисимов догнал, отобрал. Она молча глядела, как он устраивал чемодан в багажнике машины, третьей по счёту, и когда устроил и выпрямился, она проговорила негромко, чуточку заискивая:
— Действительно, я дрянь… Если по уму. Но вы поймите, я в подъезде сильно боюсь, там мужики вино лакают втёмную. Пожалуйста, отвезите меня, а уж сами потом…
— Вернусь,— строптиво хмурился он.— Отвезу и вернусь.

В машине было почти темно. Приёмник, потрескивая, выдавливал скрипичную музыку, слабую, как пищание комара. Уныло и наставительно, взяв отеческую ноту, Анисимов стал вполголоса толковать об исторически сложившейся вздорности женщин, какую ни взять, обидчиво говорил, что многие женщины сами по себе портят жизнь, потому что сначала, любя, исковеркают жизнь ближнему мужчине.
— Всё ясно,— обрадованно перебила она.— Вас заедает жена!
— Не заедает меня жена,— возразил Анисимов.
— Оправдываете её, а зря. Я ведь такая ж, как она, мы все — под косую гребёнку. Что о себе знаю, то и о вашей жене знаю. Есть, правда, совсем испорченные жёны — это которые святых изображают.
— Чёрт возьми!— изумился Анисимов.— Как всё повернулось! Я ведь ни слова о жене не сказал. И вообще… Я убедительно прошу: войдите в моё положение! Не впутывайте в свою жизнь.

Плохо, что в машинной тесноте покачивалась какая-то грязно-зелёная, как бы болотная полутьма, искажающая черты её лица. Анисимов глянул раз, другой, третий и, не особенно огорчившись, сумел-таки разобраться, что лет ей уже под тридцать, просто в аэропорту она была отдалена и ей удалось выдать себя за девушку беспомощную. Время, конечно, спать, она сонная, с лёгкой жалостью думал Анисимов, стараясь по-хорошему объяснить и чёрные, слегка припухшие пятна под её усталыми глазами. Кто знает, может, действительно умоталась она с дороги? Может, в больнице какой провалялась? Может, летала хоронить кого-то дорогого? И вот, подумать, что́ мне, чужому, до её болезней и хлопот, и ей до меня, чужого, если уж честно, какое, подумать, дело, размышлял Анисимов, понимая, что употребляет мысль не свою, а вычитанную и много раз сказанную им вслух по мелким поводам. Ну, конечно, чемодан я затащу в тёмный подъезд и там, если придётся, погоняю выпивох, дело привычное, да и выпивохи, взять их поодиночке, сами всего на свете боятся, а затем поставлю чемодан перед дверью и прыгну в такси: вперёд, вперёд!.. Украдкой Анисимов покосился на спутницу, почудилось, будто она вздохнула, подавляя стон.
— Вы чего притихли?— мягко спросил он.— Говорите что-нибудь.
— Чего, чего? Обиделась…
— Здравствуйте! На меня, что ли?
— На Александра Сергеевича!.. Конечно, на вас.
— Не понял.
— У-умный вы,— заметила она осуждающе и при этом посмотрела на водителя, хмуро молчавшего, молодого, но с измождённым треугольным лицом.— Хотя, если честно… Вы все паразиты и все равны одинаково! Сами виноваты сейчас, а хвост поднимаете. Зачем на меня орали? Я вам что? Виноваты, так уж и признавайтесь.
— Ну, допустим.
— А если без всякого «ну»?
— Да,— сказал он.— Я виноват, что орал.
— Молодец! Это надо же!

Она придвинулась, слегка горяча Анисимова близким дыханием, и заглянула в глаза.
— Какой же вы… Беда, мы так культурно с вами познакомились. Даже можно сказать — красиво! Неужели сразу — конец? Жалко…

Немного ей сочувствуя, он сказал:
— Что ж… Давайте по-людски… Меня зовут Борисом Тимофеевичем, я инженер, заместитель начальника цеха.

И неуклюже, точно как и мужикам в своём цехе, протянул руку с растопыренными узловатыми пальцами:
— В общем-то, грубо говоря, вы мне понравились.
— Серьёзно? Повторите, я плохо расслышала…
— Ну вот, началось…
— Ой, пожалуйста, вы этим не шутите! Грех шутить.

Посмеиваясь, она прижала его руку к своей щеке, быстро к губам, снова к щеке и несколько удивлённо проговорила:
— Какой вы, господи… Горе ли моё?

Он подёргал рукой, как бы осторожно высвобождаясь. Она лишь крепче её стиснула, глядя в упор сухими и напряжёнными глазами. Он разобрал в них то ли осуждение, то ли страх. Стыдясь за неё и за себя, он вдруг окончательно убедился, что она, похоже, правда не очень нормальная, потому что не умела скрывать чувства. Щёки у неё были горячие, будто она день крутилась у плиты, а пальцы были точно вынутые из студёной проруби. С неудовольствием он подумал: вот теперь обязательно, нервно посмеиваясь и воображая невесть что, она себя постепенно разжалобит и, не хватало ещё, горестно взвоет тут же, в такси.
— Тимофеевич, рука ваша отдаёт бензином и вся в табачище! Это противно и хорошо. И вообще, хорошо, что вы… массивный, лысый спереди — значит, и умом правильный. Я знаю многих…

Анисимов теперь уже с силой высвободил руку.

— Не надоело ещё? — спросил сердито.
— Просто я теряюсь, когда говорю с вами. Такое бывает, — она рассмеялась, легко, без притворства. — Но мне приятно, что вроде вы уже ревнуете. Ведь правда ревнуете? — она сияла глазами и казалась Анисимову красавицей. — Ничего, всё будет нормально. Это говорю вам я — Алка. И вы не жалейте, что увязались за мной.
— Я? — Анисимов приоткрыл рот. — Ну даёте! Я ли увязался?

Водитель обернулся и насмешливо оглядел Анисимова.

...Не пройдёт и получаса, как небо, чёрное в вышине, станет оживать, едва заметно голубея над ломаным контуром далёких сопок, обступивших город, совершенно чужой Анисимову, и разом погаснут на каменных улицах фонари и пёстрые строки реклам. Проводив Алку, он вернётся в порт и задержится на стоянке такси, прислушиваясь к недовольному рокоту самолётов, взбегающих и опускающихся на бетонные полосы. По безлюдной площади, удаляясь вниз, к гостинице, неторопливо прошагают два милиционера, держа в руках точечные огоньки сигарет. Проскочит мимо Анисимова мотоцикл, гремящий, без глушителя, и мотоциклист в синем плаще и каске пожарника, узколицый, прокричит что-то весёлое, указывая рукой в сторону темнеющей аллеи. Анисимов всмотрится и увидит совсем юную парочку, притихшую у ствола акации. Лохматый мальчик в очках и девочка в розовом свитере и джинсах стояли, обнявшись, неловко переплетясь ногами, словно бы пристыли — не оторвать, и Анисимову станет жалко их до слёз. Раскурив сигарету, сырую, особенно едкую на пустой желудок, пойдёт он вдоль мокро зеленеющей клумбы, чуть спотыкаясь, и вскоре обнаружит что искал — глубокую и не очень чёткую вмятину от остроносого сапожка: в клумбу угодила Алка, когда отпрянула от седого лового таксиста. Анисимов постоит, покурит и сердито втопчет окурок в клумбу, рядом с этой вмятиной...

Когда же водитель обернулся и неодобрительно оглядел Анисимова, словно бы осуждая за что-то, Алка мигом накинулась:
— Эй, паренёк! Не смей так обижать Бориса Тимофеевича!
— Зачем вы? — смутился Анисимов. — Пусть смотрит. Я не в обиде. Он прав — мы слишком громко разговариваем.
— Не в этом дело, — буркнул водитель. — Я просто так.
— Честно говорю, Тимофеевич, — шептала Алка, обжигая ухо Анисимову. — Я этого паренька не знаю. А то вы ещё подумаете, что я с ним дружила, поэтому он ревнует.
— Долго ещё? — оборвал её Анисимов. — Мне, собственно...
— Нет, нет, — сразу отозвалась она. — Две-три минуты... А ну-ка, Тимофеевич, посмотрите сюда. Вот направо, — и показала рукой. — Здесь я верчусь, работаю, не глядели б мои глаза. Вот, вот — да нагнитесь же вы, пожалуйста.

Сквозь припотевшее стекло, нагнувшись, он разобрал мерцающие строчки, несколько удалённые одна от другой: «Кафе», «Парикмахерская», «Авангард», видимо, кинотеатр, но не стал переспрашивать, в каком из заведений она вертится.
— Действительно, что за нужда? — она снова принялась его обхаживать. — Сказали же ясно: вылет будет не раньше семи! Впереди целая ночь. А там, в зале, фанерные лёжки, тускло несёт хлоркой, все кашляют, храпят — зачем вам?

Анисимову и хотелось поддержать эту тему, и страшно было.
— Сейчас попробую отгадать: вы в кафе работаете, да?
— А у меня тихо, — продолжала она, — мы включим музыку.
— Ну, если не в кафе, тогда в парикмахерской?
— Эх вы!.. Да я по ярмаркам лазаю, младший брат научил, — она задумалась. — Или лажу. Как правильно?.. Ничего, ничего, милый, — с отдалённым злорадством сказала она, — когда-то вспомните эти минуты — тошно станет. Мне тошно сейчас. Вам будет после.
— Всё! Хватит! — Анисимов стукнул кулаком в колено и поморщился. — Ну, скажите, вам какой толк? Я зайду, посижу — и поминай как звали. Охота вам?
— Конечно. Иной раз, знаете, хоть что-то бы вместо ничего.

Анисимову неожиданно понравилось это признание.
— Даже если намылюсь приобнять, — она с вызовом улыбнулась, — вы же такой весь бдительный! Если по весу — запросто меня одолеете.
— Чёрт знает как глупо, — вымученно проговорил он. — Ведь такого не должно быть. Наоборот бы нужно. В дикой природе, наверное, всё наоборот.
— Нет, и там всё так же. Мне объясняли: она, а уж за ней он.
— Должна же быть, простите, умная иллюзия, что веду я, а не меня ведут... Впрочем, всё это, подумать, условности, — Анисимов нахмурился. — В конце концов, это не меняет существа дела. Все мы на поводках.

Алка привстала и, склонившись к водителю, что-то сказала неразборчиво. Анисимов увидел, что машина тотчас же свернула в кривой переулок, и раздражённо открутил стекло, высунулся по пояс, дважды глубоко вдохнул — гниющим деревом и укропом пахло в этом переулке. Будто бы не живые, а талантливо нарисованные карандашом, скользили в темноте спящие избы, разномастные

заборы, поленницы у заборов, показался сруб колодца с чёрным мятым ведром на мокрой цепи. В одной избе светилось маленькое перекрещённое окошко. Когда миновали переулок и снова выбрались на желтокаменный проспект, Анисимов ревниво допросил:

— Не нам ли окно светилось? Вообще, кого мы разыскиваем?

— Эх, на окошке на девичьем!..

— А я семь лет после института,— сказал Анисимов с гордостью,— тоже околачивался в деревянном флигеле. Примерно на такой же зелёной улочке. И дружок со мной. Мы платили всего пятьдесят и за койки, и за кормёжку. Знаете, хозяйка была славная. Я, помню, зубрил диамат, ничего не понимая. Старушка не выдержала и стала объяснять закон отрицания, кажется, отрицанием. Я теперь и сам подзабыл. Представляете? Она ещё гимназию кончала! Потом однажды я пришёл с танцев и привёл девушку Светлану...

— Да, эти старухи... я их боюсь,— рассеянно сказала Алка.— Я тоже давным-давно любила рыжего Серёжу...

— Стоп! Мы кого всё же разыскиваем?

— Ну, притомил!— ответила она с досадой.— Всё просто, как на кассе, вам ничего интересного... Инка, подруга моя, укатила на курорт, мне ключ оставила. Надо же за избой глядеть?

— Надо,— кивнул Анисимов.— Только я не понял: чья изба? Ваша или Инкина? Похоже, что...

— Народная,— усмехнулась она.— Много хотите знать.

— Да? Я тогда вообще буду молчать.

— А старух я боюсь— это верно! Вы меня слушаете?

Она потянулась к нему по щеке погладить, он резко откинул голову.

— Ох, ох, подумаешь,— она вздохнула:— Да, сложно вашей жене... Мне что? Я себе хозяйка, надо мной— только небо и тучи. Нынче, кстати, Серёжка приезжал в отпуск с женой. Идут вчетвером: впереди его «корова» двух мальчат на руках держит, счастливую изображает, а Серёжка позади них шкандыляет, грустный и выпитый. Говорят, на плотине заработал две медали. Кроме того, усы внедрились на лицо. Я думаю: эх, Серёжка, слепота, взгляни ты на свою «корову», она облизывается, смотрит на твоих друзей... Слушаете меня, Тимофеевич? Конечно, нехорошо людей осуждать. Но мне было обидно. Я сразу определила, что не Сергей делает её счастливой.

Анисимов уставился вперёд и— ни слова.

— Экий вы серьёзный, чинный,— Алка вдруг поймала в темноте пуговицу на его куртке, рванула.— Прекрасно! Будем ещё и пуговицу пришивать. Не думайте! Я и варить, и шить умею!

— Отдайте, пожалуйста, пуговицу,— строго сказал он.

— Возьмите... Нужна она мне!

Анисимов вздохнул и спрятал пуговицу в нагрудный карман.

— Тимофеевич, знаете, на кого сейчас похожи?

— Не хочу знать. Опять шуточку припасли?

— Серьёзный, как... графин в президиуме. Вот!

Не оборачиваясь, водитель фыркнул и затряс плечами.

Дом, в который пальцем указала Алка, был обычный, пятиэтажный, из мелкого красного кирпича. Подрулили к крайнему подъезду и фарами выбрали из темноты двухстворчатую дверь, оклеенную листками объявлений, бетонный козырёк над дверью и угол стены. Казалось, застигнутые резким светом фар, кирпичи сразу же стали сочиться холодной красноватой влагой, и по горячей спине Анисимова проскользнула ознобная волна. Задержавшись в машине, он шепнул три слова водителю, и тот, подумав, неохотно кивнул. Алка пыталась сама открыть багажник.

— Четвёртый этаж, Борис Тимофеевич,— она отступила на шаг.

Каблуки у Анисимова были на подковках из нержавеющей стали, звенели на ступеньках, словно бы кто-то невидимый в темноте осторожно пробовал молотком хрупкое стекло.

Алка то и дело опережала его, хотя вроде старалась идти в ногу, останавливалась, поджидая, снова устремлялась вверх. Вскоре глаза Анисимова притерпелись, стали различать высокую фигуру— Алка поднималась, вздёрнув голову, руки держала в карманах плаща.

— Ходили бы ко мне, Тимофеевич,— сказала она ласково.— Слышала бы вас из кухни. Цокот прямо конногвардейский!

— Спасибо,— буркнул Анисимов.

— Ну зачем вы так? Я в хорошем смысле.

Он нашарил зажигалку и, когда остановились на четвёртом этаже, присветил дверь с номером четырнадцать и чёрный резиновый коврик под ногами. На коврик опустил чемодан. Не скрывая облегчения, сделал шумный выдох и сказал:

— Всё! Позвольте откланяться.

Он слышал её дыхание, она стояла спиной к нему.

— Всё,— нетерпеливо повторил он.

— Что ж,— отозвалась она сухо.— Всё так всё.

— Не понял.

Ему вдруг не понравилось, что, будто носильщика, спроваживает она с лёгким сердцем. Того и гляди, трёшник сунет в потный кулак. Может быть, начни она виснуть на его плечах, цеплять за ноги, втаскивая в свою комнатёнку, ему тоже не очень понравилось бы, но всё-таки была бы хоть какая-то честь. Тут и вырвалось обиженное:

— Не понял... Я думал, позовёте настойчивей.

— Звала. Сколько можно? Ломаетесь...

— А вот я зайду,— расхрабрился он.— Например, воды выпить.
— Да? Ну, посмотрим.

Не попадая ключом в замок, она шёпотом выругалась.
— Тимофеевич,— обернулась спокойно.— Чиркни зажигалкой.
— Нет, к чёрту… Я так не могу. Надо ехать…

Он перехватил, сдавливая, её руку возле колючего браслета — ключ выпал и, жалобно звеня, забился на каменных плитках. Анисимов наугад, туда-сюда, затопал в темноте ногой, ему удалось-таки придавить и успокоить ключ.

Хотелось с чувством поцеловать Алкину руку, чтобы прощание выглядело достойным. Но лишь ткнулся в браслет носом, оцарапываясь, а потом сильно сжал, тряхнул её руку, как делал это, бывало, вручая грамоты женщинам-ударницам механосборочного цеха, и бессознательно, вполне от чистой души, забормотал что-то приподнятое о её крепком здоровье, успехах в труде и личном счастье, думая с негодованием и страхом: что ж это я такое плету?
— Зачем вы, милый?— воскликнула она, удивляясь и сочувствуя.— Ой, Тимофеевич, как же вам тошно…

Ни слова не говоря, не глядя на неё, Анисимов круто развернулся и замолотил вниз по ступенькам. Требовательный и насмешливый, настиг его Алкин голос:
— Куда?.. Ну, не предмет ли ты казённый?..

Она легко сбежала на площадку к Анисимову, подступила вплотную и, помедлив, вся прижалась, запустила под его куртку отогревшиеся свои руки, смыкая их у него за спиной, обнимая, сдавливая грудь так, что он едва не вскрикнул, и накрыла его рот злыми и горячими губами.

Почти задохнувшись, он мотал вспотевшей головой, сронил шляпу на подоконник и как бы мычал что-то недовольное, ужасаясь, представляя, как, наверное, со стороны и жалок, и смешон. Мгновение спустя, озлившись, почти даже восхищаясь её решительностью, потянулся к ней и сам, уверенно обхватил её прямые плечи.

Быстро она оттолкнула его и ушла по лестнице вверх, роняя на ходу:
— Ещё вспомнишь. Лбом станешь стучаться — не пущу.

Придерживаясь за перила, Анисимов спускался по этажам — ноги слегка подкашивались. Останавливался на каждой очередной площадке и задирал голову, прислушивался, будто бы ожидая, что Алка окликнет и позовёт. Пожалуй, больше никогда не увидимся, думал он. Не добрую ли память ей оставил? И отвечал себе: это не важно…

Знать бы ему, горькому, что за полтора часа до самолёта перероет все наличные карманы в поисках паспорта и билета, где паспорт был — оказалась женская расчёска красного цвета, а явившийся в шесть утра Василий Нагих с ходу пустился в крик: кому ты, казак, дал номер телефона?

Гневаясь и смеясь, он расскажет, что всю ночь какая-то ненормальная названивала, выясняя, кем Людмила и Василий доводятся для Бориса Тимофеевича, потом принималась их стыдить, объясняя, как обидно, что Борис её Тимофеевич, солидный человек, мыкается в зале ожидания, не побеждая голод и мужское одиночество… А под конец и вовсе понесла дурь несусветную, что якобы служит ключницей в «Авангарде», а известна в городе как растущая (по её словам, ей пока двадцать шесть лет) художница, лауреатка, выставлялась с работами графикой. Зато в личной жизни — кирпичи да кирпичи. Она этими кирпичами раз в месяц, оказывается, набивает с тоски чемодан, подруга Инка надоумила, и едет вечером в аэропорт «удить рыбу», а повезёт, так и крупную. Подвернулся ей вдруг Борис Тимофеевич, но он не рыба, не какой-нибудь, понимаете, судак, не ханыга, а очень порядочный человек, даже золотко. Тут полусонный Нагих бросил трубку.

…Ещё пока не зная этого, Анисимов спускался по лестнице, немного сбитый с толку, слегка укоряя себя и оправдывая, не представляя, что думать, а когда, наконец, вышел из подъезда — закурил, приласкал глазами мирный огонёк такси и стал внушать себе, что всё хорошо.

Колька Медный, его благородие

Брожу по улицам родного городка, нацепив чёрные очки, горблюсь, прихрамываю, пришаркиваю, попадаются знакомые — никто меня не узнаёт. Я худ, бледен, небрит и в растерянности. Белый плащ, мятый, давно не стиранный, я с утра свернул, бросил на плечо, хотя в одной сатиновой рубашке уже сильно мёрзну, ветрено в сентябре, ветер как бы прикатывается на жёлтые улочки с дальних снеговых вершин. Утром я очистил карманы от автобусных билетиков, опилок, карандашных огрызков, табачной пыли… Оказалось у меня всего лишь двадцать рублей и семьдесят две копейки. Был долг в триста рублей, мне обещали быстро вернуть, адрес оставили, но я вот явился по адресу — должника нет и не будет, уехал насовсем в ему известном направлении. При желании я мог бы разыскать, пожалуй, бывших одноклассников: Слепцова, Желобанова, Кольку Медного, Игорька… Однако, поразмыслив, я решил дождаться ночи. В полночь подойдёт поезд Харьков — Владивосток, в нём проводник тётя Галя, в нём мои вещи, и, собственно, летом это мой дом на колёсах.

В дневном ресторане завтракаю, в вокзальном буфетишке обедаю, дремлю на детском сеансе в кинотеатре, а потом на аллее пустынного скверика, здесь раньше церковь стояла, я отыскиваю

голубую лавочку, на ней впервые в жизни целовался, и обматываю голову плащом и одиноко сплю. В молодости я много и бурно читал, помню страницы: расстроенный герой спит, и снится ему, хорошему, что-то обнадёживающе хорошее. Я же просыпаюсь, не помня сна, с затёкшими ногами и оголившейся спиной. Скорее всего, думаю, разбудили меня вороны: они словно бы переругиваются, кружа над тополями, что-то себе высматривая внизу. Нехотя закуриваю, оглядываюсь и в глубине сквера, рядом с железным решетчатым забором, вижу мужчину и женщину: они сидят друг против дружки на сухой траве и обедают. Вернее сказать, обедает женщина, а мужчина кормит её с ложки, тарелка у них одна.

Конечно же, они стесняются посторонних глаз. Вижу, как он неспокойно озирается. Я ложусь на бок, усмехаюсь: ничего себе парочка,—и пытаюсь понять, кто они такие, смотрю на них, гадаю… Мужчина сидит, поджавши ноги по-восточному; медного отлива волосы, нестриженые, наползают на воротник рубахи, а рубаха в чёрную и красную клетки, чёрные на нём брюки, а на ногах новые бело-голубые кеды. Сидеть ему неудобно, не привык таким манером, поэтому он то встаёт на колени, то почти ложится, раскинув ноги, тогда лопатки как бы отделяются от узкой спины, образуя глубокую ложбину. Я было подумал: уж не Колька ли Медный?! Был у нас такой гонористый шибздик, шёл обычно впереди буйной компании и заедался, а уж потом в драку вступали мускулистые дружки. Рассказывали мне, что сразу после школы он попал в морфлот, служил на Тихом океане, там вроде и остался на рыбацком сейнере… Женщина сидит вся в чёрном, как ворона, чёрным она платком обмоталась, оставив узкую щёлку для глаз, и только периодически отводит платок, принимая губами ложку, тут же и запахивается вновь. Нет, чтоб Колька стал кормить женщину?! Скорей всего, думаю я насмешливо, она монашка, а рыжий её кормилец—штатный атеист, распропагандировал её, лишил слепой веры, теперь вынужден собственноручно её кормить. Мне уже не смешно, не интересно, я закрываю глаза, надеясь ещё подремать, ну хоть с часик, и это мне удаётся.

Вечером сижу в прокуренном вокзальном буфете, столик мой заставлен пивными кружками, весь в пенных лужицах, мухи стараются ползать посуху, но одна угодила в мокроту, я сбил её ногтем на пол. Через чёрные очки всё вокруг уныло, бессмысленно. Два окна выходят на перрон, дождливый, улепленный жёлтыми листьями, виднеются товарные вагоны, цистерны, платформы с брёвнами. Ближний путь свободен, и шагает по шпалам человек в форменной фуражке, оглядывается и что-то злое и непримиримое кричит женщине, бегущей следом, худенькой, тонкошеей, чем-то, видимо, провинившейся перед ним. Герой ты, герой, думаю, ох и герой, кричишь на женщину принародно.

Я оборачиваюсь к буфету, будто меня кто-то подтолкнул, и мигом срываю очки: Колька Медный! Ну, конечно, конечно, рыжий в кедах разговаривает с буфетчицей, посмеивается, и опять ко мне спиною, но я теперь вижу его в рост: это Колька, да-да!.. Едва сдерживаюсь, чтоб не заорать, не кинуться к нему. Всё-таки я допускаю мысль, что могу и ошибиться, ведь не виделись с ним лет восемнадцать.

Горбясь и прихрамывая, я подхожу к буфету. Поразительно красивая буфетчица: высокая, смуглая, как бы полураздетая, она и ярка, и властна, и притягательна, и, что самое неприятное, знает себе высокую цену. Это я понял по её беглому взгляду: замерила меня, взвесила, оценила и окатила холодом. Рыжий и не оборачивается в мою сторону. Наполнив серую матерчатую сумку булочками, пирожками и рыбными консервами, буфетчица негромко и с укором говорит:

— Держи, кормилец. И больше не ври, пожалуйста, это стыдно.

— Люся, Люся… Хочешь, Люся, я побожусь?!— Колькин голос наполняется обидой.—Да! Потом она сказала: «Кол-ля, моё благородие!»

— Господи, у неё где глаза? Ну какое из тебя благородие?

— Люся, ты просто ревнуешь…— Колька грустно качает головой и, не оглянувшись, удаляется.

Следом и я выхожу, уязвлённый, что они откровенничали, не обращая внимания, будто я и не живой человек. Под намокшей берёзой, пронзённой двумя электрическими проводами, стоит Колька и, как я ожидал, та самая чёрная женщина. Колька протягивает сумку, на весу её держит, а женщина сердито сумку отталкивает, сама пятится. День выпал, думаю: то подглядываю, то подслушиваю…

— Не бойтесь его, гражданка,—говорю я, подойдя близко.—Не ворог, не злодей. Я учился с ним и дружил.

Колька удивлённо вскидывает голову.

Обнялись, постояли, обнявшись. Колька тянется рукой, сдвигает на лоб мои очки и вглядывается и как-то понимающе вздыхает. Женщина недоверчиво косит на меня глаза. Я сразу говорю Кольке, что здесь проездом и поезд через пять часов. Он отвечает, что не отпустит меня ни за что и вообще: надо посадить Шуру в такси, а то ей топать за край города, а там всё раздрызгло, раскисло, ещё, чего доброго, утонет, потом уже, короче говоря, посидим, поговорим…

— Никуда ты не поедешь, браток,—заключает Колька.—Кстати, познакомься: это Шура, цыганка,—он хватает мою руку, её руку, соединяет вместе и, довольный, сияет.—Знай, Шура была как бы в вековом плену. И если бы не я… Браток, когда кони уснули, и цыгане их уснули, и сторожа,

я выскочил из-за холма, схватил Шуру, бросил себе на спину и радостно заблажил: аля-улю!.. Тогда-то она, то есть Шура, укусила меня за ухо и упрекнула словами: не кричал бы, дурачок, а теперь нас догонят... Ну что ты, Шура, сверкаешь глазами?!
— Неправду говоришь, Кол-ля.
— Конечно, неправду! Зато как красиво!.. Представь, браток: степь, ночь, полная луна, Шура за плечами, я бегу в кедах, оглядываюсь, а топот всё громче, и я уже сквозь волнистые туманы... Ну, в общем, различаю конский оскал... Всё, Шура, всё, больше не буду!—Колька умоляюще складывает ладони.

Я поглядываю на Шуру: чья она, откуда, зачем? На ногах её, как колодки, тупоносые мужские ботинки, заляпанные грязью, один шнурок коричневый, другой тёмно-синий. Не хочется думать, что она бедна, легче думать, что неряшлива. Если же она бедна и несчастна, размышляю я, отгоняя жалость и тревогу, тогда почему Колька дурачится, приплясывая перед ней?

В такси усаживаем её силой, сразу же и расплачиваемся. Колька достаёт замусоленный блокнот, демонстративно записывает номер такси. Признаться, я ожидал, что женщина поблагодарит Кольку тихим словом или же хотя бы просто помашет ему через стекло, отъезжая,—ничего подобного: тут же будто и забыла про нас, уткнулась лицом в сумку, прижимая её к животу.

Стол, за которым я коротал время, и сух, и чист. Отогревшись, смеёмся, вспоминаем школу, двор, проказы; и подходит Люся с белой скатертью, расстилает её, потом достаёт расчёску и Кольку, слабо сопротивляющегося, причёсывает, ещё и приглаживает ладонью рыжеватый вихорок на макушке. Дважды ещё она беспричинно является к столу, и я дважды оторопело вскакиваю, не сводя с неё глаз. Дикая и неодолимая сила женщины, думаю я об этой Люсе, краснея и злясь, и много же я потерпел, им сдаваясь, они сдавшихся не щадят. Всякий раз, подойдя к нам, Люся красиво склоняется в мою сторону, наполовину открывая грудь и не глядя па меня, и шепчет Кольке что-то смешное, отчего он стеснительно прихохатывает, подмигивает мне, морщит маленькое лицо. Наконец и он не выдерживает:
— Люсь, а Люсь,—и тычет в меня коротким пальцем.—Зачем дразнишь своей коррупцией, Люсь?!

Было здесь самообслуживание, но то ли рыжий числится почётным членом в буфете, то ли уж Люся решает лишний раз подчеркнуть свои достоинства, а только она самолично доставляет из кухни салат и колбасу. Колька часто-часто работает челюстями. Управившись, он вытаскивает из коробка обожжённую спичку, обкусывает её и начинает ковырять в зубах, сплёвывая крошки на пол. Я поглядываю за окно, там и ветер, и дождь, и ранняя темнота от почернелого неба, стянувшего, кажется, все тучи мира над этим городком.
— Поедешь завтра, браток. Подсажу, ещё дам денег на дорогу. Вчера мы получили бизнест,—важно говорит он.—Сколотили с Самсонычем уборную на четыре очка. Мне денег не жалко. Этот бизнест не имеет конца.
— Ты думаешь, я нуждаюсь?
— Я не думаю, браток. Я вижу... А послушай-ка!—Колька приподнимается на стуле, потирает руки.—Давай: кто кого переглядит? Ты помнишь?! Я перегляжу—ты остаёшься, не едешь. А если ты... Нет, ты не переглядишь, у тебя слабый пульс под коленками!
— Нет уж, лучше на спичках: короткую вытяну—остаюсь.
— Х-ха, насмешил! Да на спичках я смухлюю, ты уж точно не уедешь! Я хочу с тобой благородно. Ну?

Колька приваливается узкой грудью к столу, обнажая ключицы, и как бы втыкает в меня глаза, жёлтые, с чёрными крупинками по ободкам. Я принимаю вызов, удобно облокачиваясь, подпирая голову кулаками. Помню, в пятом классе схлестнулись и едва-едва не ослепли в глупом противостоянии, тогда я моргнул первым.
— Колька, ты настырный парень, знаю, но и я теперь...
— Не продолжай, браточек. Всё равно ты мелко плаваешь, при всём ко мне уважении... Эй, а скажи-ка: ты помнишь, например, кем ты был до рождения, а?.. Вот я тебя проверю на вшивость!
— Я?! О Господи... Конечно, не помню! Да и был ли я?!
— Был, был... И я был,—Колька смотрит испытующе.—Только это сложно объяснять простыми словами. Ну, например, так: я был пульсом и мягкой пушистой горошиной, а вокруг космическая музыка, ну, как на Земле электронная, и пульсировали миллионы других горошин. То есть не горошины, а как бы похожие на них...
— Ну ты фантаст! А зачем вы все пульсировали?!
— Почему—«вы»? И ты был с нами! И мы ожидали очереди родиться на Землю!—Колька хохочет, а глаза серьёзные.—А для этого должны совпасть пульсы батьки и матушки!.. Х-ха! Ты понял мой смысл?! Вообще, ты не бери в голову, что я веселюсь. Я, когда говорю серьёзно, кажусь тогда мелким и тупым... Весело—это красиво!

Глаза мои начинают слезиться, я креплюсь изо всех силёнок.

Однажды летом, было это после пятого класса, помню как сейчас, голопузый, в коротких штанцах, Колька достиг верхушки тополя, а это вровень с пятиэтажкой, где мы жили, и раскачивался и потрясал кулаками, глядя в синее небо. Мы стояли внизу и завидовали, он был совсем рядом с облаками, очень похожими на куски сладкой ваты, её тогда продавали на каждом углу. И вдруг, никогда

не забуду, Колька взбрыкнул ногами и полетел, полетел вниз, словно бы скользя по зелёной горке. Я зажмурился, девчонки взвизгнули. И всё перекрывал Колькин крик, дурной и протяжный, оборвавшийся неожиданной тишиной. Счастливец рыжий, он зацепился штанами за сук, далеко выдающийся от ствола, и висел как на вытянутом багре, лицом вниз, перегнувшись вдвое. До асфальта ему оставалось ещё, пожалуй, метров пять. Снизу мы кричали, чтоб отстегнул ремень. Он натужно хрипел: «Угоните девчонок, натура голая, натура… Дурочки, уходите, дурочки…» И я впервые увидел: Колька заплакал. Он плакал, выползая из штанов, сверкая худенькими, как два белых голыша, ягодицами, упал, вскочил, помчался в подъезд, а штаны ему я занёс, штаны мы сбили камнями. Он страдал, сунув голову под подушку. Бабушка плакала над ним. Он жил с бабушкой, родители умерли. Бабушка меня увела в кухню, заставила есть пряники, пить компот и тихонько стала рассказывать о Кольке, об отце, матери, потом проводила за дверь и шепнула, что Господь таких любит, как Колька, и Господь рано приберёт его к себе. Помню, долго я с нетерпеливым ужасом ожидал: когда? А Колька всё жил и жил.

— Вижу, ты окреп натурой,— Колька беспокоится; наверное, и он терпит изо всех силёнок, чтоб не моргнуть.— Хорошо сопротивляешься, браточек!

— Жизнь, Колька, жизнь…

— Что, досталось мальчику? Гляжу, морщин уже напахал…

Осторожно, боясь до срока моргнуть, я киваю: досталось. Глаза мои, кажется, игольчато остекленели и режут веки изнутри. Я вот-вот обольюсь слезами и зажмурюсь, и это мой проигрыш. Мне хочется остаться с Колькой, не уезжать, но — чтоб без проигрыша. Краем глаз вижу, что с соседних столиков на нас уставились люди, в буфете установилась недоуменная тишина. Колька вдруг расширяет зрачки, близкие, страшные, я чувствую, они меня будто втягивают всего, я будто барахтаюсь, растворяюсь в жёлтых глазах, в чужом мире, где проносятся тени и огонь, я горю, горю, задыхаюсь, стул из-под меня рвётся, и я падаю пушинкой, переворачиваясь на спину, и нет полёту ни края, ни дна.

— Браток, очухайся ты!..— Колькин голос сверху, я лежу на полу, Колька, хлещет меня по щекам.— Браток, ты что? Слабонервный, что ли?.. Люся, хватит, мы его зальём, как мышонка…

Люся стоит, бледная, держит алюминиевый ковшик с падающей струёй, подтекающей под мою спину.

— Ой, товарищ, вы его простите, ненормального,— Люся пытается ухватить мои плечи, поднять.— Сколько тебе говорить, хулиган?— она беззлобно кричит на Кольку.— Я когда-нибудь сообщу в отделение!

— До смерти напугал, браточек,— признаётся Колька, усаживая меня на прежнее место, и ходит возле меня, ходит, стряхивает пыль со спины, оглаживает плечи, виноватый.— Не люблю проигрывать. А кто, скажи, любит?! Я подцепил стул за ножку, ты и грохнулся. Но ты почему не спружинил? Почему как мешок?

— Замолчи, Колька, ладно? Я сам виноват, что задумался.

Люся облегчённо вздыхает и тоже оглаживает мою спину, ласково, снисходительно, и отходит, смешливо оглядываясь. Она видела мою слабость, я сразу теряю к ней интерес. Мне стыдно, не могу понять: гипноз, что ли, у Кольки? Ведь, похоже, я терял сознание…

— Колька, а ты уже не первого так?.. За ножку?

— Со стула-то?.. О, ты четвёртый, браток, так что не обижайся. Дурак я, дурак… Кстати, будем считать всё же, что я переглядел, согласен? Я пойду рассчитаюсь…— Колька всё ещё виновато блудит глазами.— Браток, сейчас пойдём ко мне, заберём Самсоныча, а потом двинемся… Ну, в общем, я потом объясню, и вы поймёте мой глубокий смысл.

Колька возвращается от буфета с жёлтым ключиком в руке.

— Во! Люся мне дала на всякий случай,— объясняет Колька, собирая со стола грязную посуду.— Люся уступает нам свою квартиру, а сама будет ночевать у Маринки. Не хмурься, не хмурься… Знаешь, она не из тех. Обманчивое впечатление, браток.

Проходим мимо буфета, Люся смотрит на меня вызывающе и с лёгкой усмешкой, а Кольке она грубовато кричит:

— Сразу бы и шли. А?! А потом и мы придём с Маринкой!

— Люсь, ты не дразнись… У нас с братком сегодня опасное дело. Я специально его вызвал. Правда, браток? Эх, Люся, Люся, погляди на мою рожу. Я не опасен общественному питанию!

Люся теребит на шее золотистую цепочку, холодно усмехается.

Дождь прошёл, сыро, холодно, на асфальте растеклись огни фонарей, с крыши опадают редкие капли. Колька застёгивает верхнюю пуговицу на рубахе, она ему велика, обвисает с плеч. Стоим под берёзой. Колька подгребает ногой мокрые листья, голову опустил, рассказывает: жизнь не сложилась. Он работал на сейнере, потом электромонтёром, диспетчером, начальником спасательной станции, учеником повара в ресторане, теперь устроился разнорабочим на стройке, а по ночам сторожит детскую музыкальную школу, в ней и ночует. Я слушаю, молчу и слегка рад, хвастаться тоже нечем.

— Понимаешь, браток,— Колька морщится.— Я везде суюсь, пробую искать правду, обличаю

паскудников… Х-ха! Это сложно. Пожалуйста, обличай, если сам чист, как стёклышко. А кто без греха?! Однажды я даже женился, это было по любви. Ну, привёл её, оглядел, у меня вкус, ты ведь знаешь… И что?—Кольке хочется держать лёгкий тон, но я хмурюсь, и он перестраивается.—А ничего хорошего… Я любил, она не любила… На прощание сказала: ты, Колька, слабачок и нянька, ты даже на щепочку не наступишь, думаешь, ей будет больно… Сказала: переродись, Колька. Я ей: а как?

Свистит невдалеке тепловоз. Такси выходит на вираж перед стоянкой, стонет, елозя шипами по мостовой, и две тёмные фигуры припадают к дверцам, отворяют, запрыгивают, и уносится такси, дерзко помаргивая огоньками: а вы? А что—мы?.. Стоим, молчим, топчемся на палых листьях. Колька поднимает глаза.

— А ты у кого из наших гостил? У Слепцова, у Желобанова?..

— Никого не хочу видеть.

— А-а, понятно… Ну и зря. У них тоже ничего доброго… Эх, жизнь наша бекова, нас дерут, а нам и некого! Ну-ка, браточек, постой здесь минутку, я—сейчас. Минутку!

Колька огибает буфет, я слышу, он стучится в чёрную дверь. Я вздыхаю. Колька не изменился, как и в детстве, он скучать не даёт. Ведь мог отобрать пуговицу, дрянь копеечную, а назавтра подарить ценный складешок; мог сговорить пацанов и накинуться на слабого, а мог и в одиночку выйти против десяти, и выходил; мог нахально врать, когда и не требовалось, а то вдруг сказать правду, за которую, знал, не поздоровится, и говорил, и ему влетало. С ним было интересно дружить, ожидая попеременно и зла, и добра.

Хлопает чёрная дверь, слышу тяжёлое придыхание, шаги, и является из-за угла Колька в обнимку с прокопчённым бачком. Крышка маленькая, провалилась внутрь.

Я заглядываю: макароны по-флотски. А Колька бодро мне объясняет, что дома его ждёт-пождёт голодная команда. Подходим к стоянке, Колька корячится, пыхтит. Таксисты не берут, отказывая кто как может, при этом брезгливо оглядывают рыжего с бачком, и я их не осуждаю.

— Х-ха! Не будем унижаться, браток,—обидчиво сплёвывает Колька.—Завтра меня должны назначить начальником таксопарка. Ничего, ничего…

Стараясь не опачкаться, беру бачок, жалея Кольку, такое у него несчастное лицо, что, не ровён час, он заплачет. Идём, несём бачок, стесняясь выходить под фонари. Колька хитрит, чтобы подольше идти пустым, занимает моё внимание небылицами, анекдотами. Я осторожно, чтоб не спугнуть Кольку, говорю: мол, сегодня я малость поспал в скверике, меня разбудили вороны. Он переспросил: в котором часу? И, не дожидаясь ответа, стал сокрушённо рассказывать, как хоронил бабушку.

— И вот остался один в двух комнатах. На что мне столько? И потом, я привык к старухе, разговаривал с ней, ухаживал. Она умерла, браток, и я сразу населил квартиру сиротами-стариками: Самсоныч, Сафроныч одноногий и Марта Гавриловна. Зимой они много спят. Летом торгуют цветами, луком. Ну, в основном бабка Марта торгует… Не сдавать же их в дом престарелых? Пускай живут, радуются своей коммуне. Ничего, они меня любят. Я их в общем склепе захороню, я обещал, есть друг знакомый на кладбище.

Возле подъезда, родного мне и забытого, я передаю бачок, оттянувший руки и плечи, и в квартиру отказываюсь заходить. Колька неодобрительно бурчит, ему подниматься, помню, на пятый этаж. Тополь высится в темноте, жёлтый, мокрый, и не видно: отросла ли новая верхушка? Ведь рыжий пятиклассник, оскорблённый, настрадавшийся под подушкою, тополю не простил, ночью влез с ножовкой и верхушку ему оттяпал. Ствол холодный; я обнимаю, пальцы не сходятся, ну вот, кажется, ещё чуточку, ещё—и сойдутся, я в нетерпении и бессилии бьюсь, бьюсь ладошками на оборотной стороне и только шлепки и слышу, а потом слышу и смешок за спиною.

— Браток, природу не объять голыми-то руками,—Колька посмеивается, подталкивая в спину высокого человека.—Спилим, стешем и обнимем… Иди знакомиться, браточек! Это мой Самсоныч…

Самсоныч останавливается передо мной, вздёргивает тяжёлый подбородок, прищуривает умные и холодные глаза. Добротная, синего цвета, куртка на меху, с оловянными пуговицами, шляпа, остроносые ботинки придают старику несколько опереточный вид.

— Друзья мои!—восклицает Колька, чуть напыжившись, пригладив лацканы зелёного пиджачка.—Друзья! Не задавайте вопросов, я позже всё расскажу. Я зову спасать хорошего человека. Вы поняли мой смысл?.. Самсоныч и ты, браток, могу я положиться на вас?

Я подхожу к Кольке, с чувством жму руку. Он недоверчиво косится на меня, подозревая, что я насмешничаю. Самсоныч недовольно бурчит, натягивая глубже шляпу:

— Ну а в общих чертах? Куда идти-то?..

— Например, я женюсь,—Колька не любит вопросов.—Когда зову на лёгкий бизнест, ты вприпрыжку за мной…

— А жить?—Самсоныч чуть заискивает.—У невесты? Или у нас?

— У вас, у вас!.. Да на фиг вы нужны? Подслушивать? И потом, Самсоныч, ты путаешь. Ты не путай! Как это—у вас? Вы—у меня!

— Коля, Коля, не сердись, я оговорился.

Мне показалось, что старик вовсе не оговорился. Он был заметно растерян, раздражён, вроде как искал повод прицепиться к Кольке, обидеться и, обидевшись, никуда не идти.

Колька держит путь в темноте, будто по не видимому нам компасу. Идём напрямую через глухие дворы и тёмные пустыри, сквозь дырки в дощатых заборах, отпиныаем лающих собак, подбадриваем задумчивого Самсоныча. Конечно, тащиться в мокрую ночь, не зная смысла, конца, степени опасности—удовольствие, я бы сказал, ниже среднего, а только я предчувствовал, что направляемся к чёрной женщине, это было любопытно. Идём так: Колька, следом я, а Самсоныч спотыкается далеко позади.

— Ух, я женюсь!—Колька толкает меня локтем в бок, кивает на Самсоныча: мол, я для него говорю.—Даю вам палец на отруб: стану тогда говорить и размышлять красиво! И высоко! А что? Мысли, они ведь тоже от человека зависят. И от одёжки зависят, от обувки. Будем откровенны, друзья, на мне кеды за шесть тридцать. И мысли иной раз приползают—с гулькин нос.

— Коля, Коля, честное слово, я устал. Скоро придём?

— Браток,—шепчет Колька на ухо,—с каким удовольствием старик поколотил бы меня. Да?.. Скоро, Самсоныч, скоро!

Выходим па окраинную улицу, пересекаем раскисший огород, минуем кочковатое футбольное поле, вязнем в мокром песке старого карьера—помню, когда-то играли мы здесь в Чапаева,—и, выбравшись из песков, видим впереди нечёткие контуры деревянных домов, протянувшихся в два ряда. Темно, тихо, в некоторых окошках неяркий свет.

— Всё, пришли!—Колька подзывает Самсоныча.—Это новый посёлок мелиораторов. Браток, при тебе его ещё не было... Итак, слушайте и повинуйтесь! Самсоныч, помнишь, мы в конце августа получили расчёт за котельную?.. Браток, мы её белили... Ну, получили расчёт, Самсоныч побежал в сберкассу, он очень аккуратный вкладчик, а я, короче говоря, пошёл выпить двести граммов «Рубина», а потом купил сдобную булочку и в сквере кормил голубей... Х-ха, городские голуби, браток, знают меня в лицо!

В Колькином рассказе было много лирических отступлений. Рассказывая, он увлекался, как бы даже заводил себя: то злился, то чувствительно моргал и молчал долго, то невозможно хвастал... Колька занял лавочку в сквере, день был субботний, весёлый, солнечный. Шарашились по аллее пареньки с транзисторами, смеялись девушки, скрипели детские коляски, тявкали розовые собачки на поводках у почтенных дамочек. Были пустые скамейки. Колька удивился, отчего женщина с ребёнком на руках, а ещё двое пацанят держались за её подол, обошла пустые скамейки и усадила свой выводок рядом с Колькой. Возможно, решил он, дети пришли порадоваться на голубей. На женщине были чёрный халат, чёрная косынка, чёрные туфли. Ребятишки сидели тихие, смотрели на голубей как-то строго и чуть даже завистливо. Общительный, мягкий, Колька стал расспрашивать о детях, о жизни и—вообще. Женщина расплакалась и плакала долго: дети не её. Так вышло: приехал в Наманган командированный, вроде непьющий, уговорил, увёз тайком в Мелекесс, с месяц жили неплохо. Он недавно схоронил жену, оставившую трёх мальчишек, и, наверное, собирался стать заботливым отцом, а заместо мамки взял её, Шуру. Она пожалела человека в беде, она даже фамилию его не спрашивала. Паспорт её он сразу забрал, спрятал, пообещал написать её родителям: мол, всё им объясню, Шура, всё будет хорошо... И стал он вдруг пить, а может, и не вдруг, может, думала Шура, он и всегда пил, и свёл родную жену; и пошло у Шуры колесом: Семилуки, Моршанск, Бугульма, потом Златоуст, Ачинск... И вот—посёлок мелиораторов.

— Это судьба моя,—Колька печально оглядывает меня, Самсоныча.—Деньги к деньгам... А ко мне—недоделки. Я тогда и сказал Шуре: держись, раз уже женщинам так предписано—мучиться. А когда сильно прижмёт, ты беги в музыкальную школу, спроси Кольку... А ребятишек я лично обнял и пообещал вывести их к светлому будущему. Как будто, браток, знаю туда дорогу.

...Посочувствовав женщине, Колька собрался уже в ларёк за конфетами, но появился у отдалённого входа в сквер коренастый мужик с крупной головой, в красной безрукавке и брюках-галифе. Он придерживал на верёвке худую козу, она мелко и сердито копытила асфальт. И Шура вскочила, и дети повскакивали, и Колька проводил их глазами, грустными и облегчёнными. Подумал о мужике без недавней враждебности, допустил даже, что Шура всё наврала, ведь не совсем же сволочной мужик, если думает о молоке для пацанов.

— А сегодня утром,—Колька заканчивает рассказ,—она меня разыскала, вся побитая, голодная, попросила продать серьги, чтоб хватило денег до Намангана... Браток, он пропил козу, а утром собрал чемоданишко и исчез, накарябал записку, что не может больше, что сам пропадёт и их погубит... Должен сказать, я не верю, что он исчез. Куда? Скорей всего, он до конца будет пить кровь.

Я перевариваю услышанное, мне ясно, для чего нас Колька притащил сюда,—хорошего мало. Самсоныч встревоженно говорит:

— Коля, Коля, поворачиваем. Это не наше дело.

— Я так и думал,—отвечает Колька насмешливо.—Я поэтому и оттянул рассказ, чтоб не пугать заранее. Но теперь, Самсоныч, тебе ничего не остаётся. Ночь! Ты струсишь возвращаться, я знаю.

Догадываясь, что Кольку не остановить, я всё же пробую поддержать Самсоныча:
— Вот именно: ночь! В чужие дома ночью не ходят.
— Да, да! — Самсоныч воспрянул, встретив поддержку. — Ладно, если эта Шура одна. А если всё же с мужиком? Я бы не хотел… Агитировать его за трезвость?! Это заведомая чушь. Уволь меня, Коля. Я не хочу отбирать хлеб у народного суда, у милиции.
— Х-ха! Народный суд!.. Ну, его посадят — кто будет кормить детей? Ты, Самсоныч?.. Нет, мы его пугнём, а надо — врежем.
— Ну и шёл бы ты один!
— Браток, не остри… Он крупнее меня. Зачем рисковать? Так и так говорить буду я один, но вы будете как бы свидетелями. Ясно? — Колька вдруг темнеет лицом, кричит: — Да вы что — не люди? Что вы — суслики, пузыри, крапива?.. Я вообще боюсь, Шура эту ночь не переможет. Траванёт себя какой-нибудь гадостью, а может, и повесится. Кто их поймёт? Ведь страшная ночь! Одна, голодные пацаны, всё драно, холодно. Ну? Как вам не стыдно? В конце концов, я мог бы и один. Но она ж вроде как одинокая, а я мужик…

Останавливаемся у крайнего дома. Над калиткой светит лампочка, в середине улицы — вторая, в конце — третья, всего три лампочки на километровую улицу, пропади она пропадом. Под лампочкой я напрасно ищу номер дома, а висит только жестянка, синий квадратик, и нарисована белая лопата. Колька качает головой:
— Нет, на Шурином доме висит табличка с ведёрком. А номеров здесь нет и не было… Ничего, Шура обещала бросить плашку у калитки. Ещё сказала, чтоб я держался правой руки… Эх ты, Самсоныч, древний ты, бессознательный! — Колька всё не успокаивается. — Даже взять Люсю… Я спрашивал: Люся, в чём цель твоей проходимости? Ну, в смысле, в чём она видит цель жизни?.. Люся ответила: в общественном питании, Коля, стараемся умножить максимум наевшихся. Видишь, умная женщина! А ты?.. Понимаешь, браток, — Колька тычет кулаком мне в грудь. — Принёс макароны, а старцы — в крик: вчерашние, вчерашние… О как! Я ещё и виноват!
— Коля, Коля, это ведь не я. Это Сафроныч с Мартой кричали.
— Милые вы мои! Живите, я всё равно вас потерплю, хоть вы меня и не любите… — Колька простодушно вымогает признание в любви.
— Коля, ты что? — Самсоныч чуть не плачет. — Любим, любим!
— Ничего, ничего, — Колька будто не слышит. — Как придут мне кранты, так и запоёте репку… Ничего, я с вами чувствую себя живей. Поняли мой смысл? Ругаете меня, а я сижу, молчу, сравниваю вас с собой и вижу: я живей… Дай, Самсоныч, я тебя за это обниму!..

Они обхватывают друг дружку, мнут, тискают, а я думаю: действительно несчастный Колька человек, если находит утешение в том, что сравнивает себя, молодого, неглупого, с кучкой сирых и, видимо, довольно изворотливых старичков и своим превосходством доволен.

Идём по улице мелиораторов как-то крадучись, воровски.

Тянутся повдоль гравийной дороги желтеющие, приятно пахнущие смолой брусчатые дома, желтеющие заборы, калитки и ворота, дощатые тротуары мимо голых палисадников — и ни души, и темень, и только в иных окнах холодеют стёкла от зелёного мерцания цветных телевизоров. Держась правой стороны, Колька сходит от дороги на тротуар и возле каждой калитки чиркает спичкой, высматривая ведро и плашку. Мы с Самсонычем топаем по гравию, скрежет стоит, хруст, искорки вспыхивают под ногами, а самих ног в темноте не видно. Самсоныч тянет меня за плащ в сторону темнеющего палисадника. Я вглядываюсь: астры! Ну и зрение у старика! Редкие тонконогие астры телепаются на клумбе, круглой, обозначенной побелёнными кирпичиками. Перемахиваю за низкий штакетник, склоняюсь над клумбой. Самсоныч забирает букет, нюхает, кашляет.
— Ну всё, братки! — Колька дожидается нас, показывает дощечку с ржавым гвоздём посередине. — Это и есть плашка… А вот, глядите, нарисованное ведёрко… — Колька бодрит себя, я прислушиваюсь, он напевает: — «Ух, я чёрная моль! Я л-летучая мышь!..» Х-ха, давай цветы, Самсоныч! Это вы молодцы, жулики… — он уверенно нажимает на скобу, заменяющую ручку. — О! Закрылась?!

Он нашаривает в темноте камешек, швыряет в стекло.
— Потеха, — замечает Самсоныч, — если это другой дом.
— Не-ет, старичок, вот же плашка… Хотя всё возможно…

Я вглядываюсь в окно, отдёрнулась там, в комнате, светлая занавеска, и — мужская физиономия! Самсоныч от неожиданности вскрикивает, отбегает к дороге. Через мутное стекло мужчина чудится мне с квадратным лицом, мрачным, фиолетовым. Не скрою, дрогнули коленки и у меня. Колька с непримиримым видом подходит к окошку, пытается разглядеть черты лица, но какие там черты, если я в карман рукой не попадаю, не вижу кармана, чтоб хоть спички достать.
— Эй, ты! — кричит Колька. — Что тут делаешь? Выходи!..

И начинается у Кольки с мужиком нечто вроде переглядывания: кто первый моргнёт. Ну, я в этом смысле спокоен за рыжего. Думаю: ну и хорошо, что мужик дома, вот только, жаль, мы много времени ухлопали, пока шли, теперь надо

идти обратно, а—куда, к кому?.. Мужик вроде там делает нетерпеливые знаки: проваливайте! Колька стонет, показывает ему кулак и кричит:
— А ну выходи, козёл!—и оборачивается:—Браток, может, он её убил? Всякое может быть, раз он козёл… Придётся брать, нет на осаду времени… Если он не выйдет, Самсоныч забежит с огорода, браток махнёт через забор, а я рискну выбить окошко…
— Ты шутишь, Коля, ты так не шути… Не забывай, что это семья, а мы посторонние. Я древний и знаю законы.
— Я согласен с Самсонычем. Давай уходить, Колька.
— О, о! Задёргались, задёргались!.. Нет, братки, я должен собственными глазами увидеть Шуру. Вот тогда уйдём.

В глубине двора раздаётся звяканье отмычек и запоров, звуки быстрые и грубые, скрипит дверь, и—голос:
— Эй, кого надо?

По голосу это здоровяк.
— Смотри, молодец, смелый,—шепчет мне Колька, тут же припадает грудью к калитке:—Мне нужна Шура. Имеется такая?

Я успеваю подумать: Боже, сделай так, что это не Шурин дом…
— Шу-ура?—мужик удивлён.—Ну, имеется. А зачем она?
— Да! Шура, Шура нужна!—Колька теперь вовсю смелеет.—Слушай, мужик, вызови мне Шуру на минуту. Понял мой смысл? Или иди сам сюда! Поговорю с тобой, как звезда с звездою говорит! Ты же уехал! Ты зачем вернулся, бандит?..
— Ч-чёрт… Кто такие? Почему вас трое? Вы кто?..
— Я Сириус!—Колька весело скалит зубы.—Так ты вызовешь Шуру? Учти, пока её не увижу, не уйду!
— Товарищ, простите,—вступает в разговор Самсоныч.—Вы кто приходитесь Шуре? Муж?.. Ответьте, пожалуйста, это очень важно.
— Да, я муж, кто ещё?! Муж!.. Я уезжал, а что? Вот приехал.
— Коля, немедленно уходим,—Самсоныч тянет Кольку за руку.
— Да что с ним разговаривать?—Колька стучит кулаком по калитке, доски гудят.—Эй, бандит, открывай!.. Браток,—он горячо шепчет,—позор мне, если не смогу защитить женщину. Она же надеется, браток. Думай, думай, как её вытащить из дому…

На какое-то мгновение восстанавливается тишина.
— Слушай, ты, который требуешь Шуру!—теперь мужик, стоящий на крылечке, раззуженный нами, требует уточнения.—Ты кто ей?
— Ха-а, я божий человек!—гордо отвечает Колька.—И защитник! Ты ж избиваешь её, как грушу. Она всё рассказала.

Самсоныч укоризненно роняет в темноту:
— Товарищ, а неужели бьёшь её, в самом деле?
— Ч-чёрт… Эй, защитник! Ты что, ходил без меня к Шурке?
— Молчи, Колька,—я зажимаю ему рот.—Молчи, это провокация. А если у него Шурка—не твоя Шурка, а другая, его законная? Он её сейчас безвинно укокошит. Молчи. Мы всё перепутали…
— Я не только ходил, козёл ты бодливый!—кричит Колька, с силой отталкивая меня, вид у него отчаянный.—Я уважаю её как человека. Хочешь знать, я кормил её с руки. Понял мой смысл? И попробуй хоть раз ударить её. Завтра я приду—чтоб тобой здесь не пахло. Я говорю забесплатно, ты меня знаешь!..
— Ну, хватит!..—мужик выкрикивает с болью и злостью.—Хватит! Считаю до трёх, потом стреляю… Р-раз! Д-два! Два с половиной…

Самсоныч подскакивает, как юноша, и срывается в темноту.
— Два и семьдесят пять сотых!—смеётся Колька.—Стреляй, бандюга… Ух ты и козёл, я с тобой завтра…

Вдали стихают топот и шуршание—Самсоныч машет без остановок.
— Три-и!—вскрикивает мужик.

И—вспышка с крыльца, и будто гравием шибануло по воротам, и обвальный грохот в ушах. Обхватываю Кольку, толкаю, падаю рядом; мелькнуло в голове: второй выстрел будет по белому плащу… И мы быстро-быстро, словно бы состязаясь, ползём, ползём, прижимаясь к плотному забору, забирая ногтями сырую землю, тяжело дыша, и я потом со стыдом вспоминаю, что я далеко-далеко позади оставил Кольку. Кстати, на воде он мог только по-собачьи, а я и брассом, и баттерфляем. Видимо, это как-то сказывается и на суше.

Сидим подле другого дома, страшно похожего на прежний, все они тут одинаковые, и восстанавливаем сбитое дыхание. Колька сосредоточенно, перегнувшись в поясе, отскабливает щепочкой штаны на коленях, где-то по пути, что ли, очумело ползя, прихватил эту щепочку. Я придурочно хохочу, показываю на неё пальцем. Колька вертит щепочку, отбрасывает, лицо у него смущённое, потом и встревоженное.
— А цветы где?—он озирается и огорчённо сплёвывает.

Самсоныча разыскали в холодных песках карьера. Долго старик не отзывался на свист, будто он считал, что свистим не мы, свистят наши тени. Теперь уже не Колька, а я настаивал искать подлинную Шуру, переночевать коллективом на полу, а утром идти с повинной к мужику, стрелявшему в нас, дураков. Самсоныч был такого же мнения: ох, мы утворили!—и предлагал сейчас же сматывать удочки. Колька порывисто шагнул ко мне и обнял за плечи:

— Браток, я не имею права рисковать вами!.. Иду один, туда мне и дорога. Поняли мой смысл? А вы разжигайте костёр. Самсоныч пускай ворошит палочкой угли, а ты, браток, сиди, грейся и думай хорошее о жизни. Х-ха, жизнь того стоит, браток.

Костёр наш задымил, задымил; и палёной запахло резиной.

Сижу, греюсь, пытаюсь думать хорошее о жизни, желая Кольке устойчивости, Самсонычу простоты, а себе недвижимого дома, тогда я тоже купил бы ружьё, посеял бы астры, жену свою берёг бы и жалел, потому что, как ни суди, ни ряди, а женщина выпускает нас в белый свет, ещё потом от нас и страдает — незавидная доля.
— Знаете, в чём ошибка? — Самсоныч поднимает голову, усталый, задумчивый. — Видимо, не с того конца зашли. Ведь было сказано держаться правой руки. Шурин дом где-то напротив.

Не выходит из головы озлившийся мужчина с ружьём. Вломились в чужую семью, напакостили, подвели незнакомую женщину. Он сейчас сидит, звереет, допрашивает, а она плачет, просит, оправдывается. Жалко женщину, жалко, да ведь пройдёт месяц-два — и она забудет, успокоится, она-то знает, что чиста. А мужик? Даже если завтра наберёмся храбрости, придём, мужик выслушает, если, конечно, станет слушать, и, может быть, поверит нам, но червячок сомнения теперь вечно будет при нём. Выходит, мужик пострадал больше всех. Я подумал: а ничего, пусть, это ему вроде наказания за то, что стрелял в людей.

Вот уже и полночь. Вывалила в центр звёздного неба луна, мягкая, текучая, как тающий круг сливочного масла, и воздух весь зажелтел, а песок окрасился в голубое. Я думаю: вот сейчас подошёл мой поезд Харьков — Владивосток, и проводница тётя Галя, хозяюшка моя, ангел-хранитель, с тревогой оглядывает пустой перрон, меня нет, она теперь будет думать всякое. Ладно, сяду завтра в самолёт и встречу поезд в Иркутске. Я восьмой год живу у тёти Гали. Зимой веду на стеклозаводе кружок юных художников, а летом катаюсь в поезде, помогаю хозяйке. Иногда от скуки хожу по вагону, знакомлюсь с народом, слушаю дорожные байки и сам рассказываю, а то и рисую карандашные портретики на ватмане, и однажды тётя Галя со смехом заметила, что ты, Георгий, не иначе как купейный художник. Словом, живу, хлеб жую, зачёркиваю годы. А ведь хорошо начинал: работал в аэропорту, молодой, весёлый, толсторожий, а потом — глупая неосторожность, больница, операция и ранняя пенсия, о которой в мои тридцать пять лет стыдно думать, а тем более рассказывать. Например, Кольке я соврал, что работаю в художественной галерее, и он сдержанно, сожалеюще, похлопал меня по плечу.
— Ах, Коля, Коля, божий человек, — Самсоныч вздыхает.

Нас разделяет костёр, скромный, приниженный, и кажется, что пламя лижет землю, стесняясь взметнуться ввысь. Мне лень шевелиться, и я прошу Самсоныча, чтоб походил, поискал щепочек, а он резонно отвечает, что для этого стар.
— Всё в нём как-то вперемешку... Матушка его, Анна, говорят, была красивой. И умной, начитанной. Что хотите — единственная дочка директора комбината! А вот отец... Он пришёл из глухой деревни с лопатой в руках. Язык толстый, глаза сонные, кривоногий... А чем её взял?.. Раз в неделю он выбирался из котлована, шёл смотреть на рыжего младенца, ему разрешали приходить в директорские апартаменты раз в неделю... Он снимал сапоги... Вернее сказать, он скидавал сапоги... И по ковровой лесенке шёл вверх, вверх... Теперь вот Коля хвастает, что много может. Что-то, конечно, Коля может, я не спорю... А не глубоко, не глубоко. Думаю, оттого, что мало матушкиной крови.
— Ерунда, здесь вы себе противоречите.
— Ну-у, котлован — не та глубина.

Мне, помню, бабушка рассказывала, что всякими правдами-неправдами, уговорами, насмешками землекопа сплавили в свою деревню. Колька жил с матерью до пяти лет. Мать умерла, сильно простудившись. Приехала деревенская бабушка, пожила неделю в апартаментах и забрала малыша. Я хорошо помню Колькиного отца, Фёдора Кирилловича, маленького, с тонким голосом, с жалкой и искательной улыбкой, когда смотрел на людей, будто бы он жил и думал, что у всех под подозрением, Я говорю сердито:
— Я помню Фёдора Кирилловича, он был душа-человек. Он стремился наверстать: читал классику, учился играть на аккордеоне. Он и в город переехал, чтобы Кольке дать культуру. Главное — он старался.

Самсоныч останавливает взгляд на моих полуботинках, тупых, в глине и песке, и мне стыдно, что они тупые, в глине и песке. Я замечаю на стариковском лице нечто похожее на удовольствие.
— Молодой человек! — грустно улыбается Самсоныч. — Товарищ вы браток! Что такое — старание? Достарался и я — до счётной конторы. А есть люди! Они рождаются с размахом — размах старанием не достичь.

И ведь вроде злюсь на старика и не хочу его жалеть, а как-то само собой жалеется. Вижу, он хоть и в куртке, а нависает над костром, суёт в него посиневшие руки. Я набрасываю плащ, думаю, что он откажется, — нет, виновато улыбается и кутается, а помолчав, говорит, не скрывая некоторой ехидцы:
— Старание и труд, товарищ браток, скоро всё перетрут.

— Как сказал бы Колька: х-ха! Не обижайтесь, Самсоныч,— говорю я, насмешливо улыбаясь,— наблюдаю за вами: вы ни разу не подняли глаза в небо.
— Да? Может быть, может быть… А о чём это говорит?

Слышим беспечный смешок Кольки, затем негромкое женское:
— Не нужно… Стыдно, Кол-ля!

Двое показываются у крайнего дома, подталкивая узкие и длинные тени, одна чуть короче— Колькина. Женщина идёт впереди, прямая, чуть грузноватая, и снова—одни глаза, а лоб и губы спрятаны за чёрным платком. Колька сваливает в костёр охапку берёзовых поленьев. Самсоныч приближается к женщине, голова у него на шее—что у гусака: так же подёргивается и озирает предмет важно и самонадеянно.
— Браток, дом её был против пальбы,—Колька поглядывает на Шуру с жалостью, виновато.— Шура слышала пальбу. Правда, Шура?.. Когда я, живой, к ней постучал, она как раз молилась, думала: всё, Коле кранты. На её языке, браток, кранты обозначают: прощай.
— Кол-ля, ты весёлый. Не нужно.
— А вы на каком языке думаете?—Самсоныч гладит её руку.
— Шура знает. Правда, Шура?—Колька франтовато вздёргивает чуб.—Она знает, что Колька благородный, хоть простой, он всем должен, а ведь ни у кого не занимал!..

В волнении делается Колька, я его понял, неудержимо болтлив и хвастлив. Как всякому застенчивому человеку, а он застенчив, я это легко угадываю, бывает Кольке потом совестно. Но это ж потом! Я слушаю его, любуюсь, он по-своему красив, широк, бескорыстен, и думаю: надо ему прощать браваду, ведь где волнение, там и подъём, а на подъёме, знаю, голова становится лёгкой и звонкой.
— Милые мои, сегодня я люблю вас!—Колька раскидывает руки.—Буду ли завтра любить?.. Это уже от вас зависит… Браток, знаешь, я сожалею: надо было после выстрела завизжать как от боли, а? Пускай бы считал, что ему теперь тюрьма!
— Ты что, Колька? Поставь себя на его место. Ему как сейчас тошно. Утром надо сходить, объяснить ему. Пойдёшь?
— Я? Ни в жизнь!.. Браток, где гарантия? Он зарядит ружьё, как придём к нему, и будет прав. Не, я жить ещё хочу.
— Коля, Коля,—Самсоныч озабочен.—По-моему, Шура замёрзла.

Приходим, включаем лампочку, жмуримся.

У порога пустое мусорное ведро и кучка обуви: туфельки, тапочки, сандалии, босоножки, маленькие и зашарпанные,—я поскорей отвернулся. В доме голым-голо, как перед вселением или перед отъездом. В доме—три комнаты, кухня. На середине большой комнаты стоит двухтумбовый стол, казённый, должно быть, списанный, а вокруг него шесть стульев, все забрызганы чернилами. Справа, как заходишь, стоит железная кровать, пугающая сеткой, а матрас свёрнут в изголовье. Над кроватью висит крошечная репродукция из журнала: красный конь, на коне голый мальчишка. Помню, мой отец про эту картину говорил: конь хорош, красный, видный, а много не вспашет… Колька спросил, знаю ли я фамилию художника. Я назвал: Петров-Водкин. Колька усмехнулся, однако стоял перед картиной, глядя почтительно… В смежную комнату я просунул голову, отведя шторы: на полу спали дети, ближний у двери мальчонка, откинув край одеяла, замёрз, обхватил плечи тонкими руками. Была ещё комнатка, её приспособили под кладовую: всё навалом—три чемодана, сундучок, сбитый обручами, два узла с тряпьём, несколько мешков с картофелем, до сотни пустых бутылок, а в дальнем углу желтеет сено—маленький аккуратный стожок.
— Ай-яй-яй, беда, беда,— Самсоныч, как и я, поражён.— Убежал, подлец, и бросил лежачих. А она-то? Она по-русски, думаю, глаголы только знает—и всё. Ай-яй-яй…

Торопливо, давясь, уминаем варёную картошку, холодную, скользящую в пальцах. Шура сидит в кухне, мы её звали, звали… В кухне я зачерпнул воду, попробовал—тёплая, пить не рискнул, а пошёл на крыльцо, сел, и стало до того ли тошнёхонько, и главное—Кольку во всём виню: зачем привёл сюда? И ещё ваньку валяет: «Милые мои, сегодня я люблю вас». Плакать надо, ругаться, искать выход. А лучше бы я уехал, всего этого бы не видел, не переживал. Вышел из дома и Самсоныч, посидел рядышком, повздыхал, потом, будто что-то вспомнив, прошагал по двору и скрылся за калиткой. Минут через пять, позёвывая, напуская на себя весёлость, явился Колька, и я со злом его осадил:
— Комедию ломаешь. Стыдись. Плакать надо, ругаться!..
— Поплачь, поплачь, легче станет,—Колька садится поодаль.—Любишь себя, жалеешь… Браток, браток, я сам еле сдерживаюсь. Она сейчас сказала на своего бандита: русский, а—нехороший. О! Будто мы поголовно суждены быть хорошими?! Я её учу: жизнь замрёт, если все станут поголовно хорошими. Не верит, совсем она неграмотная… Ну даёт! Если, значит, я русский…
— Зря ты её сбиваешь с толку. Она права: чем больше хороших, тем меньше плохих. На этом уровне и надо говорить.
— Поверь, я даже согласен с нею жить. Ну, я ей говорю: возьму вас под опеку, год с вами проживу… Касаться, мол, тебя не буду, а только одевать и кормить… Она как рассмеялась, как чокнутая… Браток, ну я чем богат? Разве что страданием!

Говорю: Шура, не жалей о козе, я корову куплю. Да! И я купил бы дойную корову. Я когда-то умел косить. А доить и Самсоныч умеет, и Сафроныч, и Марта Гавриловна. Х-ха! Браток, при умном распределении, согласись, молоко всем достанется.

— Колька, а вот кто её в Намангане ждёт с таким выводком?..

— Так и я говорю. А она: поедем, поедем, там хорошо…

Я слушаю Кольку и думаю: Шуру ли жалеть, Кольку ли жалеть? И кто из них, двоих, большей жалости просит?.. А ведь они просят, хотя делают это не вслух.

С улицы, озираясь, возвращается Самсоныч, с букетом. Гляжу на букет удивлённо: да, тот самый, ещё и с комочками глины.

— Коля, Коля,—Самсоныч торжественно выпрямляется.—Уверен, Шуре никогда не дарили цветов. Держи! Ты будешь первый с цветами.

— Вы с ума сошли,—говорю,—это же насмешка. Вы что?

— Браток прав. Да, Самсоныч, поднеси-ка цветы бабке Марте.

Долго мы распределялись спать. Никто не хотел наглеть, и двуспальная кровать осталась со свёрнутым матрасом. Самсоныч устроился на раскладушке, её поставили в кухне, там теплее. Я попросился на пол к ребятишкам. Колька и Шура выключили лампочку, поставили на стол свечку и сидели возле неё и шептались.

Что на полу жёстко, если даже подстилка из сена,—это не беда, а беда—холодно. И ещё—шёпот. Если он разборчив, я ни за что не усну, слушаю, такая моя природа. Я приполз к шторкам, выглянул и признался Кольке, что всё слышу. Они враз замолкли. И я, наверное, мигом же уснул, оботкнув себя плащом, как на учениях когда-то шинелишкой.

Просыпаюсь—плащ с меня стягивают, причём тянут рывками, как бы раздражённо… За окнами ещё темень. Свечка до половины истаяла, язычок огня кажется мне похожим на золотую чайную ложечку. А стягивает плащ крайний мальчишка и делает это бессознательно с полным правом: замёрз. Я потрогал его ледяные плечики и ужаснулся: что же ты, мачеха, ребятишкам на полу стелешь?.. И другой, и третий мальчишки сложились в комочки, я такие видел на картинке, показывающей беременную женщину как бы в разрезе. В комнате всё ещё тихо шептались. Я притянул младшего из детей, сунул под мышки и пригрел. Зло меня берёт, и теснее прижимаю пацанёнка, будто и свою, и чужую вину, жалкую и ощутимую. Злюсь и на Кольку: где чувство реальности, рыжий? Скорее всего, ты хочешь в будущем спать спокойно: мол, я предлагал опеку—она отказалась, но я же предлагал?..

— Кол-ля, не надо,—не шепчет, а уже говорит в полный голос женщина.—Мы сами, Кол-ля… Ты сам, а мы сами…

— Сами-и!—Колька почти вскрикивает.—Вы не будете сами. Я! Я всегда был и буду сам. Сам, как ответчик,—и совсем тихо Колька выдыхает:—Тяжело плечам, Шура… Плечи давят на душу, знай. Я тебя никогда не забуду… Ты нас прости, мы не злые…

Я поднимаю от подушки голову: глухой стук слышится, и шорох, и тишина, а следом, как из бездонной глубины, едва слышимые, но всё выше и круче забирая, доносятся ко мне, стягивая кожу на затылке, рвущиеся, невыносимо стыдные для слуха, позорные звуки мужского рыдания. Колька, Колька… Перед женщиной? У неё у самой дополна горьких слёз, но она-то сдерживается. А ты? Трезвые и осмысленные слёзы мужика—что есть страшнее?.. Я решительно выбираюсь из-под плаща и, лёжа на животе, просовываюсь в дверной проём: Колька Медный, тускло освещённый свечкою, стоит на коленях, головою уткнулся в чёрный и тугой подол и сотрясает худыми плечами под клетчатой рубашкой.

— Кол-ля… Благородие моё, Кол-ля…—женщина плачуще и нежно выпевает его имя, одна её рука запущена в огненную гриву на затылке, а другая рука приглаживает и приглаживает рубаху на выпяченных лопатках.—Ты благородие… Хороший Кол-ля…—и она гладит его, гладит, и приговаривает, и глаза её, сухие, устремлены в сторону истаивающей свечки.

Перед утром Колька, пасмурный, с мрачным лицом, расталкивает меня. Светлеет. Через окно мне видны верхушка телеграфного столба, две белые чашечки, косые нити проводов. Колька объясняет, что лучше уйти сейчас, пока не проснулись дети, да и на улице ещё нет людей. Мы не смотрим друг на друга. Самсоныч сидит уже одетый, весь скорбный и отёчный, нос почти нападает на верхнюю губу. Вдавившись в полосатый матрас и поджав ноги в шерстяных чёрных носках, спит на левом боку Шура, сдвоив ладошки под щекой, и чёрные тени под глазами кажутся мне специально наведёнными, а губы—полуоткрытые, будто немедленно готовые или горестно сомкнуться, или улыбнуться, смотря что ей прикажут, и то если прикажет сильный человек. Колька с полминуты стоит над ней, свесив руки, и, круто повернувшись, выходит в дверь.

Проводили Самсоныча до подъезда, он вошёл, не простившись даже, хмурый, недовольный. Направились с Колькой в музыкальную школу: цела ли она, не сгорела ли, покуда сторож шастал по окраинам города? Издалека разглядев за спящими ещё домами красную железную крышу и угол побелённой стены, Колька равнодушно кивает: цела. И тащит меня на вокзал. Я, рискуя обидеть Кольку, говорю:

— Ты заметил? Сама на кровати спит, а дети — на полу.
— Молчи, браток, и никому не рассказывай, — отвечает он. — Страшно подумать: дети болеют нервами. Я хотел перетащить их на койку. Шура не дала, они на койке пугаются, кричат во сне: им кажется, что под койкой родная мать… Ты понял смысл? Гад пьяный, он её под койку… А они? Что мы делаем, что делаем?..

Колька оглядывает каменную улицу, холодную с утра, притаившуюся. Клочки тумана невесомо тычутся в цоколи домов, окутывают подножия берёз в сквере, и кажется, что берёзы просто парят в воздухе, не достигнув полуметра до земли. Обгоняя нас, тащится на вокзал утренний автобус, почти пустой. На высоком сиденье сонно покачивается молодая плечистая кондукторша, скуластая, узкоглазая, в голубой вязаной шапочке. Лениво оглядывая нас, кондукторша грозит пальцем и зевает в кулак. Колька толкает меня локтем, говорит:
— Это и есть Маринка, подруга Люсина… Ничего, — Колька вздыхает. — Ничего, мы с Люсей пробьёмся куда хотим, если, конечно, перед нами расступятся. Правду говоря, Люся пообещала отправить Шуру и детей, без хлопот, без билетов. Ничего, Люся женщина мировая. Я давно её люблю, браток, и она чувствует. Но вспомни её лицо. Вспомнил? А теперь сравни её лицо и мою рожу.
— Ну и что?! Колька, есть же внутренняя красота!
— Брось, брось… Сказки моей бабушки, — морщится Колька. — Лицо есть лицо. Оно как наволочка, браток… Помнишь, в буфете я говорил про пульс и рождение? О-о! Та ещё фантастика! Знаешь, распускается мой узелок, я чую: скоро мне кранты. А что дальше? Это важно бы знать: куда мы деваемся дальше?.. Браток, когда я бежал в кедах, а Шура за спиной, меня всё же настигли цыганские люди. И я им рассказал свою историю. Они выслушали со слезами, подвели мне красного коня: Коля, скачи, вот твой конь, он с картины Петрова-Водкина. Я вскочил, конь зашатался подо мной… — Колька сплёвывает на тротуар мимо урны, лицо его раскраснелось, глаза горят. — Ты меня знаешь, браток. Я повторяю: я не опасен общественному питанию… Я хотел родиться на Землю, а вокруг меня пульсировали миллионы других горошин, а у меня не было шансов родиться. Понимаешь, я как-то понимал, что мог родиться только от Анны и Фёдора. И что? Ведь это были два жутко разных и далёких узелка. Х-ха!.. Мой пульс равен как бы… И я пульсирую, немой ужас, с частотой тысяча ударов в секунду! Ты понял? Я начинаю их сближать, браточек, Фёдор берёт лопату, чтоб идти копать котлован в городе. Бросает в деревне мать и отца, не понимая, что такое с ним происходит… А это я веду его!.. Анна в золочёных туфельках спускается по коврам, выходит на дождь, ступает по грязным лужам, не понимая, что с ней происходит, идёт смотреть, как роют люди котлован… А это я веду её!.. Я помню пульсом, как сейчас, это было близко к взрыву, так я напрягался, браток… И вот засыпает ночной дом директора комбината, — Колькин голос вибрирует, рвётся, доходит до шёпота. — Анна трясётся от страха в комнате, ждёт, ненавидя его, маленького, в рабочем поту на спине. Фёдор трясётся от страха, открывая дверь с благородной ручкой, сбрасывая глиняные сапоги, и потом взбегает по лесенке босиком… Они ближе, ближе, два мигающих светлячка, два чужих мира, два сапога пара — ради моего узелка! И вспышка, и взрыв, и свистящая музыка — я стремительно падаю на Землю. Всё! И затянулся мой узелок. А?! А ты говоришь: я не помню. Я помню, браток! Хотя что с того толку?.. — Колька отирает лоб. — А потом Анна и Фёдор разошлись, как в море корабли… Это важно, но уже не важно. Они сделали, что и должны были сделать. Ты понял мой смысл?

Пряча от Кольки глаза, я достаю чёрные очки. Через мягкую черноту стёкол Колька, со слабой шеей и коротким носом, чудится не человеком, а призраком, отстоявшим, например, много смен подряд у станка, усталым и, как говорится, очень довольным.
— Во всяком случае, — я не хочу выглядеть тупым, — у тебя, Коля, сильное воображение. Да! Но я тебе не завидую.
— Браток, такая натура моего характера! — Колька стоит, слегка разочарован, что я не в восторге от его фантазии. — И я всегда говорю забесплатно!.. И последнее, браточек, от меня, — Колька достаёт плоский кошелёк, вынимает сторублёвую бумажку. — Завтра начинается новый бизнест. Хочешь смейся, хочешь не смейся: никто ещё у меня не занимал. Я даже не знаю чувства, с какими люди ждут: отдаст долг или не отдаст?! Возьми, возьми!.. Наверняка тогда навестишь меня ещё разок. Я расскажу, как мы проводили Шуру. И знаешь, ты ведь и Люсе моей понравился… Не забывай, а мы будем ждать.

От железнодорожного вокзала есть прямой автобус в аэропорт. Я тороплюсь уехать. Колька меня уже и тяготит, и ранит простотой, и раздражает. Зачем он такой — простой? Автобуса нет и нет. Нам приходится говорить на пустячные темы. Потом Колька вдруг начинает меня учить жить. Он говорит, чтоб я ушёл от тёти Гали, чтоб не тянул из неё добрые соки. Как бы в отместку ему, я говорю, чтоб и он выгонял к чёртовой бабушке своих сирот-старичков. Они вряд ли сейчас пропадут, не то время, чтоб пропадать, — мы все на учёте. Ещё я советую бросать музыкальную школу. Благо, если б его окружали спортсмены, например, красивые и атлетичные, а не хилые старички-неудачники, и сторожил бы он, например, консерваторию, а не бездарную музыкалку.

— Поздно,— говорит Колька с болью.— Браток, они меня окружили.

На обратном пути, так получилось, я проспал станцию, тётя Галя пожалела меня будить. Я слегка переживал, не увидев Кольку, не вернув ему сторублёвку, а потом подумал и успокоился: успею ещё.

Нынче, двенадцатого июля, я сошёл с поезда в родном цветущем городке. Улыбаясь, что называется, во весь рот, приблизился к буфетной стойке, облокотился. Я был разодет по моде, свежий и гордый.
— Люся!.. Зачем дразните своей коррупцией, Люся?!
— Ой, это вы?— Люся прижала руки к груди.— Коля был бы вам рад.

В конце апреля Колька полез на крышу приколотить дверцу слухового окна. В ветреные дни дверца хлопала и скрипела, донимая чутких сирот-старичков. Самсоныч бросил идею: дорогой Коля, залезь, заколоти её совсем!.. Колька сел спиною к крутому шиферному скату, пригрелся на солнышке, задумался, прислушиваясь к детским голосам, доносившимся снизу, и бездумно опустил молоток рядом с собой, на шифер, и молоток пополз вниз по желобку, не задерживаясь, убыстряясь. Надеясь подхватить молоток, Колька резко подался вперёд, выкинул руку, не достал, ещё потянулся, ещё и— вывалился на шифер, заскользил к краю, отчаянно упираясь ладонями, раздираемыми в кровь жёстким шифером, скользил, воздев лицо к небу, крича, так и полетел на бетон, выставив руки, словно бы надеясь в пустоте хотя б на лёгкую опору... Люди сбежались; одноногий Сафроныч, ополоумевший от горя, то развязывал, то связывал холодные шнурки на Колькиных бело-голубых кедах, а Самсоныч, в шляпе и перчатках, плача, схватил молоток и, пытаясь, что ли, сделать больно этому куску железа, бил и бил им по бетонной плите, лишь открошивая её, лишь высекая холодные искры.

ДиН симметрия

Анатолий Мариенгоф

Тучелёт

Иннаф.

1.

Из чёрнаго ведра сентябрь льёт
Туманов тяжесть
И тяжесть вод.
Ах, тучелёта
Вечен звон
О неба жесть.

2.

Язык
Не вяжет в стих
Серебряное лыко,
Ломается перо— поэта верный посох.
Приди и боль разуй. Уйду босой.
Приди, чтоб увести.

3.

Благодарю за слепоту.
Любви игольчатая ветвь,
Ты выхлестнула голубые яблоки.
Сладка мне темь закрытых зябко век,
Незрячие глаза легки.
Я за тобой иду.

4.

Рука младенческая радости
Спокойно крестит
Белый лоб.
Дай в веру верить.
То, что приплыло,
Теряет всяческую меру.

1920

1932–2020

Арэг Демирханов

О ценностях и чувствах…

Самооборона

Одичав от глупости и скуки,
Многолетней телеболтовни,—
Сам себя беру я на поруки,
Сам себе отсчитываю дни…

Сам, над енисейским непокоем,
Сам, в самим придуманной стране,
Я иду под собственным конвоем
К мной самим поставленной стене.

Сам срываю с глаз своих повязку,
Сам зову на ужин вороньё.
Как не верил я в былую сказку,
Так не верю в новое враньё.

Никому я больше не попутчик
И себя прошу о пустяке:
Как бы мне прицелиться получше
И не дрогнуть пальцем на курке.

1989

Плач о недостроенном доме

Господи, убавь мои тревоги.
Что-то день неладное таит.
Кто-то дом поставил у дороги.
Так и недостроенный—стоит.

Дом кирпичный, с необычной крышей,
На какой-то западный манер,
Не затем, чтобы казаться выше,
А являть изящества пример.

Дом стоит в клубах дорожной пыли.
Вместо окон—чёрная тоска…
Видимо, хозяина убили,
А его—пустили с молотка.

Только нет желающих и смелых
Угодить в кирпичную беду.
Дом стоит без смысла и без дела.
Я его жалею на ходу.

Господи, смири мои поступки.
Я хочу молиться и молюсь,
Чтобы не была такой преступной
И такою подлой наша Русь.

2004

Красноярские «Столбы»

Кляня людскую жизнь,
Что каторгой была,
Рванулись камни ввысь—
Но тяжесть не дала.

Тогда они в бега—
От злой людской судьбы.
Их приняла тайга.
И стали в ней «Столбы».

Не тронет их молва.
Годам утрачен счёт.
По каменным стопам
Базаиха течёт.

История стара,
Но помнят свой полёт
Два каменных «Пера»
И «Дед», что слёзы льёт.

За теми горами, за теми лесами,
За теми годами, за теми летами,
И, если с усами, вы знаете сами,
Что спрятано там, за семью небесами.

1967

Праздничный вальс

На Дубровинской улице,
Там, где яблони в ряд
Белоснежно красуются
Столько вёсен подряд…

Где дома отражаются
В енисейской воде—
Жизнь моя продолжается
То в пирах, то в труде.

Всё с друзьями, с любимыми—
Золотые года!
Енисей течёт мимо…
Ледяная вода.

Скоро всё образуется.
И меня—на покой…
По Дубровинской улице.
По красивой такой.

2002

Другу-скульптору

Земля трясётся под ногами,
И вновь идёт на брата брат…
Друга пробуют рогами
И демократ, и партократ!

Слетают вывески и маски,
Всплывает муть минувших лет.
Но слишком много чёрной краски,
А белой будто бы и нет!

Но ты, художник, встань над всеми,
Пролей на камень пот и кровь!
Прославь и в наше злое время
Надежду, Веру и Любовь!

1987

Экзюпери

О том поёт поэт-пилот,
А мы внимаем с изумленьем,
Что наша жизнь—ночной полёт
С одним надёжным приземленьем.

1981

Плач над Рижским заливом

Жизнь пролетела,
Как сверхзвуковой истребитель.
Быстро до жути
Сгорбилось тело, уволился ангел-
хранитель.
Финиш, по сути.
Точка, конец.
Но не повод для слёз и печали.
Просто припомнил,
Как жалобно чайки кричали:
Горько, пронзительно,
Как о последнем причале!
Или далёком, почти позабытом
Начале!

2004

Начало рыночных отношений

Разбазарилась Россия:
В дикий рынок—напролом!
Ходят мальчики красивые,
Промышляют барахлом.

Разбазарилась Россия.
Все торгуют—млад и стар.
Ходят девочки красивые,
Предлагают свой товар.

Вот такое дело скверное
Не во сне, а наяву!
Это всё пройдёт, наверное,
Только я не доживу.

2001

Старый вяз

У порога старый вяз. В жаркий день
Он заботится о нас: дарит тень.
Он ладони поставляет ветрам,
Укрывает детвору от дождя.
Я приветствую его по утрам
И прощаюсь навсегда, уходя.
Старику, ему стоять нелегко,
Ветки старые держать на весу.
Он грустит, что от других далеко,
И жалеет, что растёт не в лесу.
Жить непросто от друзей в стороне.
Но ему не убежать, как и мне!

1982

Тревога

Тревогой тишина полна. Тревога!
Она у каждого окна и у порога.
Она за каждою стеной,
Над каждой крышей.
Она с тобой, она со мной
И с тем, кто выше.
Она в волне и над волной,
На небе и на суше.
Объят тревогой шар земной
И наши души.

1987–2005

Осенняя пора

Горят подмосковные клёны.
Пылают и ночью, и днём.
Поляны, недавно зелёные,
Охвачены рыжим огнём.

В прощальном осеннем букете,
Меж ярких стволов и ветвей,
Вот я—самый рыжий на свете—
Для радости рыжей твоей.

1982

Замок

Замок спит, задёрнув шторы,
Над водой воздев мосты.
Стали рыцари в дозоры,
Зорко смотрят с высоты.

В люстрах свечи догорели.
В тишине куранты бьют,
Да бродяги менестрели
Песню грустную поют.

До утра из дали дальней
Будет тот напев звучать.
Так красив мотив печальный…
Только слов не разобрать.

1967

Юрий Беликов

Новелла о невидимке

Так вышло, что, начиная с юности, я дружил исключительно с гигантами. И не единожды слышал, как мой университетский друг, грозящий физическими габаритами зашкалить трёх Бальзаков, пытался повторить голосок, выпархивающий время от времени из гнезда пластинки фирмы «Мелодия»:

> Я леплю из пластилина,
> Пластилин нежней, чем глина…

Я тоже лепил из пластилина. Аж до восьмого класса. Лепил солдатиков разных эпох. Пока отец, раздосадованный на своего недоросля, в коем никак не закончится детство, не смял их в разноцветный ком и не вышвырнул его в мусорную яму на улице!..

«Песенка — лесенка в сердце другое», — завещал нам Велимир Хлебников. Потому виртуозно «слепленные» слова, которые мурлыкал мой друг, сердобольно приютивший вашего покорного слугу, звучали для меня точно пароль:

> Подошли ко мне два брата,
> Подошли и говорят:
> «Разве кукла виновата?
> Разве клоун виноват?»

Так, слушая мурлыканье безграничного человека, я впервые утвердился в узнавании, что Новелла Матвеева — это поэт гигантов. Вернее, ранимых гигантов, потому что их может ущемить любая тявкнувшая варежка.

Прошло некоторое время, на тот момент мне уже были дозволены ночлеги в кабинете главного редактора журнала «Юность», и, как ни смешно, меня вновь сопровождал очередной гигант. Во всяком случае, он то и дело таковым отрекомендовывался. Если верить его кренящимся словам, с ним водили знакомство Илья Сельвинский и Борис Пастернак (не он — с ними, а они — с ним!). Имелось и неопровержимое доказательство сего гигантизма.

После того, как в одной из своих обнародованных новелл я обмолвился, что свыше приставленный ко мне Юрий Влодов росточка-то — далеко не выдающегося, он тут же — спина к спине — стал мериться со мной масштабами, пробуя выпростать крылья, стянутые в бельевой узел, ждущий кромешной стирки. Однако именно этот мой спутник, для которого, казалось бы, не существовало — ни в мировой истории, ни тем паче среди современников — убедительных образцов и авторитетов, однажды, придя в редакцию, посетовал:

— А чего вы не печатаете Новеллу Матвееву?! Она же гениесса!

Заныла пауза, затем кто-то уточнил:

— А разве она жива???

Влодов заверил, что Новелла Николаевна обитает в Химках и к ней надо бы приехать, чтобы испросить стихов для «Журнальчика». Так, по его придумке, называлась в «Юности» детская рубрика, которую он вроде как вёл. А может, просто издевался над журналом?! Он вообще это обожал. Мол, не «Юность», а «Журнальчик». Ха-ха. Но…

С каким почтением было им произнесено: «Новелла Матвеева!» Будто сбежавшиеся буквы прыгали на батуте. И: «Гениесса!» Возможно, уже тогда Влодов был посвящён в смысл её эссе «Почему у нас гениев нет?». Или эссе Матвеевой только-только оперялось? Уж не он ли его спровоцировал? Дело в том, что сам-то Влодов неотлучно, точно набор с отмычками, таскал с собой собственную концепцию о разнице между талантами и гениями. И, ежели допустить, что он был вхож в зачарованную хижину Новеллы Николаевны, не исключено, что на сей счёт существовал некий взаимообмен «понятийными любезностями»? О чём может свидетельствовать завершающая эссе фраза: «А если и есть где-то всё-таки гений, то благодаря новой цензуре (и новой, и старой, как мир, антисократовской цензуре вольного обывательского большинства) он не только не увидит, но и невзвидит света!»

Здесь крайне важен вот этот редчайший глагол — «невзвидит». То бишь отстранится, зажмурится, утратит всякое желание отворять вежды. Таланты встраиваются. С разной степенью удачливости. Иногда — весьма и весьма. Но гении встроиться не могут. Они по природе своей не в силах преодолеть ни новую, ни старую — «обывательского большинства» — цензуру. Приводить примеры не буду, ибо Новелла Матвеева — сама тот мучительный и одновременно ликующий пример. Скажу лишь, что недавно мне был сон, как в город,

напоминающий Москву, съехались-слетелись, чтобы покормить голубей, все «невзвидевшие света» гении России, которые несли транспарант: «Я/мы — Новелла Матвеева!»

В очередной раз отступлю в сторону, дабы приблизиться к истине. Ещё одного моего знакомого, угодившего в сложную жизненную ситуацию, решил приободрить приятельствующий с ним классик, входящий в авторский пантеон антологии «Шедевры русской литературы XX века» и даже имеющий на сей счёт сертификат — диплом ЮНЕСКО. Так вот, он попросил передать слова, найденные им для матушки моего знакомого. А именно: что она-де родила гения! Как бы здесь поступила «личность под тентом» (выражение Новеллы Матвеевой) — сиречь талант, всё-таки падкий на лесть? Талант, чего доброго, объявил бы на радостях, что он — гений. А вот гений... Гений, взбледнув, ответил:

— Не надо пугать мою мамочку!..

То бишь и дальше понёс крылья, стянутые на спине в узел. Так разрешается полувопросительное пушкинское: «А гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ль?» Смотря кто от чего «оторван». Наша гениесса проводит на сей счёт искромётную классификацию:

Личность под тентом, в качалке, с курортной газетой,
Мне намекнула, что стих мой «от жизни оторван».
Я удивилась! Задумалась я: от которой
Жизни меня оторвали? От *той* или этой?
Перебирая в уме всевозможные темы
(И, как всегда, надрываясь под жизненной ношей),
Я догадалась: от жизни оторваны — *все мы!*
Только ведь кто — от плохой. А ведь кто — от хорошей...

И что тут подразумевается под жизнью «плохой» и «хорошей» — решайте сами. Однако вернёмся в начало девяностых, когда в редакции «Юности» сфонтанировала китайским фейерверком непреднамеренная, но дремучая фраза: «А разве она жива???» То есть, заметьте, на тот момент живы были все — Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава — вся марочная плеяда «шестидесятников». Кроме... Новеллы Матвеевой. Эту фразу на разные лады будут повторять ещё довольно долго — вплоть до 2016 года, когда, как принято говорить, оборвётся земной путь Новеллы Николаевны. Но иногда поневоле думается: не являлась ли сия обывательская неосведомлённость косвенным признаком того, что любимая ранимыми гигантами гениесса, возможно, имела принадлежность к генерации эльфов, гномов, орков или чуди белоглазой, существование которых, собственно, не требует особых доказательств, равно как и не существование? Даже надетые на изболевшиеся ноги волшебные тапочки, сделавшие на короткий миг торжества гениессу видимой, потому что в 2003 году она придёт в них в Кремль получать из рук президента России Государственную премию, будут ходатайствовать, скорее, о реальной сказочности Новеллы Матвеевой, нежели о её сказочной реальности.

Однако и это причисление к племени невидимок, о чём она недвусмысленно проговаривалась: «Быть лучше — ветром унесённою / от времени и от людей», — должно быть, гениессу лишь позабавило бы, однако вряд ли исчерпало параллельномирную тайну её личности. Ведь более всего Новелла Николаевна стереглась лакировок. «Лак, / Ты — мой враг!» — в одном из стихотворений припечатывала она. Дальше — образ, доказывающий ту самую параллельномирность:

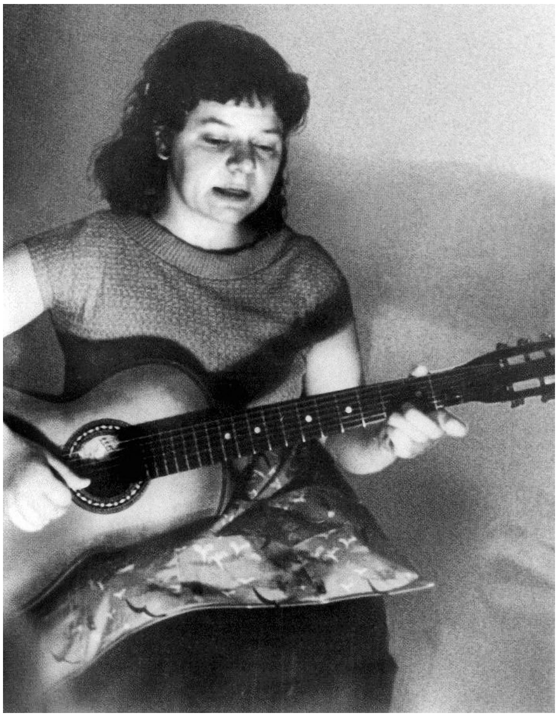
Светит под лаком
Сучок,
Который врос
В крышку стола —
Лакированную лужу;
Так мальчуган,
О стекло расплющив нос,
Смотрит из запертой комнаты наружу.

Отсюда — желание пловца вынырнуть из «колец на пне», вырваться из прокрустова ложа «удобных» представлений ловких «приватизаторов»: например, что Новелла Николаевна — беспроигрышная авторша детских рубрик вроде «Журнальчика»; что — как будто бы переводная с английского или немецкого; что преимущественно — корабельно-экзотическая, словно реинкарнация побывавшего в Африке Николая Гумилёва; что вся — такая «теплично-оранжерейная» и что, конечно же, находка для либералов и космополитов всех мастей — доморощенных и забугорных.

Будучи действительно гениессой, Новелла Матвеева («Водолазил водолаз — водолазу не далась / Раковина») предвидела все эти возможные трансформации, то есть — когда созданное остаётся без авторской защиты, пристёгивается в угоду дня или подчиняется привычно путешествующим по клавиатуре разразившегося творческого наследия расторопным пальчикам продувных аккомпаниаторов:

Нити древесные вьются, словно флаг,
Тают, как дым,
Через прерванные мили
Силятся плыть...
Но когда бы этот лак
Их не прикрыл —
Ведь они бы дальше плыли!..

И она отвечала: кому — поштучно, в «Исповеди „мимозы“», но чаще — кучно, всем вместе, в антологических «Стансах», равняющих её с гигантами эпохи Возрождения:



Я не желаю быть комическим
Всекоммунальным существом
Из тех, что жизнь берут *количеством*,
А думают, что… *божеством!*
Им не понять (в горячке ловчества),
Что большинство не божество
И что надышанность сообщества
Не есть—возвышенность его.

В двухтысячные Новелла Матвеева (жива, жива! видима, видима!) и вовсе проявится ещё одной, казалось бы, самой неожиданной, а для кого-то и неудобной гранью. В «Литературной газете» прокатится шаровой молнией подборка её «политических» стихов (да-да, про Крым и прочее), но, скорее, даже не «политических», а продолжающих пушкинскую линию «Клеветникам России», заклеймённым гениессой прямо-таки по-чапаевски: «Не оппозиция, а *контра*» (ух, как они сейчас в этом месте взбесятся, потому что хотели бы отвести глаза от пробившего «лакировку» непокорного пловца, запущенного Новеллой Николаевной в будущее).
— Уж не из красных ли она?!—протрёт опухшие зенки какой-нибудь новоиспечённый Мальчиш-Плохиш, возложивший ноутбук, перегруженный новым сочинением из серии «жзл» на свой обтянутый майкой с ликом Че Гевары влиятельный живот. Но, быть может, Мальчиш-Плохиш и не страдает дальтонизмом? Раскройте наугад любую книгу гениессы из Химок:

Большая чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.

А вот и вовсе—программное:

Мне снится кардинальский—то напевный,
То ржущий пурпур. Битвы ржавый свет.
До треска красный, пушечно-полдневный,
Владетельный, громово-алый цвет.

Итак, «до треска красный», «владетельный»—главный цвет Новеллы Матвеевой. Оттого-то он и «владетельный», что к нему всегда есть одна существенная добавка:

…Славлю перец!—
В зерне и в пыльце.
Всякий: чёрный—в багряном борще
(Как бесёнок в багряном плаще),
Красно-огненный—в красном словце.
Славлю перец
Во всём, вообще!
Да; повсюду,
Во всём,
Вообще!

Но как «бесёнок в багряном плаще» может соседствовать с куклами и клоунами из пластилина?..

Однажды я по-боксёрски запер в угол живущего в Перми лауреата Грушинского фестиваля Евгения Матвеева, обломавшего—на букеты своих песен!—весь цвет русской поэзии: мол, кого ты считаешь гением среди бардов? Он долго держал отнекивающуюся защиту, затем умело отмахнулся сентенцией о том, что, дескать, старается избегать таких страшных понятий, как гений, хотя многие авторские диски, можно сказать, слушает постоянно.
— И всё-таки,—вновь долбил я,—из того, что ты слушаешь, есть ли кто-то ну самый-самый?

И тогда, верите или нет, Матвеев нанёс мне неожиданный удар по печени:
— Матвеева!..

Что я мог? Опуститься на колено да вымолвить:
— Я даже догадываюсь—почему!
— Не поэтому…—вышел он из угла.

к 90-летию

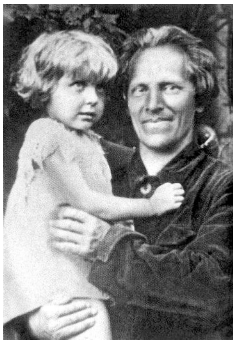
Новелла Матвеева

«Любви моей ты боялся зря…»

Неожиданный факт открылся, когда оказалось, что невозможно найти свидетельство о рождении Новеллы Николаевны. По ряду юридических моментов было необходимо получить копию документа о рождении. Содержание ответа из архива отдела ЗАГС г. Пушкин, бывшего Царского Села, было и ожидаемо, и не очень. Год рождения Новеллы Николаевны был указан как 1930-й… После уточнения всех деталей с сотрудниками архива стало понятно, что ошибки быть не может. По воспоминаниям Светланы Николаевны, родной сестры, их дом в Юной Республике, в Щёлковском районе Подмосковья, однажды после войны ограбили и вынесли всё ценное вместе с документами. При их восстановлении, для подтверждения года рождения Новеллы, было проведено врачебное освидетельствование. Это обычная и обязательная процедура для установления возраста ребёнка при отсутствии документов. По итогам чего и был подтвержден и внесён в новые документы 1934 год рождения, который назвала Надежда Тимофеевна, мама юной Новеллы. Сделала она это для того, чтобы можно было снова отдать дочь в школу: из-за болезней было пропущено слишком много, а по физическому развитию девочка вполне подходила под ребят года на четыре младше. В школу она так и не пошла, а год рождения остался. Знала ли и помнила Новелла Николаевна об этом? Наверное, мы этого никогда не сможем ни утверждать, ни опровергнуть. Таким образом, этот, 2020-й, год с юридической точки зрения является юбилейным. Неоспорим тот факт, что вся биография, награды, премии и прошедшие юбилеи были организованы исходя из 1934 года рождения. Ломать все эти устоявшиеся даты было бы неверным. Но и четыре года жизни убрать из биографии человека было бы несправедливо. Получается, что Новелла Николаевна покинула нас, не дожив чуть больше месяца до своего 86-летия[1].

Почему у нас гениев нет?

Обосновываем, утверждаем и подтверждаем правду. Каждый свою. Но каждый — минуя вопросы земного богатства и земной бедности. Как будто



Новелла Матвеева с отцом и с мамой (1960-е)

это что-то второстепенное. Как будто на путях правды бывает что-нибудь другое, кроме этих двух проблем. Как будто их как-нибудь этак обойти можно. Сделать вид, что не от них все, буквально все остальные вопросы! Проблемы! Беды!

При всяком новом успехе этой маленькой хитрости убавляется нечто важное в каждом человеке, в каждой судьбе, в каждой профессии — везде, где эту хитрость применили. Но самое необратимое происходит, конечно, с художником, закрывающим глаза на самое вопиющее: на богатство одних и на бедность других, уживающиеся — то есть якобы начинающие радостно уживаться — и на нашей земле! Художник, с фактом столь трогательной уживчивости согласный заведомо, разумеется, не правдив. Я даже напрямую сказала бы, что он лжец. (Причём отнюдь не такой «милый», как Бернард Шоу в исполнении Кторова!)

Правда, сам (ни на Шоу, ни на Кторова не похожий) служитель муз так плохо о себе, конечно, не думает. С легкостью отказавшись, точно от назойливой мухи отмахнувшись, от… ну если не от единственной, то от главной истины жизни, истины современности, он, думается, продолжает ощущать себя значительным лицом нашей эпохи. Но и это ещё не самое странное. Интереснее всего, по-моему, то, что он считает социальное отменённым (вариант: немодным) и не замечает, что даже «отмена» социального начала в жизни и в искусстве произошла без его помощи и участия. То есть без помощи и участия властителя дум! (Впрочем, тут я, может быть, и ошибаюсь и возвожу на него напраслину? Беру своё обвинение назад, так как

1. Вступление, публикация и подготовка текста Павла Калугина.

вспомнила, что общественное в обществе отменить пытался в своё время именно он!)

Массовое вступление нашего писательства вдруг на новую—антиобщественную—стезю, может быть, и нужно ему для каких-то целей, и с этим я не спорю. Но вряд ли это (не первое и не последнее) новообращение писательских масс будет столь же необходимо и читателю. Вряд ли вся эта Вита Нова (не первая и не вторая) может как-то перекликаться с истинной классикой и способствовать подлинному расцвету натурального творчества. Сама природа художества противилась, противится и всегда будет противиться бесчеловечным решениям. Но, кажется, мы научились презирать природу вещей, и вот почему (таланты у нас есть, но) гения нет и не может быть.

Нам могут заметить, что будто бы извечная тема «отверженных», «бедных» людей, «униженных и оскорблённых», мол, дело вкуса авторов. А вообще-то, мол, времена «шинелей», «станционных смотрителей» и всяких там «капитанов Копейкиных» отошли, дескать, в предание. И «ну кто ж так бессовестно врёт», дескать, что именно сейчас они, эти времена, возвращаются?! Что ж. Пусть каждый сам наедине со своей совестью решает для себя эти вопросы. Пускай кто-то думает себе, что сострадание—дело вкуса, а негодование несовременно. Будем хотя бы надеяться, что литератор, придерживающийся таких взглядов, не станет заблуждаться насчёт их популярности и, по крайней мере, пожелает остаться в тени. Не станет то есть претендовать на величие, потому как гордиться нечем. Но где там. Но что вы! «На нём треугольная шляпа и серый походный сюртук!» А поверх треуголки императора Буонапарте—ещё почему-то и венец великомученика—с колючками и лучами, расходящимися в разные стороны!.. Именно потому, что он презирает бедных людей (глядя на лохмотья которых, плакал когда-то Радищев), именно за это он, этот новенький, и приписывает себе гениальную одержимость, да ещё и рокочет нам, как Зевес, что-то такое насчёт морали и нравственности…

Злодеи существовали всегда. Но злодеи старинные знали, что они злодеи. Злодей же наших дней этого о себе не знает и знать не желает. Наоборот, он даже гордится собой, на седьмое небо лезет от мысли, что он никого не убил (хотя мог бы!), но помогать кому-то… Кому-то даже совсем незнакомому—это-то уж для него слишком. А может быть, эти нищие лишь по своей вине нищие-то? Бить в набат, кричать, что это—люди? А ведь ещё неизвестно, каких они там, на мостовой, внизу, взглядов придерживаются!..

Конечно, не каждый из нас нынче в силах помочь бедняку, беднейшему, чем мы сами. Но чтобы воззвать к обществу, напомнить ему, что делается,—не надо обладать золотыми приисками. Чего там! Добродетельным поступком для некоторых из нас явился бы даже простой отказ наш от нападок на социальное начало в творчестве. А ведь не отказываемся! Иронизируем, глумимся над самой традицией «Бедных людей» и «Шинели». И это сегодня! Поищите во временах время, когда подобное поведение пришлось бы для общества кстати. Не найдёте.

Разумеется, всякий волен смотреть на искусство как ему заблагорассудится. Почему бы и не сочинить, например, любой степени лёгкости водевиль? Либо уж наоборот: не задать—посредством кино или сцены—такой мощный заряд здорового миллиардерского плача (слёз этак часика на два, на три—ведь «богатые тоже плачут», и не только в Мексике сороковых годов!), что, как говорится, хоть стой, хоть падай… И, между прочим, всё равно не поймёшь: в чём поросячья тонкость эротической проблематики,—и отчего столько горя, и о чём, собственно, ты обязан рыдать вместе с автором и героями?!..

В искусстве, почти как в жизни, всё дозволено. Особенно теперь. Вот ведь и роман ужасов перевели сегодня на живопись и перенесли на поэзию. Да, собственно, и на всю культуру распространить рады. Но какой нам всем от этого (пусть мрачный, пусть вымороченный, пусть обморочный бы, но) толк? Для чего нам запоминать уроки ужасов, каких бы то ни было, если главного ужаса (а он-то ведь не в искусстве, а он-то у нас прямо перед глазами!) мы не видим? Не видим, как прямо на городских многолюдных улицах бедняки падают от голода.

Есть корреспонденты, не стесняющиеся утверждать, будто эти нищие на улицах гибнут от пьянства, от не тех, дескать, сортов заграничного виски или бургундского. Интересно бы узнать, а на какие деньги сегодняшний беженец или нищий делает подобные покупки?! Бог судья тем, кто в довершение всех своих прочих грехов-преступлений ещё и оговаривает погибших! Оговаривают погибших и писатели. И кажется им, и чудится им (то есть некоторым из них), что прежде они оговаривали не тех, а теперь—тех стали оклеветывать, и потому—ступили, почитай, на новый виток художнического развития, а значит, и Добродетели! Опять-таки Бог им судья. А всё-таки я не могу понять: как всё это у них увязано с *настоящим* гуманизмом и со всеми его *настоящими* посылами? Увы. Забота о реальном человеколюбии есть, кажется, самая последняя мысль, какая только может прийти им в голову. И вот почему, собственно говоря, есть у нас покуда только таланты, а гениальных писателей нет и не может быть.

А если и есть где-то всё-таки гений, то благодаря новой цензуре (и новой, и старой, как мир, антисократовской цензуре вольного обывательского большинства) он не только не увидит, но и не взвидит света!

1994

Плакальщица

Что не плакальщица я, не причитальщица,
Не рыдальщица, сердцам не надрывальщица,
И к чужому-то я горю не привальщица,
И волос-то на головушке не рвальщица!

Не люблю я нашу плакальщицу Фёклушку:
Она ходит бережливо, как по стёклышку,
Поколыхивает чёрною одёжею,
Юбкой пасмурной да шалью непогожею.

А и смотрит она, Фёклушка, иконою,
А лицо-то у ней воблино, копчёное,
А зовут-то её, чёрную палачицу,
Где самим бы надо плакать, да не плачется!

А вы гляньте ей в глаза: они сухим-сухи;
Суше камня, суше ветра, суше засухи!
Аж до боязного сухо, до песочного!
Никакого дуновения проточного.

На крылечко-то ничком она бросается,
Лбом-то бьётся, да слеза не вытрясается,
А как не было бы Фёклушке заплачено,
Вот тогда бы наша Фёклушка—заплакала!

1964

Маяк

Я истинного, иссиня-седого
Не испытала моря. Не пришлось.
Мне только самый край его подола
Концами пальцев тронуть довелось.
Но с маяком холодновато-грустным
Я как прямой преемственник морей
Беседую. Да, да, я говорю с ним
От имени спасённых кораблей!
Спасибо, друг, что бурными ночами
Стоишь один, с испариной на лбу,
И, как локтями, крепкими лучами
Растаскиваешь темень, как толпу.
За то, что в час, когда приносит море
К твоим ногам случайные дары—
То рыбку в блеске мокрой мишуры,
То водоросли с длинной бахромою,
То рыжий от воды матросский нож,
То целый город раковин порожних,
Волнисто-нежных, точно крем пирожных,
То панцирь краба,—ты их не берёшь.
Напрасно кто-то, с мыслью воровскою
Петляющий по берегу в ночи,
Хотел бы твой огонь, как рот рукою,
Зажать и крикнуть: «Хватит! Замолчи!»
Ты говоришь. Огнём. Настолько внятно,
Что в мокрой тьме, в прерывистой дали
Увидят
И услышат
И превратно
Тебя не истолкуют корабли.

Я понимаю вас!

Достойный дю Белле писал из Рима другу,
Что мало пишется, что вдохновенья нет.
Но звонко между тем сонет сонету вслед
Из-под пера его летел, как вихрь по лугу…

Что это значило б? Неужто лгал поэт?
И, ловко пряча взлёт, изображал натугу?
Нет. Просто… он не мог вменить себе в заслугу
Без чувства радости набросанный терцет…

Сама поэзия «не в счёт», когда унынье
Ей точит карандаш. Когда забота клинья
Вбивает между строф. Растёт стихов запас…

Но если качество творишь без увлеченья,
То и количеству не придаёшь значенья.
Высокочтимый мэтр, я понимаю Вас!

После 20 июня 1993

Синее море

Поэту Ивану Киуру

Синее море—белая пена;
Бурных волн бесконечная смена…

Знаю: за той чертой,
За поволокою,
За волоокою
Далью далёкою,—
Знаю: за той чертой
Вечно чудесные,
Мне неизвестные страны лежат.

В зарослях тёмных райские птицы
Там горят, как лучи сквозь ресницы!

Там по прибрежию дружною парою
Ходят рядком какаду с кукабаррою.
А за утёсами
Там носом к носу мы
Можем столкнуться,
Можем столкнуться порой
С утконосами.
(В дюнах, под солнца
лучами раскосыми.)

А за лианами
Переплетёнными
Там водопады стоят
веретёнами…
Ветер травой шумит, равнина тянется…
Там кенгуру пробежит и вдруг—оглянется!..

Синее море,
Белая пена,
Бурных волн бесконечная смена…

1973

К Луне

То горящая, то тёмная,
Оспой кратеров изрытая,
Для науки обретённая,
Для поэзии — забытая, —
Обратись к Земле по-прежнему!
Током будь не остывающим
Чувству древнему и нежному;
Ты была ему товарищем!

К тем, кто ходит по следам твоим,
Вороти былые милости!
Ведь не скажешь (по чертам твоим),
До чего переменилась ты;

Никаким чутьём не чаемых,
Обрела гостей непрошенных,
Столь на вид — непререкаемых,
Чем-то втайне огорошенных!

Мы и сами уж не те, Луна:
Мы заложники страдания.
Что-то вдруг над нами сделано
Против правил Мироздания!

Завладели шершни ульями.
Дурь дурных вперёд проплачена.
Не на ту стезю шагнули мы,
Что судьбой была назначена.

Жди и ты, Луна, предательства!
И к тебе гонцы — не знамо с чем:
С картою ли открывательства?
С башмаком ли, в нос пинающим?

Только что тебе диктаторов
Снизу взвитое давление?
Растворится в твоих кратерах
Их с тобой ознакомление.

Что тебе мамона грозная
И гостей царенье мнимое?
Ты по-прежнему — бесхозная,
Всё равно — непостижимая.

Чванству чуждая зловредному,
Шанс дающая Познанию,
Не уподобляйся ж — бледному,
Бедному завоеванию.

Артемидою, Селеною —
Всю проходишь ты Вселенную!
Равная шедевру гения,
Ты свободна от рождения!

Матерь племени мятежному,
Зачарованная Лучница!
Отнесись к Земле по-прежнему,
Что-то, может быть, получится…

1970-е, разные годы. Вариант записан в 2012 году

Штормовое предупреждение

К побережию Франции
сильная льдина плывёт!
Ей гогочут богатые зомби —
пресыщенный сброд.
Оплавляются айсберги
ростом с Афины и Рим —
Все в восторге! (Ведь «Гибель
Титаника» — нравилась им!).

Все рехнулись никак?
Дальше носа не видит никто.
«После нас хоть потоп!» —
рассуждают владельцы авто.
«После нас хоть потоп!» —
проносясь на машинах своих…
Почему после них?
Это может стрястись и при них.

И при свете дневном — угорели! —
не видят ни зги!
И шаги Командора для них —
ну, шаги как шаги…
Заползают на горы —
но им не достигнуть вершин,
Где записано: «Стоп!
Парниковый эффект — от машин!»

Прогуляйтесь пешком!
Не сочтите, ребята, за труд!
А не то у вас ноги,
того и гляди, отомрут…
Не слабó лихачам-автогонщикам
наземь ступить;
Вишь, торопятся! —
Арктику надо успеть растопить…

Мчат — фужеры налить —
за вонючий стриптиз — до краёв…
Алчет крови безвинной —
зачинщик собачьих боёв…
Вот что значит,
когда в «гениальность» впадают «умы»!
Тут уж пир — не *во время* чумы,
а *во имя* чумы.

Им Кассандра — ничто.
Им посмешищем — Лаокоон
(В змеях вязнущий —
вязнет теперь в непристойностях он)…
«Близок день —
и погибнет священная Троя» — был глас.
После вас — хоть потоп, говорите?
А если — *при вас?*

Поэты

Памяти Тудора Аргези

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты.
Под звёздами с ними не страшно: их ждёшь, как покоя!
Осмотрятся, спросят (так важно!): «Ну, что здесь такое?
Опять непорядок на свете без нас!»

(Кругом суета:
Мышь ловит кота,
К мосту рукава пришиты…
У всякой букашки просит защиты
Бедный великан!
Зелёный да алый
На листьях дымок;
Их бархат усталый
В жаре изнемог…)

Вступая с такими словами на землю планеты,
За дело, тряхнув головами, берутся поэты:
Волшебной росой вдохновенья
кропят мир несчастный
И сердцам возвращают волненье,
а лбам — разум ясный.
А сколько работы ещё впереди!

Живыми сгорать,
От ран умирать,
Эпохи таскать на спинах,
Дрожа, заклинать моря в котловинах,
Небо подпирать!
(Лучами блистает
Роса на листе,
Спеша, прорастает
Зерно в борозде.)

Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны!
Но колбасникам, тайным и явным, поэты противны —
Что в чужие встревают печали, вопросы решают…
«Ах, вопросы нам жить не мешали: ответы — мешают!»

И скажут ребятам такие слова:

«Вы славу стяжали,
Вы небосвод
На слабых плечах держали,
Вы горы свернули,
В русло вернули
Волны грозных вод…»
Потом засмеются
И скажут потом:
«Так вымойте блюдце
За нашим котом!»

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты;
Их тоска над разгадкою скверных, проклятых
вопросов —
Это каторжный труд суеверных старинных матросов,
Спасающих старую шхуну Земли.

● ● ●

Я, говорит, не воин,
Я, говорит, раздвоен,
Я, говорит, расстроен,
Расчетверён,
Распят!

Ты, говорю, не воин,
Ты, говорю, раздвоен,
Распят и четвертован,
Но ты — не из растяп.

Покуривая трубку,
Себя, как мясорубку,
На части разобрав,
Ты, может быть, и прав.

Но знаешь? — этой ночью
К тебе придут враги:
Я вижу их воочью,
Я слышу их шаги…
Ты слышишь?
Не слышишь?
Они ползут, шуршат…
Они идут, как мыши,
На твой душевный склад.
И вскорости растащат
Во мраке и в тиши
Отколотые части
Твоей больной души.

— А что же будут делать
Они с моей душой?
А что же будут делать
С разбитой, но большой?

— Вторую часть — покрасят,
А третью — разлинуют,
Четвёртую — заквасят,
А пятую — раздуют,
Шестую — подожгут,
А сами убегут.

Был человек не воин,
Был человек раздвоен,
Был человек разрознен,
А всё, должно быть, врал:

Прослышав о напасти,
Мигать он начал чаще,
И — сгрёб он эти части,
И ничего! — собрал.

1965

Вы думали…

Вы думали, что я не знала,
Как вы мне чужды,
Когда, склоняясь, подбирала
Обломки дружбы.

Когда глядела не с упрёком,
А только с грустью,
Вы думали — я рвусь к истокам,
А я-то — к устью.

Разлукой больше не стращала.
Не обольщалась.
Вы думали, что я прощала,
А я — прощалась.

1960

Синее платье

Как чудесно ситчик резать
В час, когда узор смеётся!
Как занятно — с лёгким треском —
Ножницам он поддаётся!
Из-под ножниц на пол прямо
Лоскуты летят, как пена…
Жарким летом
Шьют мне платье
Мама и соседка Лена.
Согласуют, обсуждают:
— Глупо — ждать октябрьской хмари!
— Поясок… Рукав? — Короткий;
Лето всё-таки в разгаре!
— Матерьяльчик — загляденье!
— Не расцветка, а находка.
Больше сплетничать не смогут,
Что «дочќа у ей сиротка»!
…Я, в косыночке, с мотыгой
На плече, — иду с работы.
Ослепительное платье!
И… резиновые боты.
И мотыга, точно книга,
Шепчет: «Вот те кровь из носа:
Ситчик сносишь — а резине
В этом мире нет износа!»
Платье синее сносилось.
Всё прошло. Не только это!
Но в глазах, как жар, пылает
То индиговое лето.
Рощи зеленью сверкают —
Отвечает ситец синью…
Нужно думать о бессмертном.
И отпор давать унынью.

2004

Цыганка-молдаванка

Развесёлые цыгане по Молдавии гуляли
И в одном селе богатом воронá коня украли.
А ещё они украли молодую молдаванку:
Посадили на полянку, воспитали как цыганку.

Навсегда она пропала
Под тенью загара!
У неё в руках гитара,
Гитара,
Гитара!
Позабыла всё, что было,
И не видит в том потери.
(Ах, вернись,
Вернись,
Вернись!
Ну, оглянись, по крайней мере!)

Мыла в речке босы ноги, в пыльный бубен била звонко.
И однажды из берлоги утащила медвежонка,
Посадила на поляну, воспитала как цыгана;
Научила бить баклушки, красть игрушки из кармана.

С той поры про маму, папу
Забыл медвежонок:
Прижимает к сердцу лапу
И просит деньжонок!
Держит шляпу вниз тульёю…
Так живут одной семьёю,
Как хорошие соседи,
Люди, кони и медведи.

По дороге позабыли: кто украл, а кто украден.
И одна попона пыли на коне и конокраде.
Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость…
По ночам поют и пляшут да в костры бросают хворост.

А беглянка добрым людям
Прохожим
Ворóжит:
Всё, что было, всё, что будет,
Расскажет,
Как может…

Что же с ней, беглянкой, было?
Что же с ней, цыганкой, будет?
Всё, что было, — позабыла.
Всё, что будет, — позабудет.

1961

1931–2020

Владлен Белкин

Пока есть небо, музыка и книги

Стихи разных лет

* * *

Я не знаю,
какими снами
завораживал Дивногорск…
Горностаевыми снегами?
Хвойным ветром Саянских гор?
Только мне
навек незабвенны
каждый камень его и гвоздь.
Десять лет моих неразменных,
как песчинки,
собрал он в горсть.
Он в фаворе теперь.
Куда там!
Стихотворцев одних — не счесть.
Есть в нём каменные палаты,
и свои бюрократы есть…
Полыхая огнями кичливо,
торжествующе знаменит,
как на пленника,
молчаливо
на меня он сейчас глядит.
И всё чаще,
ночами обугленными,
в предвесенних тревожных снах
вижу просеки непрорубленные
и костры на белых снегах.
А сегодня
в горячке страдной
я глаза поднял к облакам
и задумался как-то странно
вслед дюралевым журавлям.

* * *

Все мы получаем в час рожденья
тайну своего предназначенья.

Чтоб звездою мог ты просиять,
тайну эту надо разгадать.

А отгадки не сумел найти —
будь «как все» и… небеса копти.

Таёжная улица

Она, в начале сотворенья,
синея просекой вдали,
являла пней нагроможденье
и развороченной земли.
Но вот уже среди погрома,
ещё с щепой перед крыльцом,
три свежесрубленные дома
своих приветили жильцов.
И, вроде бы как между делом
(живой, хоть лириками бит),
ещё наивный, неумелый,
пошёл налаживаться быт.
И вот домашними борщами
в тайге запахло поутру,
и ребятня между домами
свою затеяла игру.
А в полдень
юная мамаша,
сама, как солнышко, светла,
посапывающих двойняшек
во двор торжественно внесла.
Они начмокивали соски
под вековечное «баю».
Им сбережённые берёзки
тень предоставили свою.
А мой напарник суматошный
изрёк,
улыбку обронив:
— И с этой улицы таёжной
начнётся Родина для них.
Мы лес валили,
крыши крыли
и воевали с мошкарой,
а выходило —
вроде были
творцы истории самой…
Мой друг смутился с непривычки,
что так возвышенно сказал,
и гвоздь последний в обналичку
по шляпку яростно вогнал.

• • •

Принять?
Отринуть?
Обойти?..
Смолчать?
Ударить в наступленье?!
Как о каменья,
На пути
Я спотыкаюсь о сомненья.
Зачем живу?
И как живу?..
И где моя дорога в небо:
Стрелой пронзает синеву
Или в пыли петляет слепо?

Безмолвно стынет высота.
Молчит бездонное болото.
Ты помнишь: падает звезда
Так медленно. Так неохотно…
И ноют, ноют провода…
А ты дробишь с остервененьем
Отбойным молотком каменья,
Как будто в них сошлась беда.

Твои таёжные сыны
В бараке, втиснувшемся в сопки,
Сопят, насвистывают соски
Под колыбельную сосны.
А ты идёшь…
И города
Встают в полнеба за плечами!
И снова падает звезда,
И провода гудят ночами…

И новых солнц призывен зов.
И тяжки новые сомненья.
И вечен путь за горизонт
Сквозь звездопады и каменья.

Поэтам России

Нам явлено: в долготерпенье
вериги подлых лет влачить,
испытывая притяженье
миров,
мерцающих в ночи…

И может статься, что за это
нас ожидает звёздный миг:
благоволением к поэтам
сойдёт небесный дар Владык…

И, укрощая непогоду,
раскалывая облака,
по сумрачному небосводу
сверкнёт, как молния, строка!..

Не ради этого ль мгновенья,
как тьму ни вскармливает ночь,
болезни, бедность и забвенье
достойно до́лжно перемочь?..

• • •

— Так кто же ты?
И что ты можешь? —
сам пленник тайного огня,
художник милостию Божьей
допытывался у меня.
— Скажи: чего нам не хватает?
Ответь: чего не достаёт?
Перо бумагу ли терзает,
резец ли борозду ведёт?..
Мы кровь и пот
смешали в тигле.
Самих себя превозмогли.
А тайны
всё же не постигли,
а чуда выдать
не смогли…
И я, почёсывая темя,
сучил лукавое витьё
про дарование и время
и что, мол, каждому своё…
Ночное небо трепетало
и источало смутный свет.
Он поднимал глаза устало,
как будто там искал ответ.
Но лишь смертельное отчаянье
мы обретать обречены
от леденящего молчания
недостижимой вышины.
И звёзд живых, и звёзд умерших
лучи пронизывали ночь…
Но чем я мог его утешить?
И чем я мог себе помочь?..

• • •

Сочтите блажью старого поэта
его сужденье дикое,
что он —
с другой
планеты…
из иных
времён…

Иначе почему так сердце радо,
когда от почитаемых щедрот —
комфорта, гульбищ и мясного смрада —
выносится под звёздный небосвод?..

И почему пустое вроде небо
так властно, так магически влечёт?
А хищные соблазны ширпотреба,
а власть и слава —
для него не в счёт?..

И бед земных гнетущие вериги,
и боль потерь поси́льнее нести,
пока есть небо, музыка и книги —
и люди с сердцем огненным в груди.

Работа

От долгого обихода
Обыденное на вид
Старинное слово
Работа
Великую тайну таит.

Был смысл для меня его нуден
Вначале.
Глухое к слезам,
Заботами тягостных буден
Будило оно по утрам.

С пилой и лопатой сводило,
Гоняло по жёсткой стерне,
Морозом и зноем дубило,
Месило,
Как тесто в квашне.

И глухо копилась злоба
В тринадцать мальчишеских лет.
Казалось,
Безрадостней слова
На свете, пожалуй, и нет.

Но как-то случилось однажды—
Сквозь соль подступающих слёз
Губами, сухими от жажды,
Упрямо его произнёс.

И будто бы что повернули,
И ясно увиделось мне:
Алмазные грани сверкнули
В бездонной его глубине.

Я брёл бороздой неумелой,
Мужскую солидность храня,
И странно:
Тяжёлое дело
Совсем не томило меня.

Земля,
Как опара, всходила.
Шёл сорок измученный год.
А было всего-то, а было—
Корова, плужок, огород.

Ярмо деловито скрипело,
Дымился отваленный пласт,
И каждою жилкою пело
Всё тело
От пяток до глаз.

А к вечеру
Пол-огорода
Я всё-таки перепахал
И доброе слово *работа*
Как хлеб той поры
Смаковал.

Поры военной почтальон

Седым-седой, сутуловатый,
С казённой сумкой на ремне
Да с батожочком суковатым—
Таким
Запомнился он мне.

Скупыми строчками известий
Селу несущий тьму и свет,
Для всех он был
Как Божий вестник
В дни поражений и побед.

Недаром матери бледнели,
Сжимая руки на груди,
Когда он, белый
(от метели),
К калитке
Молча
Подходил…

• • •

Я обретал себя в бригаде.
И от артельного огня
Шли чередой в мои тетради
Тревоги прожитого дня.

Конечно, можно и на стройке
Хлеб зарабатывать пером,
А не таскать по трапу стойки,
Не рыть траншеи под дождём,

Но гнало что-то нас, однако,
Из затиши на ветробой,
Судьбу выкатывая на кон,
Вело на трассы и в забой,
Как та мятущаяся сила,
Что, не стихая до седин,
Толстого к плугу уводила
И Чехова—на Сахалин.

Тут суть не в том,
Большой ли, малый
Тебе пожалован удел,
А чтоб душа на место стала,
Да и себя не проглядел.

Ночной полёт

(Из вещих снов)

Я летел над притихшим простором,
без моторов и крыльев летел.
Среди сопок открылся мне город,
дом знакомый внизу разглядел…

Деревянный, под шиферной крышей.
Из далёких, но памятных лет.
Нас пригревший и приютивший
дом, сегодня которого нет…

Кинул вниз я послушное тело,
развернулся в крутом вираже…
Там, на кухне, оконце грело.
Хоть и за полночь было уже.

За столом кто-то странно похожий,
но моложе, над книгой сидел.
Так ведь это же… Это!.. О Боже!!!
Только я уже выше взлетел.

Всё осталось за разворотом.
Впереди — только небо и ночь.
Был я полон восторгом полёта,
от земли уносящего прочь!

Мог легко я и выше подняться,
закружить в хороводе светил,
только страх в небесах затеряться
вновь на землю меня возвратил.

Ещё звёздною музыкой полный,
разглядел я, смиряя восторг:
неподвижные книжные полки,
холодильник, диван, потолок…

Утро полнилось запахом хлеба.
Только знал я, что в жизни моей
грусть-тоска по забытому небу
будет жить до скончания дней.

Смерть цветов

Жертвам «железного рока»

От небесного света,
от земной красоты
чёрной меченный метой
зверь укрылся в кусты…

Но когда сатанела
от соблазнов душа
и голодное тело
извивалось, греша,

что-то злое проснулось,
холод брызнул из глаз…
В чаще тьма колыхнулась,
рык округу потряс!

И пьяней, чем от виски,
одержима, тупа,
под железные визги
содрогнулась толпа!

И в припадке забилась
на планете больной…
Будто било зубило
по станине стальной.

То ли траки грохочут,
подминая бурьян,
то ли нежить хохочет,
умножая дурман,—
рок гуляет по свету.
Зверь покинул кусты.

А от музыки этой
умирают цветы.

Ольга Горицкая

В обнимку с облаками

● ● ●

…Любить лежалый лист, и бред рябины пылкий,
И детство стариков, и вечный рост детей,
И рыжего кота, сидящего копилкой
Над берегом ночных сказаний и сетей,

Любить клубки дорог, себя истёрших в тропы,
Обрыв густой реки, надставленный кремлём,
Из Азий босиком перебегать в Европы,
Леса дымящих труб минуя напролом,

Навстречу облакам с бумажными боками—
Крои из них ветра, рисуй на них жару,—
И, в небо уходя в обнимку с облаками,
Осколком тёплых гроз вернуться поутру.

● ● ●

Окно выходит в осень и во двор
И снова возвращается—к разбегу,
К раскату дня, но разнится повтор:
Сейчас—по дождику, потом—по снегу.

Расправив створки, взмоет в пустоту
С дверной струной и шорохом мышиным
Листвы—и не сболтнёт начистоту,
Куда летит и по каким причинам.

Не потому ли нам во снах темна
Земная ночь и дважды одинока—
За вычетом гулящего окна,
По сути, дополнительного ока…

● ● ●

Постоим в тишине сентября
На краю просветлевшего поля.
Бог подумал о детях, творя
Золотые минуты покоя.

Ты не смог бы заметить вчера,
Суетою сует озабочен,
Что листва по-цыгански пестра,
А у неба славянские очи,

И что, плавясь, стекает в костёр
И возносится к облаку снова
Простодушный уральский простор—
Тальниковый, песчаный, сосновый…

● ● ●

Дорога. Сосны. Повороты.
Карьер. Отвал пустой породы—
Воронка да уступов ряд.
Таким ли Данте видел ад?
Красóты придорожной свалки,
Где кормятся бомжи да галки…

Уж лучше взоры устремим
Мы к небесам, где пляшет дым
И принадлежностью герба
Глядится каждая труба.
Пока над крышей смог висит,
Уральский город жив и сыт.
Пока растёт картошка в поле,
Он будет сыт и пьян тем боле.

Иронию простите мне—
Наперекор родному чаду
Я тоже в этой стороне
Дышу и чувствую отраду.
Обширен мир, но, как ни взвесь,
Сурова память родовая,
Нам исподволь передавая,
Что пригодимся только здесь.

Неважный я космополит
(По недостатку счёта в банке ль?),
Но за плечом моим парит
По-русски говорящий ангел,
И, мне Европу заслонив,
Вещая ясную погоду,
Стоит Конжак, чуть-чуть сонлив,
Как снизу кажется народу…

● ● ●

А ты, строптивая душа,
Какой измены захотела?
Живи, как дóлжно, не спеша
Бежать от выданного тела.

Держись за временную плоть,
Как дерево за грунт корнями,
А что сулил тебе Господь,
Давай оставим между нами.

● ● ●

Босая жизнь в медлительной эпохе
При доблестном властителе Горохе.

Суббота — баня, Святки — ворожба,
Иван Купала — выборы зазнобы,
На полдень глянешь — хляби да хлеба,
А на полночь — чащобы да сугробы.

Но сонмище невиданных вещей,
Нездешних сил гуляет на свободе —
С сердечным стимулятором Кащей
И Бабушка Яга на вездеходе,

А то из-за Смородины-реки
Доносит ветер чёрный запах гари —
Там змий крылатый, бают старики,
Шипит в замаскированном ангаре…

● ● ●

Говорю: «Водосбор, горицвет,
Медуница, анютины глазки…»
Ботанический мой кабинет
Словно весь из неписаной сказки.

Только исподволь глянь — филигрань
У любых захолустных дорожек:
Чистотел, луговая герань,
Колокольчик, мышиный горошек…

Вновь заставой стоят у реки,
Поднимая фамильные стяги,
Войску мусорных куч вопреки,
Кавалеры любви и отваги.

И со взрывчатой связкой семян
Подползает под днища машинам
Безымянный герой-партизан —
Лютик, пижма, горошек мышиный…

● ● ●

Наутро захлопнешь остаток
Докучных, загадочных снов —
Как дичь балаганная Святок,
Их перечень краткий не нов.

Во сне продолжается время
От «нынче» и вспять, и вперёд,
И встречи сбываются с теми,
Которых рассвет отберёт.

Там месяц висит над оградой
С наколкой на левом боку,
И кот нецензурной тирадой
Вправляет мозги мужику,

И кличет туманная птица,
И глохнут под выклик леса,
И снится тебе, что не спится —
И сном натираешь глаза…

● ● ●

Не это ли счастье, когда огурец малосолен,
А кот полосат, а домашний не зол и не болен,
И власти, задумав, как водится, новый виток,
Позволят и нам, и себе передышки чуток?

В Эдемском саду неизбежны чеснок и капуста.
Не яблокам — тыквам сродни принадлежности бюста
У розовой Евы, и бродит по тем же садам —
О Боже — похмельный, бесцельный, бесхозный Адам,

Не смея сказать, но палёным нутром разумея,
Что русские Евы и яблока стоят, и змея,
И, яблочной сластью смягчая лекарственный яд,
Потомство Адамова рода они сохранят.

История мира имеет порок повторяться,
А может, достоинство — всё-таки дети творятся,
Сегодня малы, а назавтра, глядишь, велики,
И вяжут: политик — интриги, капуста — вилки.

Мы в щах из последней «в студёную зимнюю пору»
Вернее найдём утешенье души и опору,
Помоем посуду и счастья заманчивый дым
В окошко экрана, чуть-чуть обнаглев, подглядим.

● ● ●

Слова в ночи летают — лишь лови
Живьём в неприспособленные руки,
Не путая — которое к любви,
Которое, наоборот, к разлуке,

Какое просто к солнечному дню,
Что сам собой излечивает хвори
И подбивает нас признать родню
В любой траве, живущей при заборе.

Не снизойти к вам, стебли и листва,
А дорасти до нашего родства —
Ведь в этом тоже суть земной науки:
Смекнуть, что помнят скромные кусты
И страсть, и страх, и вовсе не просты,
Людские мысли слушая, как звуки.

● ● ●

Свежий снег умножать на любовь,
На отчаянье и ожиданье —
Выполняет, наверно, любой
Ежедневное это заданье.

Позабытый на рельсах трамвай.
Мёрзлый полдень, курчавые ветки…
Счёт запутался — год вырывай.
И никто не поставит отметки.

И скулим, как на привязи, мы,
Что душа угасает с испода,
И хватает огромной зимы
На программу учебного года.

Геннадий Васильев

Письма из города

* * *

В четверг я говорю: «Среда!» —
и все согласно мне кивают.
Но я-то знаю. Я-то знаю:
сейчас в календаре — четверг!

Я говорю: «Вот бурундук!» —
хоть это суслик. Это видно.
Кричат: «Как это дальновидно!
Конечно, это — бурундук!

К тому же — птичка! В облаках
парит, что твой орёл! Как сокол,
пикирует на мелких птах,
на сусликов свивает штопор!»

Я говорю: «Сегодня град!» —
чист небосвод до горизонта.
Но горожане все подряд
плащом укрыты или зонтом.

Скажу: «Потоп!» — и уж ковчег
готов из тёсаного бруса.
…Причалит, перепутав век,
не к Арарату, а к Эльбрусу.

Старателям, моющим золото у посёлка Жайма

1.

Здесь, когда земля была ничья,
местные зверья не обижали.
А теперь рыжеет от рыжья
дикая тайга у речки Жайма.

Золотой ли, каменный ли век,
но, влеком инстинктом незабытым,
всякий век способен человек
превратить в пещерно-первобытный.

И кричит беспомощно тайга,
и земля отверстой раной вторит.
Ободрав природу донага,
человек оставил след в истории.

2.

А выше — ручей, перекаты,
студёная свежесть воды…
Не видеть вам в жизни, ребята,
огня путеводной звезды.

Да будут потомки вас вечно
ловить в перекрестье судеб.
Вам пить из отравленной речки,
вкушать вам отравленный хлеб.

И как-то под старость, под вечер,
когда уже некому лгать,
вам вспомнится мёртвая речка
и злая, больная тайга.

* * *

Натянутая тетива ли
звенит или струна моя?
Всё реже снятся фестивали.
Всё чаще — тайны бытия.

Не то чтоб подступает старость —
рука тверда, глаза сухи.
Но — реже песни под гитару.
Но — чаще скорбные стихи.

Вот и сейчас, на склоне лета
(до сентября подать рукой),
простились мы с одним поэтом.
Прими, Господь, и упокой.

Поговорив, погоревали —
и разошлись, печаль жуя…
Всё реже снятся фестивали.
Всё чаще — тени бытия.

Письма из города

Письмо первое

Мы здесь живём затем, чтобы постичь
верховность времени, презумпцию пространства.
У вас—не то. В зарю горланя клич,
петух поёт о пользе постоянства.

Былая связь становится слабей.
Тисками времени пространство гнёт и плющит.
Мы здесь затем, чтоб думать о себе,
не допуская мысли о грядущем.

Благоухает стирками бельё,
и нет заплат на нём, и нет следов от штопки.
Бросаясь бликами, сверкает сталью штопор,
в тугую пробку целя остриё.

Летит в пространство наш победный клич.
Мы здесь живём. Нам время не постичь.

Письмо второе

Не все слова сопровождает музыка.
Не всякой музыке сопутствуют слова.
Весенний ветер пахнет то арбузами,
то огурцом. Торопится трава
на белый свет взглянуть. И с тополей
весенний дух сочится, как елей.

Я не певец. Я только составитель слов.
У воробьёв—восторг, гремит в кустах симфония.
Что убиваться в поисках гармонии,
когда на птиц такое снизошло?
Они аккорд составят—и кричат.
И нотный куст от воробьёв курчав.

Весна из города совсем не так видна,
как из деревни. К нам грачи не прилетают, и
не гомонят ручьи. Сугробы стаяли
тому назад уж месяц. Или два.
Река бурлит, колышутся валы.
А на горах ещё снега белы.

Весна за городом ступает не спеша,
цветы зимы не похоронит заживо,
а, постепенно красоту круша,
звучит в лесах торжественным адажио.
Но эта даль от нас так далека,
что нам её не разглядеть никак.

Из города не видно ничего.
Здесь даже звёзды далеки и тусклы.
Нам кажется, река меняет русло,
а это мы бьём времени челом.
И далека, недостижима даль.
Нам не уйти отсюда никуда.

Письмо третье

Я за троих стараюсь. Я за вас
сопротивляюсь лени и застою.
Я, может быть, чего-нибудь и стою—
но только с вами. Ничего—без вас.

Мы были вместе. Время шло вперёд.
И я писал, не зная, что—пророчил,
что точка встанет вровень с многоточьем
и что всему настанет свой черёд.

Я к вам писал. А может быть—к Нему.
Мы были вместе. Лист осенний падал.
И мы, ведомы первым листопадом,
трясли судьбы дырявую суму.

Прошло сто лет. И триста лет пройдёт.
Спрошу себя, устроясь на диване:
— А где Любовь?—А Лыбедью плывёт.
— А как Андрей?—Всё так же: Первозванен.

Письмо четвёртое
Ночь за окном. Собака где-то тявкнет:
«Спокойной ночи!»—тявкать ей не лень.
Увядшая сирень иначе пахнет,
чем пахнет
            не увядшая сирень.

Она стоит на кухне, доживая
последние не дни уже—часы,
и пахнет, пахнет, будто бы желая
всю нашу жизнь поставить на весы.

Что мы смогли? Чего мы не достигли?
Где нам зачтётся, где—простится, что ж…
Как грёзы, кисти белые поникли.
Былой букет на нищего похож.

Иль на пророка он похож, скорее.
И с тем, и с этим есть черты родства.
Букет увядший делится щедрее
не ароматом—
            скорбью естества.

Письмо пятое

Что нам в тебе, немытая река?
Течёшь, не так свирепа, как мелка,
к большой реке речушкою течёшь—
что нам в тебе?
А впрочем, вот что:
наш фривольный быт
твоей водой одобрен и омыт.
Мы двадцать лет сидим, как рыбаки,
на берегу,
и поплавки шевелятся порой.
И гаснет солнце за большой горой.

И мы таскаем рыбку изредка—
мала, но есть.
Я и Она—такие рыбаки!..
До дна измерив глубину реки
скорее взглядом, чем длиной снастей,
мы не смогли
понять: что ждёт нас, что таит вода?
Не оставляя мокрого следа,
ты не сильней течёшь и не слабей.
Что в нас—тебе?

Письмо шестое

Пора разобраться: что я в тебе люблю?
Люблю закаты твои. Люблю рассветы.
Люблю рыбаков, обожжённых солнцем и ветром,
стоящих вдоль берега речки Переплюй.

Люблю свинцовую гладь другой реки—
великой, в которой лето зимы не жарче.

Нынешним утром солнце светит тем ярче,
чем реже на голубом—белил мазки.

Я шляюсь по скверу, сплетаю ажурный стих.
Топочут голуби рядом, подачки просят.
Я в жизни что-то понял, что-то постиг.
Но нет у меня ни пшеницы, ни ржи, ни проса.

Ну что ещё я в тебе не могу не любить?
Ты свёл меня с той, с которой до смерти буду,
наставил меня—что мне делать и как мне быть.
Это не чудо ли? Это, конечно, чудо.

Время торопится. Стрелки спешат к «нулю».
На мелкой реке мальки рыбаков канают.
Скажи мне: за что же я тебя не люблю?
А я и не знаю уже.
Уже и не знаю.

Александр Гутов

Стойкий оловянный солдатик

Снайпер

Снайпер пристрелял себе отличный сектор —
поле и лесок.
Пуля понимает лишь простейший вектор —
от бойка в висок.
Пятачок сарая, годы тренировки,
враг — почти в «три D».
Снайпер верит только в бога маскировки,
в ночь и в СВД.
Ясность приговора, простота решенья,
окуляра блиц.
Снайпер тоже любит жесты, и движенья,
и открытость лиц.
Палец словно ожил и нашёл опору,
лёг на спусковой.
Локоть ближе к ложу, правый глаз — к прибору.
Стиль — сверхделовой.
Снайпер современен, время их настало,
он в душе артист
Снайпер тоже любит музыку металла —
пули лёгкий свист.

Старая монета

Бронзовый кругляш, окно, зеница,
в мелкий рубчик чёрный ободок.
Единица, восемь, единица,
мелкой двойки — цифровой итог.

Тяжелит ладонь, а это просто
две копейки — невелик соблазн.
Бронзовый, сюда доплывший остров,
Полифема выколотый глаз.

Колесо, корона, колесница —
круглые имперские слова.
Единица, восемь, единица,
в довершенье — маленькое два.

Бронзовый кругляш, по номиналу
две копейки — мелочёвка, тля.
Он неинтересен криминалу.
Пятьдесят дотянут до рубля.

Цифра, словно гнутая граница,
повторяет сектор ободка.
Единица, восемь, единица.
Двойка — острый выгиб хоботка.

Комета

Знаки карты линии засечной
посреди ковыльника густого;
налетает вдруг гирлянда света,
громовой прибой,
затрясёт вагоны — это встречный,
он огни кидает до Ростова,
яркая, слепящая комета,
может быть, природы сбой.

Завтра утром в окна запах росный
залетит в мой малый рай купейный;
завтра скорый сбавит обороты,
лопасти замрут.
На фасаде прочитаешь: «Грозный»;
принесут сюда прибор кофейный,
нас числом в вагоне меньше роты:
обслужить — не труд.

Грянет речь гортанная с платформы —
сплав шипящих, режущих согласных;
снова путь; далёкая завеса —
это показался контур гор.
В окна выше среднерусской нормы
залетает хор подростков праздных
прямо из предместий Гудермеса,
где их вечный сбор.

Дымчато-сиренев ломкий контур,
вот уже он тянется привычно;
там, в ущельях джинн сидит в засаде,
мхом оброс и врос в скалу.
Распласталась степь до горизонта —
словно проверял Всевышний лично,
каждый бугорок, пройдя, разгладил, —
пёстрый коврик на полу.

Семьдесят восьмой — пугают числа;
от него сюда — года разлома.
Семьдесят восьмой — в разгаре лето,
семьдесят любой.

И страна, как в затяжном, зависла,
из-за гор ещё не слыша грома;
странная, слепящая комета —
может быть, природы сбой.

Стойкий оловянный солдатик

У оловянного солдатика
другие вес, походка, статика.
Вот все—на «первый и второй».
Он портит строй.

Препятствий взвод штурмует полосу;
сержант, который час без голосу,
хрипит: «Бери её, вперёд!»
Он не берёт.

Он по команде лечь пытается,
но ничего не получается:
мешает, что нога одна.
И вдруг—война.

И в суматохе действа рьяного
вписали в списки оловянного:
мол, руки есть, а что нога?
Пусть бьёт врага.

С рассветом двинулись колоннами,
а дальше—к фронту, эшелонами;
и там на всех—один удел:
взвод поредел.

А тем, кто выжил,—тем солдатикам
дорога прямо к медсанбатикам.
Без рук, без ног, как наш герой,—
один, второй.

И где-то там, кряхтя и бедствуя,
канонам новым соответствуя,
стал наш солдатик средь мужчин
неотличим.

Средневековье

Распрямилась времени пружина:
запах камня, стёршиеся даты.
Смотрит современная дружина
в полые квадраты.

Инструменты в их руках смешные.
Спрятаны под многослойным сором
полые квадраты земляные,
плиты под узором.

Всюду камень, сколотые грани;
просверк взгляда в степи исподлобья.
Те, кого привозят с поля брани,—
буквы на надгробье.

Резчики отличные в артели,
каменная крошка—струйкой белой;
имена погибших в ратном деле
под рукой умелой.

На плите, что погребли, как мину,
под густым, всё разложившим слоем,
имярек, затянутый в турбину,
станет ли героем?

Белые разрубленные кости,
к каждой бирку прикрепив для счёта,
перепишут незваные гости,—
скромный караул почёта.

Скрыты под пластом многометровым
слёзы, скорби, седина до срока.
Ласточкой примчится к первым вдовам
весть с юго-востока.

Затяжной

Осень начинает увертюрой
брать свои права;
лаковой горит миниатюрой
тонкая листва.
И теперь боишься даже словом
потревожить лес;
вспыхнул под ногой перед Покровом
золотой отрез.
Воздух плотен и немного влажен,
он в лесу иной;
ход отлажен, каждый лист отважен:
скоро—в затяжной.

Оторвавшись в ритме строчки рваной,
на мгновенье горд,
в поисках земли обетованной
он покинет борт.
Порыжеет в наших экстремальных
золотой ковёр,
сотканный из индивидуальных
братьев и сестёр.
За прыжок комбат черкнёт отметку,
удовлетворён.
Высоко качнёт пустую ветку
почерневший клён.

Константин Емельянов

Среда обитания

Белое

Из загона белого, промёрзшего
Выбежали белые барашки.
Разбросали ледяного крошева
И по небу носятся, дурашки.
Друг за дружкой мчат как угорелые
С хохотом и криками шальными,
И летят вокруг ошмётки белые
Мелкими кусками и большими.
Накрывая мокрые машины,
Засыпая сонные дома,
Разбивая тусклые витрины,
Белая бушует кутерьма.
Под ногами грязь хрипит простуженно
(Тоже где-то белая отчасти).
Ветер воет, будто кот разбуженный:
Вот какое выбелено счастье!
Облака-барашки разогнались,
Обгоняя в небесах друг друга,
А потом вдруг весело умчались
На другой конец большого луга…

Голубые холода

Воздух из стекла и стали,
С неба падает звезда.
Вот такие вдруг настали
Голубые холода.

Я сижу ни стар ни молод,
Изо рта клубится пар,
А в окно стучится холод—
Предлагает свой товар.

Ветер плачет, ветер воет,
Дождь и снег идут стеной.
Всё стеклом опять покроет
Этот холод вековой.

Попритихли где-то птицы,
Им опять не повезло:
Холодами расплатиться
За июньское тепло.

Небеса молчат слепые,
И как будто навсегда
Нас накрыли голубые,
Голубые холода.

* * *

…Ну что же, дружище, тебе я, как брату,
Скажу, что живётся мне как-то неловко.
Хоть в банк каждый месяц приходит зарплата,
Её пожирает большая страховка.
Здесь ты без «колёс»—ну почти как букашка,
С работы домой и везде—на машине.
А в офис ходить нужно в свежей рубашке
(Но можно носить без носков мокасины).
Здесь женщины в массе своей некрасивы,
Зато энергичны, упрямы, жестоки,
А их мужики, хотя внешне спесивы,
Внутри все напуганы и одиноки.
В метро познакомиться—верх неприличия.
Здесь люди читают не книжки—iPod-ы.
Улыбкой скрывают своё безразличие,
Как новой одеждой увечья урода.
Здесь летом жарища не кончится ночью,
И лето проходит тяжёлым дурманом.
Я здесь по прохладе соскучился очень.
Уехать на север мне не по карману.
Да ладно, чего уж теперь горячиться!
Я сам себе выбрал среду обитания.
Сегодня конфеты, а завтра—горчица.
К чему приведут все мои причитания?
Ну что же, дружище, пора закругляться:
Пока на столе не остыла работка.
Как здорово было с тобой пообщаться!
Но время—сам знаешь, а голод не тётка…

* * *

Стихи рождаются, как дети,
И зреют до своей поры,
Пока ты бредишь на рассвете
Или в плену ночной хандры.

Горячий лоб, простынки смяты,
Глаза красны, мозги горят…
Высоковольтные канаты,
На землю падая, шипят.

Когда же боль, дойдя до точки,
Пробьёт последний твой заслон—
Тогда, писать закончив строчки,
Провалишься в глубокий сон.

Февраль

И дни как близнецы,
И неба потолок,
И свет отдал концы,
И я вдруг занемог.
И птицы улетели
К далёким берегам.
И до весны — недели,
А в голове — бедлам.
И ветер тупо тычет
В замёрзшее окно.
И я брожу как нищий,
Мне грустно и темно.
И старые качели
В заброшенном дворе.
И редкие капели,
Как солнце в декабре.
И снежные заторы,
И сломан светофор,
Не начатые споры,
Ненужный разговор.
И долгая зима,
И ночь длиннее дня.
И я схожу с ума,
Но мне не жаль меня.

Моя болезнь

Моя болезнь по дому бродит.
Она не прячется, как вор.
Лекарства старые находит
И сбрасывает на ковёр.
Рукой коснётся — и микстура
Становится, как яд, горька.
Ещё махнёт — температура
Подпрыгнет вверх до сорока.
В груди — созвучье разных хрипов,
Из носа — мутная река,
Бацилл чудовищных полипы
Нависли вниз от потолка.
В пустом зеркальном отраженье
Я вижу свой потухший взгляд.
Моя болезнь всегда в движенье,
Она сжигает всё подряд.
А поутру сухим остатком,
Когда уже ни сесть ни встать,
Моя болезнь ослабит хватку,
Чтобы под вечер снова сжать.

ДиН симметрия

Максим Горький

Из письма К. И. Чуковскому

…Статья К. И. — на мой взгляд — самое замечательное и продуманное из всего, что он написал до сего дня.

Но — слишком много слов и есть ненужные повторения.

«Событий никаких не случилось», — не верно: с 910 по 14 год было множество событий огромного значения и рокового; напр., Балканская война, Триполи, общее всем странам Европы возбуждение масс, напряжённость интеллектуальной жизни — футуризм и т. д. На всё это автору могут указать злорадно.

В 16 году — и даже раньше — революция считалась неизбежной всеми политическими партиями.

«Улицу» следовало бы заменить толпой.

Маяковский — «сам свой предок» — не допустима ли здесь некоторая оговорка — указание — на его зависимость — подмеченную автором — от Игоря Северянина и — раньше — от Саши Черного? Последний давал в стихах своих немало резкостей и грубостей порою не менее значительных и правдивых, чем Маяковский. Это не важно, что остриё сатиры Чёрного было направлено против интеллигента, — здесь речь идёт о форме, о преемственности. Как-то, в Мустамяках, Маяковский изъяснялся в почитании Чёрного и с удовольствием цитировал его наиболее злые стихи.

Любить — прекрасно, перехваливать — не следует. Порою К. И. перехваливает и Ахматову, и Маяковского. Но — насколько — тактически и всячески — уместна в наши дни похвала анархизму?

Мы — Русь — идём к нему неизбежно и быстро. Так не следует ли, видя это, выразить, — хотя бы в двух словах, кратко, — что сие назначение пути нашего не весьма приятно нам и очень вредно будущему страны?

1920

Евгений Анташкевич

1916. В окопах

Отрывок из романа

Он явился к иркутскому губернскому воинскому начальнику по перевозкам и получил нагоняй за то, что не смог представить всех железнодорожных билетов от самого Полоцка. Начальник кричал, что его не интересует, на чём добирался вахмистр, и стучал кулаком по столу, что вместо отпуска он посадит Иннокентия Четвертакова под арест, и Кешка с трудом умалчивал, что он этого хочет больше всего на свете. Потом начальник утих, стал улыбаться, вышел из-за стола и пожал Иннокентию руку и сказал, что поздравляет его с «очередным Георгием», но вот, мол, беда, бумаги шлют-то шлют, а «медали» — нет! Но, может быть, на обратном пути будет и «медаль», и тогда начальник всенепременно её вручит герою-земляку. На проездном документе начальник поставил печать, написал дату: «21 октября 1915 года», — и расписался, очень красиво, со множеством завитушек; от этих завитушек и от самого начальника благоухало, просто дышало одеколонами. После этого начальник отпустил и велел на обратном пути зайти и отметиться и обещал, что закажет Иннокентию, как «земляку-герою», билет до самой Москвы.

Иннокентий вышел. Иркутск был ему знаком очень приблизительно, и Кешка пошёл в то место, которое он знал хорошо, — на городской рынок.

Он шёл, осматривался, город казался ему совсем иным, чем он его помнил. Иркутск уже готовился к зиме, уже жители вставили вторые рамы, уже проложили между рамами мох или ветошь; скорее всего, уже заклеили окна полосками бумаги, спасаясь от ветродуев. Ангара текла спокойно, а в самых тихих местах слегка парила, свидетельствуя о том, что скоро придут морозы.

Воинский начальник его удивил: сначала такой злой, а потом такой добрый и внимательный. Думая об этом, Кешка краем глаза заметил, что идёт мимо оружейного магазина, и он остановился. В витрине стояли самые разнообразные ружья, и Кешка решил зайти, просто посмотреть и поинтересоваться, сколько стоит винтовка с оптическим прицелом, которую купил и даже дал стрельнуть командир полка подполковник Вяземский. Спросить командира о цене он не решился.

Иннокентий повернулся к двери.

Добраться до Листвянки было два пути: до станции Байкал на поезде по левому берегу Ангары и по просёлочной дороге по правому берегу. До станции Байкал на поезде было пару часов, даже меньше, а по дороге, по правому берегу, почти день, и так и так по семидесяти вёрст. На станцию Байкал Иннокентий не хотел, он даже не спрашивал себя почему. Поэтому сейчас он зайдёт в магазин, поглазеет, потом пойдёт на базар купить всё же Марье гостинец, а потом выйдет на дорогу и попросится к землякам доехать до дому.

Он зашёл в магазин.

Стал смотреть по витринам и прилавкам — всего было много: и ружей, и гильз, и пыжей, в мешочках лежал порох, дробь, рядками — свинцовые прутки разной толщины, из них можно накусать и потом катать пули, кучками стояли уже снаряжённые патроны, а такой винтовки, как у Вяземского, не было. Приказчик следил за ним глазами и не двигался. Его можно было бы спросить, но Иннокентию не захотелось: если бы такая винтовка в магазине продавалась, то она наверняка была бы украшением и её не стали бы держать в загашнике.

За прилавком открылась дверь, и зашёл Мишка Гуран, в руках у него был мешок. Иннокентий застыл, Мишка тоже. Приказчик это увидел и отошёл в угол.

Мишка крякнул.

И Иннокентий крякнул.

Мишка поставил мешок на прилавок, приказчик перехватил и стал устанавливать на напольные весы. Мишка купил пуд пороху, Иннокентий понял так, и стоял, ждал.

Мишка склонился к весам и смотрел, как приказчик двигает гирьку, из кармана вытащил деньги ворохом, потом распрямился и посмотрел на Иннокентия.

Мишке как раз надо было на станцию Байкал, только оттуда он мог на пароме перебраться на тот берег, но он не хотел отпускать Иннокентия, он трижды обнял и поцеловал его, и они поехали на рынок. Мишка был человеком разговорчивым, как все таёжники-лесовики, но пока ехали, он молчал, и когда сели обедать в кабаке, тоже молчал. Иннокентий догадывался почему.

За полштофом всё-таки разговор потёк, но оба избегали говорить о Марье. Теперь Иннокентий был уверен, что то, чего он опасался, с его Марьей случилось, и тут говорить было не о чем. Поэтому разговаривали про охоту, про рыбалку, про промысел. Выпивали под омулёвую расколотку с отварной картошкой и квашеной капустой, закончили чаем. На рынке Иннокентий под пристальным взглядом Мишки купил Марье гостинец—огромный павловопосадский рыжий платок с красными маками, чёрной каймой и длинной бахромой. Потом они на телеге доехали до Бурдугуза, дали передохнуть лошадке и добрались до Листвянки. Иннокентий всё осматривался, узнавал родные места и слушал Мишкины повестухи, а когда увидел посередине Ангары Шаман-камень, заволновался. Мишка слез с телеги, взял мешок и спросил:

— Скока тута буишь?

— Десять дён, с сегодняшнего.

— Я послезавтрева сюдой снова приду,—сказал Мишка,—никуда не девайся, порыбалим вместях! Пойдём в сторону Ольхона, на Хартактай, щас тама што омуля, што сига—мешками бери.

Иннокентию и так было некуда деваться, а Мишка, перед тем как распрощаться, насупился.

— Бабу не трогай, она не виноватая!

Кешка шёл по родной Листвянке и думал, что первей—зайти к отцу Василию или домой. Надо бы к отцу Василию, но Иннокентий знал наперёд, что будет: отец Василий начнёт уговаривать не трогать Марью и скажет то же, что и Мишка, что не виноватая она. И Иннокентий шагал.

Было уже темно, в окнах изб трепетал свет, тихо подвывали собаки и иногда сбрёхивали, когда Иннокентий проходил мимо чьих-нибудь ворот.

Это было очень хорошо, что он приехал в Листвянку, когда уже темно и он ни с кем не встретится. Не дали бы проходу, а ещё бы развязали языки, и Иннокентий узнал бы то, чего не следовало.

Он шёл с пустой головой, его ноги узнавали дорогу, ямы и колдобины, будто не было этих двух годов; он слышал Байкал: если рядом большая вода, от неё всегда исходит шум, который ни с чем не спутаешь.

Воон его изба и ворота с навесом на обе стороны, а в воротах калитка с дыркой; если в дырку просунуть руку, то там и щеколда.

Он подошёл, поправил на плечах сидор, сунул руку в дырку, нащупал щеколду и поднял, калитка поддалась. Во дворе звякнул цепью Гунявый—старый лохматый пёс, поскуливая и мотая большой головой, пошёл к Иннокентию. Окна мало-мало светились, и открылась дверь. В просвете стояла Марья с пустыми руками. Иннокентий увидел и облегчённо вздохнул.

— Я знала, што ты придёшь.

Иннокентий сидел за столом.

— Отец Василий сказывал?

Марья кивнула и поднялась.

Половина комнаты была занавешена, и Марья говорила тихо. Кешка тоже говорил тихо. На столе стояли бутыль, два стакана, крынка с молоком, хлеб. Марья с ухватом в руках ждала у печи, когда подойдёт уха.

Иннокентий так и не придумал, как ему быть.

Марья изменилась. Она набрала. Когда она двигалась, под рубашкой колыхались большие груди, и ей пришлось расшивать юбки, потому что в бёдрах она тоже набрала. Она накинула на плечи гостинец, концы почти достигали пола, и цвет подходил к её глазам и белой коже. И Кешка понял: он её не станет убивать, только в Байкал выкинет младенца.

— Ты надолго?—спросила Марья.

— На десять дён,—ответил Иннокентий.

— Мало!

Иннокентий взялся за бутыль:

— Мишкина?

— Его, он тоже знал, что ты придёшь, и всего напринёс.

Иннокентий огляделся: ничего не изменилось, и его забрала такая тоска. Как бы всё было, ежли бы этого не было! А может, и ничего бы не было, и не было бы этого отпуска, и скакал бы он сейчас на своей Красотке куда глаза глядят.

— А где?—спросил он.

— Отнесла к отцу Василию.

— А кормишь как?

— Сбегать недалеко.

— Который уже день?

— Неделю.

Кешка встал и отдёрнул занавеску. За занавеской стояла большая городская железная кровать с блестящими шарами, кровать его родителей, в углу—сундук его родителей. Кровать была разобрана, и угол ватного лоскутного одеяла откинут рядом с подушками, будто с приглашением. На стене висели тятина курковка на кожаном ремне и патронташ. И ничего не напоминало о ребёнке. Нет, напоминало: на сундуке стоял резной деревянный раскрашенный болванчик. Детская игрушка. Иннокентий накинул шинель и вышел на крыльцо, а перед этим сказал:

— Послезавтра придёт Мишка, пойдём в сторону Ольхона, порыбалим.

— Надолго?

— Видно будет.

Ночь была тихая и чистая. Над Ангарой висела Большая Медведица с протянутой лапой или длинной мордой, отвернувшаяся от своего медвежонка. Мамка когда-то сказывала, что «медвежонок накуролесил, и медведиха от него отвернулася», и если они с братом будут «куролесить», то она

тоже от них отвернётся, тогда они с братом испугались, что их мамка превратится в медведиху, а тятя улыбался.

«Завтра, што ли, к отцу Василию сходить? Письмо-то от отца Иллариона пришло, по всему видать!—подумал Иннокентий.—А што с того, што пришло? Я-то уж всё одно здесь!»

Ужинали молча. Марья почти не ела, только подливала и подкладывала Иннокентию. Мишкина медовуха была крепка и хороша, но не забирала.

Марья с Иннокентием посидела, налила чай, встала и пошла в угол молиться. Молилась на коленях, и Иннокентий смотрел на её широкую и ладную спину под ярким платком. Он знал, что Марья его и он её любит.

Помолившись, Марья зашла за занавеску, задёрнула, и Иннокентий услышал шорох одежды и скрип кровати.

Он ещё долго сидел, помалу пил, хмель не брал. Он выходил курить на крыльцо, выкурил последнюю, вернулся в комнату и лёг на лавку под окном—его с братом место. Подумал: «Завтра надо баню истопить! Завтра Казанская!»—и сон его забрал.

Кешка проснулся от знакомого стука и прислушался. Марья рубила дрова. Он приподнялся, отодвинул занавеску и увидел, что весь двор белый от снега.

«Вот те на! За ночь упал! И вправду Казанская! Бабий день!»

Он поднялся; на столе стоял горячий самовар, в блюдце лежали крендельки, колотый сахар, а в другом блюдце—тонко нарезанная репа. Кешка стал хрумтеть репой и подумал, что надо бы добежать кой-куда. Там, откуда он приехал, всё было не так: драгуны, проснувшись, сначала бежали кой-куда, а потом уже думали про еду. Но здесь он дома, и порядки другие. В нужник вела дверь—из дома прямо на огород.

«Акка, тятя мой молодец, царствие ему небесное, как дверь-то ладно пробил!»

Кешка стеснялся Марьи, он накинул тулуп, вышел на задний двор и задохнулся от мороза. Вчера ничего такого не было. Он справил нужду и вышел на снег. В Польше снега почти не бывало или на него было некогда смотреть, а если и был, то не такой. Тут дома снег—как вода байкальская, чистый, свежий, только что белый и непрозрачный. Кешка набрал пригоршню и стал тереть лицо, набрал полный рот, пожевал и выплюнул, потом скинул кожух, рубаху прямо на снег и стал тереть грудь, под мышками, и его охватил восторг. Он накинул кожух на голое тело, подобрал рубаху и пошёл в дом.

Марья уже сидела за столом и ждала.

—С праздничком,—сказала она и смотрела чуть исподлобья.

—И тебя, жонка, с праздничком.

—Сымай с себя всё, я постираю.

—Шибает?—спросил он и осёкся: малую толику вшей он привёз.

—Я из сундука подняла чистое исподнее,—сказала Марья и вышла.

Кешка быстро разделся, всё, что на нём было, скинул к двери и мотанулся за занавеску, так он стеснялся жены. И как раз она вошла, подняла Кешкино бельё и сказала:

—Баню я истопила, квас под полко́м, а убрус на полке́. Не одевайся пока, накинь кожух, вона валенки… Так добежишь?

Кешка стоял за задёрнутой занавеской и, хотя его никто не видел, прикрывал руками причинное место.

—Добегу. А ты как же?

—Я тута, неподалёку,—сказала Марья, и Кешка услышал, что дверь закрылась.

Он ещё постоял, прислушался, в доме никого не было; он выглянул из-за занавески, комната была пустая; он вышел, держа руки как прежде, сперва накинул кожух, а потом сунул ноги в колючие валенки. Выглянул на улицу, на дворе было пусто, и он дал стрекача в баню.

Баня была хорошая, тятя ставил. Это они с мамкой вдвоём так справно всё сладили. Теперь Кешка понимал, как они любили друг друга. Маленькими их с братом сначала мыла мамка, а потом, когда подросли, вытянулись и стали стрелять глазами, их перенял тятя. А тятя любил жар, да чтоб с травами, да веник из плакучей берёзы, да чтоб ветка в нём была воткнута еловая, смолистая и колючая! Они с матерью их так вязали—веники. А когда мальчишек выгоняли, сначала на снег, а потом и вовсе, мать шла к тяте с распущенными волосами и в тулупчике, из-под которого был виден подол длинной рубашки, и парились они подолгу.

Иннокентий осматривался: вот отсюда они с братом родом—из этой бани.

В предбаннике он повесил на деревянный колышек кожух, скинул валенки и вошёл в парную. Тут тятя расстарался: в углу железная печка, рядом колотые короткие дрова. И Марья расстаралась—печка гудела. Кешка взял полешку и стукнул по ней согнутым пальцем и приложился ухом—полешка звенела, сухая. Под потолком висели пучки трав, и даже было оконце с настоящим прозрачным стеклом—фортка. Фортку можно было приоткрыть, если вытащить один колышек, и открыть пошире, если вытащить два. Это когда тятя приходил из тайги и от него пахло кислым, он принимал первый пар и после этого открывал фортку, чтобы «дух обновить», а потом закрывал, чтобы «жар зря не тратить».

Кешка фортку пока открывать не стал, жа́ра ещё не было. Он пожался, прикрыл вьюшку, и печка стала гудеть меньше. На печке был железный

короб, в коробе лежали гранитные камни с берега Байкала, но пока они ещё были только-только тёплые. Рядом с дверью блестела мокрыми округлыми боками привозная дубовая бочка, всегда скоблёная, чистая и светлая; Кешка вспомнил Марьины белые плечи и мотнул головой. Он сел на нижний поло́к. Дерево под ним ещё было прохладное. Полков было два: нижний — неширокий, только под задницу, а верхний, выше нижнего на коленку, был широкий, на нём могли лежать двое. Сейчас на верхнем полке́ белел сложенный чистый убрус.

И Кешка вспомнил помывки в полку. Когда до войны жили в казармах, то водили в баню, большую и вонючую, а когда война началась, и вовсе стало погано. Драгуны натягивали палатку, где-то стырили и стлали на землю парусину, рядом с палаткой жгли костёр и калили камни, потом кузнечными клещами носили камни в палатку и бросали в два эскадронных кухонных котла с водой. Всё шипело, и палатка наполнялась едучим паром. А потом — как хочешь: хочешь — снегом оттирайся, а хочешь — обливайся водой, если была. Сначала мылись офицеры, а потом нижние чины поэскадронно, начиная с первого. Самые несчастные были номер пятый и номер шестой, последние. Но только всё это было возможно тогда, когда полк отводили на отдых.

А офицеры… конечно, они мылись первыми, как бабы.

Кешка сморгнул, отвлёкся, повёл рукой и почувствовал, что воздух стал горячий. Он поднялся, зачерпнул ковшиком воды, понюхал — вода была свежая, заглянул в бочку и увидел дно — бочка была чистая и изнутри тоже скоблёная. Он зачерпнул ладошкой и попил — вода вкусная. И он снова сел, надо было ещё подождать, и вспомнил, как в дрожащем перегретом воздухе, на пыльной дороге, голый ротмистр Дрок подначивал стеснявшегося корнета Кудринского, что, мол, надо расставить ноги пошире, чтобы не сопрело. И улыбнулся. Последний раз Кешка мылся в Москве у матери и отчима, денщика Клешни, из-под крана коричневой московской водой.

Кешка стал чесаться, и уже не хватало терпения, когда печка раскочегарится по-настоящему. И глянул на камни. Камни нагрелись, он плеснул полковшика. И тут вспомнил, что перед тем, как выйти, Марья сказала, что под полком стоит корчага с квасом, хлебным. Кешка нагнулся — корчага была, и на борту у ней висел черпачок; он налил в ковшик половину черпачка квасу, добавил воды и плеснул.

И задохнулся.

В бане запахло травами, сенокосом, летом, печёным хлебом, домом.

Он стал чесаться и плескать на камни квасом с водой, и стекло на фортке затянуло паром.

Кешка неистово потел. Волосы встали дыбом, пот заливал глаза, он сначала ковшом, а потом просто ладонями прямо из бочки плескал в лицо, на грудь, под мышки, скрёбся ногтями и в один момент, не раздумывая, как камень из рук хулигана, вылетел из бани и кинулся плашмя на снег. Снега было ещё мало, он сгребал вместе с коричневой землёй и мазал по лицу и всему телу; его всего прошибло, как разрядом молнии, и он заскочил обратно в парную. И успокоился.

Уже медленно Кешка набрал воды и смыл с себя грязь, полил на волосы и замотал головой. Подбросил в печку дров, плеснул с квасом и улёгся на верхний полок.

Он не заметил, что Марья уже вернулась, он не знал, что она покормила ребёнка и пришла домой и что за ним смотрит.

Кешка разлёгся, он прел и полной грудью дышал, к нему приходило ощущение чистоты, давно забытой в полку. И задремал.

Он что-то услышал, но не понял что и открыл глаза. Перед дверью стояла Марья в одной рубахе до пят и с распущенными ниже талии волосами. Он хотел приподняться на локоть, но недостало сил, и он только повернул голову. Марья на секунду вышла и вернулась с большим ушатом. Вода в бочке была уже тёплая, она набрала полный ушат, села на нижний полок и стала из ковшика лить воду на Кешкино тело. И Кешка потерялся между небом и землёй. Марья легонько толкнула его в плечо, Кешка перевернулся на живот; в бане можно не разговаривать, они понимали друг друга от прикосновения. Марья встала на колени и грубым мочалом тёрла ему спину. Кешка лежал щекою на локте, он застыл, его глаза закрылись, а мысли остановились.

Через несколько минут он открыл глаза и посмотрел на Марью. Она встала набрать воды, и Кешка увидел, что она совсем голая, жарко, она сняла мокрую рубашку, и сейчас рубашка лежала под ногами. Марья поставила ушат на пол и наливала ковшом воду, она была к Кешке спиной, он сел, потом поднялся и шагнул к ней. Марья обернулась, убрала с мокрого лица мокрые волосы и сказала:

— Сёдни пока нельзя, тока завтра.

И Кешка подумал: «Чёртов Мишка, приспичило ему с его дурацкой рыбалкой!»

Только на восьмой день приехал Мишка Гуран, когда Иннокентий уже собирался уезжать на запад в полк.

Мишка ввалился в избу, бухнул на пол мешок и уселся на лавку.

— Фу, чёрт! — он повернулся и перекрестился на образа. — Прости Господи! — и выдохнул: — Насилу перебралися, — помотал головой. — Думали, вмёрзнем, — и улыбнулся. — Спасибочки, ледокол послали в помощь, а то щас морозил бы соплю посерёдке Байкала-батюшки.

Отец Василий с матушкой уже сидели здесь и все их дети, кроме старшей дочери, но она прибегала пораньше, чтобы попрощаться, и Иннокентий понял, что её оставили с дитём.

Он, Марья и отец Василий только что вернулись с кладбища.

Отец Василий от Мишкиных слов плюнул и стал креститься и оборачиваться на образа.

— Чего не ко времени поминаишь, чёрт таёжный, колода?! Человеку в дорогу, а ты заявился тута и чертыхаешься!

— Сам-то чё поминаишь?—Мишка оглядывал всех, кто был в избе, увидел, что Марья нет-нет да и утрёт слезу, и успокоился.—А мне, батюшка, с Иннокентием по пути, мне в Иркутск надобно! Лошадь-та дашь?

— Дам, куды деться! Што самому в Иркутск, што тебя с ним… Отпускаю, езжай! А можа, так-то оно и лучше!—сказал отец Василий и махнул рукой.

Когда сборы и прощанье кончились и Мишка ударил лошадку вожжами, вся Листвянка уже была на околице в начале тракта, и все провожали Иннокентия. Бабы плакали. Они плакали за Иннокентия, как за всех мужиков, кого забирала война, а отец Василий крестил его в спину.

Мишка гнал, не жалея батюшкиного маштака, до Бурдугуза. Там перепряг и снова гнал. Снегу насыпало, полозья хорошо скользили, и до Иркутска добежали к середине дня. Иннокентий всю дорогу оглядывался на Мишку—какой Мишка заявился весёлый утром, и какой он хмурый и сердитый сейчас,—но спрашивать было не с руки, потому что они сидели друг к другу спинами. Иннокентий замёрз, Мишка спроворил в Бурдугузе тулуп, и Иннокентий накинул его поверх шинели. Однако всё равно было холодно. Мишка вынул из-под себя старую латунную фляжку и передал её Иннокентию:

— Согрейся, но не шибко! Тебе ишо к начальству!

К начальству успели, начальник был хмур и не вспомнил Иннокентия или сделал вид—скорее всего, что так,—потому что ни словом не обмолвился про награду, но вызвал какого-то своего гражданского подчинённого. Тот, когда Иннокентий получил от начальника проездной аттестат и все казённые отметки с печатями, подвёл его к своей конторке, подал Иннокентию билет на проходящий из Маньчжурии поезд до самой Москвы и стал заглядывать в глаза. Иннокентий рассчитался и сверху положил ещё пять рублей ассигнациями, и подчинённый сунул деньги в карман. Он сделал это так ловко и так проворно, как будто они просто простились за руку.

Мишка ждал у присутствия. Когда Иннокентий вышел, Мишка спросил, когда отходит поезд, посмотрел на небо и произнёс:

— Ишо есть время, надо бы повечерять.

Тут Иннокентий понял, что никаких дел у Мишки в Иркутске нет.

Они приехали к вокзалу и сели в ближнем кабаке.

Мишка заказал полштофа, пельмени и расколотку из сига, разлил, они выпили; Мишка поднял на Иннокентия тяжёлые глаза и спросил:

— Мальца-то видал?

— Нет.

— И правильно, а то скинул бы в Байкал и принял на себя грех, а баба у тебя умная, да и ты не дурак.

Выпили ещё, и на прощание Мишка произнёс:

— Воюй справно, не бойся, смерть-матушка таких, как ты, не жалует!

— А эти-то, звери, где?—спросил Иннокентий

Мишка позвал полового:

— Принеси-ка, братец, ишо. А ты иди,—сказал он Иннокентию,—а я тута посижу, мне торопиться некуды, в обратную сторону тока завтра.

— А эти-то где?—снова спросил Иннокентий.

— Боле не ищи. Нету их.

Александр Молотков

Ягода Малина

Посвящение

Наверное, природа в силу своих законов, а именно: ветров, холодов, палящего солнца и частых затяжных дождей,—формирует стойких людей в борьбе за выживание. Тогда под влиянием красоты и буйства природы формируются характеры людей: воля, смелость, настоящая дружба и настоящая любовь.

Наш посёлок Усть-Баргузин расположен на берегу славного озера Байкал. Жители нашего посёлка—добрые, приветливые люди. В основном здесь проживает трудовой народ: рыбаки, охотники, лесорубы, научные работники, изучающие флору и фауну Байкала, а также школьники и пенсионеры. Местные жители никогда Байкал не назовут озером. Вас же они вежливо поправят: Байкал—море… Байкал—батюшка, кормилец. Байкал строг, могуч и глубок. Байкал может обидеться и не даст рыбы или заберёт к себе как дань. Поэтому местные люди здесь говорят: «ушёл в море», «пришёл с моря», «утонул в море», «шторм на море».

Вот так это будет по-местному. И даже не пытайтесь поправлять—море, и всё.

Наш посёлок расположен в низовье Баргузинской долины, там, где впадает река Баргузин в Байкал. Посёлок расположен в устье реки Баргузин, поэтому и носит название Усть-Баргузин. Река и тайга—невиданной красоты.

До Октябрьской революции здесь была фактория купца Куппера: добывали золото старатели на купперовских рудниках, добывали пушнину чёрного баргузинского соболя, ловили омуля, сплавляли лес—всё это скупал за бесценок хозяин Куппер. Местные люди—буряты, тунгусы, якуты, русские поселенцы, беглые каторжане, сосланные царём поляки после Польского восстания. Редко добирались до наших мест царские власти: то дорогой помрут, то людишки лихие порешат и прикажут долго жить. Один Куппер со своей бандой был и закон, и судья.

Всё поменялось, когда царский конвой доставил царского политзаключённого Кюхельбекера Вильгельма Карловича. Этот ссыльный каторжанин был другом А. С. Пушкина по лицею. Местные звали его Карловичем. Не в один день, но за очень короткое время Вильгельм Карлович навёл порядок на фактории. Справедливость была восстановлена. Куппер схватил награбленное и скрылся. По таёжным тропам ушёл в Китай. Душ он загубил много. Когда приехали царские жандармы, его уже было не догнать.

А Кюхельбекер отстроил в селении Баргузин листвяжный дом, народ ему помог в строительстве (ныне действующий музей), наладил свой быт и стал помогать людям, так как все сплошь были неграмотные. Шли люди к Карлычу за советом: кому прошение написать, кому спор по закону рассудить,—любили у нас его за справедливость.

Шли годы… После десяти лет проживания в Баргузине Кюхельбекера перевели в Тобольск. Провожая его, народ плакал—уж такой был хороший и справедливый человек Карлыч.

И снова шли годы. Гремели где-то революции, и вот явилась она—советская власть. С неё и наступил рассвет в нашей глухомани.

Первое, что сделала советская власть,—она приступила к строительству нашего Усть-Баргузинского рыбзавода. И вот в 1926 году наш завод был запущен в работу. Одновременно были организованы леспромхоз, зверосовхоз, построили большую трёхэтажную школу, вечернюю школу. Каждый год, что грибы в лесу, строились больница, ясли, детсады, Дворец культуры, пожарная часть, гостиница, организовывались рыбоохрана, милиция и многое другое. Всё это построила советская власть.

Моя бабушка, Иванова Антонида Ареферевна, 1899 года рождения, сказала как-то мне, своему внуку:

—Как хорошо мы стали жить, умирать не хочется.

Дожила она до развала Советского Союза и в 1993 году, умирая, подозвала меня к себе, перекрестила и сказала:

—Как вы теперь жить будете?

Спасибо великому создателю природы и Богу. Спасибо, что дал нам Байкал. Батюшка Байкал прокормил нас, детей его. Выжили в девяностых годах и дальше живём. Спасибо тем людям, первым строителям Усть-Баргузина, за всё, спасибо, мои земляки.

Оренбургский пуховый платок

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из её щенков.
С. А. Есенин

И всё-таки она решилась… Решилась ехать, не зная пути, направления, расстояния. Ей ни разу не приходилось за её долгую жизнь ездить на поезде.

Она слышала от соседки-хохлушки, что это долго и скучно—ехать на Украину много суток, да ещё с пересадкой в Москве. Но ей ехать ближе, в Нерюнгри, это там, где добывают алмазы. Это Якутия, думала она, успокаивая свой страх. Она прикидывала своим ещё не застаревшим умом: сначала до Улан-Удэ, потом на железнодорожный вокзал в кассу, ну а дальше люди подскажут—мир не без добрых людей. А трое ли суток ехать ей, мучилась в сомнениях она. С Нерюнгри ей добраться до посёлка Чульман, там улица Комсомольская, общежитие. Двадцать лет назад как оттуда была последняя весточка—от сына Николая. Прислал в первый год, как завербовался на Север, два письма: алмазы буду добывать, мама! Так с той поры ничего—ни письма, ни открытки.

Одноклассница старшего сына, когда приезжала погостить у родителей, Анна Роева, говорила ей:
— Тётя Маша, посёлок Чульман недалеко от нас, мы живём в Нерюнгри, а на автобусе час езды от автовокзала до Чульмана. Мы когда с мужем ездили торговать по округе, видели вашего Колю. Он был в Нерюнгри на вокзале, живой, здоровый,—и засмеялась…

Это потом односельчане ей рассказали, как Анна в магазине знакомым рассказывала, как встретила Колю-бомжа: «Ой, не поверите, чуть не родила—Колю увидела. Не узнала даже: с бородой, в телогрейке, ватники на нём, всё замусолено, грязный, а воняет от него за версту,—ужасно. Сидит у крыльца вокзала с красным баяном и играет прохожим. Шапка лежит перед ним, в неё мелочь кидают люди. Вот как алмазы добывает Колька».

…Она была права: Колька давным-давно нигде не работал. С прииска его уволили на первом году работы. Несколько лет он всё устраивался на работы, но его хватало после устройства до первой получки или аванса. Из общаги попросили—пил и буянил в угаре, семья давно у Кольки развалилась, да и не было семьи, просто сожительнице надоел он, неудачник, и она ушла к другому. Хорошо, что не было детей, не надо платить на содержание их. А тут ещё грянула перестройка со своим консенсусом.

Баян Колькин с утра звучит хрипло, кое-где фальшивит. Играет что-то, чаще «Полонез Огинского»—но всё это вяло, разбито. Колька от злобы кричит:
— Подайте на чуток, расшевелю огонёк.

Некоторые люди кидают в Колькину шапку мелочь—наверное, знают его давно и знают, что надо Маэстро. Некоторые в укор говорят Кольке:
— Работать не пробовал?—на что Колька отвечает:
— Я по законам Божьим живу, птичкой летаю, зёрнышко клюю, как она, не сею, а только лишь пою,—и в сердцах добавляет:—Лучше пить водку, чем кровь трудового народа.

Через некоторое время возле голяшки его сапога оказываются чекушка, пластмассовый стаканчик и корочка чёрного хлеба…

И действительно, музыка полилась на голову разинувших рот прохожих, музыка с вариациями, плавно переходящая в душевное попурри. Баян уже не шепелявил, выговаривал каждую нотку, паузу, нюансы. Люди останавливались, слушали, кто-то подпевал, у кого-то поднималось настроение, а один мужчина, заслышав «Славянку», начинал маршировать на месте—наверное, был когда-то военным.

Колькина игра уносила людей от житейских трудностей, проблем, неустроенности и скоротечности самой жизни. Музыка уносила людей в мир гармонии, чистоты—уносился туда и Колька.

А ранней весной, когда ещё стояли якутские морозы, Анна со своим мужем приехали на своём грузовике-автолавке поторговать у железнодорожного вокзала. Не беда, что товар китайский, зато продаётся влёт, а мужу это сильно нравится, он даже уволился с основной работы, стал крутым коммерсантом. На производстве денег таких не платят, да и зарплату по полгода задерживают.

Муж был рад, торговля сразу пошла на вокзале хорошо. Он давал Анне советы, чтобы она улыбалась всем, была вежлива, сам пересчитывал деньги и легко умножал в уме. Анну, как только они подъехали, заинтересовала музыка, доносившаяся с той стороны железнодорожного вокзала. Какая-то знакомая мелодия, из далёкого прошлого. Муж заметил, что жену настораживает музыка. Он одёрнул её злобно:
— Ты торговать приехала или на бичей внимание обращать? Пока деньга валит, работай шустрее, ворон считать не надо!

Выразив своё недовольство, он скривил лицо. Анна думала: не бьёт, не пьёт, не курит, а что деньги у него в одном кулаке и имеет он к ним любовь патологическую, так и она не лыком шита, всё равно деньжонок у него тихо позаимствует, и он не узрит своим всевидящим оком.

Когда после обеда торговля стала затихать и всё реже, реже стали брать товар, муж сказал:
— Поедем на заправку, надо «коня» нашего заправить.

Анна попросилась у мужа остаться на вокзале, походить по ларькам, посмотреть цены—муж

согласился. Когда он уехал, Анна подошла к незнакомцу, который играл на баяне.

...Под незнакомцем был раскладной замусоленный стульчик, и сам незнакомец был не от мира сего: с проседью, неопрятно грязная борода, а шапка с накиданной мелочью лежала возле него. Лысина этого бедолаги была серого цвета, в коростах, свисали пряди-сосульки давно не мытых волос. У этого человека были впалые щёки и кривой в переносице нос. Когда Анна посмотрела незнакомцу в глаза, её что-то кольнуло в сердце — голубые, как ягода голубица у них на Байкале, что-то из прошлого, уже так далёкого... Но она не узнала Колю.

Она слушала игру этого бедолаги, хотела кинуть в его замусоленную шапчонку рубль, но раздумала — деньги ей самой ой как нужны.

Но незнакомец её понял мысленно, повернулся к ней, остановил свою игру на баяне. От испуга она не сразу пришла в себя.

— Здравствуй, Аня!

Она ещё долго смотрела на незнакомца, пытаясь в нём определить знакомого или хоть раз пересекавшегося с ней, — сердце ничего не подсказывало ей.

— А... вы кто? — спросила она, но вдруг ноги её подкосились, и закружилась голова.

Только когда увидела его глаза и то, что оставалось в его голосе, она поняла, что это Коля.

— Да, Аня, это я!

И она вдруг выпалила:

— А тебя потеряли. Тебя, Коля, лет двадцать родные ищут.

— Ну и что? Нужен я им?

— Да как ты смеешь, Коля?! Брат твой, сестра, мать, отец — все по тебе извелись, даже в передачу «Жди меня» письмо отправляли, в прокуратуру обращались, но про тебя ни слуху ни духу.

— Нужен я им, — сказал он, отвернувшись в сторону.

...Они молчали... Казалось, меж ними проплыли картины: их детство, юность, первая любовь, расставание и Колькин призыв в армию.

Колька попал служить в морфлот на три года, на атомную подводную лодку — акустиком. Анна, конечно, не дождалась. Через два года она встретила на танцах у них в ДК ловкого северянина. Она сдалась, повелась, как щука на блесну, прямо на отцовской лавочке, после танцев. Николаю ещё писала, но когда живот невозможно было скрывать, попросила мать обо всём написать Николаю.

Колька не хотел вспоминать, как руки его тряслись, тошнота постоянно стояла у горла. Он днями не выходил из отсека своей пеленговой станции.

Лишь командир сказал ему тогда:

— Держись, мы подводники.

Боль ещё долго жила в нём, но это уже он стоял над болью.

А детство их было безоблачно. Они жили рядом, по соседству. Вместе учились, вместе ходили в музыкальную школу. Николай учился по классу баяна, а Анна — по классу фортепьяно.

Весёлые были времена. Анне хватило учёбы на полгода. «Медведь на ухо наступил, — так говорил Иннокентий, отец Анны. — Пусть носки на рыбалку вяжет — и то польза». Пианино он продавал два года. «Ух и дорогущая, — говорил он. — Одних дров две поленницы нарубишь в аккурат. Да дочка одна — что не купишь ради единственного ребёнка?»

А Колька закончил музыкалку с отличием, получил диплом об окончании детской музыкальной школы, и его путь лежал прямо в музучилище. Колькин педагог гордился Колькой, уж такое способное было юное дарование к игре, что учитель Иванов А. П. уделял Кольке больше времени, чем другим ученикам.

...Но армия испортила всё. Не ожидал Николай, что так много изменится в его судьбе.

Да, было и их с Анной время. Колька вечером с баяном выходил на свою лавочку отцовского дома, садился, расправлял меха баяна «Восток» и начинал концерт по заявкам собравшихся вокруг него молодых и старых односельчан.

Музыка плыла над белыми шапками высоких гор — гольцов, над гладью за день успокоившегося Байкала. Радостно подпевал Колькин друг — собака Кучум, как будто он тоже был ас в человеческой музыке. Но всем было так хорошо, что не хотелось расходиться до самого утра.

Что уж говорить, Колька играл и по нотам, и по слуху, и на подбор старинных каторжанских песен. Свадьбы, именины, проводы не проходили без Николая и его баяна.

— Ты, Коля, матери почему не пишешь? — спросила Анна, вырвав его из далёких воспоминаний.

— А что писать? Всё по-старому... Бомж я, — со злостью сказал он. — Живу в тёплом коллекторе, с женой давно как расстались, да и не жена она мне была, а сожительница. После тебя, Анна, так никого и не полюбил. Конечно, может, и ищут меня родные, да дежурный мент забрал паспорт, на него третий год работаю. По двести рублей отдаю каждый день — принеси и отдай этой государственной морде, а то из коллектора вышибут, и пойдёшь по «обезьянникам». Вот такая жизнь, Аня.

— Но, Коля, можно куда-нибудь пожаловаться? — сказала Анна.

— Нет, исключено. Всё повязано у них, крыша чем выше, тем больше денег снизу берёт. Так что за кусок хлеба им спасибо, да ещё двоих ко мне в коллектор приютили — металл им рыщут и сдают, деньги, конечно, отстёгивают, а так бы не выжили в эти якутские холода.

— Коля, я вот подсчитала, ты двадцать шесть лет не был дома. Ты где был?

Колька молчал…
— У тебя, Коля, отец семь лет как помер, а мать глазами мается, всё на тракт ходит, автобусы встречает с города.

Колька налил в пластмассовый стаканчик водки, приподнял его, чуть плеснул на землю за помин души родителя — и разом влил его себе в рот.
— Водочка тебя довела до такой жизни, Коля, — сказала Анна. — Посмотри на кого ты похож. А я любила тебя одного!

Он посмотрел на неё… В его голубых глазах мелькнуло что-то из прежней жизни и из прошлого; он тихо сказал:
— Я рад за тебя, Аня, мне теперь и умереть не страшно.

Он отвернулся, взял на колени баян и тихо заиграл «У беды глаза зелёные». Она постояла возле него, дорогого ей когда-то человека, но краем глаза увидела, как подъезжала их машина-автолавка с всевидящим мужем. Анна подумала: надо молчать, себе дороже будет.

…А мать собралась. Первое, что она сделала, — это доковыляла, опираясь на кривую палку, до автостанции. Совсем проще было расспросить кассиршу, куда ей надо. Она купила билеты на завтра, записала всё на бумажке, которою она завернула в платочек. Завтра автобус, потом железнодорожный вокзал, билеты и на него она купила, вагон номер шесть Москва — Нерюнгри, и ждать недолго, в девятнадцать ноль-ноль отходит, она везде успевает. Мать не мучили уже вопросы и неизвестности — она завтра поедет к сыночку.

А сентябрь на Байкале — заиграл. Закипели краски над хрустальной водой. Черёмуха стала красная своими листьями, плоды же её ягод налились и глянцевой чернотой отражали всю спелость.

Небо вдруг стало синим-синим, и короткая байкальская волна тихонько лизала песчаный плёс. Стояло бабье лето. Не было даже ветерка. Осмелевшие мушки и стрекозы садились смело на воду, где их поджидала рыба. Можно было видеть большие круги от довольно крупной рыбы. Вечера тоже в эти дни стояли тихие. Только иногда на ближних болотах раздавалась оружейная канонада — это местные мужики открыли сезон охоты на утку.

Она собиралась в дорогу. Маленький чемоданчик, с которым ещё покойный муж ездил в командировки, — положила туда немудрёные свои одежды: жакет, халат, тапочки, запасной гребешок. Всё не могла определиться с узелочком, в котором лежали деньги. Но выручила соседка-хохлушка. Разделив сумму денег на три части, она сказала:
— Вот так, милая, будет лучше!

Часть денег она положила ей в кошелёк, часть засунула матери в бюстгальтер, а часть уложила на дно чемоданчика.
— Вот так, хай чё украдут, а чё и останется!

Она рассказала матери, как мужа своего на Украину погостить отправляла:
— Ну, туда-сюда деньжонки ему спрятала, а часть — к трусам карман пришила, и денюжку туда. А уж утром проснулись, он впопыхах да на скорую руку трусы не надел даже, так дома и остались они с деньгами возле кровати. Проспали мы всё, конечно, но на автобус успели. Вдруг на другой день телеграмма: «Вышли денег сижу в Улан-Удэ». Ой, мама, стала я добро разбирать, а трусы-то его с деньгами за кроватью в пыли лежат, вот смеху-то было, всё время вспоминали, молодыми были, — и смеялась она весело и заразительно.

А мать вспоминала своего доброго, любимого мужа. Прожили они более пятидесяти лет, да болезнь эта пристала к нему. То ли от переживания за младшего сына, болезнь совсем не поддавалась лечению. А когда умирал, только и сказал: «Колю я не увижу, вы не обижайте его». Сказал и помер.

Когда он умер, кажется, и она умерла… Боль не покидала её, только старшие дети и внуки держали её на этом белом свете.

…А рассвет наступил. Он пришёл на землю, как тысячи и миллионы лет назад. Наверное, на земле нет ничего такого же постоянного, как рассвет и материнское чувство настоящей любви к своим детям.

Цокая палочкой о твёрдую дорогу, она доковыляла до автостанции. Чемоданчик и узелок мешали ей идти, но какая бы ни была трудная дорога, её мысль была сильней: ей надо увидеть сына. А вот и автостанция, вот и народ, всё как-то веселее сердцу. Добрые люди уступили ей переднее место, а водитель автобуса, весёлый, приветливый паренёк, сказал ей:
— Бабушка, если почувствуете себя плохо, скажите мне, я остановлюсь, передохнём чутка.

Ей стало так тепло на душе, что она готова была терпеть любые дорожные муки.

…А Колька пил. Он давно бросил вызов этому всесильному богу Дионису… Душевные и физические его силы были на исходе. Всё пожирал всемогущий Дионис. Его бойцы — алкоголь и забытьё — уравняли даже ночь и день, всё смешав в крутящемся аду. Он видел, как у озера с прозрачной водкой сидели люди: профессора, генералы, врачи, студенты, женщины и мужчины, молодые и пожилые. Но никто не хотел уходить от этого озера, всем было легко и весело на том берегу… Колька проснулся и закричал:
— Нет! — но удушье коллектора и жажда выпить одержали верх.

Трясущейся рукой нащупав в кармане телогрейки чекушку, он жадно выпил из неё, что оставалась, и эта спасительная влага привела его в чувство и возвратила в реальность.

Уже прошло два года, как видел он Анну. Муки стыда и совести улеглись и сгорели в его одинокой

душе. Всесильный Дионис сжигал память, отправлял его по дороге забвенья, и уже с трудом он помнил, что есть где-то мать, брат, сестра, родственники и сослуживцы. Один только мент каждый день выгонял его и двух бомжей на работу, увеличивал сумму сборов.

За эти одинокие годы у Кольки в коллекторе появились ещё два жильца. Конечно, с разрешения главного мента по вокзалу. Задачу им поставили простую: собирать металл, банки алюминиевые, стеклотару, деньги отдавать главному менту,—план был щадящий. За это—жизнь в коллекторе и прикрытие. Паспорта у них тоже забрал главный мент.

Колькины жильцы-напарники были такие же бездомные бедолаги.

Первым в Колькин коллектор как-то осенью пришёл старый Колькин знакомый по кличке Циклоп. Так его уже лет десять звали, с тех пор как он потерял один глаз. Как в жизни не упустить удачу? Толик Скосыров знал, как её потерять. Зубной врач-протезист, всегда был врачом—золотые руки. Работа после института шла хорошо и успешно. Семья, жена-врач, хороший заработок, квартира… Но всё это разом рухнуло. В ресторане, где Толик Скосыров загулял, произошла драка. Кто Толику ткнул в глаз вилкой, теперь и не найдёшь. Да глаз к утру вытек. Когда Толик очнулся наутро, глаз пришлось удалять. Работал и дальше, но чуткий клиент меньше стал доверять одноглазому зубнику. Жене дали повышение—она стала сторониться Толика. Решил сам открыть свою зубную клинику. Нашлись и здание, и оборудование, цены наполовину ниже, но жена почему-то подала на развод, она сразу стала заведующей клиникой. Тут Толик и отдался зелёному змию. За аренду платить нечем, продал свою однокомнатную, хотел уехать к родителям, но деньги быстро кончились. Тут он и вспомнил про Колю-Маэстро. Пришёл к Кольке в коллектор, мент дал добро, прибавил в план на добычу металла.

Третий друг совсем случайно попал к ним. В сорокаградусный якутский мороз, отработав на вокзале, они шли в свой «номер». Уже подходя к коллектору, Колька запнулся обо что-то, это что-то замычало. Раскопали снег—человек. Молодой парнишка, беспробудно пьян и скоро заснёт навечно.

Скорее его в коллектор, оттереть руки, ноги, спирту не пожалели—человек же. Тут врач Циклоп применил все свои навыки, с достоинством отдаваясь клятве Гиппократа. Паренька спасли. Когда расспросили… На вокзале с молодыми девицами пил в ресторане, а дальше не помнит ничего. Нет денег, паспорта, билета до Москвы, чудом сам остался жив. Что делать? Пошли к старшему менту. Тот рассудил по-своему:

— Пока ищем паспорт и девиц, поживи с ребятами в коллекторе, поработай, как они, а весной поедешь до своей Москвы.

Конечно, Колька всё понял: девиц мент хорошо знал, извечные друзья работают вместе. План, конечно, повысили, но дали тележку на одном колесе—собирать и свозить стеклотару в вагончик, где была договорённость. Молодому дали кличку, а вернее, мент сказал: позывной—Клёпа. Над Клёпой взяли шефство его спасители. Водку парню пить слишком не давали, неумерен был их младший товарищ, терял рассудок, если выпивал не в меру.

Жизнь их походила на один день. Играет Колька на баяне, друзья в стороне сидят на кукурках (как говорят в народе), смотрят, сколько в шапку набросали; скорей бы набралось на похмелку—да по местам, по му́соркам. Вот и набралось на поллитра спирта, жизнь веселей пойдёт.

Только выпили—разыгрался Колька, вдруг подходят их покровители, два дежурных милиционера. Они берут Кольку под руки, берут его стульчик и баян, повели к себе в здание вокзала, в свой кабинет. Привели Кольку в кабинет, посадили на стул как путнего, уважаемого человека.

— Слушай, Маэстро,—начал тот, которому платил уже который год дань Колька.—Ты домой хочешь?

— Хочу, но паспортина моя у вас,—сказал в ответ Колька.

— А на тот свет хочешь?—продолжил старший мент.—Кто тебя, бедолагу, искать будет?

Он ехидно улыбался так, когда принимал от Кольки деньги. Помолчав, он продолжил:

— Вот, Маэстро, тебе партийное задание: у цыган мы конфисковали,—он опять хитро засиял в своей улыбке, вспоминая приятное ему,—тридцать оренбургских пуховых платков. Твоя задача—сбыть их торгашам, ты с ними знаком, да и торгаши тебя знают. Но цена их немалая—пять штук за платок, а денежки мне лично. Свободу себе выкупишь, это мы тебе обещаем. Обманешь—закопаем, и глубоко-глубоко, никто не найдёт. Ты понял, Маэстро? За много лет ты надёжно себя зарекомендовал. Не стучишь, не жалуешься, как некоторые. Меня скоро переведут отсюда, лейтенанта дают, ну а кто придёт другой сюда—по-своему рулить вами будет. Так что поторопись—и домой отвалишь, сам в поезд посажу. Только сначала дело. Не будет дела—другой по башке тебя бить будет,—закончил он речь.—Ты хоть знаешь, что такое настоящий оренбургский пуховый платок?

Он снял с руки обручальное кольцо, вынул из пакета белый, чуть изжелта, лёгкий и пушистый платок, просунул один конец платка в кольцо, и лёгким движением руки платок продёрнулся через кольцо.

— Вот, Маэстро, это настоящий оренбургский пуховый платок,—он отсчитал из пакета пять платков, завернул их в серую почтовую бумагу, сунул Кольке за пазуху и сказал:—Это первая твоя партия, головой отвечаешь, сучара.

Колька шёл к себе в коллектор, держа под мышкой пакет, в одной руке баян, а в другой стульчик. Только одна мысль ныла в его мозгу: куда спрятать пакет? Нести в коллектор—нельзя, эти черти украдут и не поморщатся, а отвечать ему. Наконец он нашёл оторванный конец утеплителя от изоляции теплотрассы рядом с коллектором. Колька сунул под этот оторванный утеплитель пакет подальше, заткнул дыру стекловатой: было незаметно и почти рядом. Колька постоял, запоминая место, и со спокойной душой пошёл в коллектор.

…А мать ехала. Добрые люди помогли ей сесть в поезд, по билету найти своё место. Вагон был плацкартный, люди все добрые, улыбались ей, суетились, раскладывая и рассовывая по полкам свои вещи. И тут, вдалеке от дома, есть тоже хорошие, добрые люди. Молодой юноша, которого звали Паша, охотно уступил бабушке нижнюю полку, бегал ей за чаем и каждый раз спрашивал:

— Бабушка, вы говорите: чем вам помочь?

А ей и так было хорошо, внимание к ней окружающих так было приятно, она так давно не была счастливой. Она сидела у окна на нижней полке, смотрела на пробегающие огни, полустанки, жёлтые убранные поля, мосты и мостики. Всё она это видела в первый раз за свою жизнь и так же знакомую как, наверное, по всей России. Её спрашивали соседи, она отвечала: к сыну, в Нерюнгри,—и объясняла: он там работает бурильщиком, но на каком месте, она не знает. Молодые супруги, которые ехали по распределению института, долго перечисляли буровые и разрезы местной добычи, но она так и не могла вспомнить и лгала, что он встретит.

Ночь для неё прошла так быстро, что ей показалось: она задремала всего на пять минут, а вот уже и рассвет в окне. Три дня в поезде ей показались совсем не утомительными, а интересными. Проводница объявляла станции, остановки, люди заходили, выходили, устраивались на свои места, поезд каждый раз плавно выдвигался в дальнейший путь.

Мать спросила у проводницы время прибытия в Нерюнгри. Проводница успокоила её:

— Бабушка, я вам сообщу и подниму заранее, помогу вам во всём. А в Нерюнгри мы будем в девять часов утра по местному времени,—и добавила:—Утро—удобное время для приезжающих.

— Вот и Нерюнгри,—проводница, как и обещала, предупредила её.

Наконец после недолгих сборов она стояла в тамбуре в ожидании, когда остановится поезд. Опустив лестницу, проводница предварительно обтёрла боковые ручки заранее заготовленной тряпкой.

— Вот, бабуля, вы и приехали! Я помогу вам спуститься вниз на платформу.

Всё это время мать думала о сыне. Она не могла представить его: уж сколько прошло времени, всё детский образ маячил перед её старческими глазами, но сыну теперь сорок восемь.

Она ступила на платформу… Лучи утреннего осеннего солнца пробивали вокзальную мглу. Люди спешили, проходя и пробегая мимо неё, все спешили к пришедшему поезду. Мать сразу почувствовала гарь и дым, запах креозота, пирогов и картошки, вокзального духа; ей захотелось поскорее куда-нибудь сесть, перевести дух, который так дурманил с непривычки её седую голову.

Она добралась, опираясь так же на свою кривую палку, неся в другой руке чемоданчик и узелок, до ближайшей скамейки и села, чтобы перевести дух. Понемногу приходя в себя, она смотрела на снующих по разным делам людей, и в эту минуту ей хотелось встретить знакомых, она почувствовала этот незнакомый большой и безразличный к ней мир.

Может быть, она посидела бы на скамеечке и дольше, но звуки баяна, доносящиеся с той стороны вокзала, насторожили её. Мать тяжело встала со скамейки и, ковыляя с чемоданчиком и узелком, побрела на другую сторону длинного вокзала. Она шла на звуки музыки, которая ей показалась знакомой и родной, как будто из прошлого. Хоть краешком глаза увидеть ей: кто там играет? Кто там до боли знакомую музыку играет, как её Колька? Толпа, окружившая играющего, не давала ей увидеть, кто там. Она долго стояла возле толпы, слушала знакомую музыку, мелодию, в которой её сердце возвращалось в прошлую жизнь.

Вдруг несколько человек отделились от этой толпы, и она увидела человека, сидящего на раскладном стульчике, с красным баяном. Он не был похож на её Николая, но что-то родное угадывало её сердце. Мать подошла ещё ближе, и её подслеповатые глаза увидели, то, отчего заныло материнское сердце: сын!

А Колька ничего не видел: он упал на бок вместе со стульчиком и баяном. Мать подошла ещё ближе к лежащему на асфальте сыну, опустилась на колени, взяв его грязные заскорузлые руки, причитая, начала их целовать:

— Сыночка, родненький, да как же это так?

Колька спал, водка опять свалила его, где пришлось. Он вообще был далёк от этого мира. Его борода, засаленные брюки и полбутылки какой-то жидкости в кармане представляли весь его мир.

…А мимо шли люди, кто-то смеялся над старухой, кто-то удивлялся, что она целует руки бомжу, да ещё омывает их своими горькими слезами. Некоторые прохожие в недоумении грустно смотрели: что бы это значило? Но самое «чувствительное»—пинали Кольку и прицепившуюся к нему старуху: расселись тут на проходе!

Вокзал жил своей жизнью, тут приезжали, прощались, уезжали все земные существа—люди.

Мать с большим усилием—ей помогла пьяная якутка—оттащила Кольку к ближайшему дереву, где они прислонили его спиной к этому старому тополю, пытались привести Кольку в чувство. Но вдруг сзади послышались маты и ругань—это Циклоп и Клёпа возвращались с очередной добычи металла.

—Вот Маэстро расписался! Наверное, денежек тю-тю? Женился, что ли, на этой старухе? Смотри, как она его гладит?—злился недовольный молодой Клёпа.

Они с Циклопом залились похожим на визг собаки смехом.

—Нет, хлопцы, я его мать,—ответила старушка.

Циклоп и Клёпа, стараясь не материться, бросились к Кольке Они стали его тормошить, обливая из пластиковой бутылки водой, звучно били по щекам, приговаривая:

—Маэстро, Маэстро, мать твоя приехала!

Они долго возились с Колькой, пока тот не открыл глаза. Он долго приходил в себя, смотрел то на старуху, то на Клёпу и Циклопа, пьяная якутка тянула его за рукав, он крутил своей головой, не понимая, что от него хотят. Грязной своею рукою он вытащил из кармана плоскую чекушку, выпил из неё три глотка и передал якутке.

Минут через пять Колька заорал:

—Мама, мама, мама, ты зачем приехала сюда?

Но мать бросилась к нему, уцепившись двумя руками за шею, целовала, прижимала к себе своё дитя, она плакала и рыдала всем материнским своим сердцем, она шептала что-то, упоминая Богородицу и всех святых. Колька твердил ей на все её причитания:

—Мама, мама, зачем ты приехала? Я бич, я бомж—не человек. Люди отбросом и падалью нас называют. А грехов на мне нет, и три года на подлодке, я старшина первой статьи, гидроакустик. Но, мама! У меня нет жилья, нет зубной щётки, нет рулона туалетной бумаги, нет паспорта. Живу я в тепловом коллекторе, скоро и оттуда менты вышвырнут. Зачем я вам?

—Сыночка,—говорила в ответ она,—да разве матери родное дитя в тягость? Сердце изболелось за тебя, родненький. Ведь всё за длинную ночь передумаешь! Да столько слёз и дум за ночь! А теперь я рада: ты живой…

Она плакала, вытирая платочком ручьём текущие по дряблым щекам слёзы. Колька не смотрел на неё, он смотрел в землю. Циклоп вежливо обратился к старушке:

—Пойдёмте, мамаша, на лавочку, вот есть свободная,—Циклоп вдруг стал интеллигентным и галантным, друзья его таким никогда не видели.—Вы, наверное, устали с дороги?

Циклоп поддерживал мать, нёс её вещи, Кольку вёл под руку Клёпа. Они доплелись до свободной лавочки, усадили мать, а Циклоп сказал:

—Пойду принесу горячего чая и что-нибудь поесть.

Честно сказать, даже друзья не знали, где он всё возьмёт.

А вокзал так же гудел. По радио объявляли о вновь прибывших поездах. В конце диктор добавлял: «Будьте осторожны!»

Они сидели на лавочке, Колька только и спросил:

—Как здоровье, мама?—но, даже не дождавшись ответа, сорвался с лавочки, крикнул:—Я сейчас, мигом…

Он возвратился ровно через пять минут, держа в руках свёрток.

—Это, мама, тебе от меня, бессовестного сына!

Она трясущимися руками стала разворачивать сверток, из которого показался оренбургский пуховый платок. Мать развернула платок, сложила его вдвое, примерила платок себе на голову и сказала:

—Спасибо, сыночка, за подарок. Видно, ты не забыл мать, и сердце твоё ждало меня.

Она снова заплакала, утирая концом подаренного платка потёкшие, как ручейки, из её глаз слёзы.

Колька сидел, опустив свою голову, смотрел в чёрную землю, вытоптанную возле лавочки. О чём он думал, никто и не знает теперь.

А вокзал жил своей вокзальной жизнью. Снова объявляли о проходящих поездах, напоминали о ручной клади. «Будьте осторожны!»—объявлял в конце диктор.

…Колька встал со скамейки, упал матери в ноги, обхватив их обеими руками, целовал материнские морщинистые руки и бормотал:

—Прости, мама, прости за всё, мама! Прости…

Циклоп и Клёпа так ничего и не поняли, хотя и находились рядом. Лишь глуховатая и слеповатая мать гладила сына по голове: она была счастлива—она нашла живого сына.

Он вдруг отпрянул от матери, сказал:

—Прости!—и побежал от них в ту сторону, где шёл и гремел грузовой состав.—Я сейчас.

…Он успел. Два последних вагона… вытянув вперёд руки и, оттолкнувшись от земли, прыгнул вперёд. Его грудная клетка точно угодила на блестящий рельс, он опередил бег колеса, успел мыслью подумать: вот и всё.

Они ждали его. Но кто-то там, у вагонов на дальних путях, заорал:

—Человека зарезал поезд!!!

Завизжали женские голоса, путейские бригады поспешили на место трагедии. Народ скакал через рельсы и платформы, спешил увидеть покойника. Кто-то узнал Кольку… Колька лежал на спине, разделённый поездом на две половины, но лицо и голубые глаза были открыты и смотрели в синее вечное небо.

— Да это бомж, баянист с вокзала! — сказал кто-то из толпы.
— Отмучился бедолага.

Подъехала скорая помощь.
— Бомж, бомж, хе-хе, набухался, берегов не видел…

Женщина в белом халате посмотрела на языкастого мудреца:
— Нет, это человек. Жаль, что болезнь их делает такими… Когда же прозреют люди? Да и всё ваше благополучие?

Осеннее солнце клонилось к закату. Кончался короткий сентябрьский день, один из многих дней земли.

Вечерние лучи светили, ещё — грели людей, землю и всё-всё, что находилось на этой маленькой песчинке большого космоса. Перед долгой, холодной якутской зимой солнце отдавало своё тепло всем людям поровну: и матери, дожидавшейся своего сына Кольку, и Циклопу и Клёпе, которые сидели рядом на лавочке, и всем, кто находился на этом нерюнгринском вокзале. Только для солнца они были дети земли — маленькие, беззащитные, неразумные дети.

По старинному рецепту

Хорошо в жизни проснуться на своей широкой двуспальной кровати, но это не полное счастье. Николай Иванович Омулев, проснувшись, сразу почувствовал недомогание. Нет, руки и ноги не ныли от застарелого ревматизма, а вот душа была наполнена тоской. Эта зелёная тоска не покидала его уже второй год.

Николай Иванович Омулев — учитель школы номер двадцать шесть, преподаёт он физику.

Николай Иванович посмотрел на спящую сладко жену; хорошо, сегодня воскресенье, можно выспаться и никуда не спешить. Всё надоело, думал он: тетради, оценки, лабораторные работы. А эти дети — шалуны и проказники — достали его так, что нет у него сил. Вчера они, чертенята, утворили такое!.. Пока его костюм висел на спинке стула за его преподавательским столом, какой-то ушлый малый написал на спине костюма: «Фантомас». Нет, он сдержал себя в руках, но какая благодарность за годы работы в школе! Он почистил костюм, но видел, как восьмиклассники смеются, пряча глаза от него. А ночью пришла эта хандра от обиды, переживания.

Николай Иванович когда-то заканчивал эту школу, и отношение к учителю его поколения было божественное. Учитель был небожитель, и казалось — нет авторитетнее человека, чем школьный учитель. И тогда он решил: буду учиться на учителя русского языка и литературы, — он страстно любил этот предмет. Но директор школы настоял: Коля, мы тебя направляем на физику, не хватает учителей-физиков. А литература, Коля, всегда с нами. Он согласился, не хотел покидать свой родной край: Байкал, речку, эти горы и леса, где он вырос; всё здесь было его — охота, рыбалка, гольцы и корабли. Он проскучал в Омске, где закончил пединститут, встретил и полюбил девушку Олю, на втором курсе они уже поженились. Оля была математичка, и их путь лежал прямо в школу номер двадцать шесть, к Николаю домой; и вот они уже двадцать пять лет преподают.

А вставать с тёплой постели всё же пришлось. Накинув пижаму, он поскакал «коньком-горбунком» в заведение, что называют в народе «удобства во дворе». После долго фыркал, крякал, принимая душ в своей бане. Он мылся и брился с каким-то остервенением — всем врагам назло. Когда шёл снова в дом, заметил жёлтую листву, лежащую на дорожке, — всё, осень пришла. Он любил осень из-за того, что её любил А. С. Пушкин.

Он уже не думал о тоске, об обидах; он думал, как мало он ещё написал людям, как мало он помог своими стихами, их всего три, опубликованных в местной газете «Заводской гудок». Время ещё есть, и он потрудится на пенсии, а она не за горами.

И точно в душе проснулось что-то. Он быстро оделся в свой новый костюм, повязал галстук, взял кошелёк — он знал, как встретит эту красавицу-осень. Он стал читать вслух:

> Выпьем с горя; где же кружка?
> Сердцу будет веселей.
> *А. С. Пушкин, «Зимний вечер»*

Николай Иванович шагал прямо по улице Энгельса Ф. — прямо в винно-водочный магазин. Ветер с Байкала обдувал его лысую, но умную голову, бросал в лицо жёлтые листья, глаза от которых защищали очки плюс три, а он, закутавшись в болоньевый плащ, шёл к цели. «Имею право…» — повторял он. В магазине народ длинной очередью стоял в винно-водочный отдел.

Человек ума всегда размышляет о многом; вот и Николай Иванович размышлял о многом… Он вдруг вспомнил повесть «Выстрел» из записок повестей покойного Ивана Петровича Белкина А. С. Пушкина и процитировал отрывок: «Принялся я было за неподслащённую наливку, но от неё болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде».
— Товарищ… Алло, товарищ… Что будете брать? — на Николая Иваныча смотрела сероглазая, в светлом халате и чепце, продавщица.
— Мужик, бери, не задерживай очередь!

Продавщица возмутилась:
— Ты, интеллигент в очках. Вам в аптеку надо, за касторкой…

Николай Иванович покраснел и от такого поворота своих мыслей выскочил из очереди прямо на крыльцо винно-водочного магазина.

Куда пойти?—встал вопрос перед ним; тоска опять распирала его. К Балабешкиным? Нет, там одно и то же: шахматы, разговоры о международном положении. Хозяин, как всегда, накурит—хоть топор вешай. Он, конечно, проиграет опять, а жена Балабешиха в честь победы мужа накроет стол. И, как обычно, подаст жареную рыбу, хотя знает: он любит мясо. Нет, не пойду… Зайти к другу, врачу Коневу? Он, конечно, посоветует, пить на ночь снотворное, больше гулять на свежем воздухе и позовёт на кухню. Он знает, что там, на кухне, за холодильником, бутылка водки, но в ней спирт—медицинский, чистый. Он нальёт по полстакана и скажет: «Давай как на фронте». Какой фронт? Пятьдесят лет как война кончилась. Нет, и к Коневу не пойду.

Он шел по прямой улице Энгельса Ф. навстречу осеннему ветру, но, дойдя до дома номер восемь, увидел старика, сидевшего на лавочке. Старик был в зимней шапке, в ватнике и в валенках. Николай Иванович даже обрадовался, когда подошёл ближе: перед ним сидел и курил «беломорину» Иван Павлович Аплеухин. Учитель физики постыдился своей мысли: он думал, что старик давно умер, а тот сидел, курил—живой. Они с минуту помолчали, присматриваясь.

— Здравствуйте, дедушка!—подойдя к деду, погромче поприветствовал Николай Иванович.

— Чего разорался, Николка?—ответил дед.—Сопли-то подобрал?

— Да какие сопли? Мне уже пятьдесят…— отвечал Николка.

— Да,—сказал дед,—помню, как ты, сопливый и кудрявый, с рогаткой тут бегал. Воробьи, ласточки, кедровки твои мишени были, варнаком ты был. А теперь кто?

— Учитель физики.

— Знать, хорошо тебе отец ремня вкладывал, большим человеком стал, детей учишь?

— Да,—согласился Николай Иванович.—А вам сколько лет?

— На Покров девяносто семь будет.

— Летят года,—посетовал Николай Иванович.

Дед добавил:

— Душа всегда молода. Вот бабка моя смолоду табак не переносит и курить меня на улицу на лавочку гонит—говорит, всю хату задымил.

— А вы бросьте,—ляпнул физик.

— Ну и дурак ты, Никола. Я же не помню, когда не курил. В семь лет на рыбалке начал. Да и сам посуди: какая радость у меня в жизни? К земле готовлюсь… Два века не проживёшь, как и два костюма в гроб не наденешь. Живи и радуйся, что день прожил хорошо. Каких я только не видел на своём веку: и богатых, и властью наделённых, и жадных, и счастливых,—все там, и никто обратно не возвращается за своим добром. Наверное, там хорошо?

Они снова помолчали… Николай Иванович робко спросил:

— А что делать, если тоска заела, житья не даёт?

— Тоска?..—посмотрел в землю дед.—Тоску лечить надо, как наш купец Куппер Зенон Альфредович лечил,—постоянно. Вот послушай: жил у нас здесь до революции купец, то ли немец, то ли еврей. Скупал он у охотников соболька нашего баргузинского, золотишко скупал по артелям. Много он бед тут перенёс. Жена у него с любовником убежала, грабили его лихие людишки, дом сгорел. Дак вот, у него был то ли ямщик, то ли кучер, заодно он и приказчик—Гришка Чащин, тот знал, как барина лечить. Бывало, приедет Куппер, лица на нём нет, все дела плохи. Гриша, говорит ласково, полечи. Ложится на лавку, снимает рубаху. А Гришка принесёт тальниковых прутьев—и по спине его крест-накрест, раз двадцать или пятьдесят. Всё, скажет Куппер—и как новенький снова за соболем, за золотом. Пару раз в год он себя так лечил. Вот как бывает!

Выслушав рассказ деда под завывания байкальского ветра, Николай Иванович сказал:

— Но это когда было? Нынче медицина сильна. Да и как мне, учителю, на лавке лежать и принимать добровольно побои?

— Дурак ты, Николка… Болезнь, она никого не спрашивает—ни царей, ни князей, ни учителей, и меня, старика, не спросит.

— А вы меня полечили бы тайно?—тихо спросил Николай Иванович.

— А чё не полечить? Старуха у меня глухая, баня вон во дворе, и прутьев я на корзинки как раз наготовил. Только ты мне, Николка, если лечение поможет, чекушку водки обещай.

— Обещаю,—сказал учитель,—только молчи и помоги.

Они поднялись с лавочки и пошли под ручку в баню. В бане было холодно, но стояла широкая лавка, бак с водой, пахло берёзой и мылом.

— Но я тебя, голубок, привяжу к лавке, уж силёнок у меня маловато. Ты лавку выдвинь на середину баньки, разболокайся по пояс, а я верёвку принесу.

Николай-физик молча подчинялся бывалому человеку. Шаркая валенками по банному полу, дед принёс верёвку и пучок тальниковых прутьев. Николай улыбался, это таинство для него было новым и неизведанным. А дед вязать умел. Наконец он взял прут, помочил его в баке с водой, пару раз взвизгнул прутом в воздухе и приложился со всего размаха к розовой спине солидного человека в очках.

— Мама,—едва успел сказать тот, как второй удар вырвал газы из круглых ягодиц пациента.

— Вот она, окаянная тоска, нашла выход из твоего нутра, хворь выходит,—сказал дед и участил удары по спине прутом.

— Ма… ма… ма…— орал пациент.

— Терпи, Николка, газы пускай, мы её в двадцать пять ударов выбьем! Терпи, казак, атаманом будешь.
— Караул… помогите, люди…— ревел Николай Иванович.
— Ори, ори, я тебе говорил, старуха у меня глухая.

Вдруг откуда-то взялось у школьного учителя в голове — он стал читать «Отче наш», старика называл владыкой, и вся жизнь его прошла от лукавого.
— Двадцать пять,— сказал старик.— Перекурим?
— Отче, прости, прости за всё, хворь вышла, спаси и сохрани, помилуй,— физик плакал.

Его лысая голова дрожала, лоб бился о скамью, очки валялись в стороне на полу.
— Ну-ну, Николка, вижу, что вышла хворь, ты полежи, подумай, поплачь — боле не буду хворь выгонять,— он стал медленно развязывать Николая Ивановича, приговаривая:— Но ты, Николка, не серчай, сам же просил, я и старался.

Николай Иванович сел на лавку, спина его горела, будто леопарды и местные коты рвали её, крест-накрест красные полосы выпустили кровь. Дед вытер его спину чистой тряпкой и помазал раны какой-то мазью. Он хотел сначала разорвать деда, но внутренний голос и воспитание говорили ему: «Сам просил, сам просил». Одевшись, шатаясь, не сказав ни слова, он вышел, держась за штакетник, за ворота и глубоко вобрал в себя воздух. За наличником дедова дома от ветра где-то спрятался воробей, он кричал: «Чив-чив! Чив-чив!»
— Точно,— сказал пациент,— чуть жив, чуть жив.

Он почувствовал, как байкальский ветер пахнет чистым морозным бельём, солнце пробило утренний туман, белые буруны волн улеглись, а листву, которую гнал ветер, он давно хотел набрать жене на осенний гербарий. Он бросился подбирать жёлтые, красные листья, прохожие улыбались, а в нём рождались стихи…

Нам трудно жилось этим летом,
Нет в лете ни капли любви…

«Буду читать жене, пока она в постели. И всё хорошо, жизнь удалась, ребятишки — они шалуны всегда, у Балабешкина всё равно выиграю, съем всю жареную рыбу и похвалю хозяйку, Коневу скажу: давай, мой друг, за Победу! И выпью полстакана спирта». Он зашел в винно-водочный — очереди уже не было.
— Девушка, красавица,— он обратился к той же продавщице,— любимая, бутылочку коньяка!

Девушка расцвела в улыбке, подавая ему коньяк.
— Вот видно сразу, что вы в настроении,— и добавила:— Не надо печалиться…

А Николай Иванович пошёл к деду. «Надо отблагодарить старика»,— говорил он сам себе.

И до сих пор ходит — правда, теперь к сыну старика, тот тоже лечит от многих заболеваний.

Ягода Малина

Мы не знали ни его фамилию, ни имени, ни отчества. Его смерть собрала нас на кладбище, куда мы пришли проститься с ним. В жизни все звали его Ягода Малина.

Наш посёлок расположен у самого берега Байкала. С правой стороны посёлка протекает и впадает в Байкал река Баргузин. Наш посёлок так и называется — Усть-Баргузин. В посёлке проживает трудовой народ: рыбаки, лесорубы, работники Забайкальского национального парка и множество людей других профессий. Живём дружно, любим свой край, свою природу, Байкал и речку Баргузин. Домá у нас все добротные, свои участки, а самое главное в доме — это русская печь. Без печки у нас не проживёшь. Печка и тепло даёт, и хлеб печёт, одежду сушит, а в русской духовке и баню устроить можно. Топят у нас печи только дровами, добро тайга кругом. Не страшны ветра Байкала с русской печкой. Да только мастера, что раньше легко в два дня могли поставить русскую печь, перевелись… Кто умер, кто бросил это трудное ремесло, а кто и подался в другие края.

«В наш атомный век, когда космические корабли бороздят Большой театр», остался один на десять тысяч населения мастер — печник Ягода Малина. Может, полупроводниковый робот под компьютерную программу и мастерит русские печи, но у нас пока таких нет. Так что Ягода Малина на весь посёлок один печник.

Я помню, ещё наши певцы не были народными, как у нашего магазина, что звали мы «дежуркой», люди хвалили печника Ягоду Малину.
— Вот сложил мне печь Ягода Малина, двадцать лет как не нарадуюсь,— говорила одна.

А другой добавлял:
— А мне тридцать лет назад сложил русскую печь, дак мы на неё молимся. Дров уходит мало, стряпает, печёт, а колодцы всего через два года почистим, и всё… Дай Бог здоровья Ягоде Малине.

…Когда это было?

Давно, ответил я сам себе, глядя на пожилого сухожилистого мастера. Ягода Малина всё работал, каждый день. В подмастерьях у него внук, которого он ласково называет Сергуньком. Каждый день у Ягоды Малины заказы. Там надо печь поставить, там свод у печи заменить — всем помочь надо, впереди зима. Сергуньку лет семнадцать на вид. Он подаёт кирпич, месит глину, устанавливает отвесы и уровни, вникает в ремесло деда. Дед же ради внука старается, чтобы профессия не ушла из рода, есть кому передать мастерство. Да и так помочь внуку деньжатами — иномарку Сергунчик хочет купить. Вот дед и поможет. Настоящий дед — Ягода Малина.

Если посмотреть на Ягоду Малину в профиль и анфас — можно смело сказать: сибирский крепыш. Среднего роста, нос картошкой, руки жилистые,

как будто синие реки бежали через них в кирпич, и казалось, что он не ощущал веса кирпича или привык к нему за годы работы. Лысый, серые добрые глаза и постоянная «беломорина» в углу небольших губ. Папироска даже не дымилась, но в чём-то помогала ему при работе. Носил постоянно одну и ту же шапочку, что когда-то носил Мурзилка из журнала. И не дай Боже если он её, свою шапчонку, где-то оставит — не будет ни работы, ни покоя. Голос у него был тихий, но понятен всем.

В этот осенний день глава нашего поселения Борис Николаевич Землехватов замучил свою служебную машину «Волгу», разыскивая печника Ягоду Малину. Наконец на улице Набережной, где Ягода Малина докладывал трубу у печи, глава Землехватов перекрестился и сказал:

— Слава Богу, нашёл я тебя, драгоценный ты наш Ягода Малина. Скорей слезай ко мне, разговор с тобой на миллион!

Ягода Малина собрал инструмент, стряхнул со штанов засохшую глину и подошёл к мэру нашего поселения.

— Послушай меня, дорогой! — обратился уважительно мэр. — Газета наша, «Гудок рыбзавода», приказала долго жить. Нет рыбзавода, растащили по гайкам, нет и денег, газету не на что содержать. Два года я бился там, наверху, чтобы копеечку нам выделили под новую газету, которая будет называться «Звон Баргузина». Ты понимаешь значение для нашей стремительной жизни? Да ещё ставку селькора выбил, нет, вырвал вот этими зубами.

Он показал Ягоде Малине свои вставные железные кривые зубы и замолк…

— А я тут при чём? — сказал, недопонимая, Ягода Малина.

— Ты помнишь старую рыбоохрану? Дом там хороший, листвяжный, но печки нет, растащили по кирпичику наши пролетарии. А я ещё в том году племянницу в резервное жильё пустил, а она и невестку туда, и внука, и сына с новой женой — вот услужил родне! Выручай! В ноги упаду, но за два дня печь должна стоять, чтобы селькора туда заселить, едет уже посмотреть жильё.

— А кирпич, глина, фурнитура? Надо, чтобы всё это было.

— За ночь всё там будет. Поехали, фундамент посмотришь.

И он увёз на «Волге» Ягоду Малину смотреть фундамент печки.

На следующий день Ягода Малина с Сергуньком, с инструментом, явились на объект для возведения печи. Сразу можно сказать: сам дом был хороший, листвяжный, пять комнат. Окна все целые, но не было печки и даже мусора от её разборки. В крыше и в потолке, где была труба, виднелось осеннее дождливое небо. Мэр сдержал своё слово. Стопкой лежали новые кирпичи, корыто для глины, сама глина целой кучей лежала во дворе. Фурнитура, плита, уголок и проволока лежали в доме. Вопросов не было, дед с внуком приступили к работе. Через полчаса мэр Землехватов привёз в дом селькора Болобонова Владимира Меркулеевича. Селькор осмотрел дом, огород, принадлежащий этой усадьбе, одобрительно пожал руку нашему главе поселения и сказал:

— Надеюсь, печь дня через два будет готова? Я пока без семьи, так поживу, поработаю над первым тиражом нашей новой газеты.

Он взял с собой ноутбук и удалился в дальнюю комнату работать или колдовать.

А Ягода Малина с внучком поднял (сложил) уже печь по пояс.

Через час, как только уехал мэр, Болобонов вышел из дальней комнаты с душистой сигаретой.

— Перекурю, — сказал он и стал смотреть, как проворно Ягода Малина мастерит печь.

— Хорошо, — сказал он и скоро ушёл к себе в дальнюю комнату.

Через десять минут он вышел, на этот раз с ноутбуком в руках.

— Молодой человек, — сказал он, обращаясь к Ягоде Малине, — а где у вас перемычки?

Ягода Малина посмотрел на него, улыбнулся, непонимающе заморгал серыми глазами, переспросил:

— Какие перемычки? Тут никаких перемычек нет. Тут топка — жар будет.

Селькор опять удалился в дальнюю комнату. Но не прошло и пяти минут, как селькор выскочил с ноутбуком в руках прямо на корыто, где Ягода Малина набирал глину в ведро.

— Но вот технология. Покажи мне, товарищ, где ты скобки крепёжные ввернул?

Ягода Малина всё ещё улыбался.

— Да какие скобы? Пятьдесят лет изготовляю печи — первый раз слышу! Вот доложу до плиты, там заведу под верх проволоку-шестёрку. Это чтобы дверцу закрепить.

Но Болобонов совсем не собирался униматься.

— Интересно, тут надо штырями на гайку тянуть, а он мне халтуру лепит, не знает: все технологии — в Интернете… — и он поднёс к глазам старика свой ноутбук. — Смотри, темнила, как и что прописано!

Ягода Малина изменился в лице, видно было, как желваки заиграли на его скулах.

— Слушай, ты, профессор, меня Николаевич попросил сложить печь — сложу, затоплю, а ты потом разбирай свои технологии, что и как!

Но селькор не унимался. Он принёс свой мобильный телефон и, сверкая фотовспышкой стал снимать всё: печь, колодцы, глину, кирпич, Ягоду Малину и Сергунька.

— Слушай, ты, человек, дай работать! Или иди на хутор, бабочек лови! — не выдержал печник.

Селькор взревел:

— Деньги за халтуру взял вперёд?

— Какие деньги? — переспросил Ягода Малина.

Он всё понял. Собрал не торопясь инструмент, очистил свои широкие штаны от глины, смачно плюнул, выругался матом, и они с Сергуньком ушли домой, оставив печь сложенной до плиты.

Не стоило обманывать честного человека, как Ягода Малина. Глава поселения мэр Землехвостов через пять минут приехал на своей служебной «Волге».

— Ягода Малина, я вас умоляю, сложите печь, ради будущего нашего посёлка!

— Что? — спросил Ягода Малина. — Какие ты мне деньги заплатил, что твой спецкор или селькор стыдил меня на старости лет?

Мэр засмущался, отводя глаза в сторону, и сказал:

— Работа моя такая — желаемое выдавать за действительное. Уйду я в охранники, мамой клянусь.

Ягода Малина плюнул в его сторону и сказал:

— Пока не наворуешься, никуда ты не уйдёшь. Вспомни, как ты рвался в мэры, сколько добра народу обещал, а на деле всё на себя, на родню свою. Сам и ложи печи вместе с товарищем своим по рыбалке. Ты мужик, и селькор мужик, по компьютеру смастерите печь, технологию он всю знает.

Повернулся и ушёл домой, заложив на засов свои ворота.

Порой у нас на Байкале бывает так тихо: нет ветерка, воздух недвижим, в это затишье падает снег. Снежинки большие плавно кружат, приближаясь к земле. И может даже показаться, как одна говорит другой: «Давай, подружка, посмотрим, как поживает селькор?» И видят они, как два мужика в белых рубахах, в глине, в пыли кирпичной, второй месяц мастерят печь русскую. Буржуйка у них топится, труба выведена в окно. Под столом и на столе пустых бутылок множество. Печь довели до потолка, но пришлось доской снаружи обшить; валится кирпич и глина не держит: решили изнутри каркас шить, тоже из доски, а когда затопят, дерево сгорит, кирпич останется, это всё внесли в технологию. А через неделю дом бывшей рыбоохраны сгорел. Два друга, мэр и селькор, затопили своё творение. Да так их печь разгорелась, что один сказал: «Домна!» — другой сказал: «Мартен!» И оба выскочили, забыв ноутбук, прямо в окошко, вынесли на плечах старинную раму.

Столетний листвяк горел, как порох. Пожарная машина была без колёс, экипаж пожарников ловил налима на реке. Хорошо, что поблизости не было жилого строения. Люди сбежались смотреть на красивое жаркое пламя. А кто-то смотрел, как мэр бил селькора. Потом селькор бил мэра. Из всего люди поняли: это два друга готовили туристический домик для приезжающих к нам на Байкал иностранцев. Русская печь обрушила весь бизнес-план. Кто кому должен, приятели решают в Бурятском республиканском суде, а рыбоохрана требует с них материальный ущерб в долларах — они тоже решили заняться бизнесом.

Золотых рук мастер к весне заболел, и в марте мне сказали, что Ягода Малина умер. Я пошёл проводить его в последний путь. На кладбище, когда работники закапывали могилу, я кинул тоже горсть нашей байкальской земли и отошёл в сторону, к плачущей старушке.

— А вы не знаете, почему его звали Ягода Малина?

Она вытерла слёзы с глубоких морщин и улыбнулась мне:

— До войны это было. Пошли мы в лес за дикой малиной. Нас ребятишек пятнадцать было. Пришли мы к малине, а Александр первый раздвинул малинник руками — а там медведь ест малину прямо с листвой и ветвями. Смотрят они друг на друга. Медведь здоровенный, под два метра. Санька, царствие ему небесное, как закричит на медведя, как заматерится: «Ты что, косолапый, нашу малину жрёшь?! Или у тебя деток нету и сладенького они не хотят?» — и по-матерному на него. Соскочил медведь на все лапы, развернулся и побежал от нас. Тогда мы только перевели дух. А кто-то сказал: «Ай да Ягода Малина! Да тебя медведи боятся». Так и стали звать его — Ягода Малина.

Я посмотрел на крест, на табличку, покрашенную серебряной краской: «Иванов Александр Иванович. 02.09.1929–15.03.2016 г. 87 лет от роду». А мы всё — Ягода Малина.

Джамайка

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Может, кто и знает, что в этой застольной песне баргузин — это ветер, но мало кто знает, в какие часы и в каком направлении он дует.

Витька Толстиков — парень с нашей улицы Энгельса посёлка Усть-Баргузин. И Витька, и я, и все жители нашего посёлка знают: баргузин — это ветер, а иначе мы его называем верховик, и дует он с Баргузинской долины, с верховья реки Баргузин, от её истока. Верховик начинает дуть с четырёх часов утра с нарастающей силой и к шести утра перестаёт дуть. За эти два часа ветер сбивает байкальскую волну, которая за всё остальное время катит свою могучую воду прямо в лопатки (место впадения реки в Байкал, или устье).

Предки наши, чтобы выйти в Байкал, ждали этого ветра, чтобы на парусе, а не на вёслах, добраться до сетей или отправиться в плавание.

Поэтому посёлок Усть, река Баргузин. И узник бежал с Читинского острога. Чтобы его не догнала стража, он угадал или знал баргузинский ветер, это ему помогло оторваться от горной стражи.

Витька Толстиков десятый год капитанит. После восьмого класса Витька один поехал в город Красноярск, поступил учиться в Красноярское речное училище, окончил его, проработал где-то на севере реки Енисей и, уже с беременной женой Валей, домой приехал опытным рулевым мотористом. Корень Толстиковых у нас в Усть-Баргузине многочислен. Братьев и сестёр не пересчитать. Взялись они всей роднёй и с Троицы по Покров выстроили Витьке дом. Места у нас много, леса тоже, и место нашлось на нашей улице Энгельса Ф.

Витька — капитан самоходной плоскодонной баржи СП-8. Наш Госпар-порт приписки — город Иркутск, порт Байкал. Витькина баржа ходит только по реке Баргузин вверх, где раскинулись на протяжении трёхсот километров населённые пункты Адамово, Зорино, Баргузин (райцентр) и множество других мелких деревень. Баржа самоходная, пятьдесят тонн водоизмещением, да и навигация у нас по реке с девятого мая по седьмое ноября, остальное время речку сковывает лёд. Байкал ещё катит свои осенние трёхметровые волны, но они разбиваются в лопатках реки, сам же Байкал закуётся во льды на Крещение, к девятнадцатому января.

Витька — крепкий, высокий и красивый парень. Он носит капитанскую фуражку с плетёной золотой кокардой, чёрный китель с золотыми шевронами на рукавах, пуговицы блестят, есть петли под погоны, но Виктор говорит, что на барже это лишнее. Вся его форма только добавляет Витьке красоты. Волнистый чуб из-под фуражки, умные глаза, чуть бритые бакенбарды, строгие скулы — всё напоминает мне героя-подводника из фильма «Командир счастливой „Щуки“».

В навигации работы много. Надо успеть всё завезти по деревням. Обратно из деревень вывезти скот на Усть-Баргузинский мясокомбинат, что стоит на берегу реки. День-два на зачистку трюмов — и снова в рейс. На мостике в рубке Виктор строг, он смотрит вдаль, отыскивая очередную вешку фарватера или бакен в ночи; работа ответственная, опасная, но любимая для Виктора. Команда его — вместе с ним три человека. Матрос первого класса Фабузин Макар, Витькин одноклассник, шкипер Бадмаев Церен Аргалович, бурят, пенсионер с опытом ещё с войны — дружная команда.

— Зорино… Приготовиться подать швартовы справа!

Много чего в Зорино надо выгрузить на склад, запасы сделать на зиму. А пока грузчики выгружают, Аргалович ведёт бухгалтерию. Они с Макаром посмотрят двигатель, масло дольют, насосом воду из отсеков качнут, да и ужин пора готовить.

Река Баргузин — с пологими, покрытыми лесами берегами. Кое-где по берегам встречаются поросшие травой тихие затоны. Иногда Витька прячет свою баржу в тихий и глубокий затон. Это бывает, когда баржа СП-8 встречается поутру с ветром-верховиком, который начинает так сильно дуть, что гружёная баржа, поднимаясь вверх по течению, совсем замедляет ход. Вот тогда Виктор и заводит её в глубокий затон, чтобы переждать ветер. Зачем напрасно жечь солярку? Чем выше вверх по реке, тем быстрее её течение. За Зорино река показывает свой скрытый нрав. Вот уже видно, как вода помутнела, там и тут вокруг появляются водяные воронки-омуты от быстрого течения реки. Чаще плавится рыба: ленок, хариус, а в последние годы — сазан. Большие стаи уток, гусей и журавлей взмахивают крыльями при приближении Витькиной самоходной баржи. Капитан знает; он держит в памяти все уловки реки и ветра, экипаж спокоен и на своих местах. Когда они собираются вместе, они шутят, без обид друг над другом.

— Витька — парень шустрый, — говорит шкипер Бадмаев. Говорит он это сквозь улыбку, чтобы слышали и Витька, и Фабузин. — Десять лет ходит по этой реке, и ребятишек — десять! Когда успевает, не пойму? А секрет простой, — продолжает он, — приходит Виктор с рейса и даёт последнюю команду: всем спать!

Смеётся сам, смеётся Фабузин, смеётся Витька: все знают, что скажет Бадмаев.

— Ну вот, а сосед его и говорит: всё. Я спрашиваю: что всё? А он мне: видишь, команда прозвучала — всем спать! Ставни днём закрыли — это значит, всё, у Витьки-капитана одиннадцатый будет. А я угнаться не могу, так ни одного.

Смеются ребята.

Продолжительность рейса — всего-то неделя. Но в этот раз рейс оказался наполовину короче. Пришли в Баргузин (это районный центр), разгрузились, всё по графику, подготовили трюмы под загрузку скота. Ждали день, ждали два, а скот не гонят! На дальних пастбищах скот. Ждать минимум неделю.

Виктор связался с портом по рации, начальство дало приказ: «Возвращаться в Госпар порожняком».

— Ну и хорошо, — сказал Бадмаев, — рыбу половим, утку постреляем.

— Нет, — сказал капитан, — день отдыха — и по новой в рейс.

Много ещё завезти груза надо, предупредило начальство. Через двое суток, уже когда было темно и фонари горели на бакенах, отмечая фарватер, Витькина баржа СП-8 причалила левым бортом к пирсу, увешанному автомобильными покрышками. Бадмаева оставили ночевать на барже, старик был одинок в жизни и никуда не спешил. Завтра снова загрузка — и в путь, опять по реке. Уже зажглись уличные фонари, чёрное небо было затянуто тучами, не было видно даже звёздочек. Виктор и матрос, одноклассник Фабузин, пошли по домам. Они прошли центральную улицу

Ленина, когда друг и напарник Фабузин попрощался и свернул на улицу Кирова, а Виктор—на Энгельса Ф. Их пути разошлись в разные стороны.

Идти недалеко от угла улицы до дома. Коегде горели ещё не выбитые пацанами из рогаток фонари на электрических столбах. Но странно, дом Виктора был залит светом. Подходя к дому, Виктор замедлил свой шаг. Он размышлял: время одиннадцать вечера, ставни не закрыты, свет во всех комнатах, и музыка странная, и этот странный её припев: «Джамайка…» «Конечно, не ожидают хозяина, три дня ещё мне в рейсе быть». Витька прильнул к своему палисаднику и стал заглядывать: что же там происходит? Ничего невозможно увидеть ни в ограде, ни в доме, только это «Джамайка» доносилось из дома. Он перелез через палисадник, снял капитанскую фуражку и, как разведчик, одним глазом прильнул к нижнему окошку. Боже!!! Что он увидел, не забыть ему никогда. Его жена Валя сидела в зале за столом, который ломился от закусок, её обнимал молодой, в галстуке, мужчина. Он обнимал Валю за плечи, что-то шептал на ушко, и Валя была этому рада. Она сама иногда склонялась к красавцу и ласково целовала его в щёку. Детей не было видно. «В баню к матери моей увела»,—подумал он. А на столе—шампанское, водка и даже его любимые рыжики, что старшие дети собирали отцу по просекам, пока он в рейсе.

Он отвернулся от окна, тихо сполз спиной, поранив её. Сел возле завалинки у окна на траву, уронив между колен капитанскую фуражку. Мозг его сверлило тупым сверлом. «Вот оно что, когда я в рейсе!!! Наверное, это давно продолжается, никого не боятся, и эта музыка—„Джамайка“». Он вцепился руками в траву, что росла возле завалинки, и начал мычать—от обиды полного крушения его внутреннего корабля. Он даже спросил кого-то внутри себя: «А мои ли это дети?» Внутренний огонь бушевал в его отсеках в самом сердце. Он думал… В летней кухне ружьё—тулкадвустволка, патроны в кладовке там же. Справа пули, картечь, слева дробь номер два. «Застрелю обоих. Главное, не тянуть и не распинаться перед ними,—думал он.—Но за двоих и мне расстрел. Что делать? Нет, ей я скажу: „Всё на твоей совести, живи“, его—сразу дуплетом в сердце». Что будет с детьми, когда его посадят? Разве одной поднять такую ораву? А сколько будет разговоров: он рогоносец, да ещё и уголовник.

«Простить? Уйти, скрыться? На той стороне реки в рыбацких сараях есть удочки и соль. Меня никто не видел, и я вроде ничего не знаю». Он почему-то вспомнил то лето. Они стояли в Баргузине под загрузкой на своей СП-8. Бадмаев как-то один ящик «Солнцедара» превратил в «бой», который списали принимающие. Да, тогда гулянка была у них всю ночь на барже. Откуда-то взялись две женщины, которые были не прочь выпить. А он, капитан, потом кричал в пьяном виде: «Я первый, я капитан». И где он только с ними не побывал—и в кубрике, и на корме, и в трюме. Высадили баб в Зорино. После он целый месяц избегал Валентину. Прикинулся больным, а сам прятал от неё глаза. Забыл всё быстро? Да нет, вот Боженька наказал его за измену. И он заплакал. От своей мерзости в прошлом и от горя от увиденного, как Валя с молодым. Он плакал и говорил себе: «Кобель ты, Толстиков, клялся в верности и любви перед Богом, вот тебе за твою измену—получай». Слёзы катились ручьём на лежащую между ног капитанскую фуражку, и как насмешка звучало: «Джамайка».

Вдруг скрипнула калитка внутри палисадника, через которую закрывали ставни. Старший сын Виктора, десятилетний Генка, вбежал в палисадник, чтобы закрыть окна с улицы. Свет с просторных окон освещал отца, сидящего на траве, с ручьями слёз, текущих по небритому лицу.

— Папка?—от неожиданности воскликнул сын. И, испугавшись добавил:—Ты плачешь?

Он сорвался с места, не закрыв окна, и через минуту было слышно, как по крыльцу бежит толпа—ребятишки, Валя, ещё кто-то. Валя упала на колени перед своим мужем, целовала его в курчавую голову и говорила:

— Витечка, родненький, что случилось? А к нам братишка мой приехал, мы же его с нашей свадьбы-то и не видели. Вырос братишка, инженер уже. А каких он нам подарков привёз! Вот платье на мне, а тебе спортивный костюм! Ребятишкам много чего…

Витя-капитан уткнулся в её тёплые ладошки, и ещё больше его одолели слёзы—то ли от радости, то ли от горечи.

— Ты прости меня, Валя! Прости ради Бога. Ради наших детей прости. Я больше не буду, поверь!

— Что, Витя, не будешь? Может, что с кораблём?

— Ой, Валюша, не буду…—но вовремя сообразил.—Не буду раньше времени приходить с рейса. Лучше рыбки на зиму половлю, уточек, гусей добуду. А я всё рвусь куда-то, чуть мимо дома в море не ушёл.

— Да ладно тебе, хоть совсем никуда не ходи, нашёл об чём расстраиваться,—она целовала его в обветренные губы.

Два письма солдата

Наша улица носит название «Энгельс Ф.». Почему так написано на всех домах на самодельных табличках, никто и не знает. Наверное, местный «художник» увековечил себя на многие времена. Все ребята, маленькие и чуть побольше, учатся в нашей большой и красивой трёхэтажной школе. Каждый из этих ребят мечтает после окончания школы кем-то стать. Выучиться на лётчика или врача, быть геологом или астрономом, стать

нужным своей большой и могучей стране. И когда все двери для детей Советского Союза открыты, выбирать свою профессию приходится задолго до окончания школы.

Колька Коровин, по кличке Корова, хотел быть только военным, не меньше чем генералом. Мечта его не угасала ни на один день. Он делал деревянные автоматы, копал в своём огороде землянки и блиндажи, рыл траншеи вдоль огородной межи, оборудовал командный пункт.

На зов матери:

— Коля, иди хоть чаю с молоком попей,— отвечал:

— Сначала служба, а потом чаи…

Приходили старшие ребята со службы, в отпуск или на дембель,— шапка набекрень, сапоги в гармошку, грудь в орденах. Колька долго ходил за дембелями, слушал их байки, геройские рассказы. Водку с ними не пил, он знал от отца, что водка мешает любой карьере. Колька также любил смотреть по телевизору программу «Служу Советскому Союзу». Если программа выпадала на школьный урок, Колька отпрашивался у учителя, и его отпускали.

Шло время… Колька закончил среднюю школу-десятилетку, но поступать никуда не стал.

— Сначала армия,— сказал он родителям и добавил: — Хороший генерал пороху сначала понюхает, солдатскую лямку потянет, из солдатского котелка каши попробует.

Как ни уговаривали родители Кольку поступать в институт или в военное училище, он стоял на своём: в армию, и точка.

Пришла долгожданная осень. Жёлтая листва срывалась с тополей, потемнели воды Байкала. Наконец, когда поднялась на крыло северная утка и дикие гуси поднялись с весёлым гоготаньем с воды Байкала в тёплые страны, Кольке пришла повестка.

Повестка была из райвоенкомата и гласила, что он, Коровин Николай Родионович, призывается на срочную военную службу в ряды Советской армии.

— Ура!— прокричал Колька и этот день гордо ходил по знакомым, показывая всем повестку; воин был готов к службе.

Родители у Николая были простые рабочие люди, они работали на местном рыбзаводе рабочими. Но, как уже повелось на Руси, проводы в армию — святое дело…

Лидия Петровна Коровина была круглолицая синеглазая женщина. Чёрные её волосы время чуть-чуть начало серебрить. Как у всех женщин, занимающихся физическим трудом, у неё были мощные руки, круглые плечи. Кольку она родила поздно, засиделась в девках.

Отец же был щуплый и длинный, как фитиль, но жилистый мужик. Звали его Родион Меркулеевич Коровин. Носил он постоянно усы и чем-то походил на А. М. Горького.

Колька лицом походил на мать, но усы стал опускать как отец; был жилист, высок и силён, природа была справедлива и дала ему лучшее от матери и отца.

Но вот накрыты столы… Промчалось время «наливай и угощай, родная мама». На проводы народу пришло много: одноклассники, друзья, родственники, а у Коровиных их было много. Самый близкий друг Толик Шалонин, по кличке Шалун, сидел рядом с Колькой и, как тамада, вёл застолье.

— Товарищи, выпьем за солдата!

— Друзья, повторим за защитника Отечества!

То и дело, что гостей не надо было слишком уговаривать. Толика призыв был как линия старта на беговой дорожке. Толик Шалун и сам хотел в армию, он ходил в военкомат и просил военкома призвать его на военную службу, но тот ему сказал, что на нём бронь, так как на рыбзаводе не хватает слесарей. Толик решил поговорить с начальником цеха, где он работал.

Наконец закричали:

— Скинемся солдату на дорожку!

И железные головастые рубли, зелёные трешки, синие пятёрки полетели в приготовленную посуду, которую после обноса передали Колькиной матери.

Курить выходили многократно. Все Кольку хлопали по плечу:

— Ты пиши, Коля, не забывай.

— Сразу напиши, как до места службы довезут.

Дед Андрон совсем опьянел, просит ребят подраться: когда он служил в конной разведке, у них был такой обычай. Но старика увели снова за стол и объяснили: драку на свадьбе надо организовывать, а это проводы Коляна в армию. Песни пели разные: «Как родная меня мать провожала», «У солдата выходной», «Варяг», «Лучинушка» и так далее. Гуляли всю ночь…

Утром те, кто мог стоять, ползти и двигаться, пришли к военкомату, где был и сельсовет. Вот тут и полились материнские слёзы. Мать гладила Кольку по голове, прижимая к своему сердцу. Что-то говорила ему, но сын мычал только и давал матери целовать его.

— Становись!— прозвучала команда военкома.— Перекличка, пять минут на прощание — и в путь.

Когда всех призванных завели, занесли, затянули в автобус, ещё громче запричитали матери. Водитель дал по газам, он был опытен в таких делах.

Вот и прошёл ровно месяц. От Кольки нет ничего, нет весточки для родителей — успокоить материнское сердце и думы в бессонные ночи.

Как-то под вечер зашёл к ним дед Андрон. Он потоптался у порога, попросил табурет, покряхтел и начал:

— Сон, Лидушка, вчера видел, будто Колян ваш попал в нашу полковую конную разведку и коня

ему, ну в точь как мне, выдали, масть в яблоко, в двадцать шестом это было.

Лида грустно посмотрела на хитрого деда, она понимала, что деду надо. Молча пошла в кладовку, взяла там от проводин оставшуюся чекушку водки и отдала деду.

— Я знаю твою конную разведку,—сказала она.— Теперича коней в армии нет, ракеты, чай, в космос летают.

— Да,—сказал дед Андрон и, почёсывая затылок, удалился.

Наконец… Двадцать второго ноября Таня Глебская, что работала почтальоном на почте и разносила корреспонденцию по улице Энгельса Ф., принесла сразу два письма. Письма были без марок, с буквами «с/а». Одно письмо—Коровиным, другое—Толику Шалонину, Шалуну, который жил через дорогу наискосок.

Вот и матери глоток воздуха—весточка долгожданная от сына. Мать с волнением взяла долгожданное письмо, ещё раз прочла на конверте: «Коровиным Л. П. и Р. М.», с письмом в руках вошла в дом. В избу вошла, волнуясь, волнение не унять. Окликнула мужа:

— Родион, радость-то какая—письмо от Колюшки!

Родион за перегородкой перебирал и чинил сети. Он отложил в сторону сетевую иглу, откулыжил полотно сетей, освобождая место, усадил супругу на табурет и сказал:

— Читай.

Жена вскрыла конверт и начала читать:

«Здравствуй, мой друг Толик!

В первых строках моего письма сообщаю: слава Богу, ещё не убили…»

Колькина мать грохнулась с табурета. Отец поднял её, молча накапал валерьянки.

— Читай дальше.

«В гробу я, Толян, видел эту заманиху. Ужасное мне пришлось испытать тут за месяц курса молодого бойца. Только посадили в поезд—началось… Прапорщик Ватюк и два с ним сержанта пьяные кричат нам: „Самцы, вешайтесь, служить с прапорщиком Ватюком—это не щи у мамки хлебать. Позолотите ручку, что мамки вам в трусы на дорогу зашили, я вас бесплатно кормить и поить буду, лучше, чем ваши мамки“. Пришлось доставать всем по пятёрке и отдавать прапорщику Ватюку. Обидно, что процедуру они эту делали через каждые два часа в течение двух суток, пока не прибыли в город Читу. В баню загнали, как баранов, там сосульки висят, вода холодная: за три минуты помыться, побриться—и в строй. И пошла, Толян, карусель.

Подъём, отбой—сорок пять секунд, раздеться и одеться. Упор лёжа принять, пятьдесят раз отжаться, и полоса препятствия каждый день. Кросс три километра каждую неделю, а строевая по шесть часов в день. Старшина орёт: „Ногу держать двадцать сантиметров от земли!..“ Кошмар, ведь по телевизору такого не показывали».

Мать плакала, утирая слёзы кончиком платка, отец был чёрен в лице, как земля на дороге.

«Я совсем отощал, мозоли на ногах, завелись вши. Вчера после отбоя дембелям ставили концерт. „Танец маленьких лебедей“ мы исполнили в кальсонах, а „Во поле берёзка стояла“ исполняли с портянками вместо платочков. Горе тому, кто на гитаре играет и песни поёт, до утра дембеля не дают продыху. На политзанятиях замполит капитан Лабода, зверюга хитрющий, в середине занятия как заорёт: „Встать, кто спит!“—сам понимаешь, вскочишь после таких ночей. И этот замполит даёт три наряда вне очереди на кухню картошку чистить, а там её три ванны надо начистить… На неделе мы хоронили бычок, который ротный нашел возле курилки. Копали яму два на три метра весь день. Принесли окурок на носилках и с почестями, салютом из лопат полдня закапывали бычок. Ужас, Толян, врёт наше телевиденье! Нет мочи у меня нести такую службу, а старшина Храпко говорит: „Шланг ты, Коровин, да не простой, а гофрированный. Человека из тебя не сделали, дак я из тебя солдата сделаю!“

Ты, Толян, послушай меня, в армию не рвись, коси под дурака, ссысь (энурез, говори); лучше женись на разведёнке, чтобы у неё двое детишек было—усыновишь; можно и в психушку, но этот вариант может отразиться на карьере, когда в депутаты пойдёшь. Я обо всём тут думал. Прощай, брателла. Увидимся ли?»

Мать Колькина ещё долго плакала у отца на руках и всё повторяла: «Увидимся ли?»

А вечером Толик Шалун пришёл с работы домой. Он заглянул в почтовый ящик и обнаружил письмо от друга Кольки Коровина, обрадовался, вошёл в дом и начал читать:

«Здравствуйте, мои горячо любимые родители! Низкий поклон вам, мои дорогие! Поклон земле Русской. Привет родному порогу, батюшке Байкалу тоже поклон низкий. Шлю вам весточку из далёких краёв Забайкалья. Вот я и солдат земли Русской—воин. Это письмо пишу на спине убитого мной в неравном бою диверсанта…»

Толик по своему воспитанию хотел прекратить чтение, он понял, что письмо адресовано родителям и надо бы отнести его к ним, но интерес и любопытство пересилили воспитание, он тоже хотел служить Родине.

«…Диверсанты прут, как тараканы из-под печки, но наша разведка работает на опережение. Немного о себе. В войска попал в очень-очень серьёзные—спецназ „Краповые котики“, одна элита. Но как говорится, тяжело в учении, да легко в бою. Учёба каждый день, в основном учимся поражать цели из-под воды в космическом пространстве, по одной интуиции наводящего. Сразу скажу, это

новая наука нашего вооружения. Изучаем приёмы рукопашного боя…»

Шалун подпрыгнул на подоконник, приняв стойку ниндзя.

«Укладка парашюта и акваланга в вещевой мешок доведена до совершенства. Отрабатываем удары ластами на отруб головы противнику с одного удара…»

Шалун всё больше округлял глаза.

«А больше ничего сообщить не могу, дал подписку. Скажу по секрету: скоро опять на задание. Может, орден дадут вашему сыну.

Кормят хорошо, как на курорте. На ночь дают стакан кефира, для мягкого стула. Вот и всё, что я вам скажу: есть профессия — Родину и ваш покой защищать. Целую всех, за газетами следите, если что, узнаете о награде. Письмо сожгите сразу и помалкивайте в кулачок. Шалуну привет, пусть займётся йогой и голоданием, пригодится в армии».

Шалун пал на пол, принял позу лотоса. Он твёрдо решил завтра идти к военкому, проситься в войска нашей Советской армии.

Наутро, двадцать третьего ноября, прохожие видели странную картину.

На крыльце поселкового военкомата, тут же находился поссовет, отставной майор, исполняя обязанности главного по сборам и отправке призывников, местный житель Корюкин М. И., был атакован жительницей Коровиной Л. П. С головы военкома была сбита шапка образца сорок третьего года и растоптана в блин. Кокарда офицера СА оторвана и брошена в канаву. Петлицы с танками на серой шинели были тоже оторваны гражданкой Коровиной Л. П., а также оторван рукав у шинели, который свисал у локтя военкома. Со словами, переходящим в крик:

— Возвращай, паразит, сына, — Коровина Л. П. наносила удары штакетиной, которая была вырвана из палисадника поссовета. Военкома Корюкина М. И. прикрывал от ударов Толик Шалун, он пришёл проситься в армию. Отбивая удары, Толик кричал:

— Тётя Лида, что вы делаете? Вам гордиться сыном надо, его скоро наградят.

Чуть поодаль стоял Кольки Коровы отец, Родион, он был с ружьём — двустволкой тульского завода, он на всю улицу орал:

— Перестреляю, суки, не пожалею после…

Трудно представить, чем бы всё кончилось, но пока не начали стрелять, был по телефону срочно вызван участковый милиционер Копылов Александр Ильич. Хорошо, что был дома, а не на рыбалке. Участковый приходился племянником военкому, а также троюродным дядей Кольке Коровину — в общем, родня. Он развёл воюющие стороны, усадил их в поссовете и начал допрос. Когда он прочёл письмо Коровиных, он улыбнулся. Толик Шалун сбегал за своим письмом. Участковый прочёл и его. Он погрустнел и покачал головой. Дал Шалуну задание сжечь тут же письма в печке поссовета и вслух заключил:

— Два письма — один герой!

И велел расходиться по домам. Он закрыл это дело — родня всё же.

Сергей Михеенков

Повесть о бессмертном сержанте

Октябрь сорок первого. Шестьдесят пехотных, танковых и моторизованных дивизий группы армий «Центр» начали операцию «Тайфун»—мощный и стремительный рывок на Москву, который должен был окончательно решить судьбу похода германской армии на восток.

На брянском направлении танкам и мотопехоте 2-й танковой группы генерала Гудериана противостояли войска Брянского фронта, в том числе 50-я армия генерала Петрова. В первые же дни немецкого удара фронт армии был разрезан, и её дивизии, полки, а порой батальоны и отдельные отряды сражались изолированно. Те, кто выжил и выдержал первый натиск, отходили к Туле. К Туле стремились и танки Гудериана. Началась гонка: кто первым займёт город и оборонительный район в окрестностях. Две массы войск, утопая в грязи, спешили на восток. Одни—чтобы занять удобные позиции и оборонять город и тыловую Москву на заранее подготовленных рубежах. Другие—чтобы лишить войска противника, сбитые с позиций под Брянском, всякой опоры и на их плечах ворваться в Москву.

Командарм Петров, герой Испании, погибнет в пути. Армию возглавит другой генерал—Ермаков. Энергично проведёт перегруппировку остатков частей, вышедших к Туле, и с ними остановит танки Гудериана. Генерала Ермакова вскоре после этого отдадут под суд, но это уже другая повесть…

Солдаты, отступавшие в те дни и ночи по разбитым дорогам Брянщины к Туле, ничего этого не знали. Они просто бежали на восток, к Москве. Никто из них не мог и предполагать, что ждёт их в конце пути. И где этот путь закончится для них. Бегущим всё казалось пропавшим, уничтоженным, раздавленным гусеницами немецких танков, сожжённым точным огнём чужой артиллерии. И собственные жизни им представлялись случайными химерами, которые вот-вот тоже растают, растворятся в дымке бесконечных дорог, в нежной до слёз белизне перелесков, превратятся в землю и дождь.

Глава первая. Бег

— Наше дело какое?..— рассуждал пожилой сержант Отяпов, расправляя перед ярким пламенем костра сырые портянки.— Наше дело—солдатское. Приказали бежать, мы и бежим. Бежать—не позор. Это я вам говорю точно. Потому как можно и вернуться.

И Отяпов хитровато и весело улыбнулся, шевельнул свою портянку, от которой сразу пошёл густой мужицкий дух; смешиваясь с дымом махорки, этот его дух скручивался в такой ядрёный жгут, что им, как в те минуты казалось Отяпову, можно было повалить любую вражью силу. Потому, должно быть, он и улыбался в одиночку. Улыбался, изо всех душевных сил стараясь не унывать, сержант Отяпов ещё и для того, чтобы хоть как-то справиться со страхом и собственной бессмысленной злостью. Правда, смысл-то у его злости был, но выхода той злости случая пока не представилось.

Третьи сутки полк на марше. Но марш складывался по какому-то несуразному уставу. Порядка того устава никто не знал, но следовать ему—куда деваться?—приходилось. Командиры стали неразговорчивые. Видать, думал себе сержант Отяпов, всё это оттого, что на прежних позициях много добра покидали, а теперь за такую бесхозяйственность и, если строже смотреть, форменное вредительство придётся отвечать перед родиной и народом. Но народ-то, перед которым надо было держать ответ, и сам бежал, горбясь под мокрым снегом в промокших шинелях и ватниках. И то хорошо, что хоть винтовки не побросали. А родина всё не кончалась и не кончалась. Правда, дороги становились всё хуже и хуже.

— Ты, Отяпов, своим штандартом тут перед нами не маши,—сказал ефрейтор-связист, прибившийся к их взводу по дороге.

— А что такое? Аппетит испорчу? Так всё одно с утра ничего не ели, и, видать, до утра ничего такого не предвидится.

— Вот выйдем к Рессете, там, в Хвастовичах, стоят наши дивизионные тылы. Там нам и кухня, и отдых. Так что, ребята, не падайте духом,— ротный стоял чуть поодаль, под разлапистой елью, и тоже нервно курил, заглушая голод и тоску.

Обсушиться они и на этот раз не успели. Пронеслось по лесу от костра к костру вдоль остановившейся на час-другой солдатской реки-дороги:

— Тушить костры! Приготовиться к маршу!

И снова двинулись по осенней слякоти, изнашивая остатки обуви, которая первая страдала во время любых неурядиц. Вот, думал сержант Отяпов, с беспокойством посматривая на свои ботинки, и спать вам не надобно, и есть не просите, а силу свою изнашиваете прежде моей, человеческой. Ещё месяц назад он получил со склада совсем новенькие ботинки. Крепкие, как борона. От них сладко пахло дёгтем и кожей. И сносу им, казалось, не будет. А что он в них повоевал? Какие такие сроки? Неделю и два дня. До этого нёс службу при дивизионной прачечной. Контингент там, что и говорить, оказался не окопный. Бабы и есть бабы. С ними одна война. Но всё же было повеселее. А тут вон и шутки никто не понимает…

В левом ботинке неприятно похолодало, а вскоре и вовсе захлюпало. Что ж ты, боец, с досадой поглядывал на свой ботинок Отяпов, так скоро из строя запросился? Да, вот попробуй, хоть какой ты будь командир, но прикажи ему, ботинку, воду не пропускать! Хрен он тебя послушается. А ты, сутки некормленый, с десятью патронами в подсумке, изволь, исполняй то, что тебе прикажут. А что прикажут? Приказ бойцу всегда един—родину оборонять. Вот и оборони её, с десятью-то патронами… Хорошо, что придумал Отяпов себе вот какое облегчение жизни: выменял за горсть табака у ефрейтора-связиста новенькую пару фланелевых портянок, подвернул их, сверху обмотки—и как всё равно в сапогах! Но где-то сбоку начал расходиться шов, видать, раскис. Сырость, грязь, непогода… Надо бы просушить ботинок, почистить его и подбить свежими деревянными шипами. Но где о таком думать в этой кутерьме?

Спать на ходу для Отяпова—дело тоже привычное. Лишь бы на чей-нибудь штык не напороться. А то споткнётся кто из впереди идущих, выставит свою винтовку с примкнутым штыком, а ты—на него. Хорошо, народ почти побросал свои штыки. Ни к чему они теперь им, бегущим. Только за берёзки цепляться, движение задерживать. Но побросали не все.

А дрёма так и охватывает, так и ласкает тело. Натурально бабья натура у этой дорожной усталости… Нет сил отгонять её. Так и прилёг бы сейчас под любым кустом, хотя бы вон под тем, или под тем, где мох погуще. Да, мечтал сержант Отяпов, прилечь после такой дороги—дело самое подходящее и простительное. Не посмотрел бы ни на сырь, ни на что. Притулил бы голову на мягкий мох, раскинул руки. Только бы выспался всласть, а там будь что будет…

И посреди этих своих сугубо личных мыслей встрепенулся Отяпов, открыл глаза и увидел идущего рядом старшего лейтенанта Безлесова. Тот, похоже, тоже на него глянул. Как бы не догадался, о чём я только что возмечтал, беспокойно подумал Отяпов. Вспомнил вечернее происшествие…

ЧП случилось, когда только-только начало смеркаться и дивизия, закончив днёвку, побатальонно начала выдвигаться на лесную дорогу. Из роты пропали двое. Отяпов их знал. Тамбовские. Вроде бы хорошие, надёжные ребята. На Десне лежал с ними в одном окопе, когда немец налетел самолётами и начал обрабатывать тяжёлыми бомбами передний край обороны полка. Ничего, бомбёжку пережили благополучно, медвежатиной от них после налёта не пахло. Потом отбивали танковую атаку. Один танк прошёл через их окопы, и артиллеристы подожгли его уже в тылу, возле блиндажей санчасти. Но и тут тамбовские не сплоховали. Стреляли, как все, отсекали пехоту. Пехота—на танки, через их окопы не прошла.

И вот—ушли с поста. Смена пришла, а их и след простыл.

Роту послали на поиски. Прочесали ближайший перелесок, нашли. Сперва винтовки. Они их побросали в куст. Подсумки, гранаты, всю боевую амуницию. Навоевались. А потом поймали, похватали и самих беглых.

Расстреливали перед дорогой, чтобы видел весь полк. Зачитали приказ. Вырыли ямку. А полковая колонна всё шла и шла мимо, и все смотрели на тамбовских, как они стояли над ямкой под берёзой белые как мел и ждали каждый своей пули.

Когда комендантские вскинули винтовки, Отяпов машинально, словно от вспышки близкого разрыва, закрыл глаза. И пока не бахнул залп—не открывал. Смотреть на то, как умирали тамбовские, не хотелось. Отяпову почему-то их было всё же жалко. Хоть и присяге они изменили, и товарищей своих бросили, в том числе и его, Отяпова, но всё же в душе стонала какая-то жалость и сомнение, что можно было бы и не расстреливать бойцов за малодушие, за проявленную трусость и прочие отвратительные проявления, достойные всяческого осуждения и даже презрения товарищей по оружию. Постращать, попозорить, но жизнь оставить. Потому Отяпов и зажмурился, когда захлопали возле берёзы затворы.

А некоторые смотрели. И потом обсуждали, вспоминали, как падали расстрелянные в яму и как их комендантские торопливо закапывали…

Левый ботинок разваливался. А тамбовских расстреляли в сапогах, и сапоги на них были добротные, первого срока. Думать о сапогах расстрелянных, а уж тем более сожалеть о них, конечно же,

стыдно. Но вот сейчас через шаг-другой отвалится подмётка — и что тогда ему, сержанту Отяпову, делать посреди фронтовой дороги? Как воевать дальше? Нет, угрюмо думал он, кое-как преодолевая сон и усталость, командование всё же поступило расточительно. И не только с расстрелом, но и с сапогами расстрелянных. Пускай бы старши́ны забрали в свой обменный фонд, а там бы, глядишь, и таким, как Отяпов, что-нибудь из того обменного склада справедливо и заслуженно перепало.

За этими мыслями, которые совсем истерзали Отяпова, и застал его свистящий шорох снаряда. Снаряд пролетел мимо и разорвался где-то в глубине леса правее колонны. Но то, что он откуда-то прилетел, и прилетел сюда, к большаку, по которому шли батальонные колонны, тянулись обозы тылов и артиллерийские запряжки, было плохим знаком.

Снег к утру усилился. Залеплял лицо и сёк, со звоном, будто колючей проволокой, царапал по каске. Но снег так не беспокоил. Что снег, если через два дня Покров? Снегу уже и пора. Обеспокоил Отяпова снаряд.

Прилетел, сокол ясный, пёс клыкастый… Значит, немцы их колонну обнаружили. Дают пристрелочные. Сейчас должен второй прилететь. Если не прилетит, загадал Отяпов, значит, напрасно я тревожусь, шальной залетел.

Второй снаряд лёг уже поближе к дороге. Видно было, как блеснуло за деревьями, и чуть погодя посыпались по кустам осколки. А третий на куски разнёс санитарный фургон. Машина стояла на пригорке перед лощиной, и из неё перегружали на повозки раненых. Видать, закончилась горючка. Вот как неудачно остановился. Слишком видное место. Шофёр-то, видать, растяпа…

— Господи Исусе Христе, — и Отяпов украдкой перекрестился.

Бойцы кинулись было спасать уцелевших, но им замахали руками выбежавшие навстречу санитары:

— Не надо! Не надо! Никого там уже нет.

Начали помогать санитарному обозу перетащиться через лощину. Дорогу совсем растолкли. Вперёд ушли танки и бронетранспортёры. Тракторы протащили тяжёлые орудия. И теперь телеги по ступицы проваливались в колеи, заполненные густой осенней жижей. Такая только к весне затвердеет, в нормальную дорогу превратится. Или когда приморозит. Кони лезли из гужей. Да, думал Отяпов, глядя на старания коней, нам несладко тут о смерти думать, а каково им…

— Впрягайся, пехота, без нас и тут беда, — приказал ротный и сам принялся толкать повозку.

Раненые были прикрыты шинелями и соломой, и только бледные лица их колыхались в темноте. Иногда слышался стон или какая-нибудь просьба, которую наверняка никто не выполнял.

— Да какой тебе закурить? — терпеливо увещевал старшина какого-то бедолагу. — Вот переправимся на тот берег, там покурим. А тут… Тут германец не разрешает. Так что терпи.

Снаряды теперь падали справа и слева, впереди и позади.

— Шире шаг, мать-перемать! — кричал какой-то незнакомый капитан в распахнутой шинели с обгорелыми полами.

Высокий и худой, как обгорелое дерево, он стоял на взгорке и размахивал чёрным трофейным автоматом без магазина. Всё перепуталось, думал Отяпов, торопя идущего впереди ефрейтора-связиста:

— Давай, Курносов, шибче двигайся. А то немец прихватит серёд дороги.

— На дороге — не беда. Лес рядом. А вот ежели на переправе…

Переправа, как понял Отяпов, совсем скоро. К ней и тянулись батальонные колонны и обозы.

Рядом уже несколько километров тянулся санитарный обоз. Будто прилип. Раньше его не было. На раненых смотреть было тоскливо.

— Дядя Нил, подсоби! — услышал он вдруг знакомый голос.

Присмотрелся: Господи Исусе, так это ж Лидка! Лидка Брусиленкова, его свояченицы племянница из соседних Боровичей. До войны фельдшером работала в районной больнице. А теперь вот тоже тут, в шинельке да в пилотке.

Лидка нахлёстывала серого исхудалого коня, до плеч забрызганного дорожной грязью. В повозке лежал раненый. Его трепало так, что голова его билась о грядку. Отяпову даже показалось, что Лидка везёт мёртвого. Совсем одурела девка. Мёртвых складывали у дороги, мёртвых дальше не везли. А на их место тут же притаскивали только что упавшего и наспех перевязанного, в кровавых бинтах. Телеги не пустовали.

— Ты ж откудова, дочка, в наш ад свалилась? — посочувствовал ей Отяпов, подтолкнул к повозке ефрейтора Курносова и сам как следует налёг на поло́к.

Ещё двое бойцов из их роты ухватились за тяжи. Конь, почувствовав помощь, полез по грязи, как чёрт, и через минуту-другую они уже весело бежали, то ли подталкивая поло́к, то ли держась за него.

Отяпову показалось, что от раненого потянуло сивушным духом. Он присмотрелся к лежавшему под солдатским одеялом и вдруг узнал в нём комбата. Толкнул Лидку.

— Мне велено переправить товарища капитана Титкова на тот берег Рессеты, — упреждая его взгляд, сказала Лидка и отвернулась.

— Куда ж его ранило? — тихо, чтобы тот не услышал, спросил Отяпов, уже догадываясь, что ответит Лидка.

Но она ничего не сказала. Будто не расслышала. Боится, подумал Отяпов. Или боится, или, чего хуже, жалеет этого дезертира.

— Скидай его в канаву, сук-кина сына!—и Отяпов потянулся, чтобы перехватить вожжи.

Но Лидка огрела его кнутом, так и обожгла мокрой и тугой, как проволока, супонью по руке. Потом начала нахлёстывать коня, и тот понёс повозку обочиной, испуганно обгоняя понуро бредущих бойцов.

Вот жизнь, думал Отяпов, твою капитана-мать… А ведь—капитан, со шпалой в петлицах. В такое время батальон бросил…

На Лидку Отяпов не злился. Может, влюбилась, дурёха, в своего командира. До войны на женихов ей не везло. Двадцать пять лет, а никто замуж так и не позвал. А на войне женихов много. Лидка прибыла, видать, с последним пополнением. Надо ж, в одном батальоне, а ни разу не встретились.

Пока выталкивал из грязи повозку с пьяным комбатом, левый ботинок совсем рот разинул, и вода в него пошла вместе с дорожным грунтом—полной рекой… Твою-капитана, про себя выругался Отяпов, но о комбате уже не думал. Думал о Лидке.

Что злиться на Лидку? К тому же приказ ей отдан… А коли приказ, то как быть военному человеку? Исполнять! А как иначе?

А вот он бы поступил иначе. И Отяпов вспомнил, как в тридцать шестом с мужиками искупал в пруду пьяного председателя колхоза. Тоже горячка была, дожди пошли, а сено всё в лугах, растрясено, мокнет, гниёт. Председатель в правлении со счетоводкой и уполномоченным из района гулянку затеяли. Ну и нагрянули колхозники к ним на честной пир, вытащили всех троих на пруд и искупали в ряске… Чуть не посадили. Хотели припаять неуважение к власти или что-то такое, по вредительской части. Но обошлось. Председатель райисполкома вмешался. Хороший мужик. Сейчас тоже где-то воюет. Может, полком командует, может, по политической части кем. Такие нынче при больших штабах…

Чем ближе к переправе, тем сильнее огонь. Мины хряскали уже в самой гуще народа. Лидка с пьяным комбатом унеслась куда-то вперёд. Её глубоко надвинутую на голову пилотку Отяпов давно потерял из виду. Хорошо, Курносов выручил, связист, дал ему кусок провода, и Отяпов тем проводом хорошенько скрутил ботинок. Теперь даже вода меньше поступала внутрь, и можно было не беспокоиться, что подошва отвалится и потеряется в грязи. Спасали, конечно, портянки. Да провод Курносова. Вот спасибо ефрейтору, не зря что связист.

Впереди открылась широкая пойма. Мост. Дымящиеся воронки вокруг. И через всю пойму, сбиваясь у моста в плотное серое стадо, шёл, колыхался сплошной серый поток. Этот поток гудел угрюмыми и злыми голосами, гремел оружием и снаряжением, матерился, стонал и кашлял. В нём чувствовались нечеловеческое напряжение, страх и надежда, что самое опасное вот-вот будет пройдено, останется позади. Страх передавался и лошадям, и они шарахались по сторонам, сбивали с ног людей, сами падали на колени, ломая оглобли. Но сломанные оглобли тут же скручивали ремнями, и кони снова шли вперёд в том же потоке.

— Давай, Курносов, не отставай, братец,—торопил Отяпов связиста.

Поток, в котором они оказались, вылился из леса в пойму. На какое-то время людям стало просторней и легче бежать к мосту. Туда устремились все, и пешие, и конные. Совсем рядом ударил снаряд. Отяпова обдало болотиной и горячим тухлым воздухом сгоревшей взрывчатки. Охнул бежавший впереди боец и ухватился за воздух. На мгновение Отяпов встретился с ним взглядом. Лицо знакомое, вроде из соседнего взвода, второй номер пулемётного расчёта. Так и есть, на боку сумка с запасными дисками для ДП[1]. Надо бы помочь пулемётчику, мелькнуло в голове, но тут же эту мысль, словно осколком, перерубило другой: не справлюсь, не донесу, уж больно парень велик для моих плеч; эх, твою-капитана, всех не вынесешь, не спасёшь. Кому-то и тут лежать…

— Держи, не потеряй!—И Отяпов сунул сержанту свою винтовку.

Пулемётчик действительно оказался тяжёлым. Глубже стали протопать ноги в жидкой болотине. Хорошо, что сапёры загатили колею, и вязанки хвороста всё же кое-как держали, пружинили под ногами, не давали провалиться в пучину.

У самого моста началась давка. Отяпова с его ношей на плече сжали со всех сторон и понесли по настилу вперёд, так что он едва успевал переставлять ноги, чтобы не упасть и не быть задавленным в этом злом и неистовом человеческом месиве, где каждый спасал свою жизнь. Курносов хрипел рядом. Только бы не бросил мою винтовку, беспокоился Отяпов. Только бы снаряд не попал в настил…

И в это время, когда они были уже на середине моста, серия снарядов накрыла пойму на той стороне, откуда они только что ушли, серый поток и край настила. Вверх полетели куски одежды и человеческих тел, брёвна, обломки повозок и всего того, что двигалось в ту минуту через реку.

Глава вторая. Бой у болота

Отяпов встал на колени, соскоблил грязь с лица. Глаза видели, но плохо. Оранжевая пелена мешала

1. Дегтярёва пехотный—ручной пулемёт, которым были вооружены стрелковые части Красной армии. Основной пулемёт нашей пехоты в годы Великой Отечественной войны.

разглядеть всё, что происходило вокруг. Рядом карабкался ефрейтор Курносов. Похоже, он был жив. Пулемётчик, тоже живой, лежал рядом и смотрел на Отяпова с надеждой. По щекам его текли слёзы. Совсем молоденький, лет, может, восемнадцати. Отяпов разглядел его ещё на марше: уши из-под пилотки торчком, пилотка дюдей, шинель — как на горбатом. Явно из последнего пополнения.

— Не брошу я тебя, не брошу, сынок. Как-нибудь поволоку.

Он встал и начал поднимать пулемётчика. Тот, как мог, помогал ему, карабкался на спину, хватался за скользкую мокрую шинель. Отяпов уже знал, что не бросит пулемётчика, что бы ни случилось.

Лес был рядом. Туда сломя голову бежали те, кому удалось перебраться на другой берег.

Левее послышалась стрельба. Отяпов прислушался и сразу всё понял: вот те на, твою-капитана, называется, ушли, вырвались…

По краю болота бежали немцы. Они старались держать цепь, время от времени останавливались, некоторые припадали на колено и торопливо стреляли из винтовок. Клочки пламени взблескивали по всей цепи. Стреляли они то куда-то правее, то прямо в них. Но ни одна пуля ни в кого поблизости не попала.

Вот тебе и вышли из окружения…

Пули вжикали над головой, рвали землю под ногами. Никто из бегущих к лесу на огонь немцев не отвечал. Эх, некому подать команду, лихорадочно соображал Отяпов. Да и винтовки у него нет. Только горсть патронов в подсумке.

— Стой! — закричал Отяпов, уже не понимая, что делает. — Ложись! Приготовить оружие!

Несколько бойцов упали рядом. Захрустели затворы. Мелькнула, как девка во сне, надежда.

— Огонь!

Раздался нестройный залп, потом другой.

— Эх, мать вашу германскую разэтак!.. — весело матерился Отяпов.

Он и сам стрелял из винтовки, неизвестно как оказавшейся в его руках. Рядом лежал ефрейтор-связист и тоже вёл огонь по краю болота, где залегла немецкая цепь.

И тут из леса стали выскакивать серые шинели с длинными копьями винтовок наперевес.

— Наши!

Возле болота началась рукопашная. Но Отяпову и его товарищам было не до неё. Куда им в это месиво лезть? И не разобрать, где свои, где чужие. Можно и под свои штыки попасть.

Откуда-то взялась повозка с Лидкой. Лидка напуганная, в глубоко надвинутой пилотке. Лицо изгваздано грязью и кровью. В повозке по-прежнему лежал, болтался на ухабах пьяный комбат, бился головой о грядку.

— Постой, Лидушка! Сил моих боле нет! — и Отяпов сгрузил в повозку, прямо на комбата, свою ношу. — Вези, доченька. С Богом.

И они, всем своим случайно сбившимся в кучу подразделением, навалились на грядки, чтобы поскорее вытолкнуть повозку из поймы на горку, в лес.

В лесу комбат пришёл в себя и начал выбираться из повозки. Его мутило.

— Эх ты, шваль подколёсная, — вслух думал о нём Отяпов. — Сколько нынче хорошего народу побило, а тебе хоть бы что… Вон сколько харчей перепортил. А тут маковой росинки во рту не было уже сутки.

Надо было отвернуться, чтобы не смотреть на позор своего командира. И он отвернулся. Это он сейчас такой, подумал Отяпов, а завтра протрезвеет, осмелеет и опять ими командовать кинется, орлом заходит…

Из поймы в сторону болота, куда отошли немцы, бежали бойцы. Тащили пулемёты. Ездовые гнали повозки, нагруженные миномётными трубами и ящиками с боеприпасами. Командовал отрядом худощавый капитан, тот самый, который торопил их на рассвете перед переправой. На плече он держал чёрный трофейный автомат. Теперь в автомате торчал длинный рожок. Капитан подошёл к ним, заглянул в повозку.

— Капитан Титков? — взглянул на Лидку, которая ни жива ни мертва сидела, поджав ноги, на грядке. — Что с ним? Пьян?

И Лидка, и Отяпов, и бойцы, оказавшиеся рядом, молчали. Словно позор капитана Титкова, будто из отхожего ведра, выброшенного к ногам, обгадил и их.

— А ну-ка, ребята, ставь его к сосне! — капитан резко опустил автомат и оттянул затвор. — Ставь, ставь! Согласно приказу номер двести семьдесят… Как там приказывал товарищ Сталин? — и капитан пронзил холодным блеском остановившихся глаз Отяпова. — А товарищ Сталин приказывал: если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. А потому товарищ Сталин очень правильно приказал: трусов и дезертиров…

Но не успел он договорить, как несколько мин с металлическим хряском обрушились на дорогу и полянку, где накапливались выходящие из поймы бойцы и повозки.

Отяпов и бойцы попáдали кто где стоял. А когда подняли головы, ни капитана, ни его подчинённых ни возле повозки, ни поблизости нигде не увидели. Только голос его, хрипловатый, с тугой металлической окалиной, рокотал где-то внизу, в стороне переправы.

Все в лес, подальше от этой проклятой реки, подумал Отяпов, а этот назад пошёл и людей своих повёл. Вот кому сам чёрт не брат. Вот это капитан. С таким и умереть не страшно. Нет,

братцы, не всё ещё пропало, засмеялся он через силу, есть и в нашем войске смелые и гожие для хорошей войны люди.

Они затащили на повозку своего комбата. Исполнять приговор капитана не стали. Кто стрелять в своего комбата будет? Лидка протёрла клочком соломы, выдернутой из подстилки, его заблёванную шинель.

— Вези, Лидка,—махнул рукой Отяпов.—Что ж делать? За него ведь и такого с тебя спросят. Да парня не брось. Спасибо за перевязку. Даст Бог, выживет. Вези скорей. Вы́ходишь—жених тебе будет. Смотри, какой парняга…

Возле дороги строили вышедших. Командовал лейтенант в кожаной куртке и ярко-рыжей, как на парад, новенькой портупее.

Отяпов с ефрейтором и другими, кто не отставал от них, тоже стали в строй. Хорошо, Курносов вынес его винтовку. Сейчас бы лейтенант этот, с рыжей портупеей, и ему тоже постучал бы в лоб наганом: «Где винтовку бросил, сучье отродье?! Бегом марш! И чтоб через десять минут доложил о полной боевой готовности!»—так он внушал тем, у кого при построении не оказалось в руках личного оружия.

Лейтенант ходил перед строем, как ворон, готовый клюнуть. Револьвер он держал в руке.

— Наша задача—не дать противнику захватить переправу! Оттеснить в болото… Сейчас подвезут боеприпасы. По банке консервов на брата и по три сухаря. Патронов можно брать до двух боекомплектов.

— Ну вот, Отяпов, эти хоть покормят,—толкнул его ефрейтор Курносов.

Отяпов с облегчением вздохнул. Интересно, какие консервы, мясные или рыбные? Любые хороши. Лучше бы, конечно, мясные…

Лейтенант скомандовал «вольно». У кого имелась махорка, сразу закурили. Ждали обещанные консервы и сухари. Продукты действительно вскоре привезли на широкой армейской повозке. Лейтенант принялся делить пайки. А старшина, управлявший повозкой, открыл ящики с патронами и, улыбаясь щербатым ртом, сказал:

— Ну, налетай, кому пряного посола не хватило!

«Пряного посола» хватило всем. Скумбрия в масле—тоже вещь хорошая. У связиста Курносова откуда-то взялся немецкий штык-нож. Он тут же ловко, одну и другую, крутанул им крышки консервных банок. Облизал плоское лезвие, сунул его, чистое, за голенище.

Отяпов ловил пальцем скользкие рыбные кусочки, с тоской наблюдая, как быстро пустеет банка. Вскоре в серебристой посудинке остался только запах. Но и пустую её выбросить было жалко. И только когда Курносов поднёс каску, наполненную блестящими патронами, он бросил банку в кусты и расстегнул крайний подсумок. Патроны были уже в обоймах. Снаряжённые. Это хорошо. Меньше возиться с обоймами.

Рассовав боекомплект по подсумкам и карманам, Отяпов осмелел и подошёл к старшине.

— Тебе чего, папаша?—спросил старшина.

— Да вот…—и Отяпов указал на свой негожий ботинок, скрученный телефонным проводом.— Обужи сменной на вашем складе, случаем, не имеется?

— Имеется,—живо согласился старшина и указал за сосны, где были сложены в ряд убитые во время миномётного обстрела.—Любого размера и фасона. Можно даже подобрать трофейные—с железными подковками. Из самой Германии, биёмать…

Эх, в рыло бы тебе, складска́я душа, подумал Отяпов, глядя на съеденные то ли махоркой, то ли чифирём редкие зубы старшины.

Вскоре начали строиться. И тут прибежал боец, которого лейтенант прогнал за винтовкой. Ему тоже выдали паёк и патроны.

— Ну что, Гусёк, нашёл свою судьбу?—окликнул бойца лейтенант.

Он всё ещё держал наган в руке, словно и вправду поджидал посланных за брошенными винтовками.

— Нашёл, товарищ лейтенант. Там, возле моста, уронил… Обстрел начался, ну я и…

— Молодец! Даже если винтовка не твоя. Становись в строй!

Интересно, Гусёк—это фамилия или прозвище? Отяпов разглядывал бойца. Невысокий ростом, длинная, не по росту, шинель. Такие урезают на ладонь—на фитили для коптилок.

Пошли. Гусёк всё время держался возле Отяпова и ефрейтора. Связист помог ему откупорить банку с рыбными консервами. Гусёк буквально проглотил её содержимое. Масло текло по щекам, по дрожащим губам, и тот облизывал их и улыбался счастливой улыбкой. Как-никак, а всё же поел перед смертью.

— Расстрелял бы,—кивнул Гусёк на лейтенанта, который шёл впереди с наганом в руке.—Если бы винтовку не нашёл, как пить дать расстрелял. Ротный не шутит. Он у нас такой…

— И правильно бы сделал,—не оглядываясь на бойца, угрюмо сказал боец, шедший впереди; лицо его, небритое, бледное, не выражало ничего, кроме крайней усталости.

— Да я ж нашёл! Вот она!—радостно оправдывался Гусёк и тряс в руках винтовку.—За что ж меня расстреливать?

Да, подумал Отяпов, ротный тут—личность свирепая. Где теперь его рота? Где старший лейтенант Безлесов? Почему он с чужим ротным идёт куда-то? А куда идёт? Видать, в бой. Немцы рядом. Их только отогнали к болоту. Там они. Там. В любой момент могут появиться.

Переправа снова заработала. Это было ясно по тому, как серый поток снова выплеснулся из поймы и несколькими дорогами, должно быть, только что и пробитыми, стал торопливо втягиваться в лес на восточном берегу Рессеты.

А куда вёл их этот самоуверенный лейтенант в кожаной куртке? Надо было уходить в лес с Лидкой и комбатом. Сейчас бы, может, уже возле кухни стояли, кашу бы из котелков дёргали. Отяпов с неприязнью вспомнил о комбате. И почему таким сволочам всё время везёт? Вот и капитан его не расстрелял. И на мосту под снаряды не попал. И немцев вовремя от переправы отбили. И сейчас, видимо, благополучно едет в тыл на мягком сене под присмотром этой дуры Лидки. Бабы — они такие… Без разбору мужиков жалеют.

Впереди слышалась стрельба. Тарахтел «максим», делая небольшие паузы. Очереди длинные, такие делает неопытный пулемётчик. Или противника не видит, да и лупит наобум лазаря, чтобы только командир не бранился, что не ведёт огонь по противнику. Или, наоборот, противник весь, вот он, перед фронтом.

Из-за деревьев им навстречу выбежал ещё один лейтенант.

— Вот, кого смог набрать… Шестьдесят два человека при двух пулемётах, — лейтенант в кожаной куртке махнул наганом, и Отяпову показалось, что он посмотрел на него. — Все с оружием. Даже Гусёк. Третью винтовку за сутки бросает. Пристрелить — патрона жалко.

И лейтенант засмеялся. Смеялся лейтенант вроде и не зло, но кто его знает, чужого командира?

Гуська трясло. Он водил по прицелу грязной протиркой, продувал намушник и украдкой поглядывал на лейтенантов.

— Сидят, не рыпаются? — спросил тот, которого Гусёк называл ротным.

— Пока сидят. Но, думаю, скоро полезут.

Второй лейтенант был помоложе. И одет попроще, в стёганую телогрейку и будёновку. В руке ППШ.

— Без поддержки миномётов или артиллерии не полезут. Ждут усиления.

— Сколько их там, неизвестно. Думаю, не меньше роты. Пленного взяли. Ребята из второго взвода поймали возле болота. Показал, что из полка «Великая Германия», что полк только что переброшен с северного участка фронта, с Варшавского шоссе.

— «Великая Германия»… Всё у них великое…

— Хорошо, что погода нелётная.

— Да. Туман. Хоть что-то… Всерьёз за нас взялись. «Великая Германия». Сидят в болоте и не рыпаются. Побольше бы людей да пару миномётов — и заставили бы эту «Великую Германию» здешнее болото ноздрями выхлёбывать…

Немного погодя лейтенанты разошлись. Лейтенант в кожаной куртке ушёл на левый фланг. Другой, сбив на затылок будёновку, оглянулся на них:

— Приготовиться к атаке. Штыки!..

Какие там штыки… Штыки давно уже побросали — лишний груз. Но Гусёк свой не бросил, прилаживал к стволу. Руки у него дрожали, и штык никак не защёлкивался. В конце концов он его бросил на землю и отшвырнул ногой в сторону.

— Дай-ка сюда, — и Отяпов ловко, одним движением, насадил штык на ствол Гуськовой винтовки. — На, воюй по уставу.

— Пошли, — негромко и не по уставу сказал лейтенант, встал и, не пригибаясь, в полный рост пошёл вперёд.

Отяпов немного повременил, словно дожидаясь, когда немецкий пулемёт срежет храброго лейтенанта. Но тот вошёл в просвет между деревьями, оглянулся, сбросил с плеча ППШ. И Отяпова будто сорванная с пазов пружина выбросила из-за сосны и понесла вперёд, к болоту.

Такого командира бросать нельзя, к такому надо держаться поближе. Это Отяпов хорошо усвоил по предыдущим боям.

Болото заплыло туманом. Виднелись лишь сухие шесты ольх, будто воткнутые в снег.

Немцы почему-то молчали.

Лейтенант вначале шёл, а потом, поняв, что бойцы поднялись, побежал вперёд. Он бежал быстро, как мальчишка, которого невозможно догнать. Куда ж ты, лихой, навстречу своей смерти так спешишь, хотелось окликнуть лейтенанта Отяпову. Сержант едва поспевал за ним.

И тут произошло то, о чём потом вспоминали выжившие и помнили всю войну, потому что такое, даже на передовой, случается крайне редко.

В тумане начали проступать какие-то столбики. Послышался смутный шум, похожий на движение многих людей.

Вот они, понял вдруг Отяпов и, испугавшись, что бежавшие рядом Курносов и Гусёк могут не выдержать и попытаться залечь или как-нибудь по-другому уклониться от неминуемой встречи, крикнул первое, что пришло в голову:

— Держи строй, ребята!

Немцы шли навстречу — ровной цепью с поразительно одинаковыми интервалами. Ни выстрела, ни крика команд. Они уже всё решили, как разделаться с их отрядом и двумя храбрыми лейтенантами.

Вначале всё делалось молча. Потом разом зарычали, завыли на левом фланге. Там, в тумане, видать, схватились те, кого вёл лейтенант в кожаной куртке. А уже через мгновение вихрем захватило и остальных.

Туман в один миг будто рассеялся. И они увидели, что ровные столбики, вышедшие из болота, движутся на них полукольцом, охватывая с флангов. А значит, их больше, с ужасом понял

Отяпов, если решили окружать. Но теперь надо было думать уже о другом. А лучше вообще ни о чём не думать, чтобы не мешать ни себе, ни своим товарищам.

В какой-то миг Отяпов успел увидеть, как Гусёк обогнал его и, держа винтовку со штыком на вытянутых руках, чтобы она была длиннее, кинулся в расступившийся туман, но тут же упал, то ли споткнувшись, то ли сбитый с ног пулей или ударом немецкого приклада. И это его спасло от другого приклада, который немного запоздал и только чиркнул металлической накладкой по каске Гуська.

Отяпов боялся потерять винтовку. Он уже не думал ни о лейтенантах, ни о своих боевых товарищах Курносове и Гуське — винтовка стала его и командиром, и напарником. Он перехватил её одной рукой поперёк цевья, другой за шейку приклада и расчищал перед собой пространство, круша всё, что выступало из тумана и преграждало ему путь к переправе, к разбитому мосту, к лейтенанту, потерявшемуся в этой мутной смеси тумана и ужаса.

Рукопашная закончилась так же неожиданно, как и началась. Отяпов застал себя стоящим на коленях. Перед ним лежало тело человека, которого, должно быть, он сбил с ног минуту назад. Одето оно было в тёмно-зелёную шинель с погонами. Рядом лежала винтовка с примкнутым широким белым штыком, похожим на нож.

— Живой? — кто-то знакомый наклонился к нему, заглянул в лицо, нелепо улыбнулся.

— Ну что ты головой трясёшь? Как конь перед бороздой… — сказал другой.

Кому это говорили? Неужто ему, Отяпову? Он потрогал свою голову. Ничего, голова была в каске, каска цела, значит, и голова тоже.

— Пошли, пошли…

А голоса хоть и знакомые, а доносятся будто издалека.

Вот и лейтенант. Тот, первый, злой, в кожаной куртке. Теперь у него в руке немецкий автомат. Смеётся. Довольный. Видать, повезло ему, по шее не попало. А где другой, молодой, с ППШ?

Под сосной складывали убитых. Знакомых среди них никого нет. Как нет? Вот лежит, голова разбита, затылок словно косой срезан. Вот он, твой лейтенант, сержант Отяпов. Тот, кто тебя в бой повёл. Кто первый в свалку кинулся. Кого ты искал в тумане, чтобы рядом с ним быть. И будёновки на нём уже нет. Видать, потерял свою командирскую шапку…

Болела спина. Болело плечо. Болела левая рука.

— На вот, переобуйся. Далеко ли ты разутый уйдёшь? — опять этот голос.

Голос хороший, сердечный. А рассмотреть лицо человека, который так заботливо разговаривал с ним, Отяпов не мог. Перед глазами плавал разноцветный туман. Как будто бабочки с диковинными крылышками порхали в жаркий июльский полдень над сырой лесной дорогой. Такие дороги он любил: едешь на телеге вдоль оврага, сено с лесного покоса везёшь, а они кругом летают, на холодную от пота рубаху садятся, на руки, цепкими лапками кожу щекочут…

Он сел и начал переобуваться. Новая обувка пришлась ему впору.

— Твой трофей. Заслуженный. Носи.

Голос он узнал. С ним разговаривал Курносов.

— А где моя винтовка? — спросил он Курносова.

— Винтовка тут, — ответил Курносов. — Гусёк несёт.

— Живой? — обрадовался он, что жив этот мальчишечка, который, как ему казалось, никак не мог выжить в том аду, который они только что пережили.

— Живой! Герой, брат, наш Гусёк! Немца заколол!

— Неужто?

— Твоего перехватил. Лежать бы сейчас тебе, Нил Власыч, под сосёнкой, если бы не Гусёк, — хвалил Курносов мальчишечку.

— Вот тебе и мальчишечка, — вслух подумал Отяпов. — Спасибо тебе, Гусёк.

Гусёк не ответил. Молча шёл рядом. Отяпов видел его тень.

— Не слышит. Спит, — пояснил Курносов. — Пускай поспит, пока не споткнётся. А спотыкаться ему не привыкать, — и Курносов устало засмеялся.

Глава третья. К Туле

Уже стемнело. Накрапывал дождь. Вышли из леса. С просёлка свернули на пашню и пошли пашней. Потом пашня кончилась, под ногами загремела стерня. Не успели запахать, подумал Отяпов и потянул ноздрями воздух, пытаясь по запаху определить, что тут было сжато, овёс или рожь. Пространство пахло сырой шинелью да ружейной смазкой. Но хлебным духом откуда-то всё же веяло, и народ заметно заволновался. Хотелось есть. Отяпов по себе знал, что у голодного человека, как и у зверя, обоняние обостряется.

Зашли в деревню. Прислушались. Вроде тихо. На другом конце, за оврагом, гудели голоса.

— Немцы, что ль? — и боец, который приблудил к ним в пути, сдвинул каску набок, освободил ухо, прислушался.

Голоса затихли.

— Тебе, Тульский, теперь везде немцы будут мерещиться, — засмеялся Курносов.

— Будут, точно, — согласился Тульский.

На самом деле у бойца были другие фамилия, имя и отчество. Но когда он вышел на них в лесу и рассказал о себе, всем запомнилось главное: что он — тульский. А они шли к Туле. Какая такая надежда появилась у них с приходом в отряд Тульского, никто не мог понять определённо, но каждый из них в себе надежду эту чувствовал. Чувствовал и таил, и она согревала.

— И что,— переспросил его Гусёк,— из самой Тулы?
— Из самой. Из Заречья. Есть у нас в городе такой район, самый старинный. Живут там исконные туляки.
— Самоварники,— поддакнул Отяпов и подумал: вот бы сейчас кипяточку, покруче чтоб, да с чёрным сухариком…
— Нет, я с улицы Штыковой. У нас на Кузнечной слободе живут в основном оружейники.
— И что, в самом деле есть такая улица — Штыковая?— удивился Гусёк.
— Есть. И Штыковая, и Курковая, и Ствольная, и Пороховая, и Дульная.
— Забавный вы, должно быть, народ — туляки,— покачал головой Отяпов, слушая новоприбывшего.— Вот дочапаем до твоей Тулы, приведём тебя к отцу и матери живым и невредимым, так ты нас тогда хотя бы покорми. А?

То, о чём не выдержал и сказал Отяпов, было частью их надежды.

Тульский задумался. Погодя сказал задумчиво:
— Мать щи с гусятиной по воскресеньям варит. А сегодня — какой день?
— Хреновый сегодня день…

Некоторое время шли молча.

Погодя Ванников, тоже приставший по дороге, вдруг сказал почти зло:
— Это ж почему только по воскресеньям?
— День такой,— сказал Тульский и улыбнулся, будто перед ним поставили тарелку щей с гусятиной.
— Хороший, должно быть, город эта ваша Тула. Самовары у вас самолучшие. Пряники — тоже знатные. Пряник ваш, тульский, я раз как-то пробовал. Понравился. Ружья вон тоже делаете.
— Какие у них пряники?!— снова возразил Ванников.
— Ты, Калуга, мне просто завидуешь. У вас в Подзавалье хлеб с мякинами пекут. Так что помалкивай.
— Да пошёл ты!..

Ванников лиховал — Калуга была занята немцами. А у него там, в Подзавалье, семья — жена и трое малых детей. Задумаешься. Отяпов стал приглядывать за Ванниковым — как бы чего не натворил. В таком настроении человек сам не свой и ни за что не знает, на что его случай толкнёт.

Этот разговор у них случился в лесу. А теперь надо было думать о ночлеге и о еде. Об этом и думали. Зашли в деревню и вдруг спохватились: хорошо это или плохо? Не разведали. Может, в деревне немцы.
— А я бы сейчас хлебца с мякинами… С превеликим удовольствием!— и Отяпов мельком взглянул на Ванникова; тот ещё сильней нахмурился.

Гусёк вспоминал рукопашный бой. У него всё ещё тряслись руки и часто тянуло живот, хотя там ничего уже не было. В дороге раз пять отставал от отряда и присаживался под кустом. Что из него выходило, непонятно. Столько консервов он не ел.

Отяпов наконец выбрал дом, куда надо было стучаться. Именно от него веяло свежевыпеченным хлебом. И он не ошибся.
— Здравствуйте, хозяюшка,— сказал он, когда за дверью заскреблись и послышался вкрадчивый женский голос.

Женщина открыла и молча пропустила их в сенцы. Будто ждала.
— В хату не пойдём,— приказал Отяпов.— Располагаемся тут.

Он сразу сообразил: сенцы рубленые, тепло держат. Народу много, двенадцать душ, надышат быстро. К тому же есть вторая дверь во двор, а там — огороды, сад, риги на задах. Вроде и банька в кустах возле ручья. К ней тропинка. Всё это он присмотрел, когда выбирал дом.

Хозяйка сперва показалась старухой. Но потом, когда вышла с зажжённой лампой и прибранная, хоть и наспех, оказалась молодкой лет тридцати.

Тульский сразу заходил вокруг неё селезнем, забасил. И глаза у молодки заблестели. Вот молодёжь, подумал Отяпов, и война им нипочём!
— А может, в баньку сперва?— предложила хозяйка.— Кто у вас старший?

Все посмотрели на Отяпова.

Отяпов, правду сказать, уже уминал боками свежую пряную солому, сдержанно покашливал от её дразнящего хлебного духа и думал всем своим усталым и избитым телом только об одном: как бы поскорее залечь и ни о чём не думать. Даже есть расхотелось, так забирала усталость. Но, узнав о том, что хозяйка в этот день топила баню и что баня ещё не выстужена, так и подпрыгнул.
— Давайте, давайте, мужички,— торопила их хозяйка.— А я пока поесть вам соберу.

Молодка заходила по комнате, обвевая их сладким духом. Поправила наглухо задёрнутые шторки на низких окнах, подошла к печи, вынула заслонку. А сама нет-нет да и поглядывала на Тульского. Тот тоже сторожил её вороном.

Эх, какая баня была у этой молодки! Видать, муж мастеровой этой бедовой бабёнке в жизни попался. И плотник, и печник. Парок ещё держался — будь-будь. Каменка стояла не залитой. Словно их ждала.

Вымылись. Словно паутину с себя сняли. И сразу вроде не так страшно жить стало. Отяпов окинул взглядом своё невеликое войско. Он уже твёрдо знал, что доведёт его до Тулы.

Хозяйка старалась так, будто среди них был её муж. Стол накрыла прямо генеральский. Варёная картошка, свойский хлебушек по хорошему ломтю на каждого брата, сало, солёные огурцы и грибочки. От солёных грибов так и веяло дубовой бочкой, прямо домом родным, так что плакать хотелось…

Праздник праздником, а часового Отяпов всё же выставил. Вынес ему угощение, даже от своей скибки крошку отломил, и приказал:

— Уснёшь — штыком заколю. Так и знай.

Хозяйка принесла бутылку самогонки. Выпили. А потом смели всё со стола одним махом. Подчистую. И залегли. Отяпов, засыпая, слышал, как молодка шепталась с Тульским, как, вздохнув, повела его в хату… Эх, молодёжь…

Разбудил его Тульский. Он к утру заступил на пост, обошёл окрестность и всё разглядел. Сказал:

— Посмотри.

Только-только начало светать. Заря в октябре поздняя. Но такая же румяная, как в августе.

Отвёл шторку, а там картина: напротив, за ручьём, немцы из хаты выходят, вдоль дороги строятся в две шеренги. С полсотни. Два ручных пулемёта, ротный миномёт. Два бронетранспортёра на полугусеничном ходу, тоже с пулемётами — на турелях. Целое войско.

— Когда ж они пришли? — спросил Отяпов и посмотрел на свою винтовку, несколько дней не чищенную и порыжевшую в некоторых местах от его бесхозяйственности.

— Хрен их знает. Варя сказала, что вечером их не было.

Варя… Вот тебе и Варя…

— Проспали, чёртовы дети…

Немцы между тем построились, провели перекличку, погрузились на бронетранспортёры и поехали по дороге навстречу встающему солнцу. Именно там была Тула.

Отяпов поднял людей чуть позже, когда немцев и след простыл. Раньше поостерёгся — зашумят, поднимут гвалт со страха, и тогда пропали они. Против пулемётов…

Больше в деревнях не останавливаемся, твёрдо решил он для себя, когда шли уже лесом, вдоль дороги, на которой за березняком рокотал транспорт чужой армии. Транспорт двигался в том же направлении, что и они. Вся война в те дни двигалась к Туле.

Глава четвёртая. Тула

На шестой день, оголодавшие и измученные скитаниями по лесам и болотам, они вышли на большак, по которому, на их счастье, двигался на восток санитарный обоз одной из дивизий 50-й армии.

Обозом командовала женщина с петлицами капитана медицинской службы.

Отяпов доложил о прибытии. Она некоторое время устало смотрело на них. Потом спросила:

— Раненые есть?

— Нет.

— Больные?

— Все здоровые, товарищ капитан. Только сильно голодные и от усталости с ног валятся.

— Потерпите немного, — сказала она. — Скоро места на повозках освободятся.

Отяпов уже знал, что означали свободные места на санитарных повозках.

И действительно, не прошли и километра — санитары сняли троих умерших. Тут же, при дороге, закопали. Неглубоко. Разгребли снег, листву, заглубились в талый грунт на два штыка, и — готовы могилы. Отяпов помогал санитарам. Не потому, что имел какую-то корысть, а просто так, по привычке что-то делать вместе со всеми. Чтобы не так душа ныла, думать не мешала. А думать ему теперь надо было за весь его отряд. Командир не командир, но что-то вроде старшего. Как-никак всё же сержант.

Для него место на повозке освободилось перед самой Тулой. Закапывая умершего бойца с петлицами артиллериста, он подумал, что уже и сам бы дошёл, своими ногами.

Возле шоссе зенитчики окапывали свои длинноствольные орудия.

— Такие, должно быть, любой танк насквозь прошивают, — сказал раненый, сидевший впереди. — А нас бросили с одними бутылками. Докинь до него бутылку, когда он все окопы перед собой из пулемёта простреливает…

— Так надо подпускать. Поближе, — зашевелился и другой раненый, у которого была плотно забинтована голова и только для рта и носа были сделаны узкие продухи.

— Поближе, — огрызнулся сидевший впереди. — Ты вон подпустил…

— Я подпустил.

— И где твоё отделение?

Забинтованная голова ничего не ответила, только вздохнула.

Вечером они, все двенадцать душ, сидели за просторным столом в доме на Кузнецкой слободе в Заречье и, не веря своим глазам, ели наваристые щи с гусятиной.

До того Отяпову понравились эти тульские щи, что он про себя решил: вот вернусь с войны — обязательно гусей заведу. Если, конечно, живой останусь…

После еды завалились спать.

Но спали недолго. Прибежал сосед, четырнадцатилетний Гришка, который всё это время не отходил от Тульского, растолкал его и сказал, что комендантский патруль собирает окруженцев по всему городу. Патрули с винтовками заходят во все дома. Сгоняют куда-то к стадиону.

— Двоих расстреляли. Я сам видел. Патруль расстреливал. Вывели и шлёпнули. Видать, шпионы. Или дезертиры, — Гришка на одном дыхании выложил свою новость и внимательно смотрел на Тульского.

Отяпов сел и начал обуваться. Сапоги у него теперь были добрые. В таких ещё можно не один десяток километров отмахать. Хоть по грязи, хоть по снегу. Но, видать, идти далеко теперь не придётся. Зашевелились и другие.

Новость не радовала.

Начали обсуждать своё положение. А положение было не ахти каким весёлым.

— Пришли к своим, дрит-твою…

— А куда ж нам было идти? — оправдывал сам себя сержант Отяпов.

В город они прошли мимо постов. Вёл их Тульский. Свернули с шоссе ещё возле окопанных зениток и дальше — огородами. И вот теперь сидели и решали, что делать дальше. Кто-то предложил пойти в комендатуру или выйти и доложить о прибытии первому встречному патрулю.

— Ну-ну, — хмыкнул Ванников, всё видевший в чёрном цвете. — Далеко вас патрули не поведут. К ближайшей кирпичной стенке…

Выход неожиданно предложил Гришка:

— Вам надо идти к Рогожинскому посёлку. Там наши оборону строят. Заводские. И отец мой там, и братья. Я вас проведу.

— Мы не ополченцы, — робко возразил Гусёк. — Нам надо искать свою часть.

— Где она теперь, своя часть?.. — наконец сказал Отяпов.

Все замолчали. Отяпов стал для этих людей не только командиром, но и тем человеком, который может спасти, вытащить из смертной прорвы. А она теперь, та прорва, везде — справа и слева, спереди и сзади. Хуже, чем перед болотом на переправе. Рассуждать можно всяко, но решение принимать должен самый мудрый и опытный.

— Надо идти к ополченцам. Там теперь передовая.

— Опять к чёрту в пасть!

— Оборвались, обносились… — зароптали бойцы.

Отяпов поднял руку. Ропот сразу стих.

— Мы тут из разных частей. Кто будет разбираться, чьи мы и с чем пришли сюда? Немец всё время шёл за нами следом. А значит, не сегодня-завтра он будет здесь. Искать свои полки будет потом. Собирайтесь, ребятушки. Давайте почистим оружие и пойдём на позиции. А с таким ржавым железом мы не бойцы.

— Там, видать, тоже особый отдел есть, — сказал Ванников.

— Будем молить Бога, чтобы нам там поверили.

И Отяпов расстелил перед собой плащ-палатку, вынул из вещмешка маслёнку и протирку, выщелкнул из винтовки затвор, вытащил шомпол. Всё это разложил перед собой на плащ-палатке. Поплевал на руки.

Его примеру тут же последовали все, у кого было оружие.

Спустя несколько часов они стояли ровной шеренгой перед командиром роты тульских ополченцев. Тот выслушал доклад Отяпова, внимательно осмотрел новоприбывших, их оружие. Потом достал из полевой сумки блокнот и начал переписывать фамилии и номера частей. Переписав всех, сказал:

— Вот что, товарищи бойцы регулярной Красной армии, я должен доложить о вашем прибытии и желании воевать вместе с нами командиру полка. А пока на довольствие вас поставить не могу.

Оружие у них забрали. Сложили возле блиндажа командира роты.

— И куда ты нас привёл? — покачал головой Ванников.

Лицо его было бледным, руки дрожали.

Ночь они переночевали в одном из домов, куда их отвёл ополченец, вооружённый французской винтовкой времён Первой мировой войны.

— Где ты её отрыл? — Ванников кивнул на диковинное оружие, оснащённое длинным штыком, похожим на шпагу.

— Что бы ты понимал, — ответил ополченец. — Она бьёт на два с половиной километра.

— Да ну! — покачал головой ополченец. — Хорошая фузея.

Проснулись в полночь. Разбудил их всё тот же ополченец с винтовкой Лебеля.

— Ротный вызывает, — коротко сказал он.

Ещё не рассвело как следует, когда со стороны шоссе, которое узкой сырой полосой угадывалось левее возле леса, прибежала разведка. Туман понемногу начал рассеиваться. Видимость становилась лучше. В окопах сразу началось оживление, брустверы зашевелились. Народ забегал туда-сюда. Ротный куда-то пропал. Потом появился с другой стороны. Увидел их и, видимо, вспомнив, что и с ними надо что-то делать, сказал:

— Разбирайте винтовки. Кто у вас старший?

— Я. Сержант Отяпов, — и Отяпов неуклюже махнул у обреза каски опухшей от холода ладонью.

— Приказываю вам, сержант, со своими людьми занять вон то крыло, — он указал в туман. — Окопы там отрыты. Будете прикрывать зенитный расчёт со стороны леса. А сейчас получи́те патроны и по буханке хлеба. Другого пайка на вас не предусмотрено. Огонь открывать по моему приказу. Дальше действовать по обстоятельствам. Ваша задача, повторяю, не пропустить немецкую пехоту к орудиям со стороны леса.

Патронов им дали много. Сколько смогли взять, столько и нагребли в карманы и подсумки. Выдали по бутылке КС и три противотанковых гранаты. Гранаты, как и хлеб, надо было поделить. Одну Отяпов взял себе, другую поручил Тульскому, а третью — Курносову.

Когда разобрали винтовки и получили патроны, повеселел и Ванников. Он посматривал на лес и полоску шоссе, черневшую на фоне заснеженного поля, и говорил самому себе:

— Сейчас мы им… Или грудь в крестах, или голова в кустах. Надоело уже бегать.

Потом, глядя, как ловко, снаряжая обоймы, управляется с патронами Тульский, сказал:

— Смотри, Тула, гранату не потеряй.

Тульский в ответ засмеялся:

— Не потеряю, Калуга. А ты, я вижу, вроде как малость отжился. Как воробей с мороза…

Ванников в ответ только усмехнулся.

Они заняли пустые окопы рядом с запасными позициями зенитчиков и начали готовиться.

Ефрейтор Курносов поглядывал на небо, крутил головой, будто принюхивался. Наконец сказал:

— Погода хорошая. Постояла бы такая подольше.

— Это так,— согласился Отяпов,— низкая облачность, туман — самолёты не полетят.

— Так и наши не полетят,— отозвался Гусёк.

— А где ты видел наши самолёты? — тут же вмешался в разговор Ванников.— Разве что сбитые.

Ни Гусёк, ни связист больше не промолвили ни слова. А Отяпов молча решил, что погода и вправду хорошая. Иначе бы или «рама», или «костыль» уже кружили бы над их позициями.

Зенитка стояла немного поодаль, ближе к домам. С длинным, опущенным вдоль земли хоботом она походила на хищного зверя, готового клюнуть любого, кто вылезет к ним из тумана.

Разведка принесла весть: по Орловскому шоссе движутся колонна бронетехники и крытые грузовики с пехотой.

Немного погодя из леса, наполовину скрытого туманом, вылетела, будто перепуганная птица, сигнальная ракета. Она косо прочертила серое небо над чёрной стеной неподвижного леса и исчезла, сгорев и оставив едва заметный чёрный след.

— Идут.

Отяпов оглянулся на своих бойцов: Курносов, Гусёк, Тульский, Ванников, дальше двое из отдельного разведбата, прибившиеся к ним перед самой Тулой. С другой стороны замерли остальные, кого он знал и кому доверял, потому что слабые ушли по пути сюда. Куда они делись, гадать теперь было трудно, да и некогда. Может, в плен, может, по домам. Отяпов знал: такие настроения — по домам — тоже одолевали бойцов, оставшихся без командирского пригляда.

— Ну что ты, Гусёк, дрожишь, как целочка перед первым разом? — Ванников нервно мял в зубах докуренное до последней степени колечко самокрутки.— Ты уже умирал. Ты не должен бояться.

— А я и не боюсь,— ответил Гусёк.

Лицо его было серым. Но решительным. В нём, в Гуське, сейчас что-то происходило. Что-то новое, чего он сам ещё не понимал.

Отяпов посмотрел на него и отвернулся. Надо было сказать людям перед боем какие-то нужные слова. Командир должен что-то сказать своим бойцам перед боем.

— Ребята! — крикнул он.— Что бы ни случилось, держаться своей позиции! И друг друга! Раненых не бросать!

Это бы его первый боевой приказ. Он вдруг почувствовал, что руки его согрелись и что спина вспотела так, как будто где-то рядом топилась печь.

В лесу уже слышалась стрельба. Захлопали частым заполошным боем мосинские винтовки. Потом полыхнул немецкий пулемёт. Отяпов его сразу узнал. Снова зачастили винтовки. Разведка, понял Отяпов, или боевое охранение — мотоциклисты. Наскочили на охранение ополченцев.

Так оно и случилось. Через несколько минут в поле замелькали фигурки бегущих со стороны леса. Они быстро пересекли обмысок белого поля и исчезли в противотанковом рву.

— Охранение отходит.

— Неужто танками попрёт?

— На телегах поедет…— хмыкнул Ванников.

В стороне шоссе зарокотало, сперва одиноко, с перерывами, потом стало сливаться в единый вибрирующий гул. Казалось, проснулся лес и начал жить какой-то своей неведомой и зловещей жизнью, враждебной и городу, и им, притаившимся в своих окопах, и сейчас он стронется и поползёт на них всей своей несметной силой.

Туман всё ещё держался понизу, и Отяпов подумал, что он им поможет. Как-никак, а танкистам, да ещё в незнакомой местности, ориентироваться и вести огонь будет куда сложнее, чем нашим артиллеристам.

Отяпов оглянулся на позицию зенитчиков. Расчёт уже замер у орудия, изготовившись к стрельбе прямой наводкой.

Глава пятая. Бой на окраине Тулы

Гул разрастался, захватывал всё пространство перед ополченцами, артиллеристами и бойцами группы Отяпова, проникал через шинельное сукно и холодил тело. Печка сразу перестала топиться…

Отяпов знал, что многих сейчас трясёт. Его тоже начало знобить и выкручивать суставы. Самое худшее в бою — ждать начала. Поскорей бы…

Танки сошли с шоссе и развернулись для атаки. Пехота машин не покидала. Грузовики замедлили ход и растянулись по дороге. Иногда их скрывал косяк тумана, но потом пространство снова очищалось, распахивалось в глубину, и в окопах становилось жутко: до чего ж большая сила пёрла на них.

Вскоре танки начали маневрировать. Они выстраивались группами. Первая, семь стальных угловатых коробок, пошла вперёд, вдоль шоссе. Три отвернули к домам, остальные шли прямо.

Ну и выдержка у этих ребят, подумал Отяпов и оглянулся на позицию зенитчиков. И в это время бахнуло, и над окопами боевого охранения пронеслась, упруго шурша, струя раскалённого воздуха. Второе орудие тоже произвело выстрел.

— Мимо.

— Артиллеристы, в гроб их душу…

— Наплачешься с такими стрелками. Кровавыми слезами наплачешься…

Стало совсем страшно. Неужто, подумал Отяпов, зенитчики стрелять не умеют? Может, и не умеют. По наземным-то целям — совсем другая стрельба, и они ей, по всей вероятности, просто не обучены.

Танки, не сбавляя скорости, продолжали двигаться в первоначальном направлении. Они сразу открыли огонь. Из коротких хоботов их пушек часто вспыхивало пламя. Но стреляли они не прицельно, и ни одного снаряда ни на позиции зенитчиков, ни в окопы пехоты не попало.

— На арапа берут, — сказал кто-то из бойцов.

Ещё один трассёр резанул над полем мутную хмарь и на этот раз ударил точно в башню переднего танка. И тотчас сильный взрыв встряхнул железную коробку, отделил башню от шасси, и столб багрового пламени встал вертикальной колонной и некоторое время стоял так, подпирая серое небо, тоже, казалось, готовое упасть и разрушиться. Вот это был выстрел!

В окопах одобрительно закричали.

— Готовсь! — скомандовал Отяпов, чувствуя, как азарт охватывает всё его разом помолодевшее тело.

Тем временем немецкая пехота начала выскакивать из грузовиков и взводными гусеницами рассыпаться по полю.

Заработали пулемёты. Сразу несколько «максимов» — то короткими, то длинными очередями. Патронов не жалели.

— Огонь! — закричал Отяпов и тут же нажал на спуск.

Первый выстрел он сделал так, больше для шума, не целясь, и пуля полетела куда попало. Бойцы припали небритыми щеками к ложам своих винтовок. По первой обойме расстреляли в один миг. Потом огонь поредел. Отяпов это знал: начали целиться, аккуратней стрелять.

Из других окопов тоже вели огонь. Дробно застучали автоматы. Где-то правее, из-за противотанкового рва, резко били бронебойки.

Чем ближе подходили танки, сопровождаемые пехотой, тем плотнее и яростнее становился огонь из окопов. Артиллеристы начали стрелять чаще и точнее.

Горели уже три танка. Один, с сорванной гусеницей, осел набок и зарывался в землю. По нему вели огонь бронебойщики. Добивали. Его развернуло бортом к позициям бронебойщиков. Экипаж машину не покидал. Пушка его начала отвечать. Чёрные кусты взрывов мгновенно выросли за противотанковым рвом. Но и танк задымил. Открылся боковой люк. Оттуда что-то выбросили наружу, потом ещё. Похоже, выбрасывали стреляные гильзы. Танк по-прежнему вёл частый огонь в сторону противотанкового рва. Потом из люка вывалился человек и скатился вниз.

До подбитого танка было метров двести. Отяпов дрожащими от разбуженного азарта пальцами передвинул хомутик на прицельной планке. Прицелился. Немец копошился возле танка. Похоже, он был ранен. Дым всё гуще тянул из открытого бокового люка. Но башенное орудие продолжало вести огонь. Наконец оно затихло. Ещё один танкист выполз из люка. Вылезал он медленно, будто не верил, что его боевая машина уже горит. Отяпов выстрелил. Немец повис вниз головой. Отяпов знал точно, что попал именно он.

Бой шёл весь день. Танки отходили, перестраивались и снова атаковали. Пехота теперь передвигалась под прикрытием бронетранспортёров. С бронетранспортёров длинными очередями вели огонь пулемёты. Но ничего у них особо не получалось.

Двоих убитых уже оттащили в боковое ответвление и прикрыли сверху плащ-палаткой, на которой ещё недавно они чистили винтовки. Трое были ранены. Какое-то время раненые сидели на дне окопа без дела, но потом, так и не дождавшись санитаров, вернулись к своим стрелковым нишам и продолжили огонь. Санитары по-прежнему не появлялись. Отяпов понял, что никто к ним не придёт. Он приказал перевязывать друг друга самим. Раненых взялся перевязывать Гусёк. Получалось у него неплохо. А Отяпов подумал: Лидку бы сюда, она ловкая и бесстрашная, а главное, по медицинской части справляется не хуже, чем расчёт зенитки с танком.

После полудня затихло.

Пришёл посыльной от командира роты и сказал, чтобы составили донесение о потерях. Чуть погодя вернулся:

— Выделите двоих человек для получения горячей каши.

Есть хотелось. Но ещё сильнее хотелось спать. Отяпову казалось, что они не спали несколько ночей.

С поля тянуло гарью. Подбитые и сгоревшие танки чернели вдоль противотанкового рва и возле дороги. Их было порядочно. Раза три Отяпов пытался сосчитать их. Но каждый раз сбивался. Не потому, что их там, в поле, было так много. Досчитывал до пяти, семи и начинал так волноваться, что в глазах рябило, набегала слеза, он сползал с бруствера и несколько минут смотрел на затоптанное дно окопа, на стреляные гильзы, на раздавленные их дульца, обмётанные пороховой гарью. В конце концов решил: надо готовиться к новому бою и людей готовить. А танки пускай считают те, кто их сжёг. Это их трофеи.

Глава шестая. Госпиталь

О том, что он ранен, Отяпов узнал через несколько часов после того, как его ослепила вспышка разорвавшейся на бруствере мины.

Ранение оказалось лёгким — мелкими осколками посекло лицо и руки. Но контузия была

куда серьёзней. Вначале Отяпов ничего не слышал. Потом в ушах зашумело, и снова, как в окопе, пошла кровь. Она текла из ушей и из носа. Он подумал, что умирает, и попросил вынести его на свежий воздух, хотя бы в коридор. Но никто его никуда не понёс.

Сосед по койке сунул ему докуренную до половины самокрутку. Отяпов затянулся несколько раз и успокоился. Он ждал, когда придёт смерть, но она что-то тянула, не приходила. Её он не чувствовал даже вдали. Хитрит, гадюка, подумал он и прислушался. Шум в ушах менялся. Он то накатывал, то отступал. Наверное, так шумит море, подумал он, хотя на море никогда не был, не видел и не слышал его даже издали. Потом сквозь шум моря начал пробивать какой-то стук. Через некоторое время стук превратился в грохот. Уж его-то Отяпов узнал. Он напряг все силы своего ослабевшего тела, приподнялся и посмотрел на окно. Да, понял он, танки всё же прорвались, смяли их оборону на Одоевском шоссе и теперь приближались к госпиталю. Даже марлевые занавески, как ему показались, дрожали. Вот так. Не удержались ни зенитчики, ни его ребята, которых он собрал в лесах на Рессете и под Белёвом. Он машинально пошарил возле себя руками. Гранаты нигде не было. Да и руки слушались плохо. Где ж граната? Он же оставлял себе одну.

— Ну что ты всё воюешь?—услышал он тихий, спокойный голос человека, который совершенно не боялся гула приближающихся танков.—Всё воюет и воюет… Отвоевался теперь. Полежи спокойно. И другим дай полежать в тишине и покое.

Отяпов указал на окно.

— Ну что там такое? Синица прилетела. Долбит в окно. Видать, к ночи мороз ударит.

— Танки!—выдохнул Отяпов.—Они прорвались. Там мои ребята…

Человек засмеялся.

— Танки… Во попал ты под них, как ягнёнок под волка… Теперь век бластиться будут. Говорю тебе, синица в раму клюёт. Летних мух выбирает. К зиме дело…

— Танки…

Танки ни в тот день, ни в следующий, ни потом через позиции, которые удерживали они вместе с зенитчиками и тульскими ополченцами, не прошли. Когда унесли в тыл раненого и контуженого Отяпова, два танка проскочили левее, попав в мёртвое пространство, где артиллеристы их достать уже не могли. Они остановились и начали вести огонь по позициям зенитчиков.

Первую противотанковую гранату, выданную им на отделение, взял Тульский и пополз к ближнему танку. Как он до него добрался, никто толком не видел. Думали, что он убит или ранен и лежит в поле, в бурьяне, заметённом снегом. Уже собирались ползти за ним, искать. Дымом заволокло всё пространство перед окопом. И ориентировались они лишь по выстрелам танковых пушек и зенитки. То немец в дыму полыхнёт, то наши ответят. И те, и другие, видать, мазали и продолжали свою изматывающую дуэль. Но вскоре там, где затаился танк, загрохотало и высоко вскинулось пламя.

— Дополз!—сказал радостно кто-то из бойцов.— Это наш его накрыл. Гранатой.

— Вот молодец, пряничная душа,—похвалил Тульского и Ванников.

Тульский сделал своё дело, и никому из них уже не надо было ползти туда, в смертное поле, со второй гранатой.

Немного погодя, когда второй танк, отстреливаясь, ушёл назад, к лесу, Ванников и Гусёк притащили раненого Тульского. Положили на солому на дно окопа.

— Не тормошите его,—сказал сержант Курносов.—Отходит.

Так, не приходя в сознание, Тульский и помер.

Через два дня со стороны города подошла смена: рота пехоты и батарея противотанковых орудий.

«Сорокапятки» разместили в разных местах, в глубину, уступом к шоссе. А бойцы охранения заняли окоп, где оборонялся отряд Отяпова, и начали окапываться дальше, углубляя ходы сообщения.

Рота была свежая, с лейтенантами. Бойцы одеты в белые полушубки. Уцелевшие смотрели на них как на ангелов, спустившихся с небес:

— Где ж таких только взяли?..

Отяпову жилось хорошо. Слава Богу, думал он, глядя в свежий потолок, видать, недавно покрашенный известью, хоть отдохну под крышей, в тепле, на чистой койке. Ни тебе стрельбы, ни осколков над головой, ни пуль, ни ветра, ни холода. Командиры не матерятся. Их тут просто нет. Говорят, их, командиров, лечат в другой палате. Вот и хорошо, от них тоже отдохнуть надобно—надоели. Врачи и медсёстры спокойные, обходительные. Сосед Отяпову тоже попался хороший. Отяпов давно, ещё когда брели лесами к Туле, заметил, что на людей ему на войне везёт. Народ и соседом в окоп, и на марше, и так, когда драпали по лесам, и на отдыхе ему попадался хороший, покладистый, не особенно хитрый—так чтобы на чужом горбу покататься,—уважительный и в бою стойкий. Не сказать чтобы уж очень храбрый, но надёжный, в беде не бросали. Героев на фронте он пока не встречал. Разве что зенитчики. Ловко пожгли танки. Хорошо стреляли. И держались, надо сказать, геройски. Порой совсем их снарядами засыпало, а глядишь, опять стреляют. Разве не герои? Да и те лейтенанты, которые у болота повели их в атаку, вспомнил Отяпов, тоже герои. Нет, подумал он, это и есть настоящие герои. Так что и героев он на войне повидал.

Соседа звали Кузьмой. Лежал он в госпитале уже порядочно, с середины октября. Обгорел в танке на Рессете, когда прорывались на Хвастовичи. Там, под селом Красным, у моста, его Т-26 подбил немецкий танк.

— Из засады стрелял,— рассказывал Кузьма; говорил он спокойным, тихим голосом, как будто о чём-то главном в своей нынешней жизни всё время сожалея.— Две болванки пролетели мимо. Первой германец промазал. Видать, заторопился. Увидел меня на дороге — вон какая цель хорошая на прямой наводке! — и сплоховал от нервов. Германец, что ж, тоже существо живое, нервное.

Отяпов полюбил Кузьму не только за его разговоры, которые, должно быть, и самого танкиста успокаивали и мирили с тем, что выпало ему на войне, но и за то, что тот приносил ему из курилки «сорок». Украдкой совал ему в руку колечко недокуренной самокрутки, и Отяпов жадно затягивался несколько раз. Сразу кружилась голова, и становилось легче и спокойно, как дома. Пережитое куда-то уносилось, таяло, как то болото в тумане, а ранение казалось пустяком, о котором и думать не следует.

Думалось только об одном — о доме.

Но что думать о доме? Дома сейчас немец. Хозяйничает в его деревне, на колхозных полях, в лесу, на речке. Всё теперь пошло под чужую власть. Ладно, ладно, погоди, вот поднимусь с койки на костыль, а там, может, и ровнее пойду…

Отяпова одолевала злая надежда на то, что он не совсем отвоевался, что вернётся ещё к своим товарищам, в окопы, что рано или поздно Красная армия соберёт силы и начнёт наступать. Ведь били же они их, проклятых, на Рессете. Эх, как лихо они тогда атаковали! Даже Гусёк героем ходил, немца повалил. Хороший бой был. Победный. Хотя ни в какие донесения и приказы он, конечно же, не попал. Не названы в том несуществующем приказе имена лейтенантов и других отличившихся бойцов. Гуська, например. Да и его, сержанта Отяпова.

Он вспомнил своего убитого немца и подумал: даже если калекой теперь останусь, я своё дело на войне сделал. Родину оборонил.

— Первый мимо пролетел. От второго я ушёл, в сторону машину бросил. Знал, что он упреждать будет. Так утку стреляют, с небольшим упреждением, чтобы сама на заряд налетела… А третий ударил прямо под башню. Загорелись. Башнёра — наповал. Колька Лучников, из Тамбова, хороший был парень. Гармонист. Так и сгорел вместе со своей гармоней.

Вот, кольнуло в самое сердце, Отяпова, а мы своих тамбовских над ямкой постреляли…

В какой-то момент слушать Кузьму становилось тягостно. Отяпов и сам навидался всей этой крови и грязи, и слушать чужую боль было невыносимо. Оставалось одно — терпеть. Иначе как? Товарища надо было понимать — душа просила выхода. Вот он его, Отяпова, и выбрал в слушатели. И Отяпов терпеливо слушал всё подряд.

— Как ты думаешь,— спрашивал Кузьма,— какой мне теперь танк дадут? На «тридцатьчетвёрку» бы попасть. Вот это машина! Экипаж четыре человека. Угол наведения… Мотор — дизель, пятьсот лошадей… Наклонная броня…

— Ты и эту сожжёшь,— подал голос забинтованный с головы до пояса ополченец.— Технику любить надо. Беречь. Под огнём надо уметь маневрировать, а не лезть на рожон. Видел я, как вас возле Одоевского шоссе били. У них — одна пушка, а набила вас — всю дорогу запрудили…

У пехоты всегда претензии к танкистам, артиллеристам и лётчикам. А танкисты и пушкари всегда бранят пехоту. Эту историю Отяпов знал. С танками, да при поддержке артиллерии, отбиваться от немцев было куда легче. Случалось, и контратаковали. Но танки могли прекратить атаку перед самыми немецкими окопами и вернуться назад. А артиллерия не всегда умела подавить огневые точки, и немецкие пулемёты оживали в самое неподходящее время, когда пехота высыпáла в поле и не имела никакого укрытия. Другое дело — зенитчики. Эх, молодцы, ребята! Как они жгли немецкие танки!

Отяпов несколько раз спрашивал о них: живы ли? Может, кто тут лежит? На излечении? Никто ему ничего толком ответить не мог. Какие зенитчики? Какие герои? Нет тут никаких героев…

В конце концов он даже расстроился. Как же так, думал он, ребята город спасли, немецкие танки возле самых тульских домов остановили, а никто об их подвиге не знает.

В начале декабря в палату пришли ефрейтор Курносов, Гусёк и Ванников. Отяпов увидел их — глазам не поверил, а когда догадался, что это не контузия ему икается, а самая доподлинная явь, обрадовался и чуть было не заплакал. Так его тронула забота товарищей. Не забыли, навестили калеку, консервов вон принесли, сала и хлеба. Целый кулёк всякого довольствия. Небось, от своего пайка оторвали мне на гостинец…

Самым бравым и подтянутым выглядел Гусёк. Он щеголял в белом, ещё не выгвазданном ни сажей, ни окопной грязью овчинном полушубке и высоких необмятых валенках. На плече висел такой же новенький ППШ, а на ремне — штык-нож от СВТ. Видать, на махорку выменял, подумал о своём бравом гвардейце Отяпов.

Он сразу кивнул на шанцевый инструмент и сказал:

— Освоил новую матчасть?

— Так точно,— улыбаясь, ответил боец.

Хороший парень, про себя похвалил Гуська Отяпов. Хорошо, что вывел его с Рессеты. Цепкий оказался, не смотри, что на вид хлипкий и всё

время дрожал. Вот уж вправду сказано: страх — это волк; одного придавливает, как овечку, так что та уже и не мекает, а другого героем делает.

— Залежался ты на чистых простынях, Нил Власыч,— сказал Курносов.— Когда на выписку?

— Да уже скоро,— признался он.— Видать, что-то за городом затевается. А?— и он заговорил тише, чтобы слышали только свои:— Выписывать народ стали больше. Слыхал от санитаров такое: маршевые роты формируют, войска на передовой свежими силами пополняют.

Долго им в палате сидеть не разрешили. Попрощались. На всякий случай сказали, где искать их полк, и пошли.

Когда они ушли, Кузьма, вернувшись из курилки со всегдашним «сороком» в рукаве, кивнул на дверь:

— Товарищи? Я так и понял. Хороший народ. Боевой. Такие ближе всякой родни.

— Это да. Я с ними всего повидал. Рад, что живы,— и вздохнул.— Живы, да не все.

— А ко мне никто не придёт. Все погорели,— и вдруг Кузьма объявил:— Завтра мне на медкомиссию. Буду проситься в свою бригаду. Где она теперь? Начальство знает. Механиков-водителей не хватает. Есть приказ, что нашего брата после госпиталей направлять только по прежней специальности. Как думаешь, «тридцатьчетвёрку» мне дадут?

— Дадут, Кузьма. Конечно, дадут. Ты парень ходовой, знающий,— Отяпов задумался.— А мне винтовка всегда найдётся. Хоть со склада, хоть из-под снега…

Глава седьмая. Наступление

В середине декабря 1941 года вперёд пошёл и левый фланг Западного фронта — 50-я и 10-я армии.

Из штаба фронта в штаб 50-й армии пришёл приказ: глубоким ударом на узком участке фронта выйти к Калуге и к двадцатому декабря овладеть городом. Задачу должна была выполнить ударная группировка, куда вошли несколько дивизий и отдельных частей. Отходящие на линию реки Оки войска 2-й танковой армии Гудериана сплошного фронта уже не имели. Лишь в крупных населённых пунктах и городках стояли немецкие гарнизоны. Однако путь на Калугу ударной группировке приходилось пробивать с боями.

Отяпов всё время посматривал на артиллеристов. Вот чёртовы дети, бранил он про себя «сорокапятчиков», которыми командовали два молоденьких лейтенанта. Те копошились в снегу вместе с расчётами, что-то кричали ездовым. Но ездовые, устав нахлёстывать лошадей, которые совсем выбились из сил и теперь почти беспомощно дрожали облепленными снегом боками, командиров, похоже, не слышали.

На самом деле командовал всей здешней артиллерией пожилой старший сержант. Невысокий ростом, коренастый, в белой каракулевой шапке, он подскакивал то к одной запряжке, то к другой, давал какое-нибудь короткое распоряжение или просто делал едва заметный жест, и расчёт дружно налегал на щит орудия, хватался за постромки, помогал лошадям осилить подъём.

Шли они уже несколько часов. Рота двигалась взводными колоннами. Тащили с собой обоз — несколько саней с боеприпасами и ротным имуществом. С ними шёл взвод «сорокапяток».

В голове колонны несколько раз вспыхивала стрельба. Но тут же всё затихало. Передовое охранение уничтожало какой-нибудь немногочисленный немецкий гарнизон в очередной деревне. Немцы вместо того, чтобы уйти, встречали колонну пулемётным и автоматным огнём. Их тут же сметали ответным огнём. По всему было видно, что противник не ждал прорыва на этом направлении и принимал авангарды группировки за мелкое подразделение или разведку противника.

В бой рота пока не вступала. Бойцы лишь видели в снегу на обочинах полузаметённые снегом трупы немецких солдат и полицейских. Рассматривать убитых было некогда. Вот сволочи, думал Отяпов, всего-то месяц-другой, как немец здешние просторы занял, а уже желающих ему служить — орава! Неужто и у них в Отяпах кто-нибудь из местных повязку надел? А что, очень даже может и такое случиться. Он начал перебирать в памяти всех мужиков, кого не успели забрать на войну, и не мог найти ни одного такого, на кого можно было бы подумать, что он пойдёт служить немцам. Но всё же представил, какая жуткая жизнь, должно быть, в оккупированных деревнях, и снова тревога за своих охватила его.

Командиры всё время поторапливали.

— Давай, давай, ребята! Шибче! Шибче!— сердито пробасил сквозь забитые снегом густые усы старший сержант на своих артиллеристов и повелительным жестом махнул оказавшимся рядом пехотинцам.

Левая пристяжная упала на колени и испуганно заржала. Опяпов схватил её за узду и потянул на себя:

— Ну, милая, давай, тянись, недолго нам уже осталось. Светает вон, значит, скоро остановимся.

Потом начался спуск. Артиллеристы, как дети на горке, тут же застопорили кольями спицы колёс, повисли на длинном стволе «сорокапятки», ухватились за щит, задерживая её движение, чтобы орудие своей тяжестью не придавило передок с зарядными ящиками и не поломало ноги лошадям. Послышался смех. Опяпов, тоже ухватившись за заиндевелый наклонный щит, увидел одного из лейтенантов. Тот широко улыбался. Полушубок его был расстёгнут, потемневшая от пота гимнастёрка

пари́ла. Ишь, разгорелся, подумал о нём Отяпов, как всё равно к тёще на блины едет… Видать, ещё не попадал в настоящее-то дело. Ну, скоро будут ему и тёща, и блины, и мёрзлая глина в нос…

То, что рядом, в ротной колонне, шли артиллеристы, успокаивало. Пушка — это тебе не винтовка. Шарахнет — и танк неживой…

Они ещё не наступали. За всю войну, с самых летних боёв, ни разу. Была одна шальная контратака на Рессете. Но и она, считай, закончилась не совсем хорошо. Вроде и победа, и не победа. Потом снова отступали.

А тут — настоящее наступление. Говорят, несколько дивизий двинулись вперёд. Кавалерия. Танки. Артиллерия. На санях везли миномёты и ящики с минами. Где-то в хвосте колонны двигались и «катюши». Какое ж наступление без «катюш»? Бойцы только и говорили, что про «катюши» и новые танки. Начальство это обязательно предусмотрело и позаботилось о нашей пробивной силе, с надеждой и даже уверенностью думал Отяпов. Как стреляют «катюши», он видел. Сила! Под Тулой как заревели — дым, огонь, снежная пыль столбом! Пехота из окопов выскочила и — ходу в лес! Из окопов же не видно, куда из этих кузовов снаряды летят. Потом долго смеялись. И миномётчики, и бросившая свои позиции пехота.

Рядом хрустел снегом и покашливал Гусёк. Гуську, как бывалому воину, перед маршем выдали несколько гранат и два запасных диска к ППШ. Начальство его уже заметило. Что ж, заслужил делом. Отяпов видел, как тот раза два снимал рукавицу, ощупывал дымящимися пальцами свой автомат, выковыривал из-под спусковой скобы и рычажка перевода огня набившийся снег. Молодец, матчасть соблюдает в чистоте и готовности. Надо ж, какой солдат получился! А сколько таких ребят полегло, сколько в плен пошло, тут же затосковал Отяпов. Не вывели, не сберегли для Родины и Красной армии своих надёжных бойцов. Отяпов вспомнил и капитана Титкова. Где-то тут, рядом, опять командует батальоном капитан Титков. Сволочь такая…

Рассвет их застал в поле. Только что миновали деревню. Бойцы с тоской и надеждой посматривали на дворы. Хаты стояли нежилые, с выбитыми окнами и сорванными дверями. Выстуженные. Хлева тоже пустые. Германец похозяйничал, определил Отяпов. Но ладно хоть не пожёг. Заткнуть сеном оконные проёмы, навесить двери, протопить печи и — завалиться на отдых… Самое время. Днём-то продолжать марш опасно — не ровён час, самолёты налетят. Но деревню они миновали в том же темпе. Командиры молчали. Теперь оставалось надеяться, что на днёвку их остановят в лесу.

Дорога впереди была прочищена. Но снег валил и валил, позёмка гнала косяки снежной крошки по полю и оседала здесь, как туман в противотанковом рву. Белые тугие барханчики росли буквально на глазах. Колёса орудий вязли в них. Лошади совсем ослабли, и ездовые попрятали кнутья, кнут был уже бесполезен.

Наконец и поле осталось позади. Дорога пошла чище, легче. А ветер уже не так трепал солдатские шинели и полушубки, не сёк ледяной крошкой по глазам, не жёг щёки, с которых будто содрали кожу.

И вот в голове колонны родилось и радостной птицей пронеслось по заполненной войсками дороге:

— Стой! Принять в сторону! Привал!

Принять в сторону можно. Полезли в снег. Местами проваливались по пояс. Вокруг елей обтаптывали сугробы, ломали лапник и тут же валились на охапки и засыпали, даже не сняв вещмешков и не отряхнувшись от налипшего в поле снега.

Подошла ротная кухня. Старшина начал раздавать горячую кашу. Перво-наперво накормили артиллеристов. Бойцы стояли с котелками наготове и терпеливо ждали, когда пройдут «сорокапятчики».

— Ну, ребята, — сказал лейтенантам Отяпов, — вы ж, глядите, наперёд и воюйте не хужей, чем на кухне.

Те засмеялись. Эх, дети, подумал Отяпов. Такие не погубили бы орудия. Без орудийной поддержки роте в бою — беда.

Только успели ложки облизать и рассовать их по укромным местам — кто за голенище, кто в нагрудный карман, кто куда, — прибежал ротный:

— Отделение Отяпова и сапёры! Ко мне!

Вот тебе и привал. Похоже, Отяпов, накрылся твой честно заслуженный отдых.

Ротный нахватал их пятнадцать человек. Из штаба полка прибыли лыжники, тоже человек пятнадцать. С ними старший лейтенант. Разведка. Все при автоматах. Кое у кого трофейные. Разведчики с трофейным оружием щеголять любят, этот форс Отяпов давно заметил.

Артиллеристы быстро отвинтили с осей колёса одной из пушек, сняли бронещит. Пушку приладили на сани, притянули проволочными скрутками. И — вперёд.

Задачу старший лейтенант из полковой разведки поставил уже в пути: впереди деревня, немцев в ней немного, человек двенадцать, но при зенитной установке и двух пулемётах, и этот чёртов гарнизон необходимо было взять любой ценой. Из лазарета прислали две санных повозки с санитарами. В одной из санитарок Отяпов сразу разглядел Лидку Брусиленкову. Та тоже махнула ему рукой, радостно улыбнулась. Опять им выпала доля хлебнуть чего-то непонятного и вовсе нерадостного. Хотя встреча с роднёй — а какая она ему родня? — Отяпова обрадовала.

Шли около часа. Свернули в лес. Затихли. Ездовые соскочили с саней, гладили заиндевелые

морды лошадей, чтобы те не заржали и не выдали отряд.

Деревня рядом. В ней тихо. Может, ушли? Германец, он хоть и смел, и хороший вояка, а всё одно умереть от пули боится. А тут на него такая силища прёт.

Вернулась разведка. Нет, не ушёл. Значит, придётся атаковать.

Старший лейтенант задумался. Позвал артиллерийского лейтенанта. Начали совещаться. Отяпова тоже к себе позвали. Он всё время молчал, вопросов не задавал, чтобы не досаждать командирам решать самое главное. Кто он им — пехотный сержант?

Распрягли коней. Вывернули оглобли, чтобы не мешали в лесу. Сани с «сорокапяткой» потащили к опушке.

Вон он, зенитный автомат, спаренные стволы торчат над снежным валом. Не обманули разведчики. Там же, над валом, виднеется фигура часового. Немец закутан в какое-то пёстрое тряпьё. Видать, совсем замёрз, бедолага. Ветер тянет от деревни. Значит, немецкий часовой их не слышит. Старший лейтенант команды отдаёт шёпотом.

Самая непростая задача, как всегда, у пехоты: как только отстреляется расчёт «сорокапятки», атаковать юго-западную окраину и захватить три крайних дома.

Лыжники уходят раньше. Они войдут в деревню с северо-востока и перекроют дорогу на восток одновременно с атакой отделения Отяпова и сапёрной группы. Это — чтобы из деревни ни одна душа не ушла.

Вначале всё шло удачно, как задумывалось. Артиллеристы отстрелялись точно. Сразу подавили зенитную установку. Отяпов поднял своих. Добежали до первой хаты. И тут ударил пулемёт. Он бил откуда-то из глубины проулка, из метели. Упало несколько человек. Захрипел Ванников, загребая под себя снег. Отяпов ухватил его за ремень и оттащил за кладушку дров. Залегли. Пулемёт не умолкал. И Отяпов сразу забеспокоился о тех, кто остался лежать на снегу, в проулке, под огнём.

— Нил Власыч, я заметил, откуда он стреляет, — Гусёк дрожащей рукой очищал от налипшего снега свой ППШ.

Протёр, проверил диск и вытащил из кармана полушубка гранату, зачем-то подышал на неё.

Нервничает, понял Отяпов.

— Давай, Гусёк. Правее обходи. Вдоль сараев. Спасай нас всех. Вся надёжа на тебя.

Гусёк исчез в проулке. Метель поглотила его мгновенно.

Отяпов полез в карман Ванникова, чтобы найти его медицинский пакет. Но вдруг понял, что уже ничего не надо, — Ванников не дышит и начал быстро остывать. В Калугу шёл… Домой. Надеялся своих повидать. Повидал…

В глубине проулка лопнула граната, потом другая. Немного погодя вернулся Гусёк. Он тащил пулемёт. Тянулась по снегу лента с длинными, как карандаши, патронами. Дырчатый кожух с шипением дымился, издавая приятный металлический запах.

— Вот, Нил Власыч, трофей прихватил.

— Ванников помер, — ответил Отяпов.

— Что, наповал?

— Наповал. Вот тебе и Калуга…

Гусёк забрал из карманов шинели Ванникова гранаты. Припорошил снегом лицо. Снег уже не таял. Сказал:

— Похоронить бы…

— Местные похоронят, — махнул рукой Отяпов.

Вскоре пришли лыжники. А за ними — связной из штаба батальона с приказом: атака деревни отменяется, срочно возвращаться назад.

Отяпов с Гуськом вытащили тела убитых к дороге. Оружие забрали с собой. Раненых увезла Лидка. Хоронить своих товарищей им было некогда. Местных жителей никого не видать. Ни души. Должно быть, все ушли в лес. Или немцы угнали. В дома заходить не стали. Не до того.

Оказалось: батальонная колонна меняла маршрут движения. Деревня им теперь была не нужна, её они обходили стороной. Разведка нашла другую дорогу, более пригодную. Пришёл приказ: мелкие гарнизоны обходить, боем себя не связывать, оставлять их вторым эшелонам.

Глава восьмая. Бой за деревню

В Калугу Отяпов не попал. Полк обошёл город с северо-запада. Шли маршем, без остановок и боёв. Всё уже было сделано. Вдоль дорог стояли уткнувшиеся в кюветы громоздкие немецкие грузовики, наши ЗИСы и полуторки с выгоревшими кабинами и обгоревшими, осевшими скатами, будто обглоданными каким-то неимоверным и жадным зверем.

— Хороший город, — сказал Курносов. — Я до войны тут бывал.

— Пожгли сильно, — Отяпов смотрел на дымчатую кромку горизонта, которую обрамляли плотно наставленные дома незнакомого города, той самой Калуги, о которой столько говорили все эти дни и откуда родом был Ванников.

— Да, пожарищем пахнет сильно.

Вскоре повернули левее и вышли к крайним домам. Домишки здесь стояли так себе, не лучше, чем у них в Отяпах. Правда, все крашенные в голубой или в зелёный цвет. И наличники резные, в затейливых узорах. Такого художества у них в деревнях не водилось.

Отяпов шёл и любовался наличниками. Каждый следующий дом был украшен узором, который совершенно отличался от предыдущего. Мудрёный, видать, тут народ живёт, подумал Отяпов,

завистливый. Вон как своё от соседского отгораживает. Вот такой и Ванников был, царствие ему небесное. Не дошёл до своего дома. Тоже, должно быть, с узорами да затейством… Дети сиротами остались.

Возле дороги лежала полуобгорелая лошадь, задрав кверху заиндевелые копыта. Её уже свежевали две старухи и мальчонка. Старухи рубили топором куски мёрзлого мяса, а мальчик складывал их на санки, стоявшие в чёрном затоптанном снегу, обмётанном копотью. Топор у старух был, должно быть, туп, и у них получалось плохо. А может, труп лошади сильно застыл. Ротный сказал, что ночью дывануло до тридцати пяти. Ну, ничего, в такой одёжке, в какую обмундировали их перед наступлением, пережить и не такой мороз можно.

Мальчик смотрел на идущую колонну и рассеянно улыбался. Должно быть, голодный, подумал Отяпов. Но его опередил пулемётчик Гридников. Он перескочил через кювет и сунул мальцу кулёк. Что у него там было, неизвестно. Может, сахар да сало. Что им ещё выдавали перед маршем? По банке рыбных консервов и гороховый концентрат. Гридников—человек добрый, он последнее отдаст, не пожалеет.

А малец чем-то на Власика похож. Только, может, ростом поменьше.

Отяпов оглянулся. Но колонна шедших сзади уже закрыла обочину дороги, где старухи и малец разрубали убитую лошадь.

К вечеру вышли к деревне. Деревня целая, дома стоят все, не пожжены, не побиты снарядами.

За деревней шла стрельба. Пока палили из винтовок да изредка дёргал морозный звонкий воздух наш «максим». Басовитый его грохот раскатисто стлался по вымерзшей лощине, где лежали несколько убитых. Чьи там лежали убитые, пока было непонятно.

Расположились за домами и сараями. Ротный сказал, что предстоит атаковать ту сторону лощины. Там засели немцы. Неужто придётся лезть через лощину в лоб, без артподготовки?

Отяпов высунулся из-за угла, чтобы получше осмотреть местность, где им через минуту придётся умирать. Лощина неширокая, перескочить можно в один мах. Несколько стёжек протоптаны на ту сторону. По ним, должно быть, и бежали те, что лежат теперь, припорошённые снегом. Один лежал совсем близко, за колодцем. Отяпов присмотрелся: немец! Так тебе и надо, чёртов сын, подумал об убитом Отяпов.

Рядом шевелился Курносов. Он устраивался поближе к фундаменту.

— А ну-ка подвинься,—сказал Отяпов и толкнул его валенком в бок.—Убери-ка свой лафет в сторонку.

И точно, вскоре и их очередь подошла.

Вначале «максим» прошёлся очередью по березняку и верхушке пологой горки на той стороне лощины. Было хорошо видно, как пули поднимали снежную пыль и секли по сучьям молодых деревьев. И тотчас оттуда ответил немецкий мг. Несколько пуль шлёпнули по брёвнам дома, звякнуло разбитое стекло.

Появился ротный. Начал смотреть в бинокль в сторону горки, откуда часто молотил немецкий пулемёт.

— Приготовиться!—крикнул он.

Но немцы поднялись раньше.

— Господи Иисусе Христе!—выдохнул Отяпов и оглянулся на товарищей, прижавшихся к стене дома в ожидании своей участи.

Но тут захлопали миномёты, и лощину, противоположный склон с фигурками в грязных коротких комбинезонах, березняк и трупы немцев заволокло гарью и снежной пылью.

— Понеслась кривая в баню,—хохотнул Курносов и вытащил из-за пазухи сухарь.

Некоторые осколки на излёте добрасывало до самых дворов. Они шлёпались поодаль, прожигали затоптанный снег и исчезали, как нечистая сила.

Через несколько минут опять появился ротный. В руках у него был новенький ппш. Он что-то кричал. И Отяпов понял, что надо выходить и бежать туда, по лощине в гору, где всё было расковеркано минами и где гарь всё ещё оседала на седой испорченный снег.

Окопы немцы отрыть не успели. Сделали норки в снегу, снизу застелили еловым лапником. Пулемётчики устроились более основательно. Натаскали досок, выложили бруствер и присыпали снегом. Расчёт уйти не успел. Двое лежали прямо возле пулемёта, уткнув головы между коробок с патронами. Осколками изрубило именно головы. Третий поодаль. У третьего головы и вовсе не было.

— Хорошо отработали миномётчики,—стиснув зубы, сказал ротный.

Они потоптались вокруг убитых пулемётчиков и пошли в сторону леса, куда продвигался весь батальон.

Возле леса были сложены раненые. Во время боя их стаскивали сюда. Примчались санитарные сани, потом ещё двое. Начали грузить раненых. Отяпов помогал санитарам поднимать на сани раненых и всё смотрел в поле, не подъедет ли на своём сером коне Лидка. Но Лидки не было.

Зато появился капитан Титков. Его Отяпов узнал сразу. На белой лошади. Бравый. В хорошо подогнанном полушубке и в белой кубанке с красным верхом и золотым галуном. Прямо орёл степной, казак лихой. Встретились глазами. Отяпов отвернулся. Узнал ли его капитан Титков? Должно быть, узнал. Не такой уж он и пьяный был тогда, на Рессете, чтобы не помнить бойца, который хотел скинуть его с повозки.

— Ну что, ребята? — крикнул Титков весело, как будто привёз полевую кухню с горячей кашей и звал всех к котлу. — Много трофеев нахватали? Тащи всё в деревню!

Трофеи были. Несколько пулемётов, два миномёта, мотоцикл, повозки и лошади. Лошадей, правда, тут же старшины расхватали по ротам. Их в список трофеев не впишут. Не такие дураки командиры, чтобы ради лишнего ордена коня в чужой обоз отдавать. Ордена ещё будут, а конь нужен сейчас.

Кухня и вправду уже ждала их в только что захваченной деревне. Вот молодец старшина! День выдался хороший. Даже, можно сказать, весёлый. Все живы. Раненых быстро отправили в тыл. Жалко только, что в Калуге не побывали. В Туле вот довелось. Щами с гусятиной угостили. На всю жизнь запомнится. А тут — не довелось. С другой стороны, что им было делать в Калуге? Город разбит. Народ голодный. Можно было бы отыскать семью Ванникова. Но что сказать его жене? Что не уберегли её мужа от немецкой пули? Рассказать-то, конечно, надо было. Где убит. Как воевал. Как о них тосковал…

Каша была вкусная. Гусёк так и хватал с ложки большими кусками. Задыхался, кашлял, шлёпал жадными губами, измазанными сажей. Без конца закидывал за спину свой ППШ. Приклад автомата он уже где-то порядком ободрал.

— Что ты, — сделал ему замечание пулемётчик Гридников, — как гончий кобель после охоты?..

Гусёк только засмеялся и отвернулся, чтобы кашлять в сторону. Ел он всегда много.

Прошли мимо миномётчики. Несли трофейный пулемёт и немецкие ранцы.

— Пригребай, ребята, к нашему котлу! — позвал их старшина.

Своих он покормил, можно было угостить и соседей, так выручивших роту во время боя.

Солнце уже зачерпнуло снега в дальнем поле, золотило густым уходящим светом соломенные крыши. Уцелела деревня. Уже и жители откуда-то появились. Ребятишки сновали среди бойцов. Их старшина тоже приказал кормить до отвала.

Вот бы и в свою родную деревню так войти, подумал Отяпов, глядя на ребятишек. Покачал головой, но никому об этой своей мечте не сказал. Он знал, что на войне о таком лучше молчать.

Отяпы были далеко. Но туда они уже шли.

Глава девятая. На Варшавском шоссе

Полк разгрузился на заснеженной станции.

Артиллеристы выводили из вагонов испуганных лошадей, скатывали по бревенчатым помостям дивизионные пушки. Орудия на резиновых колёсах мягко скатывались вниз, в снег, покачивались из стороны в сторону, словно живые.

В голове состава разгружалась санитарная рота. Там тоже стояли суматоха и гвалт.

Роты выгрузились быстро. Сложили на сани своё армейское добро: ящики с гранатами, цинки с патронами, какие-то мешки, от которых пахло съестным — не то сухарями, не то воблой. И через полчаса уже шагали взводными колоннами по натоптанному просёлку прочь от станции.

— Куда ж нас, братцы, гонят? — спросил боец из недавнего пополнения, прибывшего из Калуги.

В их полк влили несколько маршевых рот. Артиллерийский дивизион получил тут же, на станции, несколько новых орудий. Каждой роте выделили два пулемёта — из ремонтного фонда. «Максимы», брошенные по лесам и дорогам ещё во время осеннего отступления и собранные комсомольцами, отремонтировали на калужских заводах и распределили по ротам. Роты получали их как награды. Политруки даже короткие митинги провести успели: так, мол, и так, за успешную атаку населённого пункта такого-то и примерное выполнение приказов командования… Пулемётчики поклялись отомстить за погибших товарищей.

Один пулемёт достался Гридникову. Ему сразу же присвоили младшего сержанта и дали двоих бойцов из калужан. Один из них теперь тащил тяжёлое тело «максима» с ребристым кожухом, другой — станок. Гридников нёс покрашенный известью щит. Перехватил его трофейным ремнём, перекинул за спину и двигался в строю, как бронепоезд. Коробки с лентами, пользуясь своим новым высоким чином, он заботливо распределил среди бойцов взвода, так что ни одно из отделений не осталось без ноши.

Одна из коробок была поручена отделению Отяпова. И вначале её бережно нёс сам отделённый. Наконец Отяпов окликнул шедшего рядом Гуська и сунул ему в руки тяжёлую металлическую коробку. Её тоже кое-как, наспех, обмазали густой известью, она не успела высохнуть и замёрзла.

Маскировку наносили уже в эшелоне. Взводный принёс ведро с известью и приказал покрасить всё, что можно. На всё извести, конечно, не хватило. Но самое главное — каски и пулемёт — покрасили.

Шли уже несколько часов. К вечеру мороз начал прижимать. Особенно в поле. Так и жалил открытые места, давил на лоб и виски.

Вскоре впереди увидели холмы, которые грядой уходили вдоль шоссе на запад. У подножия холмов всё было запутано проволокой. Темнели следы танковых гусениц. В лощинке стоял сгоревший лёгкий Т-60. Корма у него была взорвана — видать, сдетонировали боеприпасы. Он уже порыжел от ржавчины, а сверху его прикрыло высокой снеговой шапкой.

— Вот тут, видать, и остановимся на постой, ребята, — невесело сказал Отяпов, оглядывая окрестность.

А окрестность и вправду была безрадостной.

Линия окопов тянулась по опушке реденького леса, иногда по чистому пространству среди одиноких кустов ивняка. Позади, судя по чёрным шишкам куги и зарослям камыша, болото. Там чернели свежие полыньи от разорвавшихся снарядов и мин. Полыньи были разного размера.

Не доходя до линии окопов, спустились в глубокий ход сообщения. Приказали нагнуть головы. Нагнули. Пошли на полусогнутых. Кому охота снайперу под пулю голову подставлять?

Отделению Отяпова достались тридцать метров неглубокой траншеи со снежным бруствером. Кое-где, где были устроены стрелковые ячейки, снег облит рыжеватой водой и заморожен. Под ногами зы́бало и чавкало — болотина. Траншея мелковата, но копать глубже нельзя, вот и намораживали их предшественники бруствер.

— Вот, командор, и попали мы, — сказал Лапин и начал по-хозяйски устраиваться в ячейке.

Бойцы своим новым окопом, да и всей позицией, доставшейся им по жребию войны, были явно недовольны.

Лапин ещё в лесу наломал сосновых веток и нёс их под мышкой. Теперь старательно укладывал их под ноги. Каждую веточку поправлял по нескольку раз. Кто-то, глядя на его старания, пошутил:

— Ты, Лапин, уж больно стараешься. Баба так постелю не стелет.

В ответ Лапин только усмехнулся. На вид ему было лет тридцать. Сухощавый, живой, как подросток. На тыльных сторонах ладоней густые аляповатые татуировки: на одной — восходящее или заходящее солнце с надписью «Север», на другой — череп с серпом и молотом на лбу и надписью «Печора». Видать, парень бывалый, поглядывая на своё пополнение, примечал Отяпов. Ну, ничего, тут нам не гладью вышивать. Бойцы Лапина сразу прозвали — Расписной. Тот не обиделся.

Ячейка, которую занял Отяпов, пахла мочой и болотиной. Под ногами валялся кусок кровавого бинта. Вмёрзший еловый лапник дышал и сипел. Иногда казалось, что стоишь на кочке среди болота и вот-вот ухнешь в прорву. Но это — когда одолевали дрёма и гиблые мысли. А так ничего, можно было терпеть. Позиция как позиция. Не они её выбирали, командование выделило. На войне солдату позиция — как долька на сенокосе: какая досталась, ту и коси.

Пришёл взводный и приказал выделить троих человек для строительства землянки.

Отяпов тут же занаря́дил троих калужан, старшим назначил Лапина.

— Ладно, мне не западло́ и на кума поработать, — согласился тот. — Для разнообразия жизни, так сказать. А где будем эту самую блатхату созидать? Да, командор, и вот ещё что: на круг всё же работать будем, доппаёк не предусмотрен?

Отяпов вытащил из кармана сухарь и сунул Лапину. Но тот отвёл его руку, засмеялся и пошёл по ходу сообщения за взводным.

Непростой ему попался человек, этот Расписной-Лапин. Взводный приказал присматривать за ним особо: мол, бывшие уголовники перебегают на ту сторону, чуть что — руки вверх… Вот не было заботы Отяпову, когда простым бойцом был, без должности. Только и отвечал что за свою винтовку и за свой окоп. Невеликое было хозяйство, и его Отяпов всегда содержал в образцовом порядке. А теперь.. На ж тебе, солдат, три «секелька» в петлицы и ответственность за целое отделение. Смотри за ними, обучай владеть оружием, приглядывай, чтобы самострел не сделали. Морока…

К ночи землянка была готова. Взвод потянулся на отдых. В окопах остались только наблюдатели и дежурные при пулемёте. Вот ещё и пулемёт… Расчёт младшего сержанта Гридникова напрямую подчинялся командиру взвода, но взводный включил его в отделение сержанта Отяпова.

Гридников со своими калужанами отрыли ещё один окоп — в зарослях кустарника, во впадине, где начиналась лощина, уходящая в сторону леса. Лощина та шла немного наискось, так что в случае необходимости он со своим расчётом мог свободно, не обнаруживая свой манёвр, перетаскивать пулемёт левее и прикрывать стык с соседним взводом. Там же окопались бронебойщики, оба расчёта.

Когда отделение ушло в землянку, Отяпов пошёл по ходу сообщения, чтобы ещё раз убедиться, что всё ладно.

Уже смеркалось. Левее, примерно в километре, гремело и перекатывалось эхом в глубину леса и по всему болоту. Там, видать, либо наши наступали, либо контратаковали немцы.

Прошёл мимо наблюдателя. Тот стоял, привалившись плечом к столбу, и жевал сухарь.

— Что, Никитин, сладок сухарь?

— Ещё как, Нил Власыч.

Все, кто шёл с ним от Рессеты и Тулы, называли его по имени и отчеству. Пополнение тоже постепенно перенимало порядки и неписаные законы, сложившиеся в отделении. Нил Власыч. Всё правильно. Какой он им «товарищ сержант»? Сержант… И слово-то какое-то не наше, не русское, а больше германское или французское…

— Всё тихо?

— Тихо, — ответил Никитин, кутаясь в полушубок.

— Затвор-то не примёрз?

— Да нет.

— Дай-ка посмотрю, — и Отяпов отвёл затвор винтовки Никитина.

Винтовка не новая, уже, видать, побывала в бою. Патрон был в патроннике, и Отяпов, убедившись в готовности бойца и его винтовки к самым решительным действиям, осторожно толкнул

боеприпас на место. Затвор ходил мягко. Смазку Никитин, как он им приказал ещё в эшелоне, протёр насухо. Калужане оказались людьми покладистыми и в военном деле сноровистыми. Не хуже тульских. Но те, пожалуй что, победовей.

— Смотри вон за тем склоном. Там у них окопы. Совсем близко.

— Да я уже понял. Мелькали там, котелками гремели. Сейчас затихли.

— Тоже наблюдают. Вот ты, Никитин, стоишь и за германцем наблюдаешь. А он, германец, тоже там стоит и за тобой наблюдает. Вон, ракеты начал пускать. Ты голову-то, пока она горит, убирай. Снайпер может работать. Если будет какое сомнение, кинь гранату. Понял? Только подальше. Чтобы своих не зацепить. Да и сам: кинул — и окоп… Граната хоть и своя, а тоже не разбирает, где свой, а где чужой.

— Спасибо, Нил Власыч, я всё понял, — кивнул Никитин.

Ночью отделение Отяпова подняли по тревоге. Ничего такого тревожного не оказалось. Просто из роты отряжали взвод на переноску боеприпасов, и несколько человек Отяпов отправил на неурочные работы.

Носили мины для тяжёлых миномётов. Сто двадцать миллиметров. Здоровенная, тяжёлая чушка.

Тропинка была проложена прямо по Шатину болоту, через лес. Там, в лесу, находился склад боеприпасов, хорошо замаскированный в оврагах среди вековых елей. Чтобы не демаскировать склады, днём туда никто не ходил, не ездил. Снаряды, мины и прочие огнеприпасы на позиции артиллеристов и миномётчиков доставлялись в тёмное время суток. Ночь в феврале дольше дня, и до рассвета бойцы успевали сделать по Шатину болоту от складов на позиции по три-четыре ходки.

Тропинка под ногами прогибалась. Особенно когда возвращались назад, с двухпудовой ношей. Мины перевязывали за хвосты ремнями, перекидывали через плечо или через голову — и вперёд. Дистанция десять шагов.

Хруп-хруп зыбкий ледок под ногами. Впереди идущий вытягивает шею из-под врезавшегося в плечи ремня, смотрит в глубину белого болота, покрытого пятнами от попаданий снарядов и мин. От них тянет тухлой болотиной. Чёрные полыньи паря́т, мороз им нипочём, словно изнутри их подогревает сама нечистая сила, прилетевшая сюда с Зайцевой горы.

Отяпов поправил сползшую вниз левую мину, заодно пощупал, ладно ли затянуты узлы. Подумал, тоже поглядывая в белое поле: летом, должно быть, тут полно утей. Гнездятся. Выводят утят. Корма полно. Укромно. Кустарник. Камыш. Узлы на хвостах мин надо было проверять постоянно, не развязались бы…

Впереди идущий начал сбиваться с ноги, вихлять и замедлять ход.

— Стёпин! — окликнул его Отяпов. — Не спи, гад ты такой! Угробишь себя и нас!

Разговаривать на тропе запрещено. Но Стёпин, идущий впереди, явно задремал и в таком ненадёжном состоянии может наделать беды куда хуже.

Стёпин оглянулся, махнул рукой: мол, всё в порядке, не сплю.

Не сплю…

Стёпин тоже калужский.

Стёжка начала отворачивать влево. Обходили полынью, из которой торчали покрытые инеем жерди. На жердях обрывки тряпья. Начальник склада, когда проводил инструктаж, рассказал: три ночи тому назад задремал на ходу боец, упал, мины ударились одна о другую и произошёл взрыв.

Отяпов посматривал за идущим впереди до самого конца болота. На твёрдом догнал бойца и ударил его кулаком между лопаток:

— Ты что, чёртов сын? Петляешь, как пьяная курица!..

— Виноват, Нил Власыч. Больше не повторится.

— Смотри…

До общего подъёма успели пару часов поспать. Спали не разуваясь. Зарылись в солому в углу землянки и тут же дружно, как сыны от одной матери, захрапели.

И приснился Отяпову сон. Будто идёт он по гречишному полю. Гречиха цветёт белым цветом. На вишнёвых стебельках тяжёлые гроздья цветков. Эх, какой урожай будет, думает Отяпов! А солнце над полем такое жаркое, доброе, на всё хватает его тепла — и на гречишное поле, на цветы, на лес, мреющий среди зноя тёмно-зелёными соснами и бархатистыми осинами, на него, Отяпова, чтобы он не мёрз посреди февральского болота. Но это ещё не весь сон. Самое радостное в нём было то, что краем поля, только с другой стороны, шла женщина. Отяпов смотрел на неё и вроде бы узнавал, а вроде бы и нет. Решил окликнуть по имени. Имя он вроде как тоже знал. Набрал в грудь воздуха, чтобы осилить крик… Но тут его толкнули в бок. Разбудил какой-то гад распоследний из отделения…

— Вставай, Нил Власыч. Каша пришла.

Тьфу, подумал с досадой Отяпов. Но каша — тоже дело неотложное. Надо подниматься. А в глазах стояли, холодили веки слёзы. Так жалко, что сон не досмотрел.

Только успели управиться с кашей, зашевелился весь полк. Доскабливали котелки уже в ячейках.

А на гряде высот, по гребню и скатам, уже поднимались чёрные столбы взрывов. Неужели артподготовка? Вон для какого дела они мины всю ночь носили. Сердце у Отяпова заколотилось. Он оглянулся на своих. Лица у всех посерели, вмиг осунулись. Поняли, что сейчас будет.

Артиллеристы и миномётчики ещё покидали снарядов и мин по гребню высоты. Взводный выскочил на бруствер, поскользнулся на обледенелом скате, упал, выронил свой пистолет. Тут же торопливо поднялся, снова полез на бруствер. Пистолет ему подали.

— Вз-зв-во-од!—закричал он, не теряя решительности.—За мно-о-ой!..

Левее, натужно ревя моторами, шли три танка. Две «тридцатьчетвёрки» мощно пробивали в снегу глубокие туннели. За одной из них, немного отстав, шёл т-40.

Лейтенант бежал впереди и часто оглядывался на бойцов, которые барахтались в снегу позади него, широко растянувшись по полю.

— Гусёк, Лапин! Давай за мной!—и Отяпов перевалился через снежный отвал и побежал за «тридцатьчетвёркой» по рыхлому гусеничному следу.

Он знал, что сейчас, когда немецкие противотанковые пушки начнут стрелять по танку, на линии огня окажутся и они. Но ползти по глубокому снегу, а потом перебираться через заграждения из колючей проволоки было ещё опаснее. Сапёры ночью ползали на нейтралку, снимали мины и резали проволоку. Немецкие дежурные пулемёты их отпугивали. И неизвестно, где сапёры сняли мины, а где нет.

Немецкие противотанковые орудия заработали в тот момент, когда «тридцатьчетвёрки» подошли к линии проволочных заграждений. Одна трасса прошла над танком выше, даже не задев его. Другая чиркнула по башне и, изменив траекторию, прошуршала над головами бойцов, бегущих за танком. Они инстинктивно попáдали в снег. Но тут же поднялись и побежали дальше. Третье попадание оказалось более точным. Трасса рассыпалась брызгами электросварки на наклонной лобовой броне. Танк вздрогнул, будто на всём ходу наскочил на камень, прятавшийся под снегом, но продолжал идти вперёд. «Тридцатьчетвёрка» то зарывалась в глубокий сугроб, то вскидывалась, разбрасывая блестящими гусеницами куски наста, словно в своём порыве хотела взлететь над землёй и поскорее добраться до немецкой траншеи.

Лёгкий т-40, шедший позади, делал короткие остановки и стрелял из обоих пулемётов. Особенно отчётливо слышался басовитый стук крупнокалиберного дшк. Башенный стрелок, должно быть, засёк позицию пто и теперь молотил из пулемётов в одном направлении. И орудие вскоре замолчало.

Треснули столбы, и «тридцатьчетвёрка» протащила вперёд проволоку, потом развернулась и пошла левее, по лощине. Теперь огонь противотанковых пушек, стоявших на прямой наводке на склоне высоты, ей был не страшен. Она оказалась в «мёртвом» пространстве.

Отяпов оглянулся, и холодный пот побежал по позвоночнику под ремень: вторая «тридцатьчетвёрка» и лёгкий пулемётный танк пятились назад. Они вели частый огонь и уходили по своему следу к окопам, откуда начинали атаку. Пехота слева тоже стала нырять в снег и вскоре исчезла. Осталась только их рота и правофланговый батальон. Батальон уже карабкался вверх и вёл автоматный огонь.

— Давай, ребята! Вперёд!—что есть силы закричал Отяпов своим бойцам, чувствуя, что все ждут его команды.—Если тут заляжем, пропали!

Немецкий пулемёт повёл огонь вдоль наступающей цепи, больше захватывая порядки соседнего батальона. Но Отяпов знал: как только они начнут подниматься по склону вверх, к первой немецкой траншее, он перенесёт огонь на их линию. А пока для немцев, обороняющихся на склоне высоты, они были менее опасны.

Перед тем как подниматься вверх, залегли. Отдышались. Пулемёт молотил вверху и немного левее.

— Кто пойдёт к пулемёту? Нужны двое. С гранатами.

Бросать гранаты в отделении умели не все. Некоторые гранат просто боялись. Отяпов даже не был уверен, все ли взяли их с собой.

Бойцы молчали. Слышны были только кашель и хриплое дыхание.

Тогда Отяпов позвал двоих—Лапина и Никитина.

— Не бойтесь, ребята,—сказал он им, перекладывая гранаты из вещмешка в карманы.—Я пойду с вами.

Когда они поднялись по склону выше, Отяпов оглянулся: внизу лежало ослепительно-белое пространство, чистое, широкое, как поле за его родной деревней, испорчено оно было несильно и только в некоторых местах—копотью редких свежих воронок, которые ещё не прикрыл снег, и бороздами танковых гусениц. Там и тут бугрились серые холмики убитых. Возле некоторых уже копошились санитары. Танки уползли за окопы и маневрировали в перелеске. Только «тридцатьчетвёрка», прорвавшаяся в лощину под скатом горы, не бросила их и вела частый огонь по высоте. Снаряды рвались точно по гребню, где проходила немецкая траншея.

Подползли совсем близко.

— Ну, командор, кто ему рога ломать полезет?—спросил шёпотом Лапин.

Отяпов посмотрел, как затянуло тоскливой пеленой глаза Никитина, и ворохнулся было вперёд, но Лапин остановил:

— Как масть ляжет, так и будет. Я—первый.

После, когда ворвались в траншею и в короткой схватке выбили немцев из первой линии, Лапин, задыхаясь от неостывшего азарта и кашля,

рассказывал, как он справился с немецким пулемётчиком, а потом собирал трофеи в захваченном блиндаже:
— Ну, тут я ему акулу под ребро... Повалил оленя, покропил снежок красненьким... А там у них барахла всякого...
— Ловкий ты парень, Расписной! — хватили его бойцы. — Фартовый! Или как там у вас?..

Лапин, явно польщённый похвалой, рассказывал дальше. Все его с удовольствием слушали, будто сами только что были не здесь, не в месиве рукопашной, а где-то далеко, где ни стрельбы, ни немца, ни пуль над головой.
— Ну, тут я гляжу — тормоз[2] в конце хода. Аг-га! Я его — на себя. Гранату вперёд, на гостинец. И весь хабар, что там был, — мой! Один олень ещё живой. Ну, я ему прикладом, как вон Нил Власыч учил. Подмотал вату[3] — и ходу. Вот всё, что честно добыто, так сказать, в доблестном бою... — И Лапин пнул носком сырого валенка немецкий ранец. — На всю хевру, конечно, не хватит. Но можно и ещё пошмонать.
— Документы соберите, — приказал Отяпов.

Атакой он был доволен. Особенно Лапиным. И вправду парень фартовый. И подумал: надо бы взводному доложить, кто уничтожил пулемётный расчёт и кому они обязаны, что ещё живы.

Начали устраиваться. Выбросили трупы немцев. Рядом, на брустверах в сторону второй немецкой линии, выложили своих. Им теперь всё равно. Через час-другой застынут, никакая пуля не возьмёт. И послужат ещё...

Спустя некоторое время внизу, возле проволочных заграждений, появилась «тридцатьчетвёрка», та самая, которая ушла по лощине влево и которая так помогла им во время атаки. Теперь она уходила назад. Видимо, отозвали. У неё командование было своё.
— Ушли наши танки, — сказал кто-то из бойцов.
— У танкистов своя работа.
— Это так. Попукали и ушли.

Бойцы материли танкистов. Но вскоре успокоились. Кто раскладывал в нише трофейные гранаты, кто курочил немецкий ранец, кто грыз свои сухари. Ждали контратаки. И не напрасно.

Немцы контратаковали уже в сумерках.

Глава десятая. «Танки!»

Вначале обработали из миномётов. Да так, что тела убитых и раненых выбрасывало из окопов. Тяжёлые мины ложились парами.

Когда начало трясти землю, Отяпова затошнило. Хорошо, что ничего не ел, подумал он, сплёвывая под ноги горькую желчь тягучей слюны. Зашумело в ушах. Контузия, сволочь такая...

Он пришёл в себя оттого, что кто-то с силой тряс его за плечи. Пелена перед глазами рассеялась, и он увидел искажённое ужасом лицо Гуська. Случилось что-то страшное, понял Отяпов и попробовал встать. Все суставы болели. Руки-ноги дрожали.
— Танки! — услышал он голос Гуська.

Через них перепрыгнул лейтенант. Тут же резко ударила бронебойка. Обдало снегом и мёрзлой землёй.

Началось... Ничего, сейчас встану и я... Отяпов навалился грудью на бруствер. Затолкал в магазин новую обойму. Уже понесло по траншее пороховой дымок. И этот запах, почти родной, как махорочный дух, заставил Отяпова внутренне встрепенуться, взять себя в руки.

Снова ударила бронебойка. Отяпов оглянулся. Первый номер в расстёгнутом полушубке стоял на коленях в снежном ровике и, плотно сжав губы, тщательно прицеливался — туда, вдоль склона, где, должно быть, и происходило самое страшное.

Выстрелил и Отяпов. Теперь он видел, в кого надо стрелять.

Немцы атаковали тем же манером, что и они. Танки шли впереди. Пехота небольшими группами, до отделения, не больше, продвигалась под их прикрытием.

Отяпов стрелял, выцеливая синие в вечерней мгле фигурки немецких пехотинцев, мелькавшие за коробками танков. Иногда, меняя обойму, оглядывался в глубину траншеи, приглядывал за своими, стреляют ли. Грохот стоял кругом. Стреляли все.

Танк, шедший прямо на их окопы, неожиданно резко развернулся и осел на правую сторону, выбрасывая из-под себя снег и мёрзлую землю.
— Патрон! Быстро! — крикнул бронебойщик своему второму номеру.

Вот молодец Тимир, с благодарностью подумал о бронебойщике Отяпов.

Танк развернуло боком к их окопам. Теперь в него стреляли все. И вскоре он задымил. Открылся верхний люк, и из него кубарем выкатился танкист, спрыгнул по броне вниз и исчез в снегу.

Ловок... Жить охота... Второго Отяпов не пропустил. Немец повис на броне, потом сполз на корму. И вскоре начала дымиться, а потом загорелась его одежда. Танк охватило пламя, начались рваться боеприпасы.

Два других танка остановились, сделали по нескольку выстрелов и стали пятиться назад. Пехота залегла, открыла огонь. Перестрелка длилась минут пять. Потом погасла. Немцы короткими перебежками отходили во вторую линию своих окопов. Не вышло у них с контратакой, и они отошли.

Ишь как воюют. Осторожно. Не то что мы. Так думал Отяпов, выглядывая из окопа и определяя, откуда может прилететь пуля или мина.

2. Тормоз — дверь *(жарг.)*.
3. Подмотать вату — собрать вещи *(жарг.)*.

Но ничего опасного, кажется, не заметил. Можно было отдохнуть.

Об убитых и раненых траншея молчала. Не потому, что бой прошёл без потерь, а просто об этом принято было молчать, пока взводный не затребует у командиров отделений список убитых и раненых. Взводному, видать, было не до того. Пробежался по траншее и пропал где-то в стороне нп командира роты.

Ночью бойцы ходили к танку—греться. В окопах было холодно, но пуще холода бойцов одолевало любопытство. Многие чужие танки видели только на листовках, которые поучали бойца Красной армии не бояться танков противника и указывали их уязвимые места. Спасибо бронебойщикам. Если бы танк долез до траншеи, наделал бы много беды.

Отяпов тоже хотел сходить посмотреть, как его, чёртова сына, раздуло от внутренних взрывов. Но усталость разламывала всё тело, клонило в сон, да так неодолимо, что, кажется, захворал, и эта хвороба захватывала его такой неодолимой силой, так корёжила и мучила ослабевшее, беспомощное тело, что он едва сдерживался, чтобы не застонать в полусне. Уснуть тоже не мог. Проклятая контузия…

Утром, когда наступил артиллерийский рассвет, прилетели самолёты. Никто их не отгонял, ни истребители, ни зенитки. Пикировщики выстроились гигантским колесом и парами бросались на отбитые окопы.

Как ни странно, но бомбёжку Отяпов вынес легче.

Самолёты заходили снова и снова. Когда очередной «лаптёжник» зависал над линией окопов и от него отделялась, будто помёт, бомба, казалось, что она-то вот сейчас и прилетит к нему. Но спустя мгновение бомбу сносило куда-то в строну. И опять жизнь продолжалась. Не так-то просто было попасть в узкую, как жилка, траншею.

Самолёты улетели. Наступила тишина. И что стряслось, откуда прозвучала эта команда, а может, никто и не подавал никакой команды, а с людьми, сразу со многими, произошло нечто, что заставило их выскочить из окопов и бежать сломя голову вниз по склону, к своей линии?

Напрасно лейтенант размахивал пистолетом, выскочив наперерез бегущим. Его сбили с ног, и, наверное, затоптали бы, если бы не Отяпов. Он подхватил лейтенанта под руки, поставил на ноги и толкнул вниз. И через мгновение тот уже бежал, спасался вместе со всеми тем же резвым аллюром.

В окопах их встретил комбат Титков. Он стоял на бруствере и, выбирая из оравы бегущих кого-нибудь одного, тщательно прицеливался из револьвера и нажимал на спуск.

— Трусы! Мать вашу!..—матерился он и снова тщательно прицеливался, чтобы ни одна пуля не пропала зря.

Револьвер прыгал в его руках, как механический молоток, которым он уверенно забивал гвозди в бегущие ему навстречу тела. Когда патроны кончились, он открыл барабан и начал его торопливо заряжать. Но в это время бегущая лава хлынула в окопы, и комбата Титкова сбили с ног. Кто-то вырвал из его рук револьвер и отбросил в сторону, за бруствер. А что произошло через мгновение, толком никто так и не мог потом вспомнить.

Глава одиннадцатая. Окружение

В полдень по ходу сообщения ходил командир полка. Пожилой, постарше Отяпова, полковник с седыми усами, в белой каракулевой шапке. Его осунувшееся лицо, казалось, не выражало ничего, кроме усталости.

— Что ж вы, братцы, натворили?—приговаривал он, заглядывая в лица бойцов.—Что ж вы, ти-вашу-разъети?..

Бойцы при виде полковника вытягивались в своих тесных ячейках, прижимая к бокам винтовки, будто боясь, что сейчас тот потребует показать ему штык и скажет: «Вот он!»

Комбата нашли в траншее с пробитым боком и стреляной раной. Кто-то из бежавших бойцов всадил ему штык и одновременно выстрелил. Если бы только выстрелил, может, сошло бы за пулю с той стороны. Но штык, пропоровший Титкова насквозь… К тому же тело комбата было измазано глиной и грязным снегом, будто по нему топтались.

Отяпов знал капитана Титкова давно. И о том, что с ним случилось, нисколько не сожалел. Подумал: место тебе, чёртов сын, на дороге, возле Рессеты надо было ещё… Скольких он положил из своего револьвера, полковник почему-то не считал и о них не сожалел. Вот о них-то, безвинно попавших под пули комбата, Отяпов горевал. Ладно б в бою…

О случившемся во взводе помалкивали. Молчали и рота, и батальон. В штабах, среди офицеров, может, и растолковывали гибель капитана Титкова на или иные лады, пытаясь понять, что же произошло, но в окопах молчали. Хотя, по лицам было видно, думали все.

Вместе с полковником в роту пришли два младших лейтенанта из штаба дивизии—дознаватели особого отдела.

Отяпов посматривал на Лапина. Тот не подавал виду. Но притих. За всем, что происходило в траншее, будто со стороны наблюдал. Глаза так и бегали. Всё делал осторожно, даже ходил и садился на ящики осторожно. И больше слушал, чем сам говорил.

Когда ввалились в окопы и начали разбираться, где свои, а где чужие, из других взводов, когда ещё не разошёлся слух об участи капитана Титкова,

Отяпов видел, как Лапин менял штык. Сдёрнул штык с винтовки убитого, а свой снял и сунул под еловую подстилку.

— Слышь, командор,— шепнул Лапин Отяпову,— как думаешь, кто хозяина заколбасил?

Отяпов ничего не ответил, даже не взглянул в сторону Лапина. И тот заметно заволновался. Снова зашептал:

— Никак следаки пришли? Как думаешь, шмон будет?

— Ты штык-то поглубже припрячь,— отмолвил ему Отяпов и посмотрел в глаза так, чтобы тот больше не заговаривал о том, о чём все молчали.— А лучше прикопай. И обойму дозаряди. Понял?

Лапин взгляд выдержал. Ухмыльнулся.

— Понял, командор. Понял, не дурак. А кроме тебя, кто-нибудь видел?

— Кто видел, тот будет молчать.

— Ну-ну,— ухмыльнулся Лапин.— Командирам следует доверять…

Младшие лейтенанты начали по очереди вызывать бойцов в землянку. Но после второй пары в роту прибежал повар Улыбин и сказал, что в лесу он напоролся на колонну танков и грузовиков с солдатами. Немцы ехали со стороны Варшавского шоссе в сторону Юхнова. Коня и котёл он бросил и сам насилу вырвался живой.

— Чтоб ты сдох!— сказал пожилой бронебойщик.

Больше Улыбину никто ничего не говорил.

Все скорбели о котле с кашей. О выбывшем коне никто, кроме повара, не вспоминал. Но появление немецкой колонны в тылу обеспокоило больше. Ротный тут же схватил Улыбина за ремень и потащил в штабную землянку. Командир полка был ещё на НП, слушал показания бойцов, которые в момент гибели комбата были рядом или поблизости. Когда ротный доложил о немецкой колоне в тылу, полковник побледнел, а дознаватели тут же выгнали допрашиваемых из землянки и засобирались в штаб дивизии.

Выслали разведку. Разведка ещё не вернулась, а левофланговый батальон уже вступил в бой с перевёрнутым флангом, отбивая атаку немецкой мотопехоты.

Бой длился до самой ночи. Ночью рота отошла к болоту. А утром пронеслось: «Отрезаны».

Когда отходили к Шатину болоту, осколком мины ранило Гуська. Автомат он отдал Курносову. Гуська перевязали и увезли на санитарной повозке. Повезли его по единственной дороге вокруг болота, которая пока ещё оставалась в их руках. Раненых возили в лес. Говорили, что там, в оврагах, рядом с артиллерийскими складами, был развёрнут полевой госпиталь.

Остаток ночи прошёл без сна и покоя. Зарево полыхало повсюду. Кругом гремело. Бывалые бойцы сразу определили, что работает тяжёлая артиллерия. А это означало, что происходило что-то серьёзное. Но больше всего настораживало то, что раненых перестали вывозить в тыл.

Утром стало известно, что немцы рассекли порядки армии на две части и одну из них, около трёх дивизий с частями усиления, а также тыловые службы и учреждения, окружили.

Отяпов знал, что такое окружение и чем это обычно кончается.

Бойцы сгрудились возле своего лейтенанта. Тот молчал. Он и сам знал не больше других. Но бойцы с надеждой смотрели на него. Ждали, что вот-вот начнётся прорыв. Командиры повыше взводного тоже молчали. Куда-то ездили на лошадях, кричали друг на друга. Матерились. И видеть это, особенно тем, кто в окружении уже побывал и понимал, что в таких случаях будет через час-другой, становилось невыносимо.

Прошли ещё сутки. Рота оставила просёлок и ушла по тропе через болота в лес. Из-за болота было видно, как по дороге двигались немецкие танки в бело-полосатом камуфляже с жёлтыми крестами.

Вскоре заговорили о прорыве. Но точных сведений по-прежнему не было: когда, где, на каком участке, и какова при этом будет задача их роты и батальона.

Наконец, в ночь назначили прорыв. Приказали изготовиться.

Почистили оружие, приготовили гранаты. Старшина раздал сухари и сушёную воблу. Костров разводить не разрешали. Пожевали воблы с сухарями. Запили вонючей болотной водой.

Наступление почему-то задержалось — начали только к утру, когда стало светать. И сразу же первые эшелоны попали под миномётный и артиллерийский огонь. Ничего не вышло. Народу на опушке и в оврагах, по которым передвигались колонны первого эшелона, оставили много. Долго оттуда доносились стоны и крики раненых.

Санитары несколько раз пытались вернуться, чтобы хоть более или менее надёжных вытащить, но их отгоняли немецкие «кукушки», которые расселись по деревьям и открывали огонь по любому движению или шороху. Санитары рассказывали, что немцы ходят по оврагам и добивают раненых штыками.

Лапин теперь не отходил от Отяпова. Он знал, что отделённый уже бывал в окружении, что вышел и вывел людей. Инстинкт человека, не раз побывавшего на краю, безошибочно подсказывал ему, что на командиров надежда плохая, а этот неказистый с виду ефрейтор знает то, чего не знают многие, что вдобавок ко всему он человек фартовый и что его фарт и опыт помогут ему и, возможно, тем, кто окажется рядом с ним, и на этот раз.

Однажды Отяпов вышел к дороге, а навстречу Лидка гонит санитарные сани. В санях раненый,

до глаз замотанный бинтами. Битны промокли, сочились кровью.
— Дядя Нил! И ты тут?
— А где ж мне быть, милая? Где беда, там и я. Гуська, автоматчика моего, не видела?
— У нас он. Операцию сделали. Осколок вытащили.
— Ну как он?
— Лежит.
— А покормили ж вы его хоть? Или голодный погибает? На-ка, Лидушка, передай ему гостинцы,— и Отяпов протянул Лиде свёрток, где хранился остаток его сухпайка—кусок воблы и несколько сухарей.
— Не надо, дядя Нил. У нас кухня своя. И концентраты пока есть.
— Ну, гляди. Парня мне не погуби. Передай от меня ему поклон.

День прошёл в скитаниях по лесу. Куда шли? Кто их вёл? Что их ждало в конце пути? Уже никто не заботился о том, что роту надо кормить, пополнять подсумки патронами, а раненых и больных отправлять в лазарет. Старшина куда-то пропал. Ротный с санинструктором и связистами тоже ушёл в голову колонны, где, говорят, двигался штаб полка.

К вечеру на них налетели самолёты. Та же стая пикировщиков. Посыпались бомбы. Когда запас бомб иссяк, самолёты заходили и атаковали вновь и вновь, простреливая лес и овраги из пушек и пулемётов. Народ разбегался по лесу. Многие так и не вернулись назад. То ли побило их, то ли разбрелись, уже не надеясь на командиров.

Не досчитался и Отяпов в своём отделении троих бойцов. Вписал их фамилии в бумагу, выданную старшиной роты, а тот внёс в список безвозвратных потерь. Все трое остались на высоте, там их упокоили немецкие пули. Гусёк—в полевом госпитале. Так что Отяпов сразу осиротел. Привык к Гуську, к тому, что этот весёлый и простоватый парень всегда под рукой. После боя на высоте остался с Лапиным и Курносовым. Вот и всё его отделение.

На ночёвку остановились в глухом овраге. Хорошо, что разрешили разжечь костры.

Пришёл ротный, посмотрел на них, сидящих возле костерков, покачал головой и снова куда-то пропал. Хорошо, что хоть взводный всегда был рядом.

Вокруг лейтенанта их оставалось двенадцать человек. Вместе с противотанковым и пулемётным расчётами. Ни ружья, ни пулемёта взвод не бросил, хотя бегали много. Второй расчёт погиб—мина попала прямо в их окоп, когда сидели на высоте.

На третьи сутки пришёл незнакомый полковник и сказал, что он будет их выводить и что в группу прорыва нужны автоматчики. Увёл из роты троих автоматчиков, в том числе и Курносова.

Группа прорыва начала строиться на южной опушке леса. Остальным приказали ждать. Как только они прорвутся—за ними.

Прибежала Лида:
— Раненых приказано оставить.

Глаза заплаканные, губы то ли растрескались до крови, то ли искусала.
— Как оставить?!—Отяпов чувствовал, что что-то должно произойти такое, что, пожалуй, похуже окружения и гибели в этих проклятых болотах и чего на войне он ещё не испытывал.—А ну-ка, рассказывай, как туда пройти.
— Куда ж вы пойдёте, дядя Нил? Там, может, уже немцы.
— Далеко от складов они лежат?
— Рядом. Западнее, первый овраг,—и словно подтолкнула его:—Гусёк ваш там. Там он, дядя Нил. Я его видела.

Отяпов бежал так, как даже от немцев не бегал. Стёжка к госпиталю была хорошо натоптана. Даже не одна. Он бежал по санному следу и вскоре увидел то, что осталось от артиллерийских складов. Боеприпасы, видимо, все вывезли. Пока сидели в окружении, артиллеристы израсходовали остатки запасов. Кругом валялись пустые ящики, несколько конных передков без колёс. А дальше санный след превращался в серое, в кровавых бинтах, месиво, скопище ползущих и ковыляющих людей. Одни двигались по дороге. Другие расползались по лесу. Это были раненые. Стоял невообразимый стон, крик, брань и проклятия.
— Гусёк!—закричал Отяпов.—Ты где, Гусёк?

Лица, которые нескончаемой чередой мелькали перед ним, были чужие, заросшие щетиной, злые.

Господи, ужаснулся Отяпов, да как же это раненых-то бросили…

Кто-то ухватил его за валенок. Отяпов машинально отдёрнул ногу. Господи, что ж это?.. Где Гусёк?
— Гусёк!—снова закричал он, раздирая морозным дыханием горло.

Вокруг хрипели чужие голоса.

Он спрыгнул в овраг. Раненые здесь лежали правильными рядами на подстилке из еловых лапок. Сверху прикрыты одеялами и шинелями.

Гусёк лежал возле большущей ели. Сучья у ели были обрублены снизу. Видимо, пошли на подстилку.
— Гусёк! Что ж ты лежишь? Надо уходить!

Гусёк плакал. Слёзы бежали по его грязным щекам блестящими дорожками и дымились.
— Ты за мной, дядя Нил?
— За тобой, за тобой, сынок.

Отяпов освободился от винтовочного ремня, перекинутого через голову.

Рядом с Гуськом лежал пожилой боец с артиллерийскими петлицами. Ноги его были укутаны. Сквозь одеяло сочилась кровь.
— Что, за сыном пришёл?—сказал он тихо.
— За сыном.

Слава Богу, Гусёк был жив. Лида сказала, что осколок вынули. А значит, была операция. Отяпов знал, что после операции тревожить человека нельзя. Но как же тут не тревожить?

— Слышь, браток, ты меня… такого… не оставляй,— артиллерист смотрел на него глазами человека, который уже знал свою судьбу до конца.

— Как же я вас двоих-то понесу?

— Ты неси его. Он молодой, ему ещё жить и жить. А меня…— артиллерист указал дрожащим пальцем на винтовку, которую Отяпов сунул прикладом в снег, и она теперь стояла послушно рядом с ним, как живая.

— Что ты? Я такое не смогу…

— Сможешь. Бросить нас смогли. А стрелять— легче. Поверь мне, легче. Я стрелял. В октябре, под Вязьмой. Так что давай.

— Да у меня и патронов-то нет,— стал отговариваться Отяпов, чувствуя подступающий ужас и власть неподвижного взгляда артиллериста.

— И меня,— вдруг послышалось из-под другой шинели.

— И меня…

— И меня…

Он завернул Гуська в одеяло, перекинул его через плечо и, опираясь на винтовку, как на посох, трюшком побежал вдоль оврага назад, к артиллерийскому складу, к дороге. Голоса оставшихся в овраге ещё долго гудели в голове, догоняли его, стучали в затылок.

В стороне леса, где осталась рота и где незнакомый полковник собирал автоматчиков в группу прорыва, послышались стрельба и хлопки гранат. Значит, пошли.

Отяпов пересёк дорогу и зашагал напрямую, по глубокому снегу. Так, казалось, ближе до южной опушки. Может, всего с километр.

Гусёк потяжелел. Похоже, он был без сознания. Но тёплый. Значит, живой, с надеждой думал о своём боевом товарище Отяпов. Через одеяло он чувствовал его живое тепло.

В стороне санной дороги заурчал мотор. По звуку—немецкая танкетка. Отяпов присел, прислушался. Так и есть—танкетка. Как Бог его отвёл от дороги?..

Там закричали нечеловеческим криком. Танкетка взревела мотором, понеслась в глубину леса. Давит, гад, догадался Отяпов. Такое он уже видел, когда от Брянска бежали к Туле.

Силы ещё были. Он лез по глубокому снегу, тащил свою ношу и чувствовал, что этот километр он пройдёт без остановки и отдыха.

Так и вышло. Но когда он вернулся в знакомый лес, где оставил свой взвод и Лиду, никого живого там не нашёл. И лейтенант с остатками взвода, и рота, и полк—все ушли. В затоптанном снегу лежало только с десяток убитых. Рядом валялись их винтовки. Подсумки на убитых расстёгнуты и пусты.

Следы вели в одну сторону. Отяпов пошёл по ним. Куда ушёл полк, туда надо и им. Куда же ещё?..

На опушке лежало ещё несколько трупов. Все— головой туда, куда ушёл в прорыв полк.

Дальше он решил идти не по лугу, а лесом, вдоль опушки. Так безопасней. Хотя глубокие и уже смёрзшиеся тропы в снегу манили тем, что передвигаться по ним было значительно легче, чем по целику.

Так он прошёл ещё с километр.

Стрельба уходила правее и дальше. А он, держа вдоль опушки, поворачивал в тишину. Впереди было тихо. И там же, впереди, светился прогал. Узкая поляна, уходившая в глубину леса. Видимо, лесной покос. Или просека. А может, дорога, воробьём встрепенулась в груди надежда.

Обходить её Отяпов не стал. Слишком далеко. Силы надо было беречь.

Когда он вышел на просеку, почувствовал, что он тут не один. За ним кто-то внимательно наблюдал. Чужой. Внутри похолодело. Отяпов оглянулся и посмотрел из-под своей ноши в глубину просеки. На густой сосне сидел человек. Сидевший был замаскирован сосновыми ветками и куском белой материи. Но опытный взгляд охотника разглядел его среди маскировки. «Кукушка». Снайпер. Или наблюдатель. Что тут делать наблюдателю? В белом маскировочном халате. Человек смотрел в бинокль. Смотрел на них. На то, как один тащит другого, опираясь на винтовку, словно на посох.

Когда же он выстрелит, напряжённо думал Отяпов. Вот сейчас… Сейчас… Самое время… Ещё шаг… Ещё два… До леса шагов пятьдесят, а по такому снегу—ещё больше. Сейчас…

Немцы так и не смогли запечатать «котёл» со всех сторон сильными отрядами с артиллерией и танками, как они умели это делать в подобных случаях. Часть окружённых числом до полка организовала прорыв, смела пехотный взвод с тремя пулемётами и ушла в сторону основной обороны.

Чтобы тем же маршрутом не воспользовались оставшиеся мелкие группы и одиночки, по периметру коридора были оставлены снайперы. На большее сил и средств пока не хватало.

Обер-ефрейтор гренадерской роты Норберт Франке занял свою позицию ещё утром, до появления русских. Когда иваны повалили сплошным валом через открытое пространство, он буквально за две-три минуты расстрелял обойму. Но другую заряжать не решился. Пять пуль он выпустил точно, без промаха. Пять иванов споткнулись, выпали из потока и теперь лежали на затоптанном снегу, медленно покрываясь сизым инеем. Вполне достаточно для того, чтобы сегодняшнюю охоту считать удачной.

И когда на просеку вышел ещё один иван со своим полуживым товарищем на плече, обер-ефрейтор задумался. Винтовку он зарядил. Но стоило

ли добивать этих бедолаг, опоздавших в прорыв? Всё равно они далеко не уйдут. Замёрзнут в каком-нибудь ближайшем овраге. Остановятся на отдых и замёрзнут. Задремлют от усталости и потери сил и замёрзнут. Скульптуры отдыхающих иванов, пытавшихся выбраться из окружения и присевших в овраге на пару минут, он видел уже не раз.

Норберт Франке поднял к глазам бинокль и начал внимательно рассматривать бредущих.

Раненого нёс коренастый красноармеец лет сорока. Раненый был завёрнут в одеяло. И это показалось старшему ефрейтору весьма трогательным. Такого он ещё не видел. Разведка сообщила: там, в лесу, иваны устроили госпиталь, раненых много, больше двух тысяч. Но санитарного обоза во время прорыва Норберт Франке не наблюдал. Значит, раненые брошены. Большевики делали это и осенью прошлого года. Жутко было смотреть.

А этот тащит. Должно быть, уверен, что дотащит. Кто они друг другу? Возможно, никто. В окопах месяц назад познакомились, стали товарищами. Обычная история.

Однажды Норберту тоже пришлось тащить на себе раненого напарника. Наблюдателя. Случилось это в ноябре, на Оке. С тех пор он ходит на охоту один. Раненого товарища бросить невозможно. Даже если у самого сил нет.

Коренастый словно что-то почувствовал. Начал оглядываться. Конечно, почувствовал. Вот оглянулся в его сторону, и Норберту Франке показалось, что взгляды их встретились.

Если сейчас он бросит раненого и схватится за винтовку, я прикончу их обоих, подумал обер-ефрейтор Франке. Тогда эти два ивана закроют ровно две дюжины. Хороший счёт.

Своего напарника он тогда донёс до лазарета. За что и был повышен в звании.

Нет, русский не думает стрелять. Должно быть, понял, что это бессмысленно. Неужели он рассчитывает на моё великодушие? Тащит, не бросает... Что ж, как видно, и иванам не чуждо чувство фронтового товарищества...

Обер-ефрейтор Франке продолжал наблюдать в бинокль за бредущими целями. Он всё ещё не решил до конца, как ему поступить.

Через несколько минут, когда русские исчезли среди берёз, он подумал уже о другом: внизу, под сосной, был прикопан в снегу его ранец, в котором лежали кусок колбасы, хлеб и термос с горячим кофе. Это теперь занимало больше. Такова сущность солдата. А Норберт Франке был солдат. И, как он считал, хороший солдат. Именно такими, как он, был силён рейх, и теперь весь мир трепещет перед его марширующими железными колоннами. Остановка перед Москвой временная. Конечно, временная.

Отяпов вышел к своим, когда уже совсем стемнело. Бредущих по дороге окликнул часовой. Отяпов ответил, что такого-то полка, что выходит из окружения... Часовой, к счастью, не выстрелил. А мог бы сперва выстрелить, а потом окликнуть. Оказалось, вышел на позиции соседней дивизии, которая в окружение не попала. Часовой был предупреждён, что на этом участке возможен выход мелких групп и одиночек. Потому и не выстрелил.

Ночью пришла санинструктор и осмотрела Гуська. Поменяла повязку. Сказала, что всё хорошо, но раненого надо отправлять в тыл как можно скорее.

Утром пришли сразу несколько человек. Отяпов помогал погрузить Гуська в санитарные сани. Попрощался. Сказал:

— Ты, Гусёк, давай поскорее выздоравливай и — назад, в свою роту. Понял?

— Понял, дядя Нил, понял. Ребятам привет передавай.

— Передам, — ответил Отяпов, а сам подумал: хорошо, если кто-то остался...

Лейтенант, который тоже хлопотал на погрузке раненого Гуська, остался возле землянки. Санитар и санинструктор уехали.

— Ну что, сержант Отяпов, Нил Власович... Я правильно называю ваше имя? — спросил его лейтенант.

— Правильно, товарищ лейтенант. Я и есть: Отяпов Нил Власыч, сержант, командир первого отделения второго взвода седьмой роты...

— Пройдёмте, — перебил его лейтенант и кивнул в сторону землянки. — Пройдёмте для беседы.

— Для какой беседы? — спохватился Отяпов и вдруг всё понял: на лейтенанте были краповые петлицы с золотым кантом — особист.

Когда входили в землянку, Отяпов подумал: винтовку не отнял, значит, арестовывать не будут...

Он догадался, что лейтенант будет спрашивать о капитане Титкове, и уже приготовился врать правдоподобно, так что комар носа не подточит: ничего, мол, не видел, ничего не знает, а о комбате узнал, когда закричали, что он убит...

Но лейтенант его спрашивал о другом — о выходе из окружения. О том, кого из командиров видел живым или убитым и при каких обстоятельствах. О госпитале. О маршруте выхода и о том, какие немецкие части преследовали их. Исписал тетрадный лист, дал ему прочитать, а потом сказал, чтобы подписал, что, мол, с его слов записано верно.

— Всё? Подписали?

— Подписал, — послушно ответил Отяпов.

В голове гудело, словно от вернувшейся контузии: что ж я только что подписал — может, приговор себе?

— Ну, раз подписали, то пойдёмте.

— Куда? — и Отяпов вновь посмотрел на винтовку.

Винтовку не изымали.

— Наверняка проголодались,— сказал особист.— Тут недалеко полевая кухня. Каши горяченькой… И я с вами…

— Коли так, товарищ лейтенант,— осмелел Отяпов,— то я со всей красноармейской готовностью.

Надо ж, думал Отяпов, обжигаясь кашей, пахнущей тушёнкой и лавровым листом, до чего разные люди на войне попадаются…

Глава двенадцатая. В разведке

К весне, когда полк встал в глухую оборону и роты успели отрыть полнопрофильные траншеи и землянки на каждое отделение, вернулся из госпиталя Гусёк.

Рёбра его срослись, нога тоже зажила. Так что вернулся он в роту весёлый и даже слегка поправившийся на тыловых харчах.

Вечером он пришёл в землянку, занял крайнюю лежанку. Бросил под голову свой вещмешок и тут же уснул, как засыпают дома, где твой сон оберегают близкие тебе люди, а стены вокруг нерушимы.

Утром, всем третьим отделением, они уже стояли возле штаба полка и слушали приказ.

Где-то за Варшавским шоссе, за рекой Угрой, выходила из окружения западная группировка 33-й армии во главе со своим командующим генералом Ефремовым. По последним сведениям, прорыв группировки не удался. Часть войск повернула назад, к Вязьме, и сейчас плутает по лесам. Часть рассеяна в лесных массивах в районе Юхнова, Знаменки и Всходов. Это означало, что некоторые группы плутали и по их фронту, только с той стороны.

— Товарищи бойцы!— внушал им храбрость ПНШ дивизии по разведке капитан Маслаков.— Мы направляем вас, самых лучших и самых бывалых, за линию фронта. Необходимо разведать безопасные проходы, связаться с группами окружённых бойцов и командиров тридцать третьей армии и выводить их по этим коридорам. Командиры групп получили подробные инструкции. Желаю успешного выполнения поставленной задачи и возвращения назад! Отличившиеся будут представлены к правительственным наградам!

То, что окружение — дело поганое, почти все они испытали на собственной шкуре.

За Варшавкой гремело с февраля. Несколько раз и их дивизия пыталась прорваться туда, чтобы выручить окружённых. Но немцы через шоссе их не пропускали. Не выпускали никого и оттуда. «Котёл», в котором оказались западная группировка 33-й армии и часть воздушно-десантного корпуса, немцы запечатали плотно. И вот, как оказалось, дожали они 33-ю…

Дивизия, в которой воевал ефрейтор Отяпов со своими товарищами, занимала оборону вдоль Варшавского шоссе фронтом на север. Шоссе контролировали немцы. И вот штаб дивизии, должно быть, выполняя приказания вышестоящих штабов, посылал на помощь окружённым пять разведгрупп.

Поскольку из лейтенантского состава в роте остался только один ротный, разведгруппой поручили командовать Отяпову. К тому времени приказом по полку ему присвоили звание старший сержант и назначили на должность помкомвзвода. Взводного, младшего лейтенанта, присланного к ним месяц назад, убило во время последней атаки на деревню Заболонку. Немцы там держались крепко, построили несколько блиндажей, дома перестроили в доты и жили себе не тужили, с лёгкостью отбивали очередную атаку и улучшали свою оборону. Вот там и оставил второй взвод седьмой роты своего последнего лейтенанта. Другого не присылали. И взводом временно командовал старший сержант Отяпов. Слава Богу, в наступление на эту распроклятую Заболонку их больше не поднимали.

Но хрен редьки не слаще, и вот — в разведку.

Отяпов отобрал самых надёжных.

Где-то там, за Варшавкой, западнее Вязьмы, в Семлёвских лесах, была его деревня. До неё они, конечно, не дойдут. До Отяп отсюда было километров шестьдесят-семьдесят. Даже если напрямую, через лес. А им приказ: глубже десяти-пятнадцати километров от линии фронта не заходить. Кружить по ближнему тылу, так как окружённые, по данным авиаразведки, были распылены мелкими группами именно здесь, в непосредственной близости к фронту.

Заболонку и окопы немецкого опорного пункта они обошли правее, оврагом. Там у них был брошенный дот. Зимой он контролировал овраг. Но месяц назад соседняя восьмая рота добралась до того дота. Пулемётчиков забросали гранатами, а сапёры взорвали само сооружение. И немцы больше его не восстанавливали. Похоже, и у них тоже после зимних боёв народу в ротах поубавилось порядочно. А поскольку пополнения не наблюдалось, они сжимали свою оборону вокруг опорных пунктов.

Так что линию фронта разведчики прошли благополучно.

Три группы входили правее Заболонки, две — левее. Все прошли тихо, без стрельбы.

Через километр, в лесу, разведгруппы разошлись — каждая по своему маршруту.

Кусок карты лежал, аккуратно сложенный вдвое, за отворотом телогрейки. Днём во время инструктажа командиров групп капитан Маслаков хорошо отточенным немецким штыком прямо на столе разрезал карту и каждому вручил квадрат, на котором синим карандашом был отмечен маршрут действия.

Образование у Отяпова было не ахти какое — три класса школы крестьянской молодёжи. Да и учился

через пень-колоду. Одну зиму и вовсе пропустил. Когда помер отец, надо было отрабатывать трудодни… Хорошо, не исключили его тогда из ШКМ. Но карту читать умел. Хорошо ориентировался на местности и мог в два счёта нарисовать схему в масштабе. Этой штабной премудрости научил его командир взвода, когда они стояли в обороне под Брянском. И вообще, как заметил Отяпов, военное дело давалось ему на удивление легко.

Владея этой командирской премудростью и куском карты, он был уверен, что, если его ребята нигде не сплохуют, он за сутки-другие проведёт их по намеченному капитаном Маслаковым маршруту и благополучно выведет назад. А уж если посчастливится разыскать окруженцев, то найдёт безопасную тропу и для них.

Первой деревней на карте значилась Ямщики. Её надо было обойти. Слишком близко она стояла к линии немецких окопов, отрытых зимой вдоль шоссе и до километра в глубину на север. Окопы имели несколько линий. Заняты были не все. Это Отяпов знал по прежним разведкам. Но кто его знает, может, сейчас, когда под Вязьмой и Знаменкой им удалось, наконец, сдавить блуждающий «котёл» западной группировки 33-й армии и десантников, немцы заняли и этот рубеж. Чтобы не выпустить окружённых, которые, понятное дело, из лесов на той стороне стремились прорваться на юг, к Кирову.

Снег в лесу ещё лежал. Ночью прижало морозцем. И — хорошо. Шли по проталинам, и следа за ними почти не оставалось. Если только внимательно присматриваться, можно было догадаться, что здесь, в непонятном направлении, прошли несколько человек — двое или трое, не больше.

Отяпов вёл шестерых. Сам — седьмой. Гусёк с автоматом шёл замыкающим. Иногда он догонял их, потом снова отставал, двигаясь то немного правее, то левее. Эту службу он знал хорошо. Ноги быстрые, глаз вострый, рука скорая, автомат почищен, о трёх запасных дисках в вещмешке.

Вперёд Отяпов выслал двоих — Курносова и Лапина. Они в последнее время сдружились. Вместе в карты играли. То на патроны, то на портянки. Курносова вначале забрали в роту связи, но вскоре он оттуда вернулся. Вернулся не просто так, а с позором — разжаловали за мародёрство. Случилось вот что. Поручили ему вести двоих пленных немцев до штаба полка. А он их дорого хорошенько обобрал — сапоги, зажигалки и прочее. В штабе полка всё это дело выяснилось. Воевал теперь в пехоте рядовым бойцом.

Отяпов был рад возвращению Курносова в родную седьмую роту. Такого надёжного товарища на фронте не вот встретишь. Но чувствовал, что эта командировка Курносова в стрелковую роту долго не продлится. Связист — специальность редкая. Подержат месяц-другой и заберут назад.

Гридников и двое калужских шли следом за Отяповым. Гридников нёс ручной пулемёт. Все остальные, кроме Отяпова, были вооружены автоматами ППШ. Отяпову тоже давали автомат, но он брать его не стал. Месяца полтора назад к ним на позиции с той стороны вышли кавалеристы. Шесть человек. На конях. Кони худые. Сами тоже выглядели неважно. Так у одного из них Отяпов за пачку табаку выменял карабин. Карабин был покороче винтовки, полегче, с ним было удобней ворочаться в траншее и ходить по лесу.

Вторым по пути следования был хутор Комариха.

Что за хутор, Отяпов не знал. Сюда они ни разу не заходили. Обычно разведка так глубоко не забредала. Переходили через шоссе, маскировались возле какой-нибудь ближайшей деревни или на пересечении дорог и вели пассивное наблюдение. Один раз брали «языка». Взяли часового на краю деревни. За него и получил ещё один «секелёк» в петлицы и несколько наградных пачек махорки. Одну потом и выменял на карабин. Так что личная польза Отяпову от того захваченного «языка» оказалась большой. Махорка постепенно разошлась, а карабин вот остался.

Хутор Комариха оказался небольшим, как и все здешние хутора. Три двора, три усадьбы. Стояли они особняком, просторно, одна от другой метров на пятьдесят-восемьдесят.

Когда Отяпов подошёл к ожидавшим его на опушке Курносову и Лапину и, раздвинув еловые ветки, посмотрел на Комариху, то, прежде чем сверить увиденное с картой, невольно залюбовался тем укромным простором, в каком жил-пребывал этот небольшой лесной хутор.

Дворы с надворными постройками расположились по склонам оврагов, которые сходись в середине, образовывая небольшое озерцо. По берегам озерцо густо заросло кудрявым дымчатым ивняком и камышом. А по склону от воды до огородов — берёзовая рощица. Молодые берёзовые сростки, снизу уже почерневшие, а вверху ослепительно-белые в утреннем мареве, будто выбегали из воды к дворам. Вокруг десятин сорок пашни. Часть пашни запущена под луг. Так бы и зажил на таком хуторе, захозяйствовал на воле…

Стали совещаться, кому идти на хутор. Решили так: на опушке остаются Гридников с калужскими, при пулемёте, с задачей вести наблюдение за хутором и дорогой, ведущей в эту самую Комариху; в случае необходимости огнём прикрывать отход основной группы в сторону леса.

Шли оврагом. Стёжки здесь были уже натоптаны. Пахло весенней разбуженной землёй и близким жильём. Никакой войны здесь, в окрестностях этого хуторка, не чувствовалось и в помине. Даже далёкая канонада казалась чем-то невоенным — то ли раскатами грозы, то ли тяжёлыми работами,

которые кто-то вёл за лесом в стороне Варшавского шоссе. Севернее же, к Вязьме, и вовсе стояла тишина.

— Стой,— Отяпов поднял руку.— Дальше я пойду один.

И он жестом указали им занять позиции за деревьями и наблюдать за крайним двором, к которому они подошли вплотную.

Отяпов прошёл вдоль берёзовой загородки, стараясь не ступать на подтаявший с утра снег. На лугу его следы были совсем не видны. Кое-где под ногой хрупал ледок. К полудню совсем отпустит, подумал он. Если бы ночами не прижимало, овраги бы уже превратились в реки, и тогда их путь значительно бы осложнился. Но разлив ещё не начался. Лес держал снег. Хотя поля уже чернели частыми залысинами.

Карабин он закинул за спину по-охотничьи, стволом вниз. Так он был почти незаметен. Толкнул дощатую калитку, ведущую во двор, и нос к носу столкнулся с женщиной — как потом выяснилось, хозяйкой.

Она испуганно ойкнула и отступила в сторону, под навес, где рыжели остатки недобранного сена и торчали вилы с коротким, отшлифованным до костяного блеска навильником.

— Доброго здоровья, хозяюшка,— тихо сказал он и приложил палец к губам.

— Ну-ну,— не сразу ответила она.— Откуда ж ты такой? Не похоже, чтобы из лесу…

— Чем же не похож?..

— Те, которые из лесу, бородатые да голодные,— уже вольнее и спокойнее заговорила хозяйка,— а ты вон выбрит, одет хорошо. Да и на голодного не похож.

Как выглядят голодные, Отяпов знал по брянскому окружению. У голодного человека глаза блестят, как у зверя.

— А что, заходили? Из леса…

— Заходили. Они теперь везде бродят. В лес не выйдешь…

— Страшно, что ли?

— Страшно,— она ещё раз внимательно окинула его взглядом и сказала:— Ну, проходи в дом. Начинаешь издали, значит, не на минутку забежал…

А баба смышлёная, подумал он, переступая порог.

В сенях пахло коровьим навозом и молоком. Было темно. Но Отяпов догадался, что корова стояла здесь же. Хлев был прирублен к сеням и подведён под одну крышу. Так делали только хорошие хозяева, у кого в доме был не только мастеровитый мужик, умевший держать топор в руках, но и достаток. У них в Отяпах таких дворов было пять-шесть, не больше. Остальные жили победней.

— Что, отелилась?— спросил он, заглядывая в закут.

— На прошлой неделе,— ответила хозяйка, и голос её вздрогнул и посветлел.

— Кого ж? Бычка? Иль тёлочку?

— Тёлочку,— усмехнулась она, но тут же насторожилась.— Уж не за ней ли ты пришёл?

— Тёлочку… Это хорошо. Если тёлочка, то, значит, скоро конец войне,— будто не поняв её беспокойства, сказал он.

— Как же… Что-то вы наступаете медленно. Полгода уже прошло, а всё гремите где-то за лесом.

— А ты как поняла, что я из Красной армии?

— Как поняла… Поняла. Есть-то будешь?

— Я не один.

— Понятно.

Эх, какой родимый дух охватил Отяпова, когда он оказался в горнице, в малой половине дома, где стояли русская печь, стол под наполовину занавешенной божницей, лавка у окна. Словно и вправду оказался вдруг дома. Закрой глаза — и из-за занавески выйдет Анна с горлачом свежего молока в руках… Да, вспомнил он недавнее, не зря сон тот снился, с женщиной.

С печи свесились детские головки. Лохматые, льняные. Числом четыре.

— Вот какой у тебя, хозяйка, отряд,— кивнул он и попытался улыбнуться.

Дети с любопытством и насторожённо смотрели на него. По их глазам можно было понять, что от незнакомцев здесь добра не ждали.

— А муж где?— спросил он.

— Известно, где нынче наши мужья. Воюет тоже где-то. Ещё прошлым летом как ушёл, так ни письма, ни весточки…

— Кто ещё на хуторе живёт? Немцев нет?

— Немцев, слава Богу, нет. Последний раз приезжали ещё зимой. За курями. А полицейский есть. Но он свой, зла никому не делает.

Вот так. Значит, с полицией живут в мире и согласии. Что ж, и такое бывает.

— Свой, говоришь? Местный? Или в зятьях?

— Свой.

— Где ж он сейчас?

Хозяйка подошла к окну и сказала:

— А вон он идёт.

Рывком отворилась дверь, и в проёме показались двое: Лапин подталкивал вперёд здоровенного парня в чёрной шинели и кавалерийской портупее.

— Начальника привёл. Новая власть,— хмыкнул Лапин.— Что будем с ним делать, командор?

Хозяйка оттолкнула Лапина и сказала:

— Не трогайте его. Если бы не Игнат, казаки давно бы хутор сожгли.

— Отпусти его,— приказал Отяпов.

Полицейский одёрнул шинель, поправил портупею и подобрал с пола шапку. Оружия при нём не было.

— Винтовка где?— спросил Отяпов.

— Дома,— ответил полицейский и вдруг сощурился, спросил:— А вы кто? Красная армия? Или другая?
— Красная. Другая там, в Вязьме. Германская. Которой ты служишь.
— Я ей не служу.
— А повязку чью носишь?

Полицейский, видимо, понял, что положение его сложное. Во-первых, непонятно, кто они. Разведка с той стороны шоссе? Казаки? Окруженцы? Партизаны? Нынче кто угодно может забрести на хутор Комариха.
— Ладно. Поговорили. Пойдёшь с нами,— Отяпов встал, закинул за плечо карабин.

И заметил, что полицейский не сводит глаз с его петлиц.
— Ксюш, ты им про полковника ничего не говорила?— сказал вдруг полицейский.
— Нет,— ответила та.
— Тогда пойдёмте. Надо сказать.

Пошли.

Полицейский привёл их на соседнюю усадьбу. Кивнул в сторону бани, стоявшей на задах:
— Там. Ему нужен врач. Срочно. Ни немцы, ни казаки сюда носа не суют. Участок мой. Но без врачебной помощи он долго не протянет. При нём медсестра. Или фельдшер. Но от ней толку мало. Так, перевязать, обиходить— да. А полковнику срочно нужна операция.

В бане, накануне, видимо, протопленной, пахло умирающим.

Человек, которого полицейский называл полковником, лежал на деревянном топчане, застеленном каким-то тряпьём.

На печном плече стояла керосиновая лампа с осколком стекла. Свет от неё шёл скудный. Но немного погодя вошедшие привыкли к подслеповатой темноте банного пространства и разглядели и лежащего в углу на топчане, и сидящую над ним женщину в армейской гимнастёрке. Женщина встала навстречу, поправила гимнастёрку и ремень.
— Вот,— указал на неё полицейский,— предлагали ей переодеться, а она— ни в какую.

На её гимнастёрке Отяпов разглядел петлицы лейтенанта медицинской службы.

Полицейский отодвинул лавку, приподнял половицу и вытащил из подпола мешок с какими-то вещами. Лапин перехватил у него мешок, вытряхнул содержимое на пол: хромовые сапоги с высокими кавалерийскими голенищами, шаровары с малиновым кантом, гимнастёрка с четырьмя шпалами, кобура с ТТ.
— А вот, командор, и бирка его. Похоже, и правда полковник,— и Лапин подал Отяпову удостоверение личности.
— Товарищ полковник,— мгновенно выпрямился Отяпов, вдруг сообразив, что перед ним старшие по званию и положено доложить о прибытии,— разведгруппа в количестве…— но осёкся и, видя, что раненый не открывает глаз, да и не слышит, должно быть, его доклада, посмотрел на лейтенанта медицинской службы и сказал:— Как вы сюда попали?
— Мы из сто шестидесятой дивизии,— ответила она. Глаза её тоже блестели блеском нездорового человека.— Западная группировка тридцать третьей армии. Слыхали о такой?
— Слыхали. За вами и пришли.

Она встрепенулась.
— Мы пробивались в сторону Варшавского шоссе. Надеялись найти партизан. Вот, Ивана Мефодьевича ранило на большаке. Основная группа ушла, а нас оставили. Сказали, что за нами вернутся.
— Сколько человек в группе?— спросил Отяпов.— И в каком направлении ушли?
— Двадцать семь человек. Повёл их капитан Забельский из артполка. Ушли в сторону шоссе. Три дня назад. Ивану Мефодьевичу с каждым днём всё хуже и хуже. Мне кажется, я не в силах ему помочь.
— Куда его?

Лейтенант отбросила одеяло. У полковника были перебиты обе ноги. Одна повязка была наложена выше колена, другая ниже.
— Как же мы его понесём, командор? Нам с таким в дороге— вилы. Смотри, косяк с ним не запори…

Вот тебе и косяк, подумал Отяпов. А нести полковника надо. Не бросишь.

День просидели на хуторе. Обстоятельства складывались так, что дальше на восток, куда им приказывала двигаться синяя линия штабного карандаша, идти было незачем. Капитан Маслаков, чертивший ту линию, во время инструктажа ясно дал понять: если во время движения обнаружится встречная группа из состава 33-й армии, тут же поворачивать назад и выводить её в расположение дивизии. В первую очередь спасать комсостав. Выносить документы и архив, если попадётся штабная группа.

Санинструктора звали Марией. Лет двадцати пяти, худая, с синими кругами под глазами. Несладко, видать, жилось им в окружении. С февраля— два с половиной месяца. Рассказала: последнее время питались в основном кониной, вытаявшей из-под снега. А перед прорывом каждому выдали последний сухпаёк— по горсти овса или пшеницы, кому что досталось. Раненых побросали в Шпырёвском лесу. Прорыв не удался. Прорвались только передовые группы. Где они теперь, неизвестно. Видимо, все погибли. А их— обозы, госпитали— отсекли, загнали обратно в Шпырёвский лес и начали добивать из миномётов. Потом по просекам пошли танки и пехота… Их небольшая группа, как рассказала Мария, человек пятьдесят, пошла на прорыв прямо на деревню. Деревню

удерживали немцы. Но немцев было немного, и прорыв оказался удачным. Заняли деревню. Захватили полевую кухню. Пока бойцы очищали котёл, немцы контратаковали. Многие погибли именно в тот момент. Надо было сразу уходить, но голодные бойцы навалились на кашу…

— Думаю, что человек пятнадцать попали в плен,— рассказывала Мария.— Когда немцы вошли в деревню, они не могли оторваться от котла…— и вдруг спросила, глядя Отяпову в глаза:— Вы думаете, мы выйдем?

— Выйдем, Маша, выйдем, милая. Ты, главное, за полковником присматривай. Дорога разведана. Путь свободен. Ночью пойдём. Игнат-то… как он? Надёжный?

— Да если бы не он, товарищ сержант!..

— Ты зови меня просто—дядя Нил. Как вон Гусёк. Я ж тебе по возрасту—в отцы… И наш солдатский устав нынче такой—благополучно выйти к своим и живым доставить твоего командира в наше расположение. Так?

— Так, дядя Нил.

— Ну вот. А сейчас забирай наши лекарства, которые есть. Смотри, что надо, и пользуй больного. И ещё, Машенька… Такой уговор: в пути всякое может случиться, и ты тогда ребят без медицинской помощи, так сказать, не оставляй. Сумка с медикаментами будет при тебе. А Игнат, ты говоришь, человек надёжный?..

— Надёжный. Он не выдаст. Пока мы тут жили, он два раза в комендатуру ездил. В Знаменку. По своим делам. Но ведь не выдал же.

— Я ему винтовку вернул. Пусть ходит с винтовкой. И патроны отдал. С нами он пойдёт. Вот что я решил. Но ему пока об этом не говори. И коня его возьмём. На носилках полковника не донесём. Тяжело. Замешкаемся в пути. Опасно… Это я тебе сказал, чтобы ты была спокойна. Но, пока не выступили, молчи.

После полудня на хутор прискакал верховой. Гусёк, дежуривший на околице и поднявший тревогу, разглядел всадника: в чёрной кубанке, в армейском полушубке и синих штанах с красным казачьим лампасом.

— Это—ко мне. Посыльной от атамана Урганова,— пояснил Игнат и кивнул в сторону бани.— Сидите там. Он долго не пробудет. Стакан самогона выпьет, закусит—и обратно в Городню.

Немецкая комендатура находилась в Знаменке. Но ближе, в Городне, стояла казачья сотня атамана Урганова. Она-то и держала здесь власть и порядок. Раз в месяц Игнат возил в Городню баранью тушу или связку кур. Последний выход обошёлся полупудом сала. Так и откупался хутор Комариха от уроженцев Луцка, Черновцов и Тернопольщины—салом да самогоном.

— Откуда ж тут казаки, Игнат?—поинтересовался Отяпов, когда посыльный ускакал с хутора.

— Да кто откуда. Из концлагерей. Из Вязьмы да Издешкова. Командует ими донской казак Урганов. Зовёт себя атаманом. Набрал хохлов из концлагерей. И гуляет теперь. Его даже немцы побаиваются. Стараются сюда не соваться. В феврале возле хутора Ивановского перестрелку с ними затеял. Приехали фуражиры откуда-то из-под Смоленска. Там всё пограбили, народ голодный, так сюда приехали. Думали поживиться. А атаман Урганов такой порядок держит: партизан здесь, в Городнянской волости, не будет, но чтоб и немцы—ни ногой. Знаменский комендант согласился. У них какой уговор. Урганов тут живёт вольным атаманом. Две бабы с ним. Тоже из лагеря. Ездят на тачанке. Одна—за пулемётом. Другая—под боком. Чтобы не замёрзнуть на своём посту, меняются.

— Хорошо вы тут живёте,—усмехнулся Отяпов и подумал о своих.— А не слыхал ли ты, как живёт народ в Семлёвских лесах?

— Там партизаны власть держат. И конники, которые зимой Вязьму пытались брать, тоже туда откочевали. Там советская власть. Там народ голодает.

— Ах ты, твою-капитана!..—взвился Отяпов.— А тут, под немцем, что, не голодаете?

— Мы тут не под немцем,—поправил его Игнат намеренно спокойным тоном.— Мы тут с атаманом Ургановым. Я ж тебе сказал, какой тут порядок.

— И ты в его сотне служишь?

— Я не в сотне. Я в самообороне. И моя задача— мост охранять на Городнянском большаке. Вот я его и охраняю. Каждый день туда должен ездить и порядок блюсти. Вот на прошлой неделе поехал и привёз оттуда полковника… Красная армия своего командира бросила, а я его подобрал.

Игнат так и подпирал его своими рассуждениями, так и придавливал, как хоря ухватом к стенке. Что с ним спорить, решил Отяпов. Но и поддакивать не стал. Недолго ему тут, пускай и такому хорошему, с повязкой по хуторам ходить. Двум властям служить не будешь…

Перед самым вечером, когда уже заслезился в оврагах туман, затягивая окрестную даль и горизонт, над хутором пролетел самолёт. Летел он низко, равномерно и ненатужно урча мотором.

— И что он тут потерял?—проводил его взглядом пулемётчик Гридников.

— Известно что. Разведчик. И в нелётную погоду летает,—Отяпов раздавил возле переносицы слезу.— Вроде бы наш. А там кто его знает…

Весь Западный фронт в эти дни беспокоило одно—вяземская группировка 33-й армии. Командующий войсками фронта генерал армии Жуков отдал приказ: разведывательной авиации армий, стоящих фронтом к Вязьме, полётов не прекращать; кто обнаружит штабную группу командарма Ефремова, будет представлен к званию Героя Советского Союза. Одновременно десятки разведгрупп 49-й, 43-й, 50-й и 10-й армий, а также

восточной группировки 33-й армии, занимавшей фронт в районе Износок, прочёсывали леса в ближайшем немецком тылу в поисках штабной группы генерала Ефремова.

Некоторые разведгруппы так и вернутся ни с чем. Некоторые выведут разрозненные немногочисленные отряды. Некоторые погибнут в стычках с немецкими заслонами, полицейскими подразделениями и карателями, которыми были буквально наводнены в те апрельские дни районы предполагаемых действий. У всех их был один приказ — ликвидация остатков блуждающего «котла» 33-й армии и воздушно-десантного корпуса.

Ничего этого ни старший сержант Отяпов, ни его разведчики, ни санинструктор Мария, ни полицейский Игнат, конечно, не знали. Они шли по весеннему лесу, уже наполненному птичьим гомоном, и думали только об одном: чтó там, впереди, за тем оврагом, за ельником, за полем, которое они огибали по березняку, за ручьём, разлившимся за минувшие неполные сутки так, что их вчерашние следы потонули под метровым потоком соловой воды?

Весенний лес покуда ещё берёг их.

Глава тринадцатая. Погоня

В головном охранении шёл сам Отяпов. С собой он взял Гуська и приказал ему держаться немного позади, шагах в десяти-пятнадцати — правее или левее. Это чтобы, в случае чего, им, двоим сразу, не оказаться на линии огня.

Стало темнеть. Сизый сумрак вначале заполнил овраги, потом, казалось, плотнее сдвинул деревья вокруг, а вскоре заполнил и небо.

И в это время сзади, где двигалась основная группа, послышались голоса. Вначале громкие, потом затихли.

Отяпов сделал Гуську знак, чтобы продолжал движение, а сам пошёл назад.

Ещё издали, в густеющих, но ещё прозрачных сумерках, он увидел двух лошадей. Лошади ловили друг друга губами, видимо, радуясь встрече. На одной из них, такой же гнедой, явно не рабочей, кавалерийской, сидела Ксюша. Теперь хозяйка показалась ему значительно моложе той, которую он встретил на хуторе. Она сидела в кавалерийском седле как влитая, раскрасневшаяся. Подшальник на плечах. Конь тоже парил сырыми боками.

— Вот, Нил Власыч, история… — сказал Курносов. — Погоня за нами. Казаки.

Вечером на хутор пришёл отряд атамана Урганова. Тридцать человек. Все верхами. Разделились на три группы. Одни подались на Поповку, другие — на Коростели. А шестеро заночевали в Комарихе.

— Его ищут, — кивнула Ксюша на полковника, которого они кое-как, на досках, приладили к седлу и замотали плащ-палатками, чтобы не растрясти в дороге. — Кого-то из их группы захватили в плен, тот что-то рассказал. На хуторе всё перерыли. Ничего не нашли. Мы сказали, что люди из лесу приходили, но ушли. И с ними раненый пожилой командир. А что было делать? Атаман — человек злой. Если что, и детей не пожалеет. Остановились в нашей хате. Я детей к тётке Арине увела. А сама оседлала Кобчика и — вас догонять. Самогонки им принесла. Пьют-гуляют. Ещё обещала принести. Но больше к ним не пойду — приставать будут.

— Про меня спрашивали? — спросил Игнат.

— Спрашивали. Урганов первым долгом про тебя и спросил: где, мол, Игнат, на мосту его не видели…

Лицо полицейского даже в темноте казалось белее снега.

— Нюрка, старшая моя, — пояснила Ксюша, — такой разговор слышала, что ждать они вас будут утром на Воронóвской дороге и на старом Гурьевском тракте. Нюрку я послала за одеждой. Они ж нас сразу из хаты в баню выгнали. Хозяйвá! Вот пока Нюрка там, за печкой, копалась, у них заседание шло. Из Поповки они собираются ночью на Воронóвскую дорогу повернуть. А те, которые на Коростели подались, к утру должны вас караулить на Гурьевском тракте в лесу. Эти шестеро остались здесь. Ну, всё. Мне надо назад ехать. А то хватятся. Про тебя, Игнат, тётка Арина сказала, что, мол, как на мост днём уехал, так и не ворочался. Имей в виду.

— Поверили?

— Да кто ж их знает?..

Карту Отяпов помнил наизусть. Днём разглядывал, читал названия населённых пунктов и урочищ, запоминал дороги и русла речек и ручьёв. Соображал, какой дорогой возвращаться, где овражки могут разлиться и не пропустить их или задержать плохими переправами.

— От Поповки до большака сколько километров? — спросил он Игната.

— Километров пять. Если лесом, то меньше.

— Выходит, они нас заперли. Часа через три, а то и раньше, они перекроют дорогу.

— Что, командор, вилы? — подал голос молчавший до сих пор Лапин.

— Да погоди ты. Дай сообразить.

Игнат перехватил повод Ксюшина коня:

— Погоди-ка, Ксюш, уезжать, — и сказал Отяпову: — Вот какое дело, сержант: по Ворóновской дороге пройти мы не сможем, они нас там успеют запереть, а вот если выйти на Гурьевский тракт… Есть там в лесу дорога одна, малоезжая… Летом народ сено возит, зимой дрова. На сам тракт не соваться, а проехать этой дорогой. Но там, на перекрестье Гурьевки и Вороновки, стоит дот. Наши ещё строили, в сорок первом, летом, когда оборону здесь собирались держать. Зимой там немецкий пост был, но потом и они ушли. Кругом лес, до ближайшей деревни пять километров.

Дальше, если на восток, Заболонка. А там и до шоссе рукой подать.

— Не успеем. Если только на лошадях.

— На лошадях и поедем,— Игнат дёрнул за повод.— Ксюш, слезай. Коня приведу. В целости и сохранности. Если сам живой вернусь.

— Кто ж мне нивку пахать будет? Детей мне чем кормить?— закричала женщина, отталкивая стременем Игната.— Ты моих детей кормить будешь?

— Буду, Ксюш. Буду кормить твоих детей. Даст Бог, всё обойдётся.

Женщина ловко спрыгнула в снег, швырнула повод Игнату и пошла по тёмной талой стёжке в сторону оврага, откуда они только что выбрались.

— Ну, сержант, теперь сымай полковника, и пусть твои разведчики вяжут носилки. А нам скорей надо на Гурьевский тракт. Чтобы дот раньше Урганова занять. Кого со мной отрядишь? Пулемётчик нужен. Или сам поедешь? Ты, я вижу, не особо-то мне доверяешь.

— Я в разведке. За людей отвечаю. И за выполнение приказа. А что касается тебя, Игнат… Не в той ты армии служишь. Вот о чём я думаю.

— Ты видел, в какой я армии служу. Пять баб и двенадцать ребятишек. Как? Хорошая армия?

— Ну, ты на ребятишек не нажимай. Я тоже детный, но этим меня не разжалобишь. Гридников с тобой поедет. С пулемётом. Да и ты автомат возьми.

Условились действовать так: Игнат с Гридниковым сразу же сворачивают в строну старого тракта и там выбираются на лесную дорогу; следов прятать не будут, чтобы они, идущие за ними, не заблудились.

— Увидите дот, он обочь дороги стоит, справа,— посвистите. Три коротких. Я отвечу так же. Коней мы привяжем в лесу. Там рядом лощина есть. Своего, так и быть, вам отдам. Будет возможность, потом вернёте. А Ксюшиного жеребца заберу. Там, у дота, пути наши разойдутся.

Когда они переложили полковника на носилки, тот застонал. Отяпов подумал: слава Богу, живой ещё…

Понесли. Отяпов разбил группу на пары. Сам взялся за ручки носилок первым. Сзади хрипел и чертыхался Лапин. Чуть погодя Лапин не выдержал:

— Слыхал я, как этот Игнат тебе варганку крутил. Я думал, он так, валет из местных, а он мужик калёный. И ты ему, командор, поверил?

— А ты мне, Лапин, подскажи в помочи когонибудь получше этого полицая, и я тогда тебя послушаю. А нет, так помалкивай.

Лапин хмыкнул, покрутил головой и больше не докучал.

Иногда им казалось, что они потеряли след. Но погодя, пройдя шагов двадцать-тридцать, на подмёрзшем снегу снова находили тёмные лунки лошадиных копыт и куски разбитого льда. Полковник то приходил в себя, охал, стонал, то снова проваливался в бред, что-то бормотал, скрипел зубами, командовал.

Что сто́ит в такой темени полицейскому ускакать от своего напарника в лес, где ему знакома каждая кочка? Нырнул в какой-нибудь овраг—и поминай как звали. Но следы лошадей свидетельствовали о том, что Игнат и пулемётчик Гридников шли одной тропой. И постепенно Отяпов стал успокаиваться и верить в то, что Игнат его не обманул.

Выбрались на дорогу. Как объяснял Игнат, от этого поворота и ручья, который пришлось переходить почти вплавь, до дота оставалось два километра. Народ уже заметно устал. Спотыкались, часто останавливались, садились в снег.

Неожиданно левее впереди началась стрельба. Отяпов вспомнил карту: стреляли в стороне Коростелей. Он приказал остановиться. Затихли.

Стреляли из винтовок. Изредка вступал автомат, по звуку—наш, ППШ. Не может быть, чтобы Гридников и Игнат оказались там, возле хутора Коростели. Дорога, которую Игнат называл Старым Гурьевским трактом, шла прямо и выходила на другой большак—Вороно́вскую дорогу.

Он выслал вперёд Гуська и одного из калужских. Сами пошли медленней, с частыми остановками. Слушали лес и то, что приносил им ветер, который, к счастью, дул навстречу.

Стрельба в лесу левее маршрута их движения прекратилась.

Конечно, думал Отяпов, группа выполнила приказ лишь наполовину. Разведку провела неглубоко, весь маршрут, который ей было предписано исследовать, не исследовала. Да и окружённых отыскала слишком малое количество. За такое ни в штабе батальона, ни тем более в штабе полка по головке не погладят. Но надежду вселяло то, что они выносили не кого-нибудь, а полковника. С документами. При оружии. И подчинённая при нём.

Но полковника надо было ещё вынести. И самим выбраться. Судя по рассказам Игната, этот атаман Урганов—настоящий зверь. Местных держал в полном повиновении, продналогом обложил все окрестные деревни, каждый двор. Всё у него было поставлено на учёт и под постоянный контроль. Партизаны в здешних лесах не прижились. Казаки Урганова всякий раз выживали их с местных баз, выдавливали за пределы волостей, подконтрольных казачьей сотне. За те полгода, которые Урганов атаманил в Городне и окрестностях, они устроили три показательных казни. Один раз расстреляли захваченных в лесной деревне семерых красноармейцев. Накануне неподалёку от той деревушки нашли утопленного в болоте казака с разрубленной сабельным ударом головой и споротыми с шаровар лампасами. Вот за него и мстили. В другой раз—двоих партизан. Последним

был расстрел своего — за мародёрство и насилие. При всей свирепости атамана его власть сносили терпеливо — в подконтрольных сотне деревнях и хуторах немцы почти не показывались. За одно это местные прощали ему и его ватажникам многое.
— Если ты, Игнат, не крутишь мне бейцалы, как говорит наш боевой товарищ Лапин, то человек ты, выходит, незлой. А вполне даже хороший. Только немного запутавшийся. Что ты делать будешь, когда наши в район придут? С немцами уйдёшь?
— Ну, во-первых, никакой я не запутавшийся. В октябре нас на Десне пуганули. Из роты пять человек осталось. Кто убит, кто в плен пошёл. Мы с мужиками — по домам. Все отсюда призывались. А вскоре Урганов объявился: пойдём ко мне в сотню, коня дам, саблю и хутор. Коня я своего привёл, на нём в Комариху и приехал. Сабля… На кой она мне, та его сабля? Разве что для форсу. Землю-то ею пахать не будешь… А хутор у меня свой, родной. У Урганова тут такой устав: сотня на постое находится в Городне. Живут казармой, в тамошней школе. Занимают колхозную конюшню. Туда и сено свезли со всех полей, из поймы. Народу разрешили взять только остатки колхозной соломы. И в каждом населённом пункте — по человеку. Навроде участковых. Так и держит свою власть. Всё у него переписано: кто сколько поросят держит, кто сколько овечек, и даже курям счёт имеется. И никто не смеет без его разрешения ни поросёнка забить, ни курёнка. А тут стали в Знаменке в самооборону народ набирать. Подумал я и решился: всё же не к этим разбойникам на службу идти, а мост охранять, поддерживать его, так сказать, техническое состояние. Да и казака с хутора атаман Урганов вынужден был отозвать. Он, Гришук, иногда к нам наведывается. И сегодня был. Самогона стакан закинет — и поехал дальше службу справлять. Вот, сержант, и вся моя история. И никакой тут путаницы нет.
— Да нет, брат, это только её первая часть. Как в книжках пишут.
— Это так. Что дальше будет, не знаю. Хутор не бросишь. На кого? На Урганова? На немцев? Мигом разграбят. Повидал я картин всяких. И таких, где дети от голоду мёрли. У себя в Комарихе не допущу.
— Экой ты председатель колхоза, твою капитана-мать!.. Я тебе — про другое! Немцев рано или поздно, а всё одно прогонят. Куда тогда пойдёшь со своей повязкой? Думаешь, и советская власть тебя при мосте оставит? Ты в особом отделе свою сказку расскажи, они сразу поверят…
— А я с вами пойду, — неожиданно сказал Игнат и засмеялся.

Смеялся он впервые. Невесело. Смех его быстро потух. Отяпов промолчал. И подумал: некуда тебе, братец, идти, вот и смеёшься… Посмотрел на Игната и сказал:
— И петух порой кукарекает, когда его голову на пенёк кладут…
— Ничего, сержант, ничего. А хутор пока покараулю. И от немцев, и от казаков. А с советской властью, может, как-нибудь договорюсь. Никакого преступления за мной не числится. Народ подтвердит.

Отяпов тащил носилки, и в голове у него стоял тоскливый звон: то ли контузия окликала, то ли беспокойство, что всё же зря полностью доверился полицейскому, что не оставил для группы никакого запасного пути — только туда, к доту.

На дот у дороги они почти наткнулись. Бетонные амбразуры узкими чёрными щелями смотрели на запад, юго-запад и северо-запад. Подавать сигнал было уже поздно. Из-за насыпи показалась высокая фигура в капюшоне. Отяпов сразу узнал Гридникова. Слава тебе Господи…
— Туда. Тропа — там, — Гридников указал рукой на юго-запад, куда смотрела одна из бойниц, и сразу же исчез в узком дверном проёме.

И тотчас слева на дороге, отчётливо белевшей узкой полосой не растаявшего снега, послышалось лошадиное ржание.
— Быстро! Быстро! Уходим к лесу! — торопил разведчиков Отяпов, толкая их в спины.

Они покатились с насыпи вниз. Побежали по лугу к лесу.

Полковника несли калужские. Втянув головы в плечи, они бежали прямиком к березняку, начинавшемуся за широкой полоской луга, поросшего редким кустарником. Кустарник их и спасал — он закрывал обзор с дороги.

В доте было сыро, промозгло. Пахло мочой и гнилым табаком. Похоже, что прежние жители этого сооружения и курили, и оправлялись в одном углу.
— Сколько до них, как ты думаешь? — Гридников упёрся широко расставленными ногами в земляной пол, сгорбился, подтянув приклад к плечу.
— Не спеши. Рановато ещё. Вон, видишь, берёзка белеет? До неё шагов сто двадцать.
— Понял. Как с ней поравняются, тогда и начнём.
— Гляди, кажись, заметили… Заметили наших.

И правда, строй ехавших по дороге стал рассыпаться. Несколько всадников повернули влево, их кони легко перескочили кювет и заскользили вдоль зарослей кустарника. Там послышались команды. Свернувшие с дороги двигались точно наперехват разведгруппы, которая ещё не достигла лесной опушки.
— Пора, Игнат!

Гридников сперва чиркнул над дорогой двумя короткими пристрелочными, потом запустил очередь подлиннее. И перевёл огонь влево, где среди кустарника мелькали всадники, отделившиеся от основного строя.

Встреченные внезапным огнём, казаки тут же повернули в лес. Там они спешились и начали

отвечать одиночной винтовочной стрельбой. Несколько раненых лошадей бились в кустарнике, испуганным утробным ржанием пугая рассветную мглу.

— Надо было повыше брать,— сказал Игнат.

Гридников менял диск. Над раскалённым раструбом пулемёта плавился воздух.

Казаки, потеряв двоих человек, залегли в лесу. Изредка постреливали из винтовок. И уходить не уходили, и атаковать побаивались. Но вскоре осмелели и начали обходить дот со стороны леса. Игнат подкараулил их и дал несколько очередей. И ещё одного казака поволокли в лес его товарищи, подхватили обмякшее тело за ремни и исчезли в березняке.

— Всё. Теперь долго думать будут. Отчинили мы им лампасы. Будут знать, чубатые…

Дот на развилке дорог держался долго. Два раза казаки атамана Урганова кидались в атаку и оба раза вынуждены были отойти назад в лес. Во время последней атаки Гридников положил ещё двоих, пытавшихся подползти со стороны лощины. И крикнул Игнату:

— Уходи! Если тебя, убитого, здесь найдут, пропали твои на хуторе! Уходи! И коней уводи! Только автомат оставь!

Игнат молча выскочил из дота и пополз к оврагу. Там отвязал коней, вскочил в седло и помчался оврагом прочь от дороги. Вскоре овраг перешёл в неглубокую лощину. Здесь Комариха каждое лето косила сено. Игнат осадил коня, прислушался. Басовито и неторопливо стучал ровными короткими очередями ДП, потом, словно в помощь ему, заходился ППШ. Гридников ещё воевал, ещё не подпускал к себе казаков. Судя по тому, что за Игнатом никто не увязался, его ухода из дота казаки не заметили. Вовремя, вовремя он ушёл. Спасибо пулемётчику. Невесёлую судьбу он себе выбрал. Игнату было жалко и пулемётчика, и себя.

Теперь надо было спрятать следы.

Он повернул коня левее. Кобчик, привязанный за повод к седлу, послушно бежал следом. Началась дорога, которую знали только местные. Здесь Игнат дал коням отдохнуть. Всё пока складывалось хорошо. Кроме одного: он остался без винтовки. Винтовку у него забрал Отяпов, когда поменял её на автомат. Начал лихорадочно вспоминать, не оставил ли чего в доте или в овраге, что может навести казаков на его след. Вроде ничего. А винтовка — дело наживное. Он знал, где найти её. Жалко было Гридникова. Пулемётчик стоял в его глазах и повторял: «Уходи…» Долго ли он там, в доте, в одиночку продержится? Пока есть патроны, будет отстреливаться. А там…

Проехал с километр, впереди услышал шум и тут же свернул в ближнюю лощину. Затаился за кустами можжевельника.

Чуть погодя за деревьями замелькали красноармейские шинели. Послышалось чавканье разбитых сапог и валенок. Он сразу определил: окруженцы. Выходить к ним было нельзя — увидят полицейскую форму и запросто пустят в расход. Кто их вёл, кто командовал, было непонятно. Валили сплошной толпой на юго-запад. Направление, видать, знали — к Кирову. Значит, кто-то вёл, знал карту и маршрут. Человек сто двадцать, может, больше. Все с оружием. Много носилок.

Хорошо, подумал Игнат, затопчут следы лошадиных копыт. И казаки, если даже будут его искать, ничего не найдут.

Некоторое время пробирался по осиннику вдоль дороги. Потом вернулся назад и по своему же следу выехал на утрамбованную тележными ободами колею.

Проехал с полкилометра и возле разлившегося овражка увидел носилки, в них закоченевшее тело. Умерший был раздет до белья. Ни сапог, ни шинели, ни шапки. Всё правильно, теперь одежда ему была ни к чему. А кому-то она сейчас спасала жизнь. Война так и ходила — по самому невозможному в человеке, будила в нём то, о чём он в себе мог только догадываться, и то с неприязнью и ужасом. Но и хорошее поднимала. И Игнат снова подумал о пулемётчике. Вот кто он ему? Полицейский с хутора, которого можно было и за баню отвести, шлёпнуть, недолго разбираясь. Детей пожалел, понял Игнат. Это ж он моих детей пожалел…

Игнат привстал на стременах и осмотрелся. То, что он надеялся здесь увидеть, лежало шагах в десяти, возле самого ручья, на краю разлива. Приклад винтовки был уже в воде. Ствол с высоким намушником торчал вверх. Винтовка оказалась без затвора. Обычная история: затвор вынули и забросили в другую сторону. Хуже, если в ручей. Он снова сел на коня, сверху было видно лучше и дальше. Затвор действительно валялся в противоположной стороне, в зернистом ледяном снегу. Игнат очистил его, продул пазы и вставил на место. Патронов в магазине не было. И магазин, и затворная рама, и даже патронник были вычищены и поблёскивали лёгкой смазкой. Видимо, боец был человеком аккуратным и об оружии заботиться умел.

Он объехал стороной носилки. Решил так: если всё обойдётся, похороню его потом. Толкнул коня в бока, и тот послушно начал заходить в ручей. Ручей был неглубокий. Игнат это знал. Выбравшись на другой берег, пустил коня краем берега. Знал: днём ручей прибавит, и следы уйдут под воду.

Глава четырнадцатая. Чсы на серебряной цепочке

— Стой! — и Отяпов поднял руку.

Они уже вышли к шоссе. Впереди, за узкой полоской леса, яснел простор широкой дорожной

просеки. Гусёк уже вернулся из головного охранения и доложил, что дорога свободна, никакого движения не наблюдается, что место для перехода удобное — лес близко подступает к шоссе, и можно переходить. Судя по карте, до своих окопов оставалось километров пять. До немецких — ближе.

— Вот что, ребята, — собрав разведчиков, объявил Отяпов, — сейчас переправим полковника и Машу на ту сторону, а сами вернёмся к дороге. Гридникова и этого… Игната… надо выручать. Что ж мы их бросили? Они нас взялись прикрывать. Можно сказать, спасли. А мы…

Разведчики в ответ молчали. Новый приказ сержанта Отяпова их не радовал. Их лица уже посветлели, они уже понимали, что нелёгкая их дорога пошла на убыль, что скоро окажутся дома… Только Гусёк, всегда готовый ко всему, кивнул и осторожно посмотрел на товарищей.

— Гридникова и Игната надо выручать, — повторил Отяпов и плотно сжал рот. — Кто не хочет возвращаться, останется с полковником и Машей. Никого не неволю. Кто остаётся?

Никто не шевельнулся.

— Остаётся Гусёк, — неожиданно приказал Отяпов.

Гусёк встрепенулся.

— Отдай Лапину и Курносову запасные диски и гранаты. Себе оставь одну. И один диск.

Отяпов знал, что возвращаться к доту — дело гиблое. Но и оставить, по сути дела — бросить, Гридникова он не мог. Не несли его ноги домой без пулемётчика, оставленного на дороге. Как он потом будет смотреть в глаза товарищам? А Гуська он просто пожалел. И все это поняли. Гусёк был самый молодой из них. По всему выходило, приказ старшего сержанта Отяпова был правильным.

Через шоссе они перешли благополучно. Взяли носилки вчетвером и бегом пересекли просеку. Углубились в лес на полкилометра, нашли подходящий овраг и оставили там полковника, Машу и Гуська.

Сами бегом вернулись назад.

А ведь уже стар я бегать по лесу, подумал Отяпов, прислушиваясь к хриплому дыханию своих разведчиков. Устали и они. Особенно спотыкался Лапин.

— Что, Расписной, — подначивал его Курносов, — ухряпался? Это тебе не по форточкам лазить.

Лапин сморщился наподобие улыбки, показывая ряд мелких, съеденных чифирём зубов, и ничего не ответил. Он был не форточник, но спорить с товарищем не стал. Надо было беречь силы.

Стрельба возле дота ещё продолжалась, когда они пробрались к перекрёстку дорог.

Помочь Гридникову они не смогли.

Казаки, не справившись с пулемётом, вызвали подкрепление.

Разведчики лежали на опушке леса и наблюдали, как по насыпи из леса вышел танк. Остановился. Повёл коротким хоботом пушки и сделал два выстрела. Фугасы разорвались под самым основанием дота. Амбразуры затянуло дымом. Но пулемёт продолжал вести огонь. Тогда танк подошёл ближе и почти в упор начал расстреливать дот. Казаки, осмелев, высыпали из леса, и, сдвинув кубанки на затылки, закурили. Пулемёт замолчал.

— Вот сволочи, — сказал Курносов и оглянулся на Отяпова. — Что будем делать, Нил Власыч?

— Ворочаемся, — отдал приказ Отяпов и, не отрывая глаз от дороги, где дыбился чёрный дым над смутным приземистым холмом дота, откинул капюшон, снял шапку и украдкой, одним пальцем, перекрестился.

Они отползли от опушки в лощину и гуськом, соблюдая интервал в десять-двенадцать шагов, побежали на юго-запад.

Отяпов бежал замыкающим. Время от времени останавливался, оглядывался. Там ещё рвались снаряды. Не жалели немцы боеприпасов. Бетонный дот взять было не так-то просто. Опасались, что Гридников и Игнат ещё живы, что могут открыть огонь, вот и дожигали свечечку до полочки…

Отяпов горевал по своему пулемётчику. Как не горевать? Близкий человек был. В бою всегда рядом. С самой Тулы вместе. Вспомнил, как тот угощал голодного мальчонку в Калуге. Да и Игнат оказался человеком хорошим. На смерть пошёл ради них. Вот тебе и полицейский. Как теперь хуторским без него?

Варшавское шоссе перешли не сразу. По дороге двигался обоз — десятка два подвод, запряжённых парами. Кони крупные, с куцыми хвостами, одинаковой гнедой масти. Потом, в обратном направлении, пролетел мотоцикл с одиночным мотоциклистом. Подождали ещё минут пять и перебежали просеку. Перебегали парами. Последним — Отяпов.

В лесу, когда уже отыскали Гуська с полковником и Марией, Отяпов сверился с картой. Примерно определил место, где они находились. До окопов оставалось совсем ничего, может, с километр-полтора. В этом месте линии траншей близко подходили к шоссе. Где-то правее должна находиться Заболонка. Отяпов решил выходить немного восточнее тропы, которой они входили сюда. Если вчера или сегодня утром немцы обнаружили их след и догадались, что это входила разведка, то будут поджидать их на выходе. Такое уже случалось.

Гусёк вскоре вернулся радостный:

— Там, дядя Нил, за полем деревня, — указал он на просвет среди осин. — Заболонка. Наша тропа чуть правее. А здесь, как ты приказал, я разведал лощину. Можно по ней пройти. Там ни души. Я прошёл до самого дота и назад.

— Значит, луг и грейдер никак не миновать?

— Никак, дядя Нил. Правее, за дот, я не пошёл. Там могут быть окопы.

— Правильно. Что ж, пойдём через грейдер. Рискнём ещё раз.

Руины дота виднелись справа в березняке. Расщеплённые, обгорелые брёвна и куски смёрзшейся глины. Взрывчатки сапёры не пожалели. Доты здесь стояли повсюду. Одни занимали немцы, другие — наши. Некоторые, как тот, на дороге, были брошены.

Полянку, которую контролировал когда-то гарнизон дота, они решили перебежать всей группой. Через полянку, рассекая её вдоль от леса до поля, проходила дорога — довоенный грейдер, видимо, недостроенный и брошенный. Кругом кучи сдвинутого бульдозером песка, небольшие котлованы, штабель подтоварника, наполовину разобранный. Видимо, на строительство дота.

Они сосредоточились в березняке на опушке. Отдышались. Перебежать полянку — две-три минуты. За нею уже начинался лес. Леса на той стороне уже можно было не бояться. Им владели боевые охранения и передовые дозоры их дивизии. Немцы туда уже не совались.

Носилки взяли вчетвером. Мария, придерживая раненого полковника, бежала рядом. Гусёк — впереди. Отяпов — замыкающим.

Когда подбежали к грейдеру и начали подниматься по каменистой насыпи, Отяпов услышал какой-то шум. Вначале подумал, что от перенапряжения пробило пробку в ушах, вот почему грохот их сапог стал таким громким. Но вдруг увидел, как метнулся вправо Гусёк и мгновенно пропал за оплывшим песчаным гребнем с той стороны, потом покатился по откосу насыпи вниз, что-то закричал. Туда же хлынули и остальные, пригнувшись и втянув в плечи головы. А левее, шагах в десяти, навстречу им из-за насыпи так же бегом двигалась группа одетых в камуфляжные куртки «древесных лягушек».

Отяпов выскочил на грейдер и оказался лицом к лицу с рослым немцем. Тот тоже остановился и смотрел на него из-под низко надвинутой каски, обтянутой такой же защитной материей, продранной, будто износившейся в некоторых местах. Глаза немца лихорадочно бегали по сторонам. Отяпов мгновенно оценил ситуацию, которая не обещала ничего хорошего ни им, ни немецкой разведгруппе, и опустил карабин. Немец тоже сунул подмышку автомат и поднял руку. Отяпов некоторое время разглядывал его грязную перчатку, потом ухватил боковым зрением своих и чужих: свои уже спускались с насыпи, и Гусёк с колена целился в сторону немцев; немцы, так же стремительно и так же втянув головы в плечи, прыгали и скатывались по противоположному, северному откосу грейдера, и один из них, вскинув автомат, целился в Гуська.

Отяпов тоже поднял руку. В первую очередь для того, чтобы упредить действия Гуська, который мог открыть огонь в любое мгновение. Но тот, видимо, всё понял. И, привстав на корточках, провожал «древесных лягушек» стволом своего ППШ.

Немец продолжал неподвижно смотреть на Отяпова. Теперь глаза его были спокойней. Он тоже отвечал за всю группу, и ему тоже хотелось всех привести домой живыми и здоровыми.

Немец повернулся первым. Он закинул автомат за спину и быстрым шагом пошёл к обрыву. Он был уверен, что в спину ему не выстрелят.

Проводив его взглядом, повернулся и Отяпов. Карабин его висел на плече по-охотничьи, стволом вниз.

Разведчики уже добежали до березняка. Он видел, как некоторые из них испуганно оглядывались на грейдер, на него, своего командира, спускающегося с грейдера по каменистому откосу, на немцев, бегущих такой же испуганной стаей к другому лесу на другой стороне поляны.

— Твою-капитана… — только и сказал Отяпов, догнав своих разведчиков, которые, сбившись в кучу, ждали его в можжевеловых зарослях. — Курносов, сверни-ка мне папироску потоньше, — попросил он, — а то у меня пальцы как ножи на жнейке…

Курили всей группой. Первым голос подал Лапин:

— Алмазно мы через насыпь перемахнули! А, командор? Штаны-то сухие? — и показал свои мелкие чифирные зубы.

— Да ты, Расписной, быстрей всех до леса добрался!

— Как? — возразил Лапин. — Я вместе со всеми. Никто носилки не бросил. Когда, товарищ старший сержант, будете писать представление на заслуженную награду, прошу так и отметить.

— Вот что, ребята, — дотягивая цигарку, сказал Отяпов, — про этот случай — никому. Маша, и ты молчи. Иначе затаскают. По уставу мы должны были открыть огонь. Да и через грейдер бежать не гамузом, а как положено. Рассредоточенно. С прикрытием и так далее.

— А те как драпали! — не унимался Гусёк. — Только подковки мелькали!

— Тоже разведка. Пустые пошли.

— И хорошо, что пустые. Иначе бы просто так не разошлись.

— А их вроде побольше было. Человек десять.

— И все с автоматами. И пулемёт.

— Мы свой пулемёт потеряли, — вздохнул Отяпов.

— А тебя, Гусёк, замыкающий долго на мушке держал.

Гусёк в ответ только засмеялся.

Вскоре они вышли на боевое охранение. Их окликнули с опушки. Когда узнали, что разведчики, приказали, чтобы шли по два. В ответ Лапин обложил их матюгами. И они пошли всей группой. Спрыгнули в траншею. Гусёк сразу уснул,

пристроившись на ящиках из-под какой-то армейской надобности.

Отдыхали они в траншее у охранения недолго. Съели остатки консервов, запили кипятком из термоса — пехота угостила.

Пришёл в себя полковник. Открыл глаза, спросил:

— Какое сегодня число?

Ему ответили. Мария приложила к его потрескавшимся губам фляжку. Он сделал два глотка и снова спросил:

— Где мы?

— Уже у своих, Иван Мефодьевич. Вышли. Вот, дядя Нил… Товарищ старший сержант Отяпов нас вывел.

— Сейчас направим вас прямиком в лазарет, товарищ полковник. Тут недалеко уже… — обрадовался Отяпов, что полковника вынесли всё же живым. В чём он какое-то время сомневался. Но вот — живой и даже разговаривает.

— А где капитан Забельский? Где лейтенант Катенёв? Где все остальные?

Мария пожала плечами.

Когда полковника донесли до санчасти и за ним из землянки выбежали санитары, тот поймал руку Отяпова, пожал её и сказал:

— Примите, старший сержант, от меня, — и сунул ему карманные часы на серебряной цепочке.

Отяпов вначале отвёл его руку и положил часы на плащ-палатку, которой были обмотаны раненые ноги полковника.

— Возьмите, — уже не поднимая головы, повторил полковник. — От всей души. За то, что не бросили нас с Машей.

— Бери, командор, — толкнул его в спину Лапин. — Знатные баки.

И Отяпов принял подарок полковника. Если разобраться, подумал он, то подарок он получил вполне заслуженный. Радовало и то, что полковник оказался человеком хорошим. Хотя кто его знает, может, потом будет сожалеть о том, что отдал дорогую «луковицу» какому-то случайному разведчику. Отяпов послушал, как часы с тихим и размеренным шумом тикают в своём благородном, из резного серебра, корпусе, расстегнул нагрудный карман гимнастёрки, бережно опустил их туда, потом так же аккуратно застегнул пуговицу и приложил ладонь к шапке:

— Служу трудовому народу.

— Служи, солдат, служи… — и полковник прикрыл усталые веки, которые уже светились воском.

И правильно, что взял, провожая взглядом полковника и Марию, подумал сержант Отяпов, всё равно за нашу разведку медали вряд ли дадут. А ребятам из своих запасов махорки побольше отсыплю. Гуську — хороший кусок сахару.

ДиН симметрия

Рюрик Ивнев

Любви моей мучительное детство

Петербург

О, как мне горестно, мой город неживой.
Мой Пётр! Мой Пётр! Я будто на чужбине.
Сквозь здешний Кремль я вижу: над Невой
Плывёт дымок, чуть розовый, чуть синий.

Я слышу сосен скрип. Сосна к сосне
Склоняется. О, время! О, движенье!
Гранитный шум я слышу, как во сне,
И мудрых волн спокойное теченье.

О, град мой! О, мой Пётр, верни, верни,
Верни мой дом, верни моё наследство!
Любви моей мучительные дни,
Любви моей мучительное детство.

1920

* * *

Постигну ли чудесное смиренье,
Как складки ветерка в лесной глуши,
Приму ли кровью вечное мученье
И узких глаз холодное глумленье
Над наготой взволнованной души?

Но, Боже мой, как трудно мне, как тесно
Дыханьем править, грудью шевелить,
Кривить душой в тюрьме моей телесной,
Ловить губами воздух пресный
И кожу влагою поить.

1920

Владимир Ярош

Московский пациент

Срок командировки истекал, дальше ждать мы не могли и вызвали по рации катер. Из-за мелководья он подошёл только к вечеру. Пока грузились, рискуя порезать бродни о береговую кромку льда, из-за сопки чуть не на плечи нам осела свинцовая туча. Повеяло холодом и запахом снега. Быстрей, быстрей: снасти, оружие, рыба.
— Ну всё, от винта!
— Стой! Где Феоктистыч?
— За куропатками погнался.
— … твою мать.

Крупные, как бабочки, снежинки, не касаясь земли, закружили в танце.

Даже некурящие затянулись, поглядывая то на небо, то на сопку, откуда раздавались щелчки.
— Попал бы уж да угомонился,— нарушил тягостную тишину «принц» Артур.— Они ведь как? Только на выстрел подкрадёшься — дальше перелетят. В азарте до темноты гонять будет. Ещё заблудится.
— А ничё, что полярная куропатка в Красной книге?— обозначил своё присутствие мрачный моторист с землистым лицом, будто жизнь провёл на махорке и перловой каше.

Виктор зыркнул на него, но не успел ответить: со склона катился толстяк Феоктистыч, волоча за голову курицу.
— Заводи свою балалайку!— сорвал-таки раздражение Виктор.
— А смысл? Впотьмах порог не пройти.
— Заводи! На утро вертолёт заказан.
— Подождёт.
— Ты знаешь, сколько час ожидания стоит?
— Контора оплатит,— пробурчал под нос моторист.
— Будешь гундеть — остаток жизни в кочегарке проведёшь.
— Не привыкать, я рабочий человек,— побледнел моторист и выплюнул в воду окурок,— яйца в креслах не парил…

Пришлось их разводить. Понимали, отчего Виктор нервничает. Официально мы прилетели в Красноярск с ревизией его ведомства. Он обещал нам охоту на оленя. Прождали неделю, а ни одного не видели. Обидно.

Между тем прелюдия к снегопаду закончилась, и так запуржило, что дальше трёх метров не стало видно ни зги. Для смены цветных декораций на белые хватило полчаса. Пришлось снова ставить шатёр.

К ночи ещё похолодало, и мы жались друг к другу, чтобы хоть немного вздремнуть. Виктор всё не мог успокоиться:
— Не, ну правда, разве с таким быдлом будет у нас когда порядок?..
— Да успокойся!— перебил его Иван Феоктистович.— В контору твою не поедем, сразу в аэропорт. Позвонишь, чтоб акты на подпись подвезли.

Все притихли, а кто-то и засопел.

Вдруг «принц» (он называл себя потомком древнего эвенкийского княжеского рода) приподнялся и прислушался.
— Пошёл!
— Куда?
— Да не я, олень пошёл!

Выкарабкавшись из палатки я подумал, что потерял ориентацию: с вечера река была справа, а сейчас оказалась слева. Странная какая-то, вся из голубых светящихся ленточек. Так сливались в лунном свете глаза бесконечного стада. Да ещё хрустели сухим хворостом рога, цепляясь друг за друга.

Северный олень низкорослый, поэтому стреляли с пояса, не целясь. Я боялся, что в какой-то момент они разозлятся, повернут свой поток в нашу сторону и растопчут, порвут рогами. Это им ничего бы не стоило, но они бежали мимо, не в силах нарушить зова предков и природы. Когда голубая река растаяла, в ушах звенело от канонады. Предстояло самое трудное.
— Надо сразу ошкурить. Когда окоченеют — замаемся,— распорядился Артур.

И мы всю ночь работали, грея мокрые липкие руки между кожей и тёплой плотью животных.

К утру шатало от усталости. И всё равно больше половины неосвежёванных туш пришлось оставить. Снегом мыли руки и лица, оставляя после себя кровавые пятна.

Моторист возмущался, когда грузили на борт добычу:
— Вы чё делаете?! Я порожняком-то за дно цеплял!

И в ярости начал было скидывать туши в воду, но Виктор как бы невзначай приподнял ствол:
— А ты аккуратней, стремнины держись.

Моторист скрипел чёрными зубами и беззвучно матерился. Из-под бушлата его выглядывал чёрно-белый тельник.

Катер, ломая намёрзшую кромку льда, погрузился в воду по самые фальшборта. Мотор, прогреваясь, давно работал.

— Ну, с Богом!

Выпив по кругу из фляги, мы сгрудились на палубе под парусиновым тентом. Несмотря на холод, сразу развезло. У моего соседа из носа повисла капля.

Я очнулся от толчка и скрежета в днище. Судно быстро уходило под воду. Я даже испугаться не успел, как оказался в ледяной купели. Товарищи мои барахтались недолго, меховые куртки их намокли и потянули ко дну. Не сразу понял: почему я-то ещё плыву? Это красный пуховик вздулся пузырём на спине, и меня поплавком понесло обратно. Свободной ото льда оставалась только стремнина. В попытках прибиться к берегу я изрезал в кровь окоченевшие руки и лицо и уже представил, как окоченевший труп мой вынесет в Енисей, а там и в Ледовитый океан. Вот место нашей стоянки, где лёд был отбит поутру. Пока я барахтался, пузырь надо мной сдулся и всей тяжестью мокрой одежды меня потянуло ко дну, которого я коснулся ногами, едва голова ушла под воду. Отталкиваясь от него, чтобы хватить воздуха, и подгребая руками, я достиг берега, как раз там, где недавно стоял катер. Секунду — и меня утащило бы под кромку льда, если бы не уцепился за свисающий ивняк. Только тут я в полной мере прочувствовал мощь воды, перехлёстывавшей через мои плечи и бившей в лицо. Разожми я тогда руки, никогда б не писать им этих строк.

Но повезло, выкарабкался. И тут же отключился. Очнувшись от холода, хотел встать, но одежда застыла панцирем и примёрзла к камню. Я заплакал от отчаяния. Раскачиваясь, чуть не скатился вместе с камнем обратно в реку. И лишь разбив лёд на шкерах, сумел подняться. Передо мной открылась картина ночного побоища: содранные шкуры с обнажённой сеткой кровеносных сосудов, неосвежёванные оленьи туши и всюду кровь, просвечивающая через рыхлый снег. Отрубленные рогатые головы. Было жутко и больно смотреть в их грустные, ещё не замутнённые глаза с длинными заиндевевшими ресницами.

Скоро придут волки. Надо уходить, но куда? Походкой терминатора, хрустя скованной льдом одеждой, я пошёл по каменистому берегу. До ближайшего кордона было больше трёхсот километров.

С наступлением темноты я всё чаще стал спотыкаться. Упав лицом в снег, не сразу удивился наступившей тишине: либо я ушёл от реки, единственного моего ориентира, либо она застыла. Узнать это можно было только утром. Но ждать — означало замёрзнуть. А мне хотелось жить как никогда! И я снова шёл, пока не запнулся об оленьи рога. Проклятое место не отпускало! Сидя в позе кучера на оленьей туше, я замерзал и уже не мог тому противиться.

Почувствовав чужое дыхание на лице, открыл глаза и вздрогнул, наткнувшись на взгляд болотно-жёлтых глаз.

— Привет. Жрать хочешь? Вон свеженины сколько, я-то тебе зачем?

Волк по-собачьи склонил вбок голову, шевельнул ушами, потом задрал голову и завыл. Страха не было, он умер во мне. Одна смертельная тоска. Вспомнились слова Артура: «Надо сунуть волку руку в пасть как можно глубже и выдернуть внутренности». А смысл, когда сейчас здесь будет вся стая? Послышался лай. Никогда бы не подумал, что волки умеют лаять…

Следующая картинка из цепи бредовых видений: изба с закопчёнными бревенчатыми стенами, увешанными скарбом. Трещат дрова в раскалённой печке. Я укрыт овчинами. Голоса, плач ребёнка. Спасён! И уже с облегчением снова проваливаюсь в беспамятство, отдавшись на волю силам, которые взялись побороться за мою жизнь.

На переохлаждения мой организм всегда реагировал пугающим жаром, в котором за день сгорали зловредные вирусы, а заодно и килограммы веса, отчего, поднявшись, я чувствовал себя привидением, а окружающие, за блестящие глаза и бледность, принимали меня за поэта.

Мерещилось, что я весь в липкой крови, среди ошкуренных туш. Молоденький подранок никак не мог умереть и всё поднимал в мою сторону голову на длинной шее, словно умоляя добить. Из глаз его бусинами катились слёзы. Мысль, что он — это я, пронзила меня; я очнулся и обнаружил себя закутанным в кислую, мокрую от пота шкуру. Знобило так, что клацали зубы, а дробь, выбиваемая затылком о бревенчатую стену, разбудила хозяйку.

Молодая эвенка или долганка, одетая в длинную сорочку, по которой до поясницы спадали, будто отутюженные, тяжёлые волосы, подойдя неслышно, запустила холодную, как змея, руку мне на грудь и, цокая, покачала головой. Перепеленав меня в сухое, мокрые шкуры развесила над печкой.

— Дышит? — раздался за ширмой сонный голос.
— Мокрый сильно.
— Значит, живой пока, — сказано было без нотки оптимизма. — Туши лампаду.

Погружаясь в сухой, как в сауне, жар, пробивавший до печёнок, до мурашек и блаженных

конвульсий, я таял, не в силах умерить сжигавшее изнутри пекло, от которого трещал скальп, до судорог ломило конечности и пылала сухая, как Сахара, слизистая рта.

Больное воображение рисовало картины крематория, топлёное человеческое сало, Каплуна в жёлтых трофейных сапогах и горящее тело хорошенького красноармейца Грачёва, чья судьба, чувствовал я, ждёт и меня[1].

Не в силах вымолвить слова, я шевелил губами, как карась, выброшенный на берег. Жёсткое дыхание участилось и перешло в хрип.

Скрип половиц отозвался ворчанием.

— Куда опять?—спросил Каплун.

— Пить подам,—ответил женский голос

— Б***ь, ну и ночка! Какая тут на хер работа.

Мне представилось, что его работа в том, чтобы сжигать трупы расстрелянных.

Белое облако проплыло в сени, из которых повалили клубы холода. Хрустящие удары и кроваво-красные куски в миске. Решив, что меня хотят заставить есть сырое мясо, я закрутил головой. Тщетно: в рот мне силком втолкнули замороженный кусок. Удивительно, но вкус живительной влаги вернул меня к жизни. Склонившись надо мной, ангел-спаситель в белом макал палец в оттаявший брусничный сок и проводил по моим губам. Я зачмокал им, как младенец соской. Гладкая ладонь скользнула мне под голову и приподняла её. Губ коснулась эмалированная кружка.

— Ещё,—обрёл я дар речи, выталкивая языком на подбородок попавшие в рот глянцевые брусничные листья.

Она снова налила, вместе со льдинками. Струясь по разветвлённым капиллярам, к воспалённым клеткам моим поступала жизнь. Голова, покоясь на прохладной ладошке, перестала трещать, и мысли прояснились. «Если выживу, заберу её».

Когда она вытирала мне влажным полотенцем лицо, из разреза её полотняной ночнушки выпал волчий клык на кожаной верёвочке.

— Спи давай,—подоткнула по бокам сухие овчины и улыбнулась кончиками губ, отчего меня захлестнул приступ нежности.

Прикосновение её губ ко лбу не показалось невинным.

— Горячий, как головешка.

Как утопающий за соломину, схватил я губами её палец. Непроницаемые чёрные бусины глаз её ожили на миг, и я увидел в них нежность, какой не видел и в глазах своей матери.

Захныкал ребёнок в люльке; она подняла его, дала грудь и замаячила, кланяясь и шаркая чунями. Монотонная колыбельная убаюкала и меня.

Проснулся в оцепенении. Почудился вой, как тогда, на берегу. Жуткий, словно с того света, и манящий. Прислушался: гудела печная труба с порывами ветра. Я расслабился. Через поры мои холодным потом истекал брусничный сок. Опять забило в сыром ознобе. Чтобы не стучали зубы, прикусил губу. Но Рита, так звали хозяйку, словно почуяв, поднялась, снова перепеленала меня, как ребёнка, и подбросила в топку дров.

Фантастические образы, словно из прошлых жизней и «Caprichos» Гойи, сменяли друг друга. И снова этот жуткий, леденящий душу вой.

Вспышка магния, заставила открыть глаза; в лицо упёрся столб белого света. Кто-то в упор рассматривал меня с фонарём.

— Жив ещё, курилка?—буркнул хозяин, закашлялся, отхаркиваясь, и направился к углу, где стояло ведро.

После натужных кряхтений по цинку зажурчала слабая струйка. За ночь это повторилось раза три-четыре.

Лишь под утро, когда обитатели дома засобирались, захлопали дверями, выпуская тепло, я провалился в глубокий сон.

Проснулся от тусклого света из окна, выхватившего сизый сноп пыли и дыма. Пахло едой. Мрачный дядька во фланелевой рубахе хлебал из миски. Несмотря на меховые онучи и душегрейку, вид его не вязался с обстановкой. Ну точно не эвенк. И вряд ли оленевод. Вытягивая к ложке губы, он чем-то напоминал Раймонда Паулса, когда тот склонялся над клавишами.

— Будешь?—поднёс он миску с тёмно-коричневым бульоном, от одного запаха которого меня чуть не стошнило.

Он поводил ложкой с куском оленьего мяса перед моим лицом, не для того, чтобы разбудить аппетит, а чтобы проверить реакцию.

— Как зовут-то?

— Андрей,—выдохнул я.

Он поморщился от моих хрипов.

— Как угораздило?

— Катер… утонул…

— О как! А остальные?

Я опустил глаза и пожал плечами.

— Ясно. Бог не фраер. Только чего вот Он тебя оставил, а не Федю? Чтоб помучился?

Я отвернулся.

— Так-то лучше, зубами к стенке. А моториста жаль. Какая-никакая связь была с миром. По нынешним временам другого катера не дождаться.

— Как отсюда выбраться?

— Тебе бы с того света сперва выбраться,—утешил он.—Дай послушаю,—припал он ухом к моей груди.—Дыши. Не дыши. Хреново, парень. Всё хрипит, как трубы иерихонские. Не знаю даже…

— Нас должны искать.

— А-а! То-то давеча «вертушка» кружила.

1. Из воспоминаний К. Чуковского о посещении крематория.

— И? — напрягся я.
— И улетела.
— Надо факелы!..
— Какие ещё факеры?
— Костры! — хрипел я, задыхаясь.
— Уймись, убогий. Будут тебе скоро и костры, и черти со сковородками.
— Нас должны искать, — шептал я, — мы… мы…
— «Мы, Николай Второй», — передразнил он. — Щёки сдуй. Тут все едины, как и там, — приподнял он брови. — Без проводника, небось, шастали?
— С Артуром.
— Помилуйте! Прынц наследный! Теперь тоже рыб кормит?
— Собаке — собачья смерть, — отозвалось из другой комнаты.
— Шакалья, — поправил хозяин. — Зачем собачек обижать?
— А мне теперь как? — напомнил я о себе.
— Видно будет, — и крикнул: — Рита, может, ему над картошкой подышать?
— Ещё дух испустит над чугуном.
— И так испустит. Скорей бы уж, хоть прикопать от волков, пока земля не совсем промёрзла.
— Собачий жир надо втирать.
— Да хоть с бубном пляши.
— Тьфу тебе, — огрызнулась Рита.
— Не мне, ему в рот поплюй, как твоя бабка лечила. Помнишь? Ха-ха-ха!

Рита решительно сняла ружьё с гвоздя на стене.
— Ты чё, шуток не понимаешь? Вот дикий народ.
— За дикий народ ответишь. Начну с Мальчика.

Заметив моё беспокойство, муж её снова захохотал, показывая на меня пальцем:
— С этого?
— Не боись, — успокоила она меня. — Кобеля у нас так зовут. В капкан залез, дурак. Всё равно лапа сгниёт.
— Лучше Тайгу, воет по ночам, спать не даёт. Того и жди родню приманит.

За окном послышалось глухое рычанье.
— О, услышала! — удивился Николай. — Всё чует, волчье отродье.
— Молчи, не то глотку перегрызёт, — проворчала Рита и добавила для меня: — Это ведь Тайга тебя нашла.
— И не тронула ведь, — задумчиво глядя в окно, проговорил хозяин. — Опять повезло. Не всё тонет, однако. Пойду поработаю, интересную мыслишку ты мне подкинул.

Я думал, пойдёт на двор по хозяйству, но он скрылся за ширмой в своей половине.

Несколько дней я балансировал на грани. Выхаживала хозяйка: натирала собачьим жиром, кутала и поила снадобьями. Когда её подолгу не было, мне казалось, что от меня отступились и оставили умирать.

Открывая глаза, иногда видел небритое лицо, склонившееся надо мной, словно проверяя, дышу ли я. Безумием веяло от воспалённых глаз. Очки, висевшие у него на шее, отбрасывали суженные, как кошачьи глаза, дольки тусклого света, плясавшие на полу. Становилось жутко, будто он прячет за спиной удавку. Но каждый раз, рано или поздно, нянюшка моя появлялась с мороза, и я оживал. Глядясь, как в зеркало, в её круглое белое лицо, я представлял своё измождённое отражение. Однажды она даже всплакнула, утопив в слезах остатки моих сил. Я устал бороться с рвущим душу кашлем, превозмогать слабость и терпеть ужасную ломоту в суставах. Она вскочила на скамеечку и, громыхая жестяными банками и склянками, нашла какой-то корень, отломила кусок зубами и принялась тщательно разжёвывать. Потом склонилась надо мной и втолкнула мне языком в рот разжёванное, разбавленное её слюной древесное волокно. Отдававший эстрагоном или коноплёй сок был приторно сладким; хотелось выплюнуть, но она прикрыла мой рот ладошкой, которую я невольно лизнул.
— Приляг со мной. Ну пожалуйста!
— От те раз!
— Хоть на минутку, а то умру.
— Вот чума, — вздохнула она и прилегла рядом, подвинув меня бедром.

И — о чудо! — страдания отступили. Более того, стало удивительно хорошо, и я блаженно улыбался, не скрывая счастья.
— Марго, — прошептал я.
— Я Рита, — поправила она.
— Марго лучше.
— Тебя мама как звала?
— Андрюша. Когда маленький — Дюша, — вспомнил я.
— Дюша, — передразнила она, щёлкнув меня по носу.

Ладонь моя проникла под её ночнушку и нежно, как гроздь спелого винограда, сомкнула маленькую, но тугую от молока грудь.
— Руки! — пригрозила она, но не отстранилась.
— Я люблю тебя, — едва ворочал я заплетающимся языком.
— Чё мелешь? Когда успел-то?
— Ангел мой, спаситель! — взял я длинную прядь её мягких, но тяжёлых волос и рассыпал себе на лицо.
— Блезишь никак али спутал с кем?

Я помотал головой.

Не помню, сколько длился этот сладкий дурман. Но передышки оказалось достаточно, чтобы продолжить борьбу за жизнь. Марго силой заставила меня проглотить несколько ложек шурпы из собачатины, к удивлению, принятой моим организмом. Впервые поверилось, что буду жить.

Настал час, когда я рискнул выйти во двор. От белого света зажмурился и чихнул; глоток свежего воздуха ударил в голову, опьянив абсолютной чистотой. Кое-как, покачиваясь на вытоптанной тропинке, добрался я до дощатой кабинки с ромбиком щеколды.

На обратный путь сил не хватило, и я рухнул в сугроб. В лицо ткнулся влажный нос.

— Узнала?—потянулся я к волчице, чтобы погладить между ушей, но она, мотнув головой, оскалила нешуточные клыки.

Такого предупреждения мне вполне хватило. Отдёрнув руку, я просто сказал ей:

— Спасибо.

Она поняла и улыбнулась. Именно улыбнулась, а не оскалилась!

— Куда тебя лешак понёс, доход?!—услышал я голос Марго.

— Это волк или собака?

— Совол.

— Кто?

— Микс. Не понимаешь? Как я: папа русский, мама долганка. Это обновляет кровь.

— Ясно. Скажи, Марго, а как вы связываетесь с людьми?

— Редко.

— Я серьёзно.

— Сбежать хочешь?—улыбнулась она, сверкнув белыми, как снег, зубами.

— Помоги мне, пожалуйста!

— А я что делаю? Выкуп за тебя не прошу. Да уйми ты руки свои шаловливые, дистрофик! А то головой в сугроб воткну!

Николай Мироныч (так хозяин представился мне), словно удивляясь тому, что я ещё живой, стал обращать на меня внимание большее, чем на утварь и другие предметы обихода.

— Москвич никак?—спросил он как-то.

— По говору видно?

— По нимбу.

Более того, мне показалось, у него проявился ко мне интерес, который, из опыта, я отнёс на счёт будущих просьб помочь чем-нибудь из Москвы.

Он подсел, посмотрел горло, прослушал хрипы в лёгких.

— Да, молодость и воля к жизни творят чудеса. Не скучаешь без телевизора?

Я качнул головой:

— О жизни думаю.

— Ну да, раньше-то некогда было. Только не сильно задумывайся, крышняк съедет.

— Почитать у вас ничего не найдётся?

— Когда дети болеют, им сказки рассказывают.

Он исчез ненадолго на своей половине избы и вернулся оттуда со стопкой исписанных листов.

— Если засыпать начнёшь, скажи.

Как в воду глядел: под выразительное бормотание глаза мои сомкнулись раньше, чем я разобрал его смысл.

Скоро я уже уверенно выходил во двор. Обедать меня усадили за общий, покрытый клеёнкой, стол. Блюда не отличались разнообразием: каша, шурпа, сухари. Кисель из клюквы—единственное, от чего я не отказался.

— Вот такие вот дела,—вытерев губы, сказал Николай, словно подытожив невысказанную историю.— Москва ква-ква. Трудишься где или так?

— Работаю,—назвал я своё ведомство.

Он икнул.

— Удачно пристроился! И кем же?

— Да так, по связям с общественностью.

— Не понял. Здесь-то какая, на хер, общественность?

— Просто пострелять приехали с шефом. Его в край с ревизией командировали. Им тут обычно охоту организуют в свободное время. Шеф любитель популять.

— Ни хера себе популяли! Полстада положили. Родня никак?

— Ну как-то так,—покрутил я пальцами, не решаясь сразу раскрыть все карты.

— Да ладно,—не стал допытываться Николай.— Как не порадеть? По специальности хоть устроил? Или тоже «как-то так»?—передразнил он меня.

— Вообще-то я журфак закончил, МГУ. Наши люди везде котируются.

Николай посмотрел на меня как на редкую рептилию:

— Бр-р! Москвич, да ещё журналюга,—адская смесь. Ну да, ну да. Болтология теперь в почёте. Как-то уже обозначился в информационном пространстве?

— Разве что на ведомственном сайте. Но там своя специфика.

— А для души?

— Кому это нужно?

— Самому.

— И в голову не приходило. Да и времени нет.

— Зато теперь с избытком.

— Да, хоть дневник начинай.

— Вот этого не надо. А то понапишешь там. Я найду чем тебе заняться.

Он открыл банку растворимого кофе, положил себе две ложки и залил кипятком.

— Будешь?

— Нет, спасибо. Лучше ещё киселька, если можно.

— А я привык. Кофеин мозги взбадривает.

Тут уже задумался я: «Зачем ему мозги взбадривать в такой глухомани?»

Глаза Николая оживились, выдавая желание продолжить разговор, который, по правде сказать, начал меня утомлять.

— Что-то голова закружилась, пойду прилягу,— сказал я.— Спасибо за обед.
— На здоровье,— обиделся он.

На другой день, когда я грустно смотрел в маленькое окошко на малиновые переливы утренней и одновременно вечерней зари (полностью солнце уже не показывалось), ко мне подошёл Николай со стопкой ученических тетрадей.
— Медитируешь?— спросил он.
— Второй джан,— ответил я, но он не понял и подал мне несколько ученических тетрадок.
— Ты почитать спрашивал, на вот. Как у тебя со зрением? Ежели темно, могу генератор завести,— удивил он меня своей щедростью.

Выведенный протокольным почерком заголовок на обложке тетради под номером один: «Убийство на станции Клюквенной»,— не сказать чтобы сильно меня заинтриговал, но в надежде лучше понять автора, коим, видимо, являлся сам хозяин, я пробежал глазами первые строчки:

«Весна в том году выдалась ненастной, и в первый же солнечный день, выпавший на выходной, всё население районного центра ринулось на свои, с позволения сказать, дачи. Семья Квасцовых только-только поселилась в частном доме с огородом, ехать покудова было некуда, да и не на чем, и, поднятый женой спозаранку, младший лейтенант, орудуя лопатой, к обеду перекопал под картошку и грядки уже больше половины запущенного огорода, когда перед домом его с жутким скрипом затормозила дежурная „канарейка“.
— Коля! За тобой!— крикнула из стайки жена.
— Да понял уже,— воткнул Квасцов в землю лопату и, голый по пояс, в калошах и старых сизых галифе, подвязанных бельевой верёвкой, направился к калитке, за которой бесновался дежурный Михеев.
— Б***ь, ну нельзя быстрее?!— закричал он, полагая, видимо, что разница в возрасте и две лишние звёздочки на погонах дают ему право так разговаривать с молодым сотрудником.
— Что опять?
— Давай в карету, там объяснят!
— Так-то у меня выходной сегодня.
— Быстро!.. твою мать! Аристов порвёт! На станции двойное убийство!
— И чё?
— Знаешь, кого грохнули? Второго секретаря! А знаешь как? К нам уже гэбэшники из области едут, а отдел пустой. Всех объехал— никого! Антипов только, но у него воскресный запой. Так и не смог подняться. Уроды…
— Сейчас, умоюсь, оденусь.

Из рации в „уазике“ прохрипел голос начальника отдела вперемежку с матом.
— Уже едем, товарищ подполковник,— полебезил в микрофон Михеев и потащил за собой Квасцова.

Выскочила из дома жена с кителем и пакетом-маечкой, сквозь который просвечивал пистолет.
— А кобуру?!— крикнул Квасцов, но Михеев, здоровенный детина, не стал дожидаться и запихнул его в машину…»

К удивлению моему, текст не вызывал раздражения; более того, первую тетрадь я проглотил на одном дыхании. На цыпочках, чтобы не мешать, в комнату в шерстяных носках вошёл Мироныч и, словно извиняясь, поднял ладони. Взял с полки банку кофе и так же бесшумно удалился, чтобы не мешать.

Рита занималась во дворе и зашла в дом только раз, чтобы покормить ребёнка. Я что-то спросил у неё, но она ответила односложно и на ходу.

Когда снова появился её муж, прочитанные мною тетрадки стопочкой лежали на столе.
— Осилили?— перешёл он на «вы».
— Прочёл.
— Ну и как?
— Живенько так. По-настоящему.
— Ну дык. Коль знаешь жизнь, выдумывать не надо.
— В милиции работали?
— Служил. Отечеству.

Мы помолчали, словно осмысливая значимость этого факта биографии. Он первый нарушил паузу:
— Так что, читабельно?
— М-м-м…— пошевелил я пальцами.— Если ошибки убрать да просторечьем не злоупотреблять.

Мироныч расправил плечи.
— Поможешь?
— По мере сил.
— А можно будет потом куда-нибудь тиснуть? В смысле, в журнальчик какой?
— У вас много такого?— понял я, куда он клонит.
— Такого,— показал он на тетрадки,— мало. Времени нет. Я сейчас работаю над крупным.
— О чём, если не секрет?— спросил я и понял, что попался.
— Так и быть, дам почитать. Основа уже готова. Осталось мяса нарастить да как-нибудь всё это,— сделал он вращательное движение руками,— аккуратненько завершить. Чтоб всё вязалось.
— Завершить трудней всего,— многозначительно заметил я, мысленно продумывая свои условия к предстоящей сделке. И добавил с менторским видом:— О чём думали, когда начинали? О славе?
— Да куды там!— отмахнулся он.
— Ладно, посмотрим.

Через несколько дней я уже поправился настолько, что смог помогать по хозяйству: колоть дрова, пилить лёд на реке, который тащил потом до дому на саночках. Лёд вполне можно было привезти и на снегоходе, но, как мне объяснили, бензин надо экономить. А однажды хозяин взял меня с собой на рыбалку. Заключалась она в следующем.

Ещё до ледостава в излучинах, где слабей течение, он воткнул в дно несколько длинных шестов,

соединённых под водой бечевой. Сейчас шесты эти наглухо вросли в лёд. Ловко орудуя «Макитой», Мироныч выпиливал их изо льда, а я вылавливал пешнёй ледяную шугу из образовавшейся проруби. Привязав с одной стороны к бечёвке сеть, мы вдвоём протянули её под водой до следующего шеста. Всё бы ничего, но при малейшей моей оплошности хозяин орал на меня благим матом. Особенно когда я чуть не утопил тяжёлую пешню.

— …Твою мать! Тесёмка для чего?! Привязывай к руке, сколько раз повторять? Утопишь — на дно отправлю вылавливать. У меня там уже две штуки, от таких, как ты, раздолбаев.

Я ещё подумал: неужели у меня были предшественники?

Поставив на шести шестах три сети, мы поехали домой. Не знаю, как он, но я промок основательно. Снегоход у него был профессиональный, норвежский. Удивительно, что на ветру при такой езде я снова не простыл.

— Можно порулить? — спросил я на следующий день, когда мы поехали проверять сети.

Он как-то подозрительно посмотрел на меня и спросил, словно прочтя мои мысли:

— А опыт есть? На чём?

Услышав марку, презрительно фыркнул:

— На таком только девок вокруг бани катать.

Из трёх сетей мы извлекли с десяток крупных рыбин: муксун, чир, пелядь. Сети были китайские, браконьерские; у меня все руки окоченели, пока я выпутывал жабры из их цепких капроновых петель. Николай не цацкался и выдёргивал рыбин, уродуя им головы.

На обратном пути он поставил несколько капканов. Потом всё же уступил мне место за рулём.

По прямой ехать было несложно, только газу поддавай. Трудней поворачивать, объезжая наледи. Машина была большая и тяжёлая, приходилось приподниматься с сиденья и, сохраняя равновесие, изо всех сил тянуть руль то вправо, то влево. Представляю, что было бы, если б я перевернул снегоход!

Перед тем как въехать с реки на обрывистый берег, Мироныч не выдержал и заставил остановиться.

— Нервов не хватает для твоей езды.

Когда мы пересаживались, я заметил ошкуренный крест на берегу и спросил, кто там погребён.

— Да тоже экстремал один. Псих-одиночка. На байдарке думал до океана сплавиться. Да на пороге перевернулся. Еле выбрался, без жратвы, без снаряжения. Почти как ты. Я его на ноги поставил, а он бежать надумал. Насилу нашёл. Да поздно, околел уже.

Я хотел ещё что-то спросить, но он дал газу, оборвав наш диалог на самом интересном.

Вечером Марго резала рыбу и, искоса поглядывая на меня, бросала куски в закипающую воду. Закончив, она пальцами, как мы снимаем мыльную пену с ладоней, убрала над котлом с рук рыбью кровь и икру со слизью. Странно, но меня это не покоробило. И когда через три минуты мне налили в миску уху, я принялся уплетать её за обе щёки. А в голове моей между тем зрел коварный план.

На следующий день, когда Николай собрался проверять капканы, я сказался больным.

— Дохлый какой-то, — буркнул он и принёс мне очередную стопку исписанных тетрадей. — Читай, коль работать не хочешь. Только внимательно. У меня тут лишнего нет. Каждое слово по существу. Приеду — обсудим.

Я не стал спорить, лишь бы он поскорей уехал.

Когда Марго присела покормить грудью ребёнка, я устроился у неё за спиной и стал гладить её скользкие волосы.

— Чё, уже поправился?

— Ага, — вдохнул я запах её тела и провёл языком по шее.

— Жук московский, — сказала она.

Но я-то видел, что ей нравится. В конце концов она не выдержала, положила ребёнка в люльку, подошла ко мне и потрогала пальцами у меня промеж ног. Убедившись, что всё нормально, выскользнула из шерстяного платья и деловито улеглась на мою постель.

— Какие у тебя чёрные соски! — сказал я.

— А тебе надо розовые?

— Мне надо такие, как у тебя.

— На.

Уткнувшись ей в подмышку, я ещё подумал: зачем другие женщины выбривают их? У Риты они выглядели куда соблазнительней.

Совсем некстати заплакал ребёнок. Ухватившись ручонками за край своей люльки, малышка таращила на нас угольные глазки.

Марго вскочила, взяла её на руки и перенесла к нам в постель, будто это обычное дело. Я думал, что присутствие ребёнка будет смущать, но ничуть. Мы были как одна семья, и оттого чувство близости только усиливалось. Девочка перестала хныкать и с интересом наблюдала, чем это мы занимаемся. А я не ограничивал своих фантазий, будто стараясь удивить обоих. Когда мы затихли, она заснула между нашими горячими телами.

Мне казалось, я превзошёл самого себя и всё ждал от Марго чего то типа: «Как мне хорошо с тобой», — или: «Как я теперь буду жить-то без тебя?» — ну, что-нибудь из того, что говорят в такие моменты русские девушки. Но она хранила обидную для меня непроницаемость.

Потом легко поднялась и взяла ребёнка.

— Не спеши, — попросил я.

— Скоро приедет.

— И?

— Убьёт. Не веришь?
— Я похож на муравья?
Она усмехнулась:
— Муравью бы не дала.
— Тогда чего боишься? Иди ко мне, я снова готов.
Она увернулась и начала одеваться.
— Он хитрый. Мне даже кажется, сидит сейчас под окном и подглядывает.

Я посмотрел в окно. Удивительно, но мне показалось то же самое.
— Он мент?
— Был.
— А как сюда попал?
— Обидели.
— А как вы сошлись? У вас же разница такая.
— Так и сошлись. Наших-то парней вообще не осталось. Кто спился, кого убили, кто уехал. Что мне, до смерти в девках ходить? Приехал к моей матери, поговорили. Деньги есть. А что ещё? Они с бабкой и рады. Вначале мы в посёлке жили. Но он с людьми совсем не ладит, ссорится со всеми, чуть что — за ружьё. Нервный сильно. А здесь охотник жил. Из староверов. Дети разъехались, жена умерла, сам еле ноги носил. В поселковой больнице доживал. Зачем ему дом? Нам отдал. Подладили, третий год уже живём.
— Не скучно?
— Мне нет, я так привыкла. И ему никто не мешает; пишет всё.

«Книгу! — вспомнил я. — Приедет, спрашивать будет». И я принялся за тетрадки. Поначалу с интересом, но потом всё быстрей и быстрей.

Если в основу сюжета легла биография автора, то можно себе представить последние годы его служебной карьеры, рухнувшей со сменой начальства. Законы служебного роста, которые он хорошо освоил: услужливость, подношения, откаты, особые поручения неслужебного характера, фабрикация дел, фальшивые отчёты, — всё это перестало у него срабатывать после кадровых перестановок. У нового шефа были свои вертухаи, и в услугах Квасцова он не нуждался. Напротив, тот стал мешать ему. Договориться не получилось, пришлось прибегнуть к жёстким мерам. А зацепиться было за что.

Старый покровитель, уйдя на повышение, чувствовал себя не очень-то уверенно в новом окружении и быстро забыл про обещание перевести к себе покорного слугу. А ввязываться за него в разборках счёл себе дороже. Кому нужны неудачники? То, что Квасцова в конце концов пожалели и дали условный срок, бывший шеф объяснил своей заслугой, хотя и пальцем не пошевелил. Зато намекнул, что они в расчёте, и заблокировал на своём мобильном номер абонента «Коля Квас».

Судя по тому, насколько повесть смахивала на автобиографичную, прототип героя нашёл-таки способ рассчитаться с обидчиками: книга, на которую он уже положил не один год жизни, по фактуре своей должна была стать их приговором. Конечно, если увидит свет.

Ошибок в тексте было немало, я принялся исправлять их карандашом прямо в рукописи. А на полях писал убористым почерком замечания по стилистике и в менторской манере давал рекомендации по раскрытию характеров героев, по заполнению их диалогов.

Объективность некоторых фактов и событий повести вызывала сомнение, но я лишь отмечал такие абзацы вопросительными знаками, оставляя их на совести автора.

За ужином у нас состоялось заседание литературного клуба. Я не скупился на похвалы. Но Николай выслушал их без особого энтузиазма.
— Спасибо, конечно. Ваша оценка, если она не лесть, придаёт уверенности. Но мне нужен критический анализ искушённого читателя, поскольку автор не может быть достаточно объективным.
— Простите, я не критик.
— Вы хоть и журналист, но, как я вижу, человек вполне адекватный.
— «Спасибо, конечно. Ваша оценка, если она не лесть…»
— Не паясничайте! Я не петушка, а вы не…
— Кукух! — подсказал я.
— Именно.
— А сами вы видите у себя слабые места?
— Некоторые авторские пояснения снижают напряжённость и размывают общую палитру.
— Занудны, согласен. Не надо пустословить.
— Да знаю. Некоторые главы я уже переписывал по нескольку раз.
— Толстой пять раз «Войну и мир» переписывал.
— Я не глыба, не вечен, — грустно заметил он.
— Что у вас, рак?
— Тьфу-тьфу.
— Вам компьютер нужен. Сэкономите кучу времени при редактировании. Можем вместе съездить, я помогу выбрать.
— У вас одно на уме — лишь бы удрать. Скажите лучше, как вам вторая глава, где про командировку Квасцова в район?
— Не отложилось.
— Как? Там же всё пронизано тонкой иронией!
— Видимо, настолько тонкой, что я и не заметил.
— Ну как же так? — не на шутку расстроился писатель.
— Да к чему такие потуги? Не дамский же детектив пишете, а экшн. Или я опять чего не понял?

Мироныч загрустил. Мне даже стало жаль его.
— Хорошо. Я перечитаю повнимательней. Только сами же говорите, времени мало.
— Это у меня. У вас его предостаточно. И без компьютера обойдёмся. Лучше я дам вам ручку и бумагу, а вы обновите текст с учётом ваших замечаний.
— Лучше для кого?! — задохнулся я от возмущения.

— Я возьму вас в соавторы.
— Увольте! Чтоб меня потом привлекли за клевету или подстрелили ваши бывшие дружки-оборотни? Да у меня дома своих дел по горло! Когда вы меня отпустите?
— Я готов дать вам письменную гарантию о том, что доставлю вас до ближайшего кордона, когда работа будет закончена.
— На это уйдёт не один месяц!
— Сейчас ноябрь, а река вскроется в мае. Посчитайте, что быстрее. Поскольку катер загубили, не факт, что по нынешним временам МЧС или кто там выделят средства на новый. Пешком по болотам вы не дойдёте, гнус заест, а отправитесь сейчас — волки скушают. Так что советую не терять время даром и поскорей приниматься за работу.
— Я убью вас! — схватил я табуретку.
— А дальше?
— Или посажу за похищение человека! Как там у вас это называется?
— Никак. Я ведь не держу вас, — спокойно указал он на дверь. — Могу даже предложить на посошок. Кстати, у меня есть замечательный первач, настоянный на пантах[2].
— Кстати — к чему? — насторожился я.
— Не ловите на слове, это просто форма речи, — грустно улыбнулся он.

Ситуация сложилась патовая. Одна мысль о том, чтобы переписывать этот бред сумасшедшего, представлялось мне невыносимой. «Бежать, только бежать!» — стучало в моей голове, пока я ворочался в постели. Но как? И кто, кроме Марго, мог мне помочь?

Между тем отношения с ней закручивались настолько, что я уже не мог без неё и начинал скучать, даже когда она отлучалась проверить силки или ещё по каким-то своим делам. Влечение стало сильнее нас, мы уже не могли дождаться, пока останемся одни, и порой удовлетворяли его прямо в чулане, в сарае, в дровянике и научились это делать так, чтобы только не отморозить жизненно важные органы.

Иногда это обижало её:
— Что мы всё как животные?
— Но ты же сама дитя природы.
— И поэтому меня можно на куче дров трахать? Совсем не уважаешь.
— А тебе что лучше — любовь или уважение?
— А нельзя совместить?
— У тебя это и так неплохо получается, — намекнул я на её отношения со мной и с Миронычем одновременно.

Конечно, когда он уезжал, мы позволяли себе расслабиться и насладиться друг другом в полной мере. По жизни я не особенно разбрасывался признаниями в любви, но с ней эти слова просились сами собой. Возможно, потому, что, воспитанная в рамках неких условностей, она всегда была сдержанна, а мне так хотелось зажечь в ней безудержное пламя её диких предков.
— Давай убежим вместе? — как-то предложил я.
— А Нюра?
— С нами, конечно.
— И куда?
— Ко мне, в Москву. Что молчишь?
— Думаю. Что я буду там делать с ребёнком, когда ты нас выгонишь?
— Ни-ко-гда! Потому что я люблю тебя, глупая.
— Вот заладил, — сказала она и рассмеялась.
— Ты чего?
— От радости: представила лица твоих родителей, когда они увидят на пороге чукчу в парке, да ещё с довеском.
— Да они спят и видят, когда я подарю им внуков!
— Но такой кошмар им и во сне не привидится.
— Кошмар они уже пережили, когда я чуть кони не кинул от кокса.
— А, поняла.
— Что ты поняла?
— Чего так домой рвёшься. Тут ширнуться нечем?
— Я сменил профиль. Теперь у меня другая зависимость. От тебя.
— Ничего, дома вылечат. Знаешь, я училась в школе-интернате в посёлке…
— О! Звучит гордо!
— Заткнись! На все предметы у нас было всего три учителя. Зато каких! Один Вацлав Тадеушевич чего стоил!
— Кто?
— Вацлав Тадеушевич. Потомок ссыльных поляков. А что? У нас там их целое кладбище. Так вот, на его уроки ходили как на праздник. Но временами, примерно раз в четверть, он исчезал куда-то на неделю. Никто не знал куда. А я догадалась, когда он рассказал нам про Миклухо-Маклая.
— Который жил у папуасов?
— Да. И жил так долго, пока ему не начинали нравиться местные женщины. Тут он понимал, что пора, и сматывал удочки.
— Я не Миклухо-Маклай. И ты не папуаска. Сама говоришь, у тебя папа русский.
— Да, но он сбежал от мамы ещё до того, как я родилась.

Однажды во время нашего краткого свидания в сарае среди хлама я разглядел какие-то полозья.
— Что это?
— Сама не знаю. Осталось от прежнего хозяина.

Потратив немало времени, я всё же выгреб из кучи антиквариата некое транспортное средство, походившее на собачьи нарты.

2. Настойка пантов оленя повышает потенцию.

Отныне в свободное от редактирования будущего бестселлера время я занимался их ремонтом.

Хозяин только ухмылялся, глядя на мои труды:
— К побегу готовишься?
— Как получится.
— Да никак. С чего ты решил, что я отдам тебе своих собак? Хотя почему и нет? Будет кому потом притащить с полпути твой замёрзший труп. Можешь заранее выбрать место для последнего приюта.
— Я предпочитаю романы с хэппи-эндом.
— Мы же не в Америке. Русского читателя счастливый конец раздражает. Ему только того и надо, чтобы увидеть, как кому-то ещё хуже.

К концу декабря даже в полдень в южной части горизонта уже не оставалось и признаков просветления. Всё погрузилось во тьму. Хотя нельзя назвать её кромешной: даже в период новолуния, когда от спутника Земли оставался только узенький серпик, различались очертания гор на горизонте; на снегу, который, светился сам по себе, легко различались вытоптанные нами тропы и собачьи следы. С наступлением настоящих морозов небо так вызвездило, что, заворожённый бесконечностью, я мог подолгу стоять по колено в снегу, закинув вверх голову.

Не дожидаясь окончания полярной ночи, я начал осваивать езду на собаках. Три хаски впряглись и пошли сразу, будто всю жизнь этим занимались. А вот Тайга изрядно потрепала мне нервы. Свободолюбивое животное долго грызло постромки, чтобы высвободиться. Но моё упорство взяло вверх, и вскоре мы уже совершали приличные прогулки вниз по руслу реки и обратно, всё больше увеличивая амплитуду.

И вот, в очередной раз миновав уже знакомые места, в лунном свете я увидел идущую вдоль самого берега вереницу когтистых следов. Только тут понял беспокойство Тайги, которая дёргалась то вправо, то влево, нарушай обычный стройный бег. Когда я вырулил прямо к следам, она совсем озверела. Другие собаки, напротив, съёжились, прижали уши и замедлили ход

У излучины реки, на мелководье, стройная цепочка следов рассыпалась. Снег тут был изрядно вытоптан. Я остановил нарты и с лопатой подошёл к эпицентру недавнего волчьего шабаша. Разгребая со льда снег, я ожидал увидеть вмёрзшую в лёд рыбину, которая привлекла хищников, но сильно ошибся. Посветив фонарём на лёд, я столкнулся взглядом с начальником, который, не мигая, строго смотрел на меня сквозь толщу льда. Немой крик вырывался из зияющего провала его рта. Я убежал бы, если бы не оцепенение, сковавшее меня от страха. Тело, видимо, зацепилось на мелководье за корни прибрежного кустарника да так и вмёрзло в лёд во время ранних морозов. Руки его, торчавшие из-подо льда, были до локтей отгрызены волками. Но до туловища и головы они не успели добраться. Придя в себя, я первым делом перекрестился. Потом перекрестил покойника. В свете фонаря что-то блеснуло золотом. Я вытянул за браслет из-под снега часы TAG, которые оказались не по зубам волкам. Стрелки на циферблате показывали точное московское время.

На следующий день, когда мы приехали на это место с Миронычем и его «Макитой», выпиливать было уже нечего. За ночь волки прогрызли лёд и полностью сожрали тело несчастного.
— Зато хоронить не надо,— сказал Мироныч и, встретив мой неодобрительный взгляд, добавил:— А как в мерзлоте могилу копать? Не в сарае же до лета хранить? Ритка бы не позволила. По их поверью, мертвец злых духов приманивает.
— Ты откуда знаешь?
— Знаю. Хватит тут ковыряться, поехали.

Происшествие это на время охладило мою решимость. Хотя с помощью Марго к тому времени я уже изучил маршрут.

По её словам, от первого кордона нас отделяло примерно четыреста километров. Дней пять-шесть на собаках. У егеря есть рация, и он может вызвать вертолёт. Правда, на кордоне он появляется наездами, и то с приходом солнца. Без него придётся почти столько же добираться до следующего кордона. Не факт, что и там кто-то будет. Увезти провизии для себя и собак на такое длительное путешествие было проблематично, но в зимниках хозяева обычно оставляют НЗ. Куда больше меня беспокоило, выдержу ли я полмесяца открытых ночёвок при морозе за сорок. А потому оставалось одно — править опусы Мироныча и надеяться на его слово.

В силу своей профессии я знал, что работа на заказ не всегда вдохновляет. Но корпеть в наказание над его творением стало совсем невыносимо. Как-то я не выдержал и спросил с раздражением:
— Скажите, а зачем вам это?
— В смысле?
— Залог успеха любого труда — конкретная цель. Разве не так? Что молчите?
— Я просто пытаюсь понять, какую цель преследовал Пушкин, когда писал:

> Буря мглою небо кроет,
> Вихри снежные крутя;
> То, как зверь, она завоет,
> То заплачет, как дитя.

— В том числе и меркантильную. У него одних карточных долгов было не счесть. Кроме того, содержание такой красавицы, как Наталья Николаевна, требовало немалых средств.
— Согласен, не мой случай,— ухмыльнулся он.— А скажите, любезный, из каких таких меркантильных побуждений заливается соловей?

— Самку приманивает. А вот ваших побуждений я не понимаю. Ежели жажда мести — так напишите жалобу прокурору.
— Вам ли не знать, чем такие петиции заканчиваются? Да и не в этом только дело. Я хочу, чтобы люди знали правду.
— О-о! Но люди и без вас всё знают. А ежели вы хотите публичности, так для этого есть куда более эффективные средства. Сколько, думаете, человек прочтут вашу книгу, если даже вы её напечатаете? За свой счёт, естественно. Не знаете? Ну так я скажу: от силы человек десять. Вы знаете, кто такие блогеры?
— Примерно.
— Так вот, наиболее удачливые из них имеют по миллиону подписчиков. Представляете? Это десять стадионов «Лужники»! Вы можете публиковать свои вирши на «Фэйсбуке», «вконтакте», в «Инстаграме». Можете сайт свой зарегистрировать. Публикуйтесь там и поймёте, чего сто́ите. Вот кто ловит последние веяния времени и чувствует настроения общества.
— Подстраиваться и изгаляться на потребу дебильным молокососам?
— Найдите себе сообщество по интересам.
— Возможно, я ретроград, но на бумаге мне кажется надёжней. Что написано пером, не вырубишь и топором.
— Тогда уж высекайте на мраморе — для вечности.
— На надгробье — имеете в виду?
— Да вы, батенька, садомазохист! Ваши извращённые фантазии сбудутся, когда какой-нибудь критик прочитает ваш роман. И не только высечет, но и вы**ет. На надгробье.
— Вам лишь бы словами поиграть. Сразу видно — филфак!
— Журфак, — поправил я.
— Всё от слова «фак»!
— Что вы имеете этим сказать?
— А разве нет? «Журналист» стало синонимом слова «проститутка». На мать родную памфлет настрочит ради денег.
— И это говорит человек, который ради денег и карьеры фабриковал уголовные дела? Сажал невинных за решётку? Обкладывал данью, шантажировал и запугивал честных предпринимателей?
— Да где вы видели честных предпринимателей?
— Поищите лучше честных ментов!
— Ну, хватит!
— Видит Бог, не я начал.
— На чём мы остановились?
— На надгробной плите.
— На том, что все эти ваши «фэйсбуки», «инстаграмы», прости, Господи, — суета сует, противная служенью муз.
— Не суета, а скорость мы́шления. Что, собственно, и есть ум.
— А я думал, ум — это умение логически мыслить, сопоставлять данные из багажа знаний, у кого он есть, конечно.
— Да бросьте! В компьютерную эпоху, когда все варианты мгновенно просчитываются, то, о чём вы говорите, — анахронизм.
— И чувства тоже?
— А то я понять не мог, зачем вам все эти мелизмы. Так вы ещё и удовольствие получаете от процесса?

Тут вошла Рита, и мы замолчали. Когда снова остались одни, я продолжил:
— Знаете, есть такой рассказ. В стране гражданская война громыхает, а мужик один в сарае заперся и над чем-то корпит дни и ночи. С таким же, как у вас, упорством. Только он не роман писал, а вечный двигатель мастерил. А в деревню ту приехал израненный комиссар. Оказалось, друзья детства. Встретились и заспорили: кто из них с большей пользой жизнь прожил? Что скажете?
— Насчёт пользы ещё можно поспорить, но кто из них причинил всем меньше зла, я могу точно сказать.
— Меньше зла всем причиняет покойник.

И вот как-то, шелестя бумагами, которыми он меня завалил, я обнаружил папку с листами, исписанными совсем другим почерком. Их было с полсотни, и по содержанию они органично вписывались в повесть, составляя две её, пожалуй, лучшие главы. Сюжетная линия была сохранена, но стилистика стала безукоризненной, язык живой, и ошибки в тексте отсутствовали.

Мне сразу вспомнился крест на берегу. И я спросил Марго, кто под ним лежит.
— Никто, — ответила она, стирая пелёнки в корыте.
— А кто писал вот это? — потряс я папкой.
— Серёжа.
— Какой ещё Серёжа? Где он?
— Ушёл.
— Куда?
— Туда, — неопределённо махнула она мыльной рукой.
— А что тогда под крестом?
— То, что от него осталось: пара косточек, очки, ботинок да куски одежды. Мы всё закопали и поставили сверху крест. Чтобы по-христиански, как Коля сказал.
— Христиане, ити вашу…! И ты туда же?
— Не знаю. Правда, когда я училась, в интернат приезжал поп и всех нас окрестил. Но я не заметила, чтобы это как-то повлияло на мою жизнь. Ты сам-то веришь в Бога?
— А кому ещё?
— Если некому, то как жить?
— Живут же как-то. Многие.
— Ну да, зачем верить, когда всё хорошо?
— Мы о чём говорим, о вере или доверии?

— Какая разница?
— Ну, вот я тебе верю. А ты мне?
— Конечно, нет.
— Почему же? — обиделся я. — Потому что москвич?
— Сама не знаю.

Новость про загадочного Серёжу, а главное, про то, что от него осталось, только подхлестнула меня: я снова загорелся бежать. И поделился своим планом с Ритой.
— Миклухо ты Маклай, — сказала она.
— Пойми, у меня в Москве неотложные дела. А потом я обязательно приеду за тобой.
Она покачала головой.
— Себе не ври. Даже если выберешься, я тебя больше не увижу, — грустно сказала она. — Если я для тебя что-то значу, давай убежим втроём, с Нюрой.
— Рисковать вами? Я того не стою.
Терпение моё иссякло быстрее, чем она надеялась. Вечная тьма, однообразие, дебильные тексты, над которыми я корпел, и сама безысходность окончательно вогнали бы меня в глубокую депрессию, если бы не Марго.
Но если меня поддерживали чувства к ней, то Мироныч всё больше уповал даже не на творческое вдохновение, а на самогон, запасы которого он своевременно пополнял. Я даже почувствовал некие угрызения совести за то, что внёс сомнения в его писательские надежды. А пить он стал по-чёрному, до литра за вечер. И тогда становился совершенно невыносим. Если вначале я пытался прослеживать логику в его многословии, как-то возражать, высказывать мнение, то скоро убедился, что оно совершенно его не интересует. С таким же успехом, думал я, он мог бы проводить подобные литературные вечера перед своим отражением в зеркале. Но нет. Ему нужен был живой слушатель, чтобы мучать и изводить его своими разглагольствованиями и желчной критикой вся и всех, начиная от чиновников и до народа в целом. Иногда в порыве ярости он выскакивал во двор и бегал в лунном свете вокруг дома, стреляя из карабина то в белочек, то в масонов и жидов. В таких случаях я на всякий случай тоже снимал со стены ружьё: вдруг и до москвичей доберётся? А кроме того, что-то подсказывало, что он догадывается про нашу связь с Марго. Ведь раньше, по её словам, он так не пил.
Что при этом творилось в душе Марго, невозможно было определить за стабильной невозмутимостью и непроницаемостью её чёрных глаз. Одно могу сказать: она его не боялась. Скорей наоборот. Чтобы утихомирить его, ей достаточно было строго посмотреть в его водянистые воспалённые глаза и сказать:
— Ну хватит. Иди спать.
И он слушался.
Я как-то подумал, что если и впрямь уведу от него Марго, то бесчисленная армада писателей потеряет ещё одного своего неизвестного солдата.
Солнце ещё только подбиралось снизу к горизонту, а небо с юга на час-два начало сначала сереть, потом голубеть и розоветь.
В день, когда оно налилось малиновым, словно металл в мартене, цветом, я твёрдо решил: пора! И начал приготовления.
Мироныч, казалось, того и ждал. Взял да и запер собак в сарае, объясняя это тем, что наступил сезон волчьих свадеб и собаки, особенно Тайга, могут убежать.
В день, когда выглянуло солнце, все мы возились во дворе. Мироныч возил в корыте снегохода чурки, которые напилил на островке реликтового леса, в километре от дома; я колол их, а Марго укладывала в дровяник. Защитники природы пришли бы в ужас, увидев, как мы расправляемся с тысячелетними деревьями.
Первобытная радость охватила нас, когда померанцевый диск показался на горизонте, осветив долину реки не лунным, как обычно, светом, а настоящим, живым!
Хмельной с утра Мироныч принялся палить из ружья в воздух и кричать:
— Ур-ра-а!
— Что, война кончилась? — спросил я.
Он плеснул мне в крышку от фляжки самогона и заставил выпить.
— За победу! Жизни над смертью!
Потом схватил нас с Ритой за руки и запрыгал, увлекая нас в хоровод. Шестидесятиградусный самогон так туркнул мне в голову, что я и сам загорланил невесть из каких глубин всплывшую в памяти песню:

> В Якутию я ехал через Невель,
> Стремился я попасть на дальний Север,
> Где горы высоки, где шахты, рудники,
> Где людям платят длинные рубли.
> С восхода до захода солнца в парках
> Резвятся и ликуют цигалярки,
> В единый круг встают,
> Ногами в землю бьют
> И что-то диким голосом поют.

Этот день нельзя было не отметить. Началось застолье вполне прилично. Я сам виноват, что полез в бутылку.
— Мироныч, за что ты москвичей не любишь?
— А кто их любит?
— Ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь? Это симптом.
— Сам такой. Вы блага незаслуженные воспринимаете как личное достижение и кичитесь этим, смотрите на остальной народ как на быдло… — понесло его.
Отмечали, пока Мироныч не отрубился.

Я выпил не так много, но этого хватило, чтобы решиться бежать. Зная, что решимость моя за ночь может иссякнуть вместе с промилле алкоголя, я выпустил собак из сарая и принялся укладывать в нарты заранее упакованные мешки.

— С ума сошёл! — воскликнула Марго, застав меня за приготовлениями. — Он тебя догонит в два счёта, когда проснётся.

— И что? — поправил я ружьё на плече. — Я свободный человек и ничем ему не обязан.

— Ты не доедешь. Замёрзнешь. Начинаются морозы, каких ты и не видел. Да и у волков голодная пора.

— Пусть. Поставишь второй крест.

— Неужели я так тебе надоела?

— Ты единственное, что мне жаль здесь оставлять.

— Тем более. Смотри, духи накажут.

— Шаманочка ты моя! — хотел я её обнять, но она оттолкнула меня, отвернулась, пряча слёзы, и пошла к дому.

— Я приеду за тобой! — крикнул я, поперхнувшись комом в горле.

— Ага, на белом коне…

Подавив в себе слабость, я решительно направился к собакам, которые лаяли и рвались в путь. Никаких специальных команд я не знал и потому просто закричал им:

— Хэй-хэй! — размахивая длинным прутом.

И карт у меня не было. Маршрут я записал со слов Марго: «Ехать по руслу реки и считать слияния с другими речками. Их должно быть четыре, по две с каждой стороны. Поскольку путь идёт вверх по течению, то русло будет сужаться. На снежных перемётах есть опасность потерять берега и углубиться в тундру. Навсегда. Но после впадения нашей речки в большую реку будет легче. Там нужно снова внимательно отсчитывать слияния с малыми реками. Потому что в устье пятой из них, метрах в двухстах от берега, и должен быть первый кордон. Ночью его не видно, можно заплутать. Лучше дождаться дня. Всего до него около четырёхсот с гаком вёрст, петляющими руслами. По прямой раза в три короче, но лучше не среза́ть, чтобы не заплутать. Если повезёт, встречу дядю Васю. Если его не будет, там можно передохнуть, одолжиться сухарями, консервами и отправиться дальше. Ещё почти триста километров по реке — до ржавого водомётного катера на берегу. Там кордон Михал Степановича, он обычно в нём зимует. И зимник до посёлка. Если не переметёт. Поэтому лучше дождаться вездехода».

Собаки мои бежали бодро. Стоя на задниках полозьев, я лишь изредка на них покрикивал. Хмель мой скоро выветрился, и я уже начал жалеть о своей авантюре. Но деваться было некуда, только вперёд. Небо, как назло, затянуло: ни луны, ни звёзд, словно в бассейне с чёрными чернилами. Скоро собаки стали. По моим прикидкам, мы проехали не более пятнадцати километров. Обидно было так рано устраиваться на ночлег, но другого выхода не было. На ощупь наломав с берега пару охапок ивовых прутьев, с помощью бензина я развёл маленький костёр. Уткнувшись вокруг него мордами в снег, собаки мои задремали. Я натянул на себя всё, что было, но становилось всё холодней. Зато потянувший хиус очистил небо. Вызвездило как никогда, до последней звёздочки. Я тогда впервые увидел трёхмерность звёздного пространства и чётко различал, какие звёзды ближе, а какие совсем далеко. «Надо же, — думал я, — большинство из них давно погасли или рассыпались в прах, а свет их всё ещё радует и зачаровывает. А вот я после себя никакого света и вообще ничего путнего не оставлю, и через три месяца после смерти мало кто меня вспомнит…»

В небе временами появлялись небольшие зеленоватые всполохи, которые я вначале принял за галлюцинации и протёр глаза. Они не исчезли, а значит, были отблесками далёкого северного сияния.

Заворожённый таким зрелищем, вскоре я перестал мёрзнуть и понял, что впадаю в анабиоз. Потребовалось колоссальное усилие, чтобы преодолеть его и подняться. Поскольку звёздное небо достаточно освещало путь, мы двинулись дальше.

Часа через три я заметил, что прыти у моих собак снова поубавилось. Пришлось кормить. В двенадцатом часу начало светать, и вскоре на несколько минут показалось холодное и не очень-то радостное солнце. Нестерпимо захотелось спать. Сыпанув в рот из банки порошка растворимого кофе, чтобы не терять световое время, я продолжил гнать собак, вглядываясь в берега. Не дай Бог было пропустить слияние с первой речкой и сбиться со счёта!

К сумеркам, когда я увидел стрелку, собаки мои еле тащили нарты. А сам я изо всех сил таращил глаза, чтобы они не слиплись. Двигаться дальше нельзя было и по той причине, что небо опять затянуло. Привал был неизбежен. В общей сложности, по моим подсчётам, мы преодолели за полтора дня около девяноста километров. Появилась надежда, что сил хватит и на оставшиеся. Если погода позволит.

В месте слияния рек из-под снега кое-где торчали прибитые течением ветки и даже обточенные галькой стволы деревьев. Поработав топором, я сделал приличный запас для костра и поужинал горячим сладким чаем с вяленым мясом и сухарями. Даже настроение поднялось. Я снял постромки с собак, чтобы они сделали свои дела и лучше отдохнули. Костёр бодренько потрескивал, стреляя искрами, а у собак были такие умильные морды, будто они давно мечтали о такой жизни.

В какой-то момент я заметил, как встали торчком уши у Тайги. Потом она подняла морду и резко встала. Когда она насторожённо зарычала,

зашевелились и хаски. Я ничего не слышал, но, доверяя собакам, почуял неладное и щёлкнул предохранителем на ружье. Думал, это волки, но вскоре увидел свет одинокой фары и услышал шум снегохода. Конечно же, это был Мироныч.
— Что же ты, не попрощавшись? Не по-нашему как-то.

От него и на расстоянии разило перегаром.
— Да вот, не хотел будить.
— Ну, я тоже тебя будить не буду, отдыхай. Только собак заберу. Барахло, так и быть, дарю.
— Мироныч, я тебе всё верну. Слово даю.
— Оптимист, однако,— сказал Мироныч, грея руки у моего костра.— Завтра по всем признакам под полтинник ударит. Таким костёрчиком не согреешься. Без тебя я проживу, а вот без собак мне трудно будет.
— Это всё равно что убийство, Мироныч, на большой дороге.
— Какое же это убийство? Я тебя не гнал со двора.

Накинув петлю на шею хаски, он потащил её, чтобы привязать к корыту, которое служило прицепом к снегоходу.
— Отпусти собаку!— шагнул я к нему, но он схватил заранее приготовленный карабин.

Выстрелить в него мне не хватило духу.

В этот момент на него молнией бросилась Тайга. Он выстрелил, и она упала в снег. Обычно молчаливые, хаски, осознав серьёзность момента, залаяли на него. Двумя выстрелами он положил обоих. Потом молча оседлал снегоход и был таков.

Я бросился к собакам. Хаски были мертвы. Тайге он насквозь прострелил мякоть бедра. Отойдя от шока, она поднялась и сделала несколько шагов на трёх лапах. Я поцеловал её в нос и почувствовал, что её трясёт так же, как и меня.

«Вот и всё»,— подумал я. Умирать не очень-то хотелось. Ясно, Мироныч сделал это в припадке белой горячки. Оставалось надеяться, что, когда очухается, вернётся за мной. Если по-христиански. Надо только дождаться, выжить. Для этого нужны дрова, много дров. Я взял топор и отправился туда, где при свете видел торчавшее бревно. Тайга, видимо, испугавшись, что я её покину, заковыляла за мной на трёх лапах, оставляя кровавые капли на снегу. Пришлось прежде обработать водкой её рану, залепить дыру тампоном и обмотать пластырем. Она вздрагивала от боли, скалилась и рычала, но терпела, доверившись мне. Так мы просидели до утра. Весь световой день я таскал и таскал дрова, пока не собрал вокруг всё, что можно было. Мороз и впрямь крепчал. Чтобы согреться, я крутился у костра то передом, то задом, да так неосторожно, что прожёг сзади пуховик. Хорошо, что он оказался синтетическим, а не из пуха, как было написано. А то истлел бы дотла.

Под утро Тайга снова зарычала и вскочила. Загривок её воинственно поднялся. Я понял, что едут за нами. На этот раз снегоходом управляла Марго. Я так закоченел, что встать не было сил.
— Ты?
— Мы,— ответила она, расстегнув пуговицу на парке, под которой показалось розовое Нюркино личико с соской во рту.— Садись, поехали.
— Куда?
— В Москву. Куда ещё?
— Втроём?
— Впятером, однако.
— А, ну да,— посмотрел я на Тайгу.— И Мироныча, что ли, с тобой?— посмотрел я в прицепленную волокушу.
— Андреича,— сказала она, погладив себя по животу.
— Шутишь?!
— И не надейся.
— Ну ты даёшь!
— Только тебе.
— А как с топливом?

Она показала на волокушу, полную пластиковых канистр с бензином.
— Значит, врали, что бензина мало?
— Я тебе сказала: время не пришло.
— То есть нужно было дождаться, пока я тут замёрзну?
— Ну вот, мы уже начали ругаться. Может, мне вернуться?

Я улыбнулся и обнял её:
— Не пущу. Никуда.
— Потише, Нюрку раздавишь.
— Я люблю тебя.
— Значит, ещё не всё отморозил. На-ко вот, надень поверху,— протянула она тулуп, который мне удалось напялить только с её помощью.

Застелив Тайге место в корыте, Рита закрепила её верёвками, чтобы не вытряхнуть по дороге, потом замотала мне лицо шарфом и помогла взобраться на заднее сиденье.
— Дюша, а в Москве Мавзолей работает?
— Не знаю.
— А ты был там?
— Нет.
— Вместе сходим.
— Зачем?
— А что там ещё делать, в твоей Москве? Держись крепче, а то потеряю ненароком!— крикнула она, и мы помчались.

«Навстречу новой жизни»,— как непременно написал бы Мироныч. И выдумывать ничего не надо.

Владимир Еселевич

Абильдаш

…Ещё он постоянно путал названия места, где родился. В голове почему-то вертелись Ишедей, Искитим и Итуруп, хотя он совершенно не представлял, где географически находится то или иное селение.

По всей вероятности, он путался из-за созвучия — он точно помнил, что в том слове была буква «И», и тоже заглавная.

Вообще, после контузии случались всякие казусы: например иногда он отчётливо слышал, как его окликали по имени, но сколько бы он после этого ни вертел в разные стороны головой, присматриваясь к окружающим, никто в его сторону не смотрел и даже не делал вида, что пошутил над ним.

На этом он не зацикливался, на это он почти не обращал внимания, потому что были вещи похуже: он порой выпадал из жизни, как выпадает из люка самолёта десантник, ненадолго, всего на каких-то нескольких секунд; дёрнув кольцо парашюта, он уже полностью возвращался назад, но этот незначительный провал во времени, внезапная, будто воронка от взрыва, чёрная дыра в памяти таили смертельную опасность, ибо в этот миг он был наиболее уязвим.

До сих об этом знала только жена, много лет он умело скрывал от окружающих эти внезапные помрачения; но как-то раз он чуть было не проехал на красный, тогда он применил экстренное торможение, колёса локомотива завизжали так, как будто их стали распиливать болгаркой, из букс полетели оранжевые искры, а помощник, молодой пацан, всегда полуспящий после дискотек, однако не забывающий вовремя докладывать цвет семафора, тотчас встрепенулся и заорал благим матом. Каким-то образом он сумел тогда выкрутиться, наплёл начальству историю о том, что из леса неожиданно выскочил лось и пошёл напрямки через пути, помощник невнятно, но подтвердил, и всё утряслось. Всё же он сходил к начальству и попросил дать ему другого помощника, более опытного; с этим, объяснил он, схватит горя, а ему ещё детей растить.

Умное начальство быстро перевело парнишку к другому машинисту, а с Абильдашем стал работать Егор Квитко, его ровесник, который когда-то тоже был машинистом, но не захотел ранней гипертонии и попросился обратно в помощники.

Легенда про лося сошла за правду, потому что в карьере нередко под колёса думпкаров попадали животные. Одна бригада, например, задавила корову, помощник потом два часа отмывал колёсные па́ры от налипшей крови, осколков костей и шерсти. Нашёлся, правда, хозяин коровы, написавший жалобу руководству дороги, но ходу ей не дали, потому что вины машиниста не было — он выезжал из-под экскаватора вперёд составом, последние думпкары огибали в это время склон горы, следовательно, несчастной коровы в тот момент никак не мог видеть.

Малоприятное зрелище — видеть задавленное тобой животное; что же касается людей, попадавших под колёса, чаще, конечно, из-за собственной глупости, то это и вовсе трагедия, которая любому, находившемуся в этот миг за пультом управления, могла просто-напросто поломать жизнь…

Они были горными железнодорожниками, вся их жизнь прошла в рудном карьере, где они, как в метро, гоняли свои составы от станции до станции. Кому-то такое однообразие надоедало, многие, с кем они начинали работать, ушли в систему МПС и теперь таскали по всей стране товарные и пассажирские поезда. Другие, как и они, остались, а кто и что из этого выиграл, точно никто не скажет, потому что и там, и здесь заморочек хватало. Что в МПС, что в ГОКе каждый Божий день — новые приказы, служебные расследования, медицинские осмотры, и каждый день стрессы, специфика в каждом ведомстве своя, зато нервы мотали что там, что здесь одинаково.

Больше всего Абильдаш боялся медицинских осмотров: врачи могли поставить крест на его работе, а кроме как водить поезда, он больше в жизни ничего не умел.

Был, правда, в его биографии момент, когда он мог свернуть с предназначенной судьбой тропы — как раз когда он только демобилизовался. Поздно вечером он возвращался из гостей, и возле дома его встретили три обкуренные личности. Он хотел обойти их, но его дёрнули за руку, останавливая, и это стало роковой ошибкой для всех троих. Одного он уложил сразу ударом в челюсть. Челюсть при этом глухо хрустнула, а личность рухнула как подкошенная. Второго сокрушил носком ботинка в прыжке, а третьего, уже собравшегося бежать,

рубанул ребром ладони по шее — в общем, сделал всё, как учили, не задумываясь, почти автоматически.

Сам вызвал скорую и милицию. Разобрались быстро — пострадавших уголовников хорошо здесь знали. Начальник милиции вцепился в крепкого парня как клещ. «Пойми, такие, как ты, нам во как нужны! Ты же мне десять зелёных заменишь. Квартира? Через месяц будешь жить в новой. Оклад командира взвода, ну а дальше…» Начальник, захлёбываясь, расписывал золотые горы, из которых Абильдаш экскаваторным ковшом будет скоро черпать своё счастье.

Абильдаш был неумолим. «Хватит с меня, я навоевался. Пусть теперь воюют другие».

И начальник грустно пожал плечами, понял, что и почему, и отпустил парня, крепко пожав ему руку на прощание, на все четыре стороны.

И Абильдаш вернулся к своей прежней профессии. Вскоре он закончил курсы машинистов (до того он ездил помощником) и стал водить локомотивы самостоятельно. В это же время он встретил Ольгу, которую полюбил безоглядно, а она ответила ему полной взаимностью. Через год у них родился первый ребёнок — дочка. И пошло — поехало…

И всё бы ничего, но появились эти чёртовы «чёрные дыры», эти внезапные, на первых порах мгновенные, а потом с каждым разом с нарастающей экспозицией, оцепенения. В эти мгновения он замирал, как замирают животные перед смертельной опасностью. Чёрная мгла накрывала его, как внезапная туча перед грозой. Все чувства и мысли застывали, как студень. Он деревенел, но деревенел внутри. Снаружи он выглядел вполне обычным, только немного сосредоточенным и серьёзным — ну так машинисту, ведущему тяжёлый состав, и следовало выглядеть таким.

— Иваныч, приехали, — услышал он голос Егора Квитко.

Глаза у него были открыты, но зрение вернулось только после того, как его окликнул помощник. Они стояли на станции у выходного семафора, всё было сделано правильно, светофор они не проехали. Егор уже докладывал по рации. Вернувшись снова в знакомый мир, Абильдаш с удивлением увидел, что в нём ничего не изменилось: слева от локомотива — опрокинутые вниз узкими горлышками конусы бункеров с песком, справа — остатки, островки леса, сдерживающего гравийную отсыпь, впереди — продолжение пути по откосу срезанной горы на отвал. Рельсы, уходящие на отвал, отливали густой холодной синевой.

«Интересно, — подумал он, — если бы я не очнулся, всё осталось бы как есть?» Как оказалось, здешний мир в его отсутствие не изменился нисколько.

Это открытие не потрясло его, но слегка опечалило.

— На отвал, — сказал Егор, укладывая трубку рации на место.

В Абильдаше было достаточно силы, чтобы его уважали. В армрестлинге, например, ему не было равных, на городских соревнованиях он переборол всех, в том числе и упрашивавшего пойти к нему на службу начальника милиции, который долгие годы был непререкаемым чемпионом. Абильдаша отправляли на областные соревнования, но он не поехал, потому что в это время заболела дочка, а когда выздоровела, он и вовсе прекратил выступать, посчитав, что лучше будет отдавать больше времени семье, чем тешить зрителей.

К тому же после каждого такого усилия у него начинала ломаться голова, раздирало виски, звенело в ушах. Приходилось принимать лекарства, чего он никогда не любил.

Ольга настойчиво упрашивала лечиться. Он и соглашался, и отказывался одновременно. «Как ты себе это видишь? — упрямо спрашивал он. — Я иду лечиться, а мне тут же врезают диагноз — и всё, прощай, работа! На паперть идти?» — «У тебя же будет пенсия по ранению», — робко замечала она. «Ноги сломаешь, пока эту пенсию получишь», — отзывался Абильдаш.

И они оба были правы. Ольга к этому времени была беременна вторым. Врач на УЗИ определил крохотный отросточек, и Абильдаш чувствовал себя гордым и счастливым. Про себя он уже придумал мальчику имя, но с Ольгой пока делиться не стал, чтобы не сглазить.

Весной всё-таки сход случился. Сходы в карьере не редкость: пути старые, шпалы меняют каждый год то на одном участке, то на другом, но сразу все не заменишь, а весной, когда земля оттаивает и начинает дышать, вся железная дорога скрипит и колышется, будто живая.

— Иваныч, тормози! — кричал навзрыд Егор, высунувшись по пояс в своё окно.

Но он уже и так перевёл ручку тормоза на экстренное торможение. Пронзительный визг пронёсся вдоль состава. Из-под колёс локомотива в разные стороны летели осколки шпал и щебень.

— Ядерная мать! — ругался Егор, бегая вдоль локомотива. — Накрылись выходные.

Было раннее утро, только что рассвело. Лёгкий молочный туман висел над карьером. Растянутая протяжной дугой ось состава застыла, как заклиненная пулемётная лента. Она была неподвижной, холодной и чужой. Вокруг такая же холодная, почти мёртвая тишина. На пятисотом горизонте летают только голодные вороны. Здесь хоть заорись — никто тебя не услышит.

Вместе с локомотивом сошёл и первый думпкар. Он накренился, часть породы из него высыпалась наружу, и теперь, прежде чем начать поднимать вагоны и электровоз, надо было вручную лопатами перекидать щебень, чтобы освободить заваленный

им кузов думпкара. Подошёл Егор, уже добежавший до хвоста состава, сообщил ещё одну неприятную новость: сошли с рельсов последние два думпкара; правда, думает он, «горбушами» поднять их будет можно.

«Горбуши» — это специально изготовленные железные сферы. Крепятся они к шпалам перед сошедшей колёсной парой, при наезде на «горбушу» колесо соскальзывает и устанавливается на рельс. Так сошедшие думпкары поднимают уже много лет.

Но вдвоём им состав не поднять. Абильдаш доложил по рации о сходе.

— К вам уже едет смена, — успокоила его диспетчер.

— А комиссия? — мрачно пошутил Абильдаш.

— А комиссия — как только, так сразу, — пообещала без шуток диспетчер.

С прибывшей сменой, то есть вчетвером, свалившиеся думпкары и локомотив подняли только к вечеру. Абильдаш носил на плече «горбуши», помощники приколачивали их к шпалам железными костылями. Комиссия ходила-бродила неподалёку, обсуждая вероятные причины аварии. Конечно, была проверена лента скоростемера. Выяснилось, что машинист вёл состав с большей, чем полагалось на этом участке, скоростью.

Абильдаш написал объяснительную. Начальство с ней ознакомилось… и назначило повторную комиссию. Комиссия за комиссией, измерение тормозного пути, дефектоскопия, расчёты износа шпал… да, а как состояние здоровья бригады? Что-то Абильдашев неважно выглядит, какой-то раздражённый, невпопад отвечает на вопросы.

— Что с вами, Сергей Иванович? Вы здоровы?

— Я здоров.

— Всё-таки как-то вы не очень выглядите…

— А вы ещё с десяток комиссий пришлите — глядишь, какая-нибудь и вылечит.

Начальство в гоке не слыло глупым — просто оно, как и всякое другое начальство, искало виноватого, а так как виноваты вокруг были все, то ничего другого, как наказать одного, не оставалось сделать. И Абильдашу влепили выговор, а заодно лишили премии.

— Может, выпьем? — предложил сочувственно Егор.

Абильдаш покачал головой. Это средство было не для него. Когда-то оно помогало, бывало, даже спасало. Там, в Афгане, они спиртом лечили все болезни, даже дизентерию. Но теперь одна случайная рюмка могла унести его в такую мглу и такую бездну, откуда он бы не выбрался и при всей своей силушке.

Тогда, в госпитале в Джалалабаде, всё закончилось благополучно, а мог бы и огрести по полной… Как обычно, пили спирт. Командовал действом и разводил Абильдаш: пополам-напополам. Жидкость в стакане мутнела, он мешал в ней ложкой, зная, что сразу спирт в воде не растворяется. Вскоре вся палата стала одним сплочённым пьяным организмом. «В атаку! — приказал Абильдаш. — Мочим „ду́хов“!» Вся палата высыпала в больничный двор, где гуляли „ду́хи“ — выздоравливающие военнослужащие. Их стали ловить, те в испуге разбегались кто куда. «Обходи с флангов!» — орал Абильдаш, прицеливаясь в убегавших из невидимого автомата. Главный врач, изумлённо глядя в окно, вызывал роту охраны. Прибывшая рота быстро скрутила окосевших бойцов. Четыре дюжих охранника принесли Абильдаша в палату и привязали к койке белыми, скрученными в жгуты, простынями. Накануне Абильдашу вручали Красную Звезду. Сам командующий жал ему руку и благодарил за мужество. Абильдаша простили, списали всё на его контузию. Но перед выпиской его вызвал главный врач и в откровенном разговоре предупредил, что спиртное для Абильдаша отныне — табу. «Ни капли, прапорщик, запомни. На всю оставшуюся жизнь — ни капли!» Абильдаш об этом никогда не забывал.

В системе мпс после любых происшествий, и в особенности после того, как волей-неволей приходилось виновных наказывать, бригаде давали отпуск. Водить тяжёлые составы в состоянии депрессии было чревато ещё более непредсказуемыми и грозными последствиями. Важно было дать людям отдохнуть, восстановиться, проанализировать на досуге самим, что с ними случилось, чтобы потом спокойно, без нервов, вернуться и продолжать работать.

Но на этот раз ни Абильдашу, ни его помощнику Егору Квитко отдохнуть не дали. Через два дня они уже загоняли свою «вертушку» под экскаватор. Чтобы выехать из тупика на главный путь, надо было перевести стрелку. Перед стрелкой Абильдаш притормозил, и пока Егор переводил рельсы, он в уме подсчитывал, когда ему нужно будет отключить боковую штангу, чтобы поднять центральный пантограф. В это время замутились стекла электровоза, будто их задёрнули матовыми шторками, не стало слышно работающих двигателей. Ослепший и оглохший Абильдаш машинально выключил питание. Криков бранящегося Егора он не слышал, чёрный вакуум всосал его, и, подчиняясь его законам, он нёсся к неведомым загадочным мирам, как неуправляемый астероид.

Очнулся он оттого, что в рот ему попала вода, — это напуганный Егор вытирал ему лоб смоченной водой тряпкой.

— Ну, слава Богу, — вздохнул Егор, — очухался. Я уже по рации собирался передать.

— Забудь, — сказал Абильдаш, приподнимаясь в кресле.

Ломило виски, кружилась голова, и вся спина была мокрой — хоть отжимай.

— Я-то забуду,— сказал Егор,— только пора тебе к докторам, Иваныч. Так мы с тобой не навоюем.
— Что случилось?— спросил, оглядываясь вокруг, Абильдаш.
— На триста восьмидесятом мы застряли, ты ж всё отключил, а тут разрыв как раз. Пока я стрелку переводил, ты зачем-то боковой отстегнул. Видать, совсем плохо тебе стало.
— Уйдёшь от меня, Егор…
— Я, Иваныч, хоть и не воевал, как ты, но своих тоже не бросаю. Давай лучше покумекаем, как выбираться отсюда будем.
— Спасибо, Егор.
— Да ладно, проехали… Что делать-то будем?

Абильдаш выглянул в окно. До стрелки несколько метров— всего ничего, но как их проехать при отключённом питании? Внезапно он почувствовал лёгкий толчок. Видимо, Егор тоже что-то услышал; высунувшись из окна напротив, он радостно закричал:
— Пошла, родимая!

На этот раз им здорово повезло: именно здесь был небольшой уклон в сторону стрелки, и состав с отпущенными тормозами, подталкиваемый собственной силой тяжести, медленно покатился под лёгкий, невидимый глазу уклон. Через несколько минут они уже были под высоковольтным проводом, подняли пантограф, запустили двигатели и сообщили диспетчеру о готовности.

Дома Абильдаша ждала новость. Паша Жильцов, однополчанин, прислал ему телеграмму— приглашение на свадьбу. Он понял: сама судьба опять подсказывает ему решение,— и стал собираться в дорогу. К тому же Ольга не только не возражала, а, наоборот, помогала ему в сборах с большой охотой, по-женски понимая, как важно сейчас для мужа сменить обстановку.
— Ты только уж не забудь,— целуя его на прощание, попросила ещё раз Ольга.

Это она про лечение ему напоминала. Абильдаш молча кивнул.

Жильцов проживал в большом городе и сам был большим человеком: держал сеть автомагазинов. Друга он встречал на роскошном навороченном «бумере».
— Матерь Божья— Абильдаш!— тряс он за плечи товарища.— Неужели, братуха, встретились?

Абильдаш придерживал широкой ладонью Пашу за талию. Он тоже был счастлив видеть своего товарища, к тому же они с Пашей были кровниками— по разу спасли друг другу жизнь.
— Вот он, мой братуха,— гордо показывал Абилбдаша своим, как и он сам, здоровым и довольным всем, что происходило вокруг, приятелям, Паша Жильцов,— полумёртвого меня на себе вынес! Разве ж я имел бы сейчас всё это?— кричал он, обводя вокруг себя рукой, показывая свои невидимые владения.

Паша не был ни хвастуном, ни дешёвкой— просто он с самого начала принял правила игры, а главное, не спился. А спилось много— они успели поговорить об этом в машине: из тех полумёртвых и инвалидов, кому повезло выбраться оттуда, половину добила водка.
— Серый умер, Карзан умер,— загибал пальцы Паша,— Птиченко год назад схоронили. Рената помнишь? Тоже врезал на Пасху. Боюсь, из наших, кроме нас с тобой, в области и десятерик не наберётся.
— Где же твоя невеста?— спросил наконец Абильдаш друга.

Мужики расхохотались.
— Ты, братка, не обижайся,— обнял ласково Абильдаша за плечи Паша.— Это я так, для супруги твоей придумал, побоялся, что без веской причины она тебя из дома не отпустит. А свадьбу мы сейчас справим. Кого нынче поженим, мужики?— обратился к приятелям Жильцов.— Славу? Или Вована? Или разом обоих?

Мужики опять весело заржали. Между тем «бумер», затормозив, уткнулся в металлические ворота. Паша пошарил в кармане, что-то нажал, и ворота медленно расползлись в стороны.

Машина въехала на территорию загородного дома.
— А вот и наши пенаты,— провозгласил, выбравшись из машины, Паша.

Абильдаш, как и все машинисты, зарабатывал хорошо. Но его зарплаты хватило бы только на то, чтобы построить фундамент для Пашиного дома. Несколько лет ушло на покупку мебели, которую едва купили, как она в одночасье состарилась, потому что, как и всякая недорогая мебель, была собрана из отходов. «Калдина» у Абильдаша бэушная, ещё в Японии свой срок отъездила, гараж тесный; чтобы сменить резину, надо выезжать наружу— с колесом между машиной и стеной не протиснуться.

А тут один гараж занимал целую сотку!
— Жируешь, Паша,— констатировал Абильдаш.
— Нет, Абильдаш, не жирую, а живу за всех нас. И ты будешь так жить, дай срок,— он наклонился к Абильдашу:— Перебирайся к нам, Серёга. Перебирайся вместе с семьёй. Всё сделаем красиво, вот увидишь.

Абильдаш вспомнил начальника милиции и усмехнулся. Дежавю!
— Ладно, после договорим,— пообещал Паша.— А сейчас все в баню!— зычно скомандовал он.

После бани расположились в столовой на первом этаже Пашиного особняка. Все горячие, говорливые (водку начали пить ещё в бане), шумные. Женщин не было, но они подразумевались.

Абильдаш мучился. Разговор с Пашей не клеился. Надо было настроиться на общую волну,

принять участие, стать своим, но для этого надо было опрокинуть стопку-другую, и тогда бы, конечно, всё пошло как по маслу. А так он больше помалкивал и на Пашины расспросы отвечал междометиями.

Никто из Пашиных орлов к нему не приставал: Паша заранее всех предупредил, что его друг — человек серьёзный и непьющий.

В коллективе между тем становилось всё веселее, кто-то уже звонил по мобильному, договаривался насчёт девочек. Двое рослых парней, расчистив от посуды край стола, боролись на руках.

— Слушай, — вспомнил Паша, — ты же тогда на армейке всех ложил.

— Было дело, — скромно кивнул головой Абильдаш.

— Ну-ка, пацаны! — крикнул Паша. — Слухай сюда. Сейчас мой братуха покажет вам мастер-класс.

Парни повернули головы.

Абильдаш дёрнул Пашу за рукав, но тот не отреагировал.

— Бороться будете по олимпийской системе, — продолжал Жильцов, не замечая знаков, которые подавал ему Абильдаш. — Проигравший выбывает. Ну а победителю… — тут Паша, наконец, посмотрел на Абильдаша… — победителю достанется приз. Штука зелёных!

«Эх, Паша, Паша, что ж ты, брат, делаешь?»

Опять же, штука зелёных на дороге не валяется и случайно под ноги не попадается. Он уже давно мечтал купить Ольге золотой браслет. Может, на этот раз получится?

Абильдаш неторопливо засучил рукава. В стане парней оживились. Паша от предвкушения настоящего боя потёр ладони и махнул стопку.

— Один понужаешь? — нахмурил брови Абильдаш. — А брату?

Паша вопросительно посмотрел на него.

— Давай, давай, — поторопил Абильдаш. — Да не эту мензурку, — глядя, как Паша прицеливается налить, остановил он, — наш, боевой, неси.

Паша ушёл и быстро вернулся с гранёным стаканом, который и налил другу до границы — опоясывающей горлышко стакана полоски.

Абильдаш сделал короткий выдох и, не глотая, вылил стакан в желудок.

Парни восхищённо переглянулись. Главный врач госпиталя укоризненно покачал головой, а Ольга горько заплакала.

— Закусывай, Абильдаш, — пододвинул к нему тарелку Паша.

Абильдаш мотнул головой:

— Потом…Ну что, кто первый будет?

Не считая хозяина дома, парней было пятеро. Первых трёх Абильдаш одолел без труда, задержался только на четвёртом, самом жилистом, который упёрся до того, что от натуги лоб его надулся синими, готовыми вот-вот лопнуть, сосудами. Но это ему не помогло, и через минуту он так же, как и предыдущие три бойца, растирал раздавленные Абильдашем мышцы. Остался последний боец — Вован, детина около двух метров роста, с огромными руками-клешнями, в которых взятая со стола стопка исчезала, как в иллюзионе.

— Ну что, Вован, — сказал напутственно Паша. — Держи марку, ты крайний остался.

Абильдаш мысленно оценил соперника. Вован явно здоровее его, но в армрестлинге рост не является преимуществом, а длинные рычаги — и вовсе слабое звено, они не позволяют сконцентрировать силу в плече. Но Вован был силён, и Абильдаш сразу же почувствовал железное противостояние его клешни. Абильдаш посмотрел в лицо соперника. Вован не морщился, не прикусывал губы — наоборот, он весь лучился добротой и снисходительностью.

«Мать твою, — выругался про себя Абильдаш, — неужели попал?»

Паша внимательно следил за бойцами. Он тоже почувствовал, что Абильдаш упёрся в непреодолимое препятствие, и страдал от раздвоенности чувств: с одной стороны, он желал победы своему пацану, с тем чтобы планка реноме его братков не опустилась до нуля, с другой — по всем законам боевого товарищества он не хотел, чтобы его друг и брат Абильдаш проиграл.

Пока он мучился, Вован перешёл в наступление, рука Абильдаша медленно поплыла в сторону стола. Окружавшие их парни, подбадривая Вована, дружно загалдели.

Вован напрягся, явно стараясь дожать противника, но Абильдаш мысленно приказал организму или победить, или умереть, и все незадействованные до этого мышцы напружинились. Ось маятника выпрямилась. Паша вздохнул и накатил стопку.

Абильдаш вдруг почувствовал, как под столом заёрзали ноги Вована, ища опору. Это был хороший прогностический признак, признак того, что Вован начал сдавать. Незаметно для всех развернувшись, Абидьдаш перенёс почти весь свой вес на опорное плечо и начал давить. Вован заелозил по стулу, его рука накренилась до угрожающего градуса, но железа в ней ещё хватало, и Абильдаш, давя из последних сил, успел подумать, насколько всё-таки могуч этот боец. Парни возбуждённо кричали:

— Вован, держись! На кону штука!

Вован слабо улыбался, изнемогая под напором и натиском бывшего прапорщика.

Абильдаш поджал ещё, и где-то далеко, едва слышно, рука Вована хрустнула в локте и опрокинулась навзничь на стол.

— Ай, Абильдаш! Ай, молодца! — закричал Паша. — Сегодня же Громову позвоню, расскажу, как наша пятая армия на «гражданке» всех делает!

Абильдаш улыбался странной улыбкой. Чёрная пелена застила ему глаза, и он ничего вокруг

не видел. Пашины слова он слышал, но смысл не улавливал. Через какое-то время пелена с глаз спала, и он увидел «ду́хов», которые, пригнувшись, бежали за дуван. Он выстрелил несколько раз короткими очередями. Пули выбили фонтанчики пыли под ногами «ду́хов», не причиняя ни одному из них вреда. Абильдаш грязно выругался. Последний не успевший скрыться за дуваном душман остановился и прицелился в него. Абильдаш нажал на спуск, но автомат заклинило, он молчал, только синяя струйка дыма змеисто струилась из разгорячённого ствола. Он отбросил автомат и стал шарить гранату—гранаты нигде не было. Душман, усмехаясь, подходил к нему, держа на мушке. Рядом мелькнуло раздражённое, злое Пашино лицо. Паша клацал затвором и что-то кричал Абильдашу немым ртом. Пашу заслонил спиной огромный детина. У него тоже были злые глаза и перекошенный рот.

Абильдаш успел подумать, что он где-то видел этого верзилу. Может быть, в другой роте? Времени на воспоминания не оставалось—его со всех сторон окружали «ду́хи» с явным намерением взять в плен. Абильдаш напружинился и выпрыгнул навстречу душману, державшему его на мушке. Под пальцами заскрипела худая жилистая глотка. Он начал сжимать её изо всех сил. Душман хрипел, выпучив страшные удивлённые глаза.

— Не надо, Абильдаш!—кричал где-то рядом Паша Жильцов.

«Как бы не так,—мрачно подумал Абильдаш, не ослабевая хватки.—Мёртвому или живому, всё равно башку отрежут, пусть лучше мёртвому…»

Вован вопросительно посмотрел на Пашу.

— Да вали ты его скорей!—в сердцах крикнул Жильцов.

Коротким мощным ударом Вован вырубил Абильдаша. Но тот ещё несколько секунд висел на шее жилистого парня и только потом, отцепившись, грохнулся на пол.

Бледный измученный парень опустился на стул.

— Бля,—хрипло сказал он, потирая горло.—Сначала чуть руку не сломал, опосля и вовсе чуть на тот свет не отправил… вот это брательник у тебя, Пахан.

— Заткнись!—оборвал его Паша.—Не сам он тебя, а болезнь его сволочная после контузии на тебя набросилась, понял?

— Ясно море,—согласно подтвердил парень.—Я чего?.. Я не в обиде.

Через месяц похудевший от каждодневных процедур Абильдаш возвратился домой. Кошмары его прекратились, голова стала такой же ясной, как и прежде, до контузии.

Его лечили лучшие профессора, которым Паша Жильцов приносил каждую неделю их месячную зарплату.

— А если мне полностью вылечите братана,—пообещал он,—я вам такой евроремонт отгрохаю—Москва позавидует!

Профессура старалась изо всех сил. Абильдаша лечили дефицитными германскими препаратами, он прошёл сеансы иглорефлексотерапии, гипноза и гешталь-терапии, принимал радоновые ванны, душ Шарко, посещал стоун-массаж и электросон.

— Вы здоровы,—сказал ему при выписке самый главный профессор, без пяти минут академик.—Ну, сами понимаете, есть ряд ограничений, о которых вы никогда не должны забывать. Я буду откровенен: мы не вылечили полностью вашу болезнь, мы только блокировали ту патологическую информацию, которая мешала нормально существовать вашему организму. Если вирус какого-то перенапряжения, будь то стресс или алкоголь (Абильдаш в этом месте грустно усмехнулся), вернётся в вас—он может снова запустить программу заболевания, а каждый последующий рецидив лечить приходится гораздо дольше и дороже, чем предыдущий.

— Я всё понял, профессор. Огромное вам спасибо,—сказал Абильдаш.

Он вернулся домой, похудевший, но совершенно здоровый, с золотым браслетом в кармане. Как раз на день рождения жены. А ещё через месяц у них с Ольгой родился сын, здоровый крепыш—почти на четыре кило, сто грамм до четырёх не дотянул. Прижимая к себе жену с ребёнком, Абильдаш наконец-то вспомнил, что родился он на Урале, в селе с незамысловатым названием Ис.

Юрий Коряков

Купе

Я снова в дороге и еду в командировку в родной Абакан. Давно не ездил на поездах. От Красноярска до Абакана всего четыреста тридцать километров по автомобильной трассе «Енисей». На легковом автомобиле такое расстояние преодолевается часов за пять, не более.

Но пришлось последовать совету коллег и купить билет на поезд, потому что обстановка на дорогах оставляла желать лучшего. Сплошной гололёд на перевалах, плюс прогноз штормового и шквалистого ветра. Я не стал испытывать судьбу, так как эта ситуация была хорошо знакома и могла обернуться большими проблемами. К тому же я стал стареть, и появилась боязнь дорожных приключений.

Ровно в назначенное время я подъехал к железнодорожному вокзалу, в котором в преддверии Универсиады полным ходом шёл ремонт. Точно по расписанию подали состав, и толпа пассажиров заполнила свои места согласно купленным билетам.

В моём купе уже находились трое мужчин. Один — лет сорока пяти лысеющий очкарик, по совместительству дорожник-путеец, возвращавшийся домой после повышения квалификации; второй — на вид тридцатилетний инженер среднего звена или программист, с билетом на нижнюю полку; третий — молчаливый здоровяк, уткнувшись в смартфон, лежал, отвернувшись, на верхней полке.

В смартфоны периодически окунались все четверо. Я просматривал последние новости; что искали другие попутчики — останется тайной за семью печатями.

Незаметно поезд тронулся и постепенно стал набирать скорость. Мимо мелькали очертания домов и знаковых объектов города. Все попутчики не отрывались от гаджетов. Придумали же такое название незаменимому средству коммуникации. Кто только не шутил по этому поводу: «Гад же ты»… Действительно, гад-же-ты.

Время в пути незаметно подошло к часовой отметке. Голос инженера среднего звена нарушил молчаливое состояние нашего купе:
— Мужики, давайте познакомимся? Я Игорь.
— Сергей, — подхватил путеец.
— Максим, — продолжил я.

Четвёртый попутчик отлучился по своим неотложным делам, поэтому знакомство с ним ещё предстояло…
— Да, настали времена, — решил зацепиться я за разговор. — Помню, лет десять-пятнадцать назад через пять минут после отправления поезда в купе на столике уже стояла бы бутылочка крепкого напитка, кто-то достал бы из сумки зажаренную с румяной корочкой курочку, отварную картошечку, сваренные вкрутую яйца, солёные огурчики и другие вкусности. А сейчас все сидят каждый сам по себе, погружены в виртуальную реальность, будь она трижды неладна…
— Согласен, сейчас в лучшем случае пресловутые «Доширак» или «Роллтон», и даже без пива, — ответил или продолжил Игорь-инженер. — Минут через тридцать и я заварю себе упаковочку.
— Сейчас с этим строго, полиция ходит, проверяет. «Еслив чо», высадить могут на ближайшей станции, — продолжил путеец.
— Мужики, мы в те незапамятные советские времена просто так не сидели, и наша двенадцатичасовая поездка показалась бы одним коротким мигом…

…Вот я, помню, в двухтысячном году ехал из Абакана в Москву на поезде, в штабном вагоне, вдвоём с отставным офицером-пограничником. Много общих тем для разговоров нашлось у бывших военных, особенно под водочку. Между делом в пространных беседах я выдал несколько фраз с интонацией бывших руководителей нашей страны. Володя, так звали моего попутчика, оценил мои способности, сразу же смекнул и предложил на следующее утро поздравить всех мужчин, находящихся в поезде, с Днём Советской армии и Военно-морского флота. Действительно, я познакомился с Владимиром накануне мужского праздника. Осталось совсем немного — набросать текст поздравления, договориться с начальником поезда и поздравить мужчин нашего состава.

Мы пригласили в своё купе начальника поезда — поговорить за жизнь. Он согласился, и в процессе разговора договорились утром следующего дня осуществить задуманное…

Утром, на трезвую голову, я набросал текст поздравления. В присутствии начальника поезда

озвучил то, что собирался произнести в «прямом эфире», и получил одобрение.

Подъезжая к Новосибирску, мы с Владимиром зашли в купе, где располагался радиотранслятор с микрофоном. Я жутко волновался и хотел было отказаться от этой безумной затеи, но пограничник, видя моё трепетное и сомневающееся состояние, остановил мой порыв:

— Всё, Максим, давай не напрягайся, сейчас всё будет хоккей!

— Ага, хорошо тебе. А вдруг не получится?

— Не боись, командир, вся ответственность на мне…

Мы приготовились, начальник поезда включил аппаратуру. Дрожащими руками я взял микрофон и приступил к поздравлению, протягивая каждое слово и фразу:

«Дорогие россияне!!! Я, понимаш, первый президент свободной России, после своей отставки, как простой гражданин, еду со своей женой Наиной Иосифовной вместе с вами в одном, понимаш, поезде по матушке России. Ну… В этот знаменательный день, двадцать третьего февраля, хочу поздравить солдат и сержантов, матросов и старшин, прапорщиков и мичманов, офицеров и генералов, адмиралов и маршалов, а также всех тех, кто когда-либо служил на благо нашей Родины, с Днём Советской армии и Военно-морского флота! От всей души, понимаш, хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в боевой и политической подготовке!»

В проходе вагона уже начала скапливаться толпа любопытных. Я закончил, микрофон отключили, и я с облегчением выдохнул…

Все стоящие в коридоре пассажиры, а их было человек десять, дружно зааплодировали, это придало мне немного уверенности, и я продолжил поздравления. В череде поздравляющих оказались М. С. Горбачёв и В. В. Жириновский. Народ скапливался в проходе вагона, не мог оторваться от импровизированного «концерта» и образовал пробку. Кое-кто из мужиков стал приглашать к себе в купе для продолжения «концерта»…

Мы с Владимиром с трудом отбивались от назойливых «поклонников», выручила большая остановка в Новосибирске. Пассажиры высыпали на перрон. Володя вдыхал сигаретный дым в свои лёгкие, а я прохаживался вдоль вагона и разминал застывшие от долгого сидения ноги. Незаметно рядом с нами собралась приличная толпа зевак. Среди людского гомона я услышал несколько вопросительных фраз:

— А где Грушевский?

— Разве он не в соседнем вагоне?

— Это же он от имени наших руководителей поздравлял наш состав?

— Нет, это Евдокимов Михаил,— возражал другой голос.

Я стоял спиной к любопытствующим попутчикам и делал вид, что не замечаю разговоров и расспросов о своей персоне. И тут не выдержал сосед по купе:

— Вот этот молодой человек,— указывая на меня,— поздравлял вас…

Мне было жутко неудобно от столь пристального внимания попутчиков, но, признаюсь, всё же приятного в этом было больше. Главное, что поздравление вызвало положительные эмоции, на это и был наш расчёт.

— Слышь, брат, как тебя звать?— фамильярно поинтересовался представитель одной из кавказских республик.

— Максим,— ответил я.

— А меня Вахтанг. Макс, пойдём к нам в шестой вагон, у нас весело, ты добавишь огоньку, не пожалеешь…

— Да неудобно как-то, и ни к чему все эти посиделки. Мы с соседом отдохнуть собирались, вчера допоздна засиделись, башка трещит…

— Максим, прошу тебя по-братски, давай чуть посидим. У нас чача есть, хорошая закуска: балычок красной рыбы, икорка, шпроты…

«Обычно люди везли в Сибирь такие деликатесы, а тут наоборот»,— что-то напрягло меня в этом приглашении.

А вот моего соседа ничего не смутило; напротив, услышав о предложенном «меню», Володя жестами, корча гримасы за спиной Вахтанга, стал показывать мне, чтобы я согласился и принял его приглашение.

— Нет, ребята. Мы устали, как-нибудь в следующий раз…

Разочарованию погранца не было предела. Возвратившись в купе после стоянки, мы сидели молча около часа, пока я не пригласил его в вагон-ресторан…

— Ну и что было дальше?— озадачился вопросом путеец Сергей.

— А дальше мы поучаствовали в поимке уголовника-рецидивиста. Да, да, не удивляйтесь…

…Когда стемнело, после нашего возвращения из вагона-ресторана, в наше купе с бешеными глазами заскочил начальник поезда и попросил нейтрализовать дебошира в соседнем вагоне. Уже в тамбуре мы услышали душераздирающий женский крик, а затем увидели, как над головой молодой девушки была занесена рука с ножом.

— Стой, стрелять буду!— громким басом предупредил хулигана Владимир.

От неожиданного окрика уголовник отстранился от жертвы. Молниеносным ударом Володя срубил подонка, и тот как подкошенный упал, уткнувшись лицом в пол. Начальник поезда передал нам наручники, которые я замкнул на запястьях бандита, заложив его руки за спину.

Каково же было наше удивление, когда мы развернули дебошира и увидели его лицо. Им оказался Вахтанг… Да, тот самый Вахтанг, который приглашал нас к себе в купе, чтобы добавить огоньку…

— Вот ведь какие суки бывают,— недоумевал Игорь.— Эти кавказцы уже тогда голову стали поднимать. Они считали и считают себя хозяевами жизни, что им все чем-то обязаны.
— Ну, во-первых, не все кавказцы такие. Во-вторых, у каждой нации есть свои подонки,— возразил я.— Зачем всех грести под одну гребёнку?

Я вообще интернационалист по жизни. Точнее, воин-интернационалист и вполне лояльно отношусь ко всем национальностям, потому что, когда я служил в армии, у меня в подразделении было более сорока представителей разных народов нашей большой страны. Я старался ко всем бойцам относиться одинаково.

На лица моих попутчиков опустилась печать озабоченности. Они с пониманием оценили мои слова.

Как-то уж совсем неожиданно Игорь достал из своей сумки бутылку водки. Все сидящие пассажиры нашего купе посмотрели друг на друга и одобрительно закивали головами…
— Мужики, под мою ответственность, давайте по пять капель и только тихо,— не увидев возражений, Игорь начал разливать по стаканам взятую на всякий случай бутылку водки. А я нарезал колбаски и сыра.

Мы выпили грамм по тридцать.
— Максим, это тогда, в твоё время так было, сейчас всё по-другому, ты же сам всё знаешь,— продолжил беседу путеец Сергей.
— Да, сейчас всё по-другому. Главное— отношения между людьми другими стали.
— Ну не знаю, может, и другие, но не настолько,— высказал сомнения путеец.
— Другие, Сергей. Изменилось время, люди… Народ жёстче стал. Каждый сам за себя. Мы живём в своём обособленном мирке. Мы перестали здороваться с соседями по лестничной клетке и ходить друг к другу за солью и спичками. Я редко езжу в общественном транспорте, но, когда захожу в автобус, иногда вижу неприглядную картину: сидят молодые люди, уткнувшись в телефоны, и делают вид, что не видят зашедших старушку или женщину с маленьким ребёнком. Я не могу принять, что совсем молоденькие девушки курят. Мне непонятно решение чиновников, которые разрешили писать слова так, как они слышатся и произносятся, ставить ударения где кому захочется. Я уже только по ударениям в словах определяю, наш это человек или не наш. Таким образом, чиновничий произвол ниже плинтуса опускает общий уровень культуры среднестатистического гражданина. Я считаю, низкий уровень образованности— корень всех наших бед. Необразованным человеком легче управлять. Не образованный в разных областях специалист страшнее и опаснее атомной бомбы. В стране мало хороших врачей и учителей, инженеров и рабочих. Больше всего юристов, экономистов, часть из которых впоследствии уходит в продавцы на рынок или в охранники. Охранники— это вообще особая «каста»… Сидят здоровенные молодые мужики вместо бабушек-вахтёров, штаны протирают. Им бы кайло в руки или пилу «Дружба-2»— да на лесосеку в солнечную Сибирь, к нам поближе…
— Может, по второй?— предложил Игорь.
— Давай наливай. Только тихо, чтобы не привлекать внимание. А то мне на работу могут сообщить, я ж в этой системе работаю,— шёпотом поддержал Сергей-путеец.
— А ещё загадочное слово— ипотека,— продолжил инженер среднего звена.— Вот я взял ипотеку. Родители помогли с первым взносом. Сейчас каждый месяц двадцать одну тысячу двести пятьдесят семь рублей— вынь да положь… На прожитьё остаётся половина зарплаты. Ничего лишнего не могу позволить…
— Ну что вы раскудахтались? Всё нормально у нас,— наконец-то вступил в разговор четвёртый наш попутчик, лежавший до этого на верхней полке.— Есть там ещё огненная водичка?
— Найдётся для хорошего человека.

Мы выпили по третьей. Через пару минут слабость растеклась по организму.
— Я работаю на севере края, золотишко добываю в крупной компании. Если нормально пашешь, можно за пару-тройку лет на квартиру заработать. Да, забыл представиться: меня Анатолий звать.
— Толик, а семья, как с ней? Ты же бросаешь её на два-три месяца?— повысил тональность инженер среднего звена.
— Не Толик, а Анатолий Николаевич, прошу запомнить, господа…
— Хорош выёживаться, Толик,— не унимался инженер.
— Всё, Игорю не наливаем,— не можем мы великосветские беседы вести, однако.
— А в чём, собственно, дело? Кто-то что-то имеет сказать или как?— заплетающимся языком проговорил Игорёк, едва удержав очки на переносице.
— Не можешь пить— не мучай…опу,— спустился со второй полки и встал во весь свой богатырский рост Анатолий Николаевич.— С семьёй всё в порядке. Её пока нет и не предвидится на горизонте. С такими жёнами, как сейчас, я лучше сам себе режиссёр.
— А как насчёт здорового секса?— не унимался инженер среднего звена.— Как насчёт баб?
— Не баб, а женщин, интеллигент ты наш задрипанный,— осадил Игоря Анатолий Николаевич.— Зачем жениться? «Оне» и так дают кому надо, в отличие от некоторых, как я погляжу…

— Мы ещё и водку пить разучились,— резюмировал я.— Бутылку до конца не допили, а уже каламбурить начали. В этом тоже своего рода деградация. «Короче, Склихасофский», или готовимся ко сну, или я вам рассказываю ещё одну историю, а если хорошо будете себя вести, то не одну.
— Максим, ты, как я погляжу, кладезь полезной информации,— вступил в диалог со мной Анатолий Николаевич.
— Так я ж ещё до войны родился, Брежнева живьём видел (по телевизору), Андропова и Черненко «хоронил», Горбачёва из Фороса на самолёте вывозил, Ельцину с танка помогал спускаться…

Дружный смех наполнил наше купе… Игорь принёс две упаковки заваренного «Доширака». Анатолий разлил по стаканам остатки водки и произнёс незамысловатый тост:
— Ну, за Российские железные дороги, которые соединяют абсолютно разных людей!
— Согласен, Анатолий, мы сегодня познакомились, а завтра выйдем из вагона — и всё забудется, как будто и не знали мы друг друга,— с грустным видом констатировал Сергей.

Я прервал возникшую было небольшую паузу:
— Тридцать с лишним лет назад я служил в армии. Старшим лейтенантом я возвращался из отпуска к своему месту службы в Комарно, это в Чехословакии.
— В каком году это было? — спросил Анатолий.
— В феврале тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, это был мой последний отпуск в Чехословакии после трёх лет службы холостяком…

…Поезд Москва — Прага. На Киевском вокзале в одном купе со мной ехали молодой лейтенант, отслуживший год в артиллерийском полку нашей дивизии, полковник-тыловик лет сорока пяти из штаба корпуса, который, судя по всему, неоднократно ездил в командировки в Союз, и жена командира полка, которого недавно назначили на эту должность. Она впервые в жизни ехала за границу.

Не буду рассказывать все подробности нашей поездки. Остановлюсь лишь на её кульминации.

За несколько часов до пересечения границы женщина обратилась к нам, к опытным людям:
— Мужчины, у меня очень деликатная просьба. Дело в том, что на границе к провозу допускается тридцать рублей для обмена на местную валюту, а у меня сто пятьдесят рублей. Сижу и не знаю: что мне делать? Не дай Бог, таможенники или пограничники обнаружат излишки рублей. Ни мне, ни тем более моему мужу несдобровать: двадцать четыре часа — и снова в Забайкалье.
— А где вы в Забайкалье служили? — участливым голосом спросил полковник.
— В городе Борзя, в «Голубой дивизии»,— ответила жена командира полка.
— А я служил зам. по тылу этой дивизии в тысяча девятьсот семьдесят девятом году,— встрепенулся полковник.
— Почему «Голубая дивизия»? — поинтересовался лейтенант.
— Потому что когда её разместили в палатках в чистом поле, всё лето стояла солнечная погода, небо над палаточным городком было голубым и прозрачным, без единого облака над головой,— ответил полковник,— поэтому в народе так и осталось это название — «Голубая дивизия».
— Надо же, а я в тысяча девятьсот восемьдесят втором году, в феврале месяце, на третьем курсе проходил стажировку в Борзе,— удивился таким совпадениям я.
— Вот давайте за эти совпадения и выпьем,— предложил тыловик.

Мы дружно соорудили на стол нехитрую закуску, полковник вытащил из кожаного чемодана бутылку коньяку и разлил огненную жидкость по стаканам из-под чая.
— Мужчины, так всё же подскажите: что мне делать со своими деньгами? — встревоженно настаивала женщина.
— Валентина Семёновна, не переживайте,— полковник наклонился к жене комполка и почти полушёпотом произнёс: — Отложите тридцать рублей отдельно, а остальные деньги спрячьте в наволочку подушки и зашейте её.
— Так просто — спрятать и зашить?
— Да, зашейте и сидите спокойно, не показывайте вида, что у вас есть что-то лишнее или запрещённое,— уверенным голосом продолжил полковник.— Таможенники насквозь видят контрабандистов.
— Товарищ полковник, ну что уж вы так запугиваете бедную женщину? — решил успокоить жену командира полка я.— Смотрите, на ней же лица нет.
— Сделайте так, как я сказал, и всё будет хорошо,— завершил полковник-тыловик свои наставления.

Между тем поезд приближался к границе Союза Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республики. Напряжение возрастало…

А вот и приграничная станция Чоп. Этот город располагался на стыке трёх государств. К двум вышеназванным прибавлялась Венгерская Народная Республика. Здесь была одна особенность, которая заключалась в том, что во всех поездах, следовавших из Союза на Запад и обратно, необходимо было менять колёсные пары в вагонах — на Западе железнодорожная колея у́же нашей. Эта процедура занимала около полутора-двух часов. За время замены колёс пограничники производили паспортный контроль, таможня — таможенный досмотр. Для быстроты обслуживания пассажиров в каждом вагоне работала отдельная бригада контролёров и таможенников.

Сначала в наше купе зашёл стройный и подтянутый сержант-пограничник с фонариком и полевой сумкой:
— Товарищи пассажиры, прошу приготовить свои документы.

Как по команде мы достали свои синие служебные паспорта и по очереди предъявили их сержанту. Пограничник пристальным взглядом по очереди сверил физиономии каждого из присутствующих с фотографиями в документах. На мне остановился отдельно.
— Что, не похож? — задал естественный вопрос я.

Пауза в исполнении сержанта была поистине мхатовской. Он несколько раз обратил свой взор на меня и на фото в паспорте, закрыл его и вернул владельцу.
— У вас на фото в паспорте нет усов, в отличие от нынешнего состояния вашего лица, — ответил пограничник.
— Оружие, боеприпасы, наркотические и другие запрещённые к провозу вещества имеются?
— Нет, — почти хором ответили я и мои попутчики.
— Счастливого пути, — приветствовал нас пограничник…

— Максим, а сколько раз ты пересекал границу? — спросил Сергей.
— Всего, с учётом командировок за три года, раз десять.
— Неслабо…
— Каждый раз, когда я сталкивался с этой процедурой, всегда ловил себя на мысли, что государство специально ставило человека в унизительное положение. Получалось, что я и мои попутчики всегда кому-то что-то должны и всегда вставали в позу оправдывающегося человека.

…В купе зашёл таможенник. Он был крупного телосложения — рыхлый, тучный, с большим животом и испариной на лбу.
— Товарищи пассажиры, приготовьте таможенные декларации и свои личные вещи.

Мы зашелестели своими бумажками, и таможенник приступил к досмотру.
— Максим Леонидович, покажите и откройте свой чемодан. Сколько бутылок водки везёте? — поинтересовался таможенник, как будто на моём лице было написано, что я известный бутлегер.
— Две, — спокойно произнёс я.

Толстяк ловкими, заученными движениями рук начал шарить по моему нехитрому скарбу. Ничего запрещённого в нём не было. Только две бутылки «Столичной», купленные в продовольственном магазине рядом с Киевским вокзалом, блок сигарет для друзей, пара буханок чёрного бородинского хлеба, потому что такого в Чехословакии не пекли, две банки красной и чёрной икры (потому что деликатес) и банка сельди иваси, потому что заказывали друзья. Всё остальное — личные вещи.

После моего досмотра таможенник попросил лейтенанта достать свои личные вещи. У него было два чемодана. Один — коричневый, кожаный, с ремнями, в котором находились одежда и всякая мелочь. Второй чемодан — дипломат.
— Водка есть? — спросил таможенник.
— Да, есть.
— Сколько бутылок?
— Одна, — спокойным тоном ответил Женя.
— Всего одна? — удивился толстяк.
— Да, одна…
— Откройте вот этот чёрный чемодан, Евгений Петрович, — указал на чемодан.

Артиллерист с трудом поднял чемодан и поставил его на нижнее сиденье.
— Ну, открывайте, открывайте чемодан, — поторапливал таможенник.

Лейтенант нехотя вставил в замочную скважину и повернул маленький чемоданный ключ. Большими пальцами рук он надавил на запирающие замки, и крышка чемодана-дипломата медленно поднялась над содержимым.

Нашему взору открылось удивительное зрелище: весь объём чемодана заполняла большая, специально сделанная под него бутыль с прозрачной жидкостью. На одном из углов бутыли была горловина, запечатанная пробкой и залитая сургучом…

Да, такую бутылку я и все присутствующие в купе попутчики видели в первый раз и оттого были в шоке.
— Что это такое, Евгений Петрович, и как это понимать? — с вытаращенными глазами произнёс таможенник.
— А вот так и понимайте. У меня много друзей в дивизионе, все с нетерпением ждут моего возвращения из первого лейтенантского отпуска. А папа работает стеклодувом в Гусь-Хрустальном на стеклозаводе. Вот он и предложил: «Давай, сынок, я тебе отолью бутыль такую, какую тебе надо. Будет у тебя всего одна бутылка».
— И сколько в ней жидкости? — поинтересовался толстяк.
— Около десяти литров, — парировал лейтенант.
— За почти двадцать лет моей службы в таможне первый раз вижу такое зрелище. Ну что с тобой делать, лейтенант? По-хорошему, надо конфисковать это дело…

Не скрывая смеха, все попутчики держались за животы, кроме жены командира полка.
— Ну хорошо, вези бутыль своим друзьям. За находчивость — пять баллов. Дай я сфотографирую это безобразие, а то коллеги не поверят, — восхитился изобретательностью лейтенанта и его отца таможенник и сам украдкой улыбнулся.

— Валентина Семёновна, приготовьте ваши документы и вещи для досмотра, пожалуйста,— обратился таможенник к нашей попутчице.

Женщина дрожащими руками стала доставать чемоданы, показала декларацию и тридцать рублей.
— Золото, брильянты — всё задекларировали?
— Да, всё, что есть на мне из украшений, ничего лишнего.

Вдруг со своего места поднялся полковник, взял под руку таможенника и вывел его в коридор. Мы едва слышали, о чём разговаривали полковник с представителем власти, но после их диалога таможенник зашёл в купе и напрямую спросил жену командира:
— Валентина Семёновна, это ваша подушка?
— Да, моя,— она едва шевелила губами.

Таможенник покрутил подушку и увидел, что она зашита.
— Почему подушка зашита, да ещё чёрными нитками?

Никто не ожидал такого поворота событий. Все присутствующие в купе пассажиры находились в прострации. Не зная, что ответить, женщина зарыдала.
— Валентина Семёновна, снимите наволочку и покажите её содержимое,— настаивал таможенник.

Женщина порвала нитки, достала аккуратно сложенные купюры и отдала толстяку. Он пересчитал деньги и положил в карман своего кителя.
— Не стоит плакать, Валентина Семёновна, давайте оформлять протокол, документы отправим вышестоящему командованию вашего мужа, а там как уж оно решит, так и будет,— таможенник делал своё дело…

Женщина не унималась, её охватила истерика. Она представила, какой позор ждёт её мужа, заслуженного офицера, командира полка. Не успел приехать служить за границу — и тут такое несчастье…

Мы и не заметили, как тыловик вновь вышел с толстяком в коридор вагона и что-то стал нашёптывать таможеннику в ухо. Через минуту оба возвратились в купе, и таможенник своим штампом проставил в декларации отметки о прохождении таможни и удалился в другие купе…

— Вот же сука этот полковник! — бурно отреагировал на рассказ инженер среднего звена Игорь.— И что было дальше?
— А дальше поезд тронулся через границу…

…В ночной темноте мы увидели прожекторы и вышки, несколько рядов ограждений из колючей проволоки и бетонные окопы, из которых выглядывали головы погранцов в зелёных фуражках. Наконец в лучах прожекторов промелькнула контрольно-следовая полоса границы. Через мгновение — чужая страна…

Поезд мчал нас к конечному пункту с бешеной скоростью, так что, находясь на второй полке, я едва удерживался на ней. Вечером никто не произнёс ни слова. Все со своими мыслями легли спать.

Утро также не предвещало хорошей развязки. Мы привели свой внешний вид в порядок, позавтракали. В купе стояла гнетущая тишина, готовая взорваться от любой брошенной фразы. Видно было, что Валентина Семёновна не спала всю ночь. Мы с лейтенантом вышли в коридор вагона и любовались красотами Чехословакии, пролетающими за окном. И только полковник излучал непонятно с чем связанные радость и оптимизм.

Ближе к обеду тыловик пригласил нас в купе:
— Товарищи офицеры, Валентина Семёновна, я должен перед вами всеми извиниться за вчерашнее…
— Товарищ полковник, какие ещё могут быть извинения? — переходя на крик, вновь заплакала женщина.— Вы же офицер! Как вы могли? Я вам доверилась, а вы?
— Ничего страшного,— полковник достал из кителя и развернул бумажник.— Видите, сколько здесь денег? Почти три тысячи рублей и другая иностранная валюта. Возьмите свои сто двадцать рублей и тридцать за причинённый моральный ущерб.
— Какой ущерб? Вы о чём, полковник? — не унималась Валентина Семёновна.
— Дело в том, что я часто езжу по служебным делам в Союз и обратно. У меня уже второй за четыре года службы в ЦГВ заграничный паспорт, потому что некуда ставить штампы о прохождении границы. Меня почти все погранцы и таможня в лицо знают. Каждый раз приходится выкручиваться и придумывать, как провести незадекларированные деньги и другие ценные вещи. Ваши сто двадцать рублей по сравнению с моими тремя тысячами — крохи. Чтобы не привлекать к себе внимания, я сосредоточил его на вас, Валентина Семёновна. Возьмите деньги и сидите спокойно, никто никаких протоколов командованию вашего мужа посылать не будет. Таможенник забрал ваши деньги себе, а я вам, Валентина Семёновна, как вы теперь поняли, компенсирую потерю. Давайте лучше выпьем вчерашнего коньяку и расслабимся.
— А может, вскроем бутыль лейтенанта? — предложил я.

Все присутствующие с пониманием посмотрели на меня. По такому случаю можно было дать волю и расслабится по полной программе…

— Вот это неожиданная развязка! — восхитился Анатолий Николаевич.— И что эта командирша, как она отреагировала?
— Как-как? Никак. Она налила почти полный стакан спиртного и залпом выпила содержимое…
— Вот бабы, чуть отлегло — и сразу в разгул,— недоумевал инженер среднего звена Игорь.

— Ну зачем же? Просто надо было снять стресс, а русские люди привыкли снимать стресс проверенным средством. Как известно, хороший коньяк примиряет с неидеальным миром, не так ли, господа?

— Ну что, мужики, пожалуй, на сегодня хватит…

Пять часов десять минут показывали стрелки циферблата. Поезд подъезжал к станции Крупская, скоро Минусинск и мой родной Абакан…

ДиН артефакт

Аркадий Константинов

И эта мелодия неповторима

● ● ●

Город листаю, как старый альбом.
Знать бы наперёд, какая страница
Сулит нам встречу!..

● ● ●

Из Ночи в День и обратно—
Путешествуем
Целую жизнь.

● ● ●

С попутки в ночь шагну:
Сколь долог путь к рассвету—
Узнать хочу…

● ● ●

Птица Время,
Ты клюёшь мою душу
С каждым разом—больней!..

● ● ●

Встретиться бы нам
На перекрёстке судеб,
Чтоб стать Судьбой!

● ● ●

Тиканье часов—
Из прошлого в будущее
Незримый мост.

● ● ●

Города огни…
Всего лишь небольшого,
Но вовремя как!

● ● ●

Старой иконе
Поклонюсь—возвратился
На землю предков…

● ● ●

Между Богом и Дьяволом,
Как в тисках,—человек.
Вечная боль.

● ● ●

Твоя щека к моей
Прильнула—повстречались
Две слезы…

● ● ●

Горе смешало
В рюмке тёмного стекла
Вино и слёзы…

● ● ●

Вынул из коробка
Сухой белый мох
Родины своей…

● ● ●

Звёздное небо
На церковных куполах
Пятый век дремлет…

● ● ●

Внезапный ветер!
И эта мелодия
Неповторима…

Александр Жданов

Белая шляпа

1.

— У меня профессия по фамилии. Или фамилия по профессии — это уж кому как нравится, — говорил Андрей Жмуров. И уточнял: — Жмуриков я вожу.

То есть работал Андрей Прохорович водителем катафалка и к своему невесёлому ремеслу относился философски. Проявлялось это и в том, что был Жмуров в своём роде эстет: на работу всегда выходил в белом. Сначала это был белый костюм, позже появилась белая куртка, к которой в срочном порядке были сшиты белые брюки. А появление самой куртки имело предысторию.

Надо сказать, что в зрелом возрасте прочитал Андрей Прохорович всего одну книгу, но зато какую! Это был роман колумбийца Габриэля Маркеса. Книгу увидел он на столе сына, сам не зная почему взял в руки, раскрыл… Первая же фраза о льде, о детских воспоминаниях полковника Аурелиано Буэндиа перед его расстрелом зацепила. Жмуров стал читать. Роман заворожил, и он ничего уже не делал, пока не дочитал до конца, — даже к столу садился с книгой. А потом увидел и фотографию автора в знаменитой белой куртке. И решил тогда сшить себе такую же. К куртке же потребовались и особенные брюки. Позже и усы было отпустил, но потом решил, что слишком уж по-мальчишески будет так копировать знаменитость. Усы он сбрил и всегда был идеально выбритым.

Теперь, имея два варианта рабочей одежды, он надевал то костюм, то куртку с брюками — в зависимости от того, кого приходилось везти на кладбище. Как определял он, что именно предстояло надеть, наверное, не объяснил бы и сам. Костюм вовсе не означал более высокий ранг «клиента» Андрея Прохоровича; скорее всего, действовал Жмуров интуитивно, полагаясь на эмоциональный посыл, который улавливал только он один. Да и то сказать: городок маленький, все, считай, друг друга знают, так что ошибиться Андрей Прохорович не мог. И, видно, не ошибался: ни разу не услышал он хоть какого-нибудь упрёка от родных покойных. Донимали другие, которым, казалось бы, и вовсе никакого дела не должно быть. Жмуров молчал, отмахиваясь от любопытных, как от назойливых мух. А уж если сильно допекали, то невозмутимо объяснял:

— Я пытаюсь представить, какой моей одежде клиент был бы рад при жизни, — так и выбираю.

И на упрёки в том, что у людей, мол, горе, а он, Жмуров, появляется в радостном белом, тоже отвечал спокойно и обстоятельно:

— Да не радость это, а торжественность. Ну представь: все в чёрном, а я один в белом — впереди. И люди понимают, что событие не рядовое, и я их покойника в другой мир перевожу в белом и чистом. Тут философия!

Иногда более просвещённые критики ехидно спрашивали:

— Ты что, китаец, что ли? Это у них белый цвет траурный.

И тогда, картинно выдержав паузу, Жмуров приводил самый весомый аргумент:

— А известно ли вам, что белый цвет считался траурным не только у китайцев, но и у древних славян?

После такого довода любопытные замолкали. И уже не выясняли, откуда у водителя катафалка такие познания. Сам же Жмуров до разъяснений не снисходил.

К необычному виду водителя со временем привыкли. Кто-то, правда, продолжал считать Андрея Прохоровича чудиком, но и они принимали поведение Жмурова как должное. Но однажды решил Жмуров дополнить свою уже вроде бы и униформу ещё одним элементом — белой шляпой. Искал долго, съездил в областной центр, объездил другие города области — ничего похожего. Помог сосед, посоветовав:

— Хочешь найти что-либо уникальное — поройся в гуманитарке.

А ведь как прижилось это слово! Поначалу так называли грузы, которые привозили сердобольные немцы. Как только открыли границы, в область зачастили гости из ставшей вдруг близкой Германии. Привозили они диковинные на ту пору продукты и не новую уже одежду в детские дома, в интернаты, раздавали через собесы малоимущим гражданам. И такие грузы назывались гуманитарными, а проще — гуманитаркой. Но нашлись предприимчивые граждане — организовали доставку из Германии поношенной одежды. Там они закупали её на вес, а дома продавали, как и положено продавать одежду, — поштучно. Выгодное оказалось

дело. Но Андрей Прохорович нововведений не признавал и приятелю возразил:
— Какая ещё гуманитарка?! Скажи уж прямо — обноски! А я обноски не носил и не стану!
— Да не кипятись ты, чудак-человек, — возразил приятель, — а лучше рассуди. Ну вот пойдёшь ты в магазин, ну найдёшь себе шляпу. Но, кроме этой, там ещё пяток таких же будет, а на рынке пороешься в развалах гуманитарки — и найдёшь единственный экземпляр. Моя баба постоянно там копошится. Вот погляди на мой костюмчик. Хорош? То-то. И другого такого в городе не найдёшь. А всё оттуда, из гуманитарки этой. И цены смешные.

Долго боролся с собой Жмуров, наконец буркнул жене: подыщи, мол, что-нибудь приличное. В этот же день принесла она изумительной красоты головной убор — белую, с изящно загнутыми полями, шляпу. Андрей Прохорович покупку взял, но распиравший его восторг постарался не показать и всё сдерживал предательски выползавшую почти детскую радостную улыбку. Шляпу осмотрел внимательно. Она была почти новая — если и надевали её, то не больше двух-трёх раз. Но Жмуров достал из аптечки пузырёк с медицинским спиртом, смочил ватку и тщательно протёр тулью с внутренней стороны. Лишь после этого водрузил обновку на голову, глянул в зеркало — и понял, что со шляпой теперь не расстанется.

А вскоре появился человек, который не только по достоинству оценил броский внешний вид Жмурова, но и нашёл ему хорошее применение. Новый директор их скорбного предприятия хоть и был молодым, но сразу показал себя человеком, пекущимся о деле. Он пришёл с целой папкой идей и планов и сразу принялся их внедрять. Увидев на территории предприятия столь необычного водителя, он пригласил его в кабинет. Усадил в кресло у низенького отдельного столика, сам сел в другое. Секретарша принесла чай, фрукты, конфеты. Директор взял из вазы банан и, протянув Журову, начал:
— Андрей Прохорович, давайте сразу по существу. Мне нравятся такие люди, как вы, нравится такое отношение к делу. Мне хочется, чтобы и у других людей, у горожан, отношение к нам изменилось.

Жмуров молча кивнул. Директор продолжал:
— Ведь как люди относятся к нам, к нашей службе? Как к чему-то страшному, неприятному. Нас побаиваются и, мне кажется, не любят. Надо изменить положение. Вы согласны?

Жмуров сдержанно согласился. Он вообще старался держаться степенно, не проявлять своих чувств, хотя согласен был с директором абсолютно. Его и самого раздражали товарищи-водилы в грязной обуви, засаленных кепках. А директор рассказывал, что́ он намерен изменить и как улучшить работу предприятия. Жмуров кивал, а сам хотел понять, почему именно с ним, водителем, делится директор своими идеями. И, словно прочитав его мысли, директор сказал:
— И вы, Андрей Прохорович, могли бы мне помочь. Для начала убедите своих товарищей-водителей, чтобы и они выглядели столь же аккуратно и привлекательно. Вы станете, так сказать, лицом нашей фирмы. Рекламные проспекты с вашей фотографией выпустим. А мы, руководство, в свою очередь, поддержим вас.

И действительно ведь поддержал. На следующей же неделе в проходной был вывешен приказ о поощрении водителя Жмурова Андрея Прохоровича денежной премией за создание положительного образа работника предприятия. Так и было написано, словно Жмуров не водила, а писатель. И проспекты рекламные тоже появились, на них Жмуров предстал в своём ослепительно-белом наряде.

Поначалу товарищи позубоскалили: мол, выбивается Прохорыч в рабочую интеллигенцию или, чего доброго, в особу, приближённую к начальству, — позавидовали ему немного — не без этого, но потом было замечено, что и другие водители и даже механики стараются быть опрятнее. Конечно, обрядиться в белое никто себе не позволил — Жмуров оставался здесь единственным и неповторимым.

С новым директором на предприятии и впрямь многое изменилось. Первым делом повысил директор зарплату всем работникам. Где он нашёл дополнительные средства, работяг не интересовало, но все были довольны. Придумал директор и новое броское название. Теперь это было не безликое предприятие ритуальных услуг, а фирма с собственным именем. Как потом объяснил Жмурову внук, имя это взяли из древнегреческой мифологии. И это тоже понравилось Жмурову — значит, работа их культурная, не грубая.
— Вот что значит думающий человек, профессионал и при этом частник, — убеждал Жмуров знакомых. — Разве в прежние времена, при плане, такое могло быть? Нет, что ни говори, а в капитализме этом много положительного. Надо только, чтобы было по уму и по совести.

Своё предприятие и его директора защищал Андрей Прохорович всюду, где только мог. Даже в районную газету про него написал. Сам он, конечно, никогда не додумался бы до этого. Но пришёл в их фирму журналист, ходил, смотрел, фотографировал. Жмурова пригласили, посадили с журналистом в комнате отдыха. Устроили такую комнату в бывшем красном уголке и назвали комнатой релаксации — никак не мог запомнить Жмуров это слово! В этой комнате и сидели они: журналист спрашивал, Жмуров отвечал и рассказывал. Потом журналист приехал ещё раз, показал Жмурову статью, отпечатанную на бумаге,

будто это он, водитель Андрей Жмуров, написал, даже фамилия его внизу стояла. Жмуров статью прочитал — вроде ничего не приврал журналист. Кивнул головой: мол, всё верно.

— Тогда подпишите здесь, — журналист даже ручку держал наготове.

Жмуров не без удовольствия поставил свою размашистую подпись. А через два дня на стенде в проходной висел свежий номер газеты, а в нём статья якобы Жмурова с его же фотографией.

— Ну, Андрюха у нас теперь писатель, — зубоскалили товарищи.

А Жмуров, хоть и отмахивался от них, в душе ликовал. Всё ведь складывалось хорошо. Правда, знай он о том, что директор и редактор газеты — хорошие приятели и что всю эту публикацию придумал сам директор, радости, возможно, было бы меньше. Но вот желание директора стать депутатом местного районного совета Жмуров поддержал сразу и даже стал его доверенным лицом.

Но понемногу начал Жмуров замечать, что прежние его хорошие знакомые теперь стали как-то иначе относиться к нему, словно сторонились, старались подолгу не общаться. А однажды старый приятель прямо сказал:

— Разжирел ты, Жмуров, зажмурился совсем — правды не видишь. Словно не Андрюха ты Жмуров, а куркуль какой!

— А какая такая правда у тебя, что я не знаю?

— А такая, что директор твой и вся ваша контора — злыдни и кровопийцы.

Это было уж слишком. Жмуров и правда был доволен, что предприятие на хорошем счету, что ещё немного — и процветать станет, не без основания считал, что и сам причастен к этому. Словом, за предприятие своё горой стоял и поэтому сейчас вспылил:

— Это кто же кровопийца? Может, и я? Ты давай договаривай!

— Ты, Андрюха, не кипятись, — продолжал приятель, — а послушай и сам рассуди. Не ты ли сам говорил, что директор ваш с кем-то там договорился, и как только скорая определяет смерть человека, вам первым сообщают? Говорил?

— Ну, говорил…

— И что не успевают отвезти покойника в морг, ваши тут как тут со своими бумажками-картинками. Мол, гроб мы вам такой сделаем, венки этакие. И суют обалдевшим людям бумажки какие-то. Те ещё отойти от горя не могут, не соображают ничего, подписывают. А потом получается, что половина из всего этого на фиг им не нужна. А платить надо — договор-то есть. Но самое гадкое, друг ты мой Жмуров, что люди не могут отказаться, в другую фирму пойти. У вас же мелким таким, малепусеньким шрифтом написано в каждом документе: с момента подписания клиент имеет дело только с вами и к другим обратиться не может. Иначе неустойка огромная грозит. Что молчишь? Скажешь, не знал?

А Жмуров действительно таких подробностей не знал, не задумывался и вникать не хотел во всякие анкеты, положения и прочую бухгалтерию. Но показать перед приятелями свою неосведомлённость ему тоже не хотелось, и поэтому он промолчал. Он ведь и впрямь был если не правой рукой нового директора, то, во всяком случае, человеком, близким к нему. Так считал сам Жмуров. Ему нравились многие начинания директора, нравились его деловитость, напористость и при этом вежливость и обходительность. Словом, нравился ему директор. И слушать сейчас товарищей было Жмурову неприятно. Не хотелось сознавать их правоту. Но что поделаешь, если возразить нечего? Жмуров потоптался ещё немного и пошёл прочь.

2.

Однажды совершенно неожиданно Жмуров пришёл с работы пьяный. Впервые в жизни. С тех пор как Андрей Петрович сел за руль, он позволял себе опрокинуть рюмочку-другую лишь в отпуске и в те дни, когда абсолютно был уверен, что его не вызовут срочно на работу. А тут напился, да ещё недопитую бутылку принёс с собой. Так и шёл по городу: в белом, но уже грязном костюме, белой шляпе и с торчащим из кармана брюк горлышком бутылки. Вернее, он пытался напиться, но хмель до конца его не брал. Были только тяжёлый туман в голове и сухая злость в сердце. Впервые же накричал на жену, придрался к какому-то пустяку. Хлопнул дверью и ушёл в свой гараж. Здесь, где пахло железом, солидолом, машинным маслом и бензином, Жмуров часто отдыхал, здесь ему становилось легче. Но не сегодня.

Накануне он случайно услышал телефонный разговор — говорил директор:

— Ну, потерпи, потерпи немного, подожди чуть-чуть. Никак не созреют эти родственники. Понимаю, что забит холодильник… Ну ладно, часа через два позвоню, сообщу результат.

Жмуров догадался, что разговаривал директор с начальником морга. Там действительно уже неделю лежали два трупа, которые давно следовало бы похоронить. Но родственники никак не могли внести оставшуюся сумму, и директор распорядился «с похоронами повременить». А потом услышал Жмуров, как директор сказал секретарше:

— Леночка, обзвони вот этих родственников — думают они платить или нет? Предупреди, что, если сегодня до трёх часов не заплатят, похороним сами по самому экономному варианту.

И опять не придал он этим словам особого значения. Мало ли какие расценки ввёл директор? Да и своими делами лучше заниматься.

На следующий день выездов было немного. Жмуров уже завершал свою рабочую смену. Он думал выехать с кладбища по той же дорожке, по которой приехал, но у свежей могилы было много людей, и они перегородили выезд. В таких случаях Жмуров бывал деликатен. Он не стал сигналить, не стал просить людей разойтись, а развернулся и поехал дальними, менее разработанными тропками. Автомобиль качало на кочках, за бампер цеплялись разросшиеся сорняки. Наконец он выехал на самую отдалённую часть кладбища и там увидел своих. Работал экскаватор, рыл очередные могилы. Подумал ещё Андрей Прохорович, что много людей умирает—вон как далеко ушли могилы. Но когда подъехал ближе, то увидел, что роют всего-то одну могилу, и какую-то странную—слишком широкую и длинную. Он заглушил мотор и вышел из автомобиля.

—Эй, Петро,—крикнул он экскаваторщику,—что за траншею вырыл? Для обороны? Воевать собираешься?

Но экскаваторщик шутку не оценил.

—Как приказали, так и вырыл,—раздражённо буркнул он, желая побыстрее отделаться от слишком наблюдательного и докучливого Жмурова.

Но Жмуров продолжал наседать:

—Кто приказал? Зачем это?

—Кто-кто… Начальство,—сказал Пётр и, давая понять, что разговор окончен, направился к своему экскаватору.

—Да постой ты, Петро! Объясни толком

Экскаваторщик с досадой хлопнул дверью, та, не захлопнувшись, снова открылась. Экскаваторщик выплюнул окурок:

—Слушай, Жмуров, ты, кажется, в гараж ехал? Ну и поезжай. А нам работать не мешай. И что ты во все щели лезешь? Всё высматриваешь, выясняешь. При начальстве решил быть? Всё докладывать? Но тут нас не подловишь—всё по личному распоряжению!

Жмуров хотел было ответить, но рядом вовсю тарахтел приближающийся трактор, таща за собой прицеп. В прицепе лежали три грубо сколоченных из неструганых досок гроба. Трактор остановился так, что прицеп оказался перед самой траншеей. Мотор заурчал иначе—и Жмуров догадался. В своём белом одеянии он бросился по только что образованной насыпи к трактору, споткнулся, увяз в грунте, но всё же взобрался на гусеницу и рванул дверцу, пытаясь её открыть, и кричал при этом экскаваторщику:

—Стой! Что ты делаешь?! Прекрати!

Но тот, не обращая внимания на стоящего за кабиной на гусенице трактора Жмурова, деловито управлял техникой. Кузов прицепа стал медленно подниматься, и Жмуров увидел, как гробы заскользили вниз, в траншею. Тракторист приоткрыл дверцу и, всё так же не оборачиваясь к Жмурову, легко столкнул его с гусеницы со словами:

—Отстань, Андрюха, уйди—как бы не покалечился.

Жмуров соскочил, но, не удержавшись, сел на свежий грунт. Трактор медленно тронулся, увлекая за собою прицеп, а из прицепа в траншею так же медленно, но со стуком упали три гроба. Два из них легли хорошо, а третий, зацепившись подобием ножки за крышку второго, застрял в наклонном положении. Двое рабочих, что стояли, опираясь на лопаты, и покуривали, проворно спрыгнули в траншею прямо на крышки двух гробов и черенками лопат столкнули его. С глухим стуком гроб занял своё место в траншее. Жмуров поднялся и бросился к вылезшему уже из кабины трактористу. Но тот, не дав Жмурову и рта раскрыть, отстранил его рукой и крикнул:

—Давай, Петро

Нож бульдозера громко стукнулся о землю, и бульдозер пополз на Жмурова. Тот едва успел отскочить и только покрутил пальцем у виска. Двое рабочих, те, что сталкивали гроб в траншею, теперь стояли в стороне, приставив черенки лопат к ноге, как карабины. А бульдозер урчал, и вскоре вся траншея была засыпана. Снявшись со своего караула, рабочие соорудили из излишков земли небольшой длинный холмик, установили деревянный столбик с номером захоронения. Один из рабочих несколько раз пристукнул тыльной стороной лопаты по склонам холмика и, довольный своей работой, отошёл. А Жмуров не унимался:

—Что ж вы это, мужики, так? Не по-людски это! Почему без родных, как собак каких-то?

—А то ты не знаешь почему?—огрызнулся тракторист.—Да и что ты к нам-то пристал? Мы люди маленькие. Иди у своего дружка выясняй.

—У какого такого дружка?

—У начальника! Вы же с ним чашка-ложка. Ты у него теперь правая рука. А нам что? Мы знать не знаем, ведать не ведаем. Нам выдали наличку и…

Тут тракторист осёкся и мельком взглянул на товарищей: не сболтнул ли чего лишнего? Те неодобрительно покачали головами. Но Жмуров переглядываний не заметил, он решил пойти прямо к директору и рассказать ему о безобразии, так сказать, глаза раскрыть. А если директору всё это известно, то воззвать к совести и сочувствию.

Похоже, директора успели предупредить, и он спешил выйти из своего кабинета, но столкнулся в дверях со Жмуровым. В кабинет его не пригласил, не предложил даже сеть на стул в приёмной, а поговорил стоя, мимоходом. На все торопливые доводы водителя спокойно и рассудительно ответил, что фирма не может заниматься благотворительностью («Вы же не станете спорить, что за всё надо платить?»), объяснил, что и так долго ждали, но, коль не смогли родственники вовремя

оплатить по тарифам... Директор не договорил и развёл руками.

А Жмуров смотрел на его молодое красивое лицо, на идеально подстриженные и уложенные волосы, на дорогой костюм и элегантный галстук с изящной заколкой, чувствовал исходящий от директора аромат туалетной воды, и ему захотелось, нет, не ударить, а смять всё это—лицо, причёску, костюм. Смять, перемешать, разровнять, чтобы стало всё похоже на перемешанную с травой кладбищенскую землю. Но только махнул коротко рукой, повернулся, чтобы уйти, потом остановился, словно хотел что-то сказать, но передумал и вышел.

Всё это вспомнил Жмуров, сидя в гараже. Он немного пришёл в себя и решил пройтись по вечернему городу, чтобы привести мысли в порядок. Он корил себя за то, что напился, что жене досталось, думал, как мириться станет. Только что прошёл дождь, и на тротуаре, недавно вымощенном новой плиткой, подошвы скользили. Жмуров сошёл на проезжую часть—асфальт был менее скользким. Его белые брюки были испачканы и забрызганы, но Жмуров уже не замечал этого, словно ему стал безразличен его внешний вид. Даже шляпу он снял и нёс в руке.

Он не сразу заметил два огромных светящихся глаза, появившихся из-за поворота. Фары надвигались прямо на него. Жмуров отпрыгнул и почувствовал спиной холод кирпичной стены. «Как на расстреле»,—подумал он...

А белая шляпа ещё несколько метров катилась по дороге.

ДиН СИММЕТРИЯ

Бенедикт Лившиц

Одна и та же вечность...

Насущный хлеб и сух и горек,
Но трижды сух и горек хлеб,
Надломленный тобой, историк,
На конченном пиру судеб.

Как редко торжествует память
За кругозором наших дней,
Как трудно нам переупрямить
Упорствующий быт камней!

Безумное единоборство—
И здесь, на берегах Днепра:
Во имя мёртвой Евы торс твой,
Адам, лишается ребра.

Не признавая Фундуклея
И бибиковских тополей,
Таит софийская лилея
Небесной мудрости елей.

Растреллием под архитравы
Взмётен, застрял на острие
Осколок всероссийской славы—
Елизаветинское Е.

Но там, где никнет ювелира
И каменщика скудный бред,
Взгляни—в орлином клюве лира
Восхищена, как Ганимед.

Скользи за мною—над затором
Домов, соборов, тополей—
В зодиакальный круг, в котором
Неистовствовал Водолей.

Чу! Древне-женственной дигамме,
Ты слышишь, вторит вздох самца:
Чу! Не хрустит ли под ногами
Скорлупа Ледина яйца?

Ты видишь: мабель и дилговий
Доступны, как разлив Днепра,
Пока звенит в орлином клюве
Лировозникшее вчера.

Оно—твоё! И в кубке Гебы,
На дне ли скифского ковша—
Одна и та же вечность, где бы
Её ни обрела душа.

1920

Анжела Бецко

Соседи

«Алка дур-р-рак!»

У Алки Бобровой из третьего подъезда жил зелёный волнистый попугай Саша. Днём он чистил пёрышки, часами изучал себя в зеркале, всегда оставаясь в добром расположении духа, вертлявой обезьянкой болтался на качелях, как младенец, забавлялся погремушками, порхал с верхней жёрдочки на нижнюю и обратно, скрипел, трещал и издавал что-то свистяще-булькающее, а вечером затихал под накинутым на клетку куском старой тёмно-коричневой ткани. Иметь дело с попугаями у Алки было на роду написано. Её прямая осанка, гордая посадка головы, манера глядеть сверху, светлые выпуклые глаза, а главное, нос — всё было попугаичьим. Алка была красива по-птичьи, что с красотой человеческой ничего общего не имело. Она была важным, породистым попугаем ростом с семилетнюю девочку. Нет, у Алки был не нос, а самый обыкновенный клюв, только розоватый и обтянутый кожей. Девочке никогда ничего не казалось, и с Алкиным клювом она тоже промахнуться не могла. Нос — такая хитрая штука, которая много говорит о его владельце. Свой клюв Алка просто обожала и демонстрировала при каждом удобном случае. Она садилась на спинку дивана или стула, поворачивалась в профиль, выпячивала грудь колесом, гордо вскидывала голову, отчего попугаичий её клюв даже приобретал окраску Сашиного (электрическое освещение не обманывало!), и Сашиным голосом, похожим на хриплый шёпот древнего и простуженного старика, вещала:

— Саша дур-р-рак! Алка дур-р-рак! Саша дур-р-рак! Алка дур-р-рак!

Посади обоих на жёрдочку — кто где, не отличишь. В эти мгновения девочка была уверена, что Алка сейчас взлетит. По крайней мере, полёт она репетировала постоянно и с его ощущением так весь день и жила. Но самое интересное, что ровно через минуту всё то же в своей клетке проделывал попугай. Умной из всей этой компании слыла только девочка. И не потому, что она и в самом деле была умна, а потому, что в списке дураков не значилась. Просто её имя состояло более чем из двух слогов, а многосложные слова Саше не давались. Правда, вскоре попугай стал утверждать обратное:

— Саша хар-р-рош! Алка хар-р-рош! Саша хар-р-рош! Алка хар-р-рош!

И надо бы порадоваться за товарищей, но девочка думала о том, что у Саши, увы, совсем нет собственного мнения и мозгов и что невозможно жить на свете, не имея ни того, ни другого. Попугай с шумом летал по комнате, цепляясь то за клетку, то за люстру, то за шторы, то за прибитое к стене покрывало, а дети бегали вокруг большого обеденного стола в центре маленькой комнаты, и смех догонял их и наступал на пятки. Здорово, когда в цирк ходить не надо, а он сам приходит к тебе в гости, пусть даже в соседний подъезд, и торчит у тебя столько, сколько ты захочешь! Алка была и дрессировщицей попугаев, и заклинательницей змей в блестящей чалме из маминого праздничного платка, и девочкой-змеёй, и обладательницей светящегося в темноте фосфорного орла с распростёртыми крылами, и щёлкательницей языком и пальцами, и устроительницей тоненьких фонтанчиков. Алка умела как-то резко открывать рот, и оттуда вырывалась малюсенькая слюнная струйка, и при каждом движении Алкиного языка она била снова и снова. Главное, чтобы рядом не оказалось исписанного чернилами тетрадного листка, потому что невозможно уговорить чернила не расплываться от влаги. Тут не поможет ни промокашка, ни давность написанного. Алкины фонтанчики приводили девочку в полный восторг. Щёлкать языком и пальцами она могла без особого труда, а вот фонтанчики ей не давались. И вместе с попугаичьим клювом они были гвоздём Алкиной цирковой программы.

Алка жила с мамой. Её мама была для девочки тёмным и мрачным ребусом, разгадывать который девочка не осмеливалась. Девочка знала о семейной драме Бобровых и лишних вопросов не задавала. Она мучила исключительно себя: почему у всех детей папы как папы и только у одной её Алки — папа-снежинка, папа-туман, папа-нет-следа… Девочка не знала, как лучше: когда папа — горькая пьянь и перед всем двором твой и мамин несмываемый позор, но он каждый день приходит домой и даже иногда даёт монетки «на морожка», или когда папа не пьёт и не курит, всем улыбается и желает доброго вечера, носит тебя на плечах и везде водит за руку, покупает то, что ты и не просишь, читает с тобой «Весёлые

картинки» и, укладывая спать, гладит по голове и целует на ночь… а утром ты просыпаешься, а папы нет. И на твой вопрос о папе мама пожимает плечами, и блестят слезинки в её глазах. Тогда ты начинаешь папу ждать! Всё время смотришь в окно и не выходишь из дому: а вдруг ты на секундочку уйдёшь—и вернётся папа? Тебя не будет дома—и он уйдёт снова. Только теперь уже навсегда. И этого «навсегда» Алка боялась больше всего на свете. Она не улыбалась и почти ничего не ела. А девочка вместе с Алкой ждала её папу. Ожидание заключалось в просиживании у окна, до рези в глазах вглядывании в близь (а даль загромождалась серой пятиэтажкой напротив), сочувственном вздыхании и вскакивании при редком и случайном звонке (почтальон или ошиблись дверью?) или малейшем намёке на него. Девочка ждала Алкиного папу и не знала, что лучше…

Алкина мама была для девочки чёрной тучей, лишняя встреча с которой ничего хорошего не предвещала. И как только из коридора доносился тихий звук поворота ключа в замочной скважине, девочка судорожно хватала свои босоножки (главное, не перепутать и не вляпаться в Алкины!) и молниеносно—птицей-кошкой—выпархивала-выпрыгивала из окна Алкиной комнаты. Алка жила на первом, но девочка готова была сигануть и с пятого этажа. За домом—палисадник, где из живых душ—только цветы, под окнами—горбатый асфальт. И риск поломать ноги всегда оставался. Когда девочка босиком приземлялась на жёсткую верблюжью спину асфальта, по прочности больше напоминающую панцирь слоновой черепахи или брюхоногого моллюска, до птицы-кошки ей было как до луны. В первые послеполётные мгновения девочка не то чтобы ходить, но и стоять не могла. И в эти минуты, стиснув кулаки и зубы, она видела великого и улыбчивого Юрия Гагарина. Девочка закрывала глаза—Гагарин улыбался. Совсем-совсем рядом. И боль притуплялась. Интуитивно выбирая из двух зол, девочка безошибочно выбирала меньшее: импульсивность и отчаяние, диктовавшие прыжок с риском возможного неудачного приземления. Жестокий и липкий страх, рождаемый Алкиной мамой, побороть она была не в силах.

Девочка ревновала Алку к каждому столбу, особенно если этим столбом была другая Алка по фамилии Бегунович. Когда белобрысая Бегунья приходила к её Бобрику, Бобрик становился чужим, и его не то чтобы не узнавала девочка, но он и сам себя переставал узнавать. Все девочкины звонки в Алкину дверь с приглашением погулять вдруг делались бесполезными: в дверном глазке мелькало, за дверью шуршало, стучало и чавкало, шепталось и смеялось, а дверь не открывалась. Но если Алки нет во дворе, значит, она дома и попросту потешается над девочкой. Унижать себя девочка не позволяла даже Алке. И девочкина месть была страшна: она тихонько открывала зелёную деревянную дверь Алкиного подъезда, крадучись, на мягких кошачьих лапках преодолевала короткий лестничный марш в семь заветных ступенек и, оказавшись у Алкиной чёрной двери с номером «31», внезапно и резко вонзалась в кнопку Алкиного звонка. Предательский указательный девочкин палец сначала никак не мог дотянуться, а потом отлипнуть от этой маленькой пластмассовой кнопочки, будто она—липучка или жёваная жвачка, приклеившаяся к тебе до скончания века, и девочке стоило огромных усилий, чтобы благоразумной левой оторвать несговорчивую правую от крохотного предмета, напрямую связывающего девочку с объектом мести. Так велико было девочкино сопротивление несправедливой действительности, что упрямый палец не отлипал! И это за всё девочкино недозволение себе веселья и радости, стойкую веру во внезапное возвращение Алкиного папы, негуляние и вечное сидение в Алкиной душной комнатушке с плотными шторами, не впускающими ни заблудившегося ушастого солнечного зайчика и ни единой тонюсенькой золотисто-радужной нити! Сколько волка ни корми, он всё в лес глядит. И Алкиным лесом была Бегунович. А девочка не была ни лесом, ни полем, ни лугом, ни небом, ни чистым ангелом, ни живой душой. Будто её нет вовсе. И девочке ничего не оставалось, как доказать обратное. Месть—блюдо, которое подают холодным, и танки грязи не боятся. В девочкиной светлой голове всё было разложено по полкам. Её левая рука дружески оттаскивала правую от кнопки Алкиного звонка, а быстрые послушные ноги уносили прочь из подъезда, спасая бедную бедовую голову. Но далеко отбегать было нельзя: увидят из окна Алкиной квартиры, да и большое расстояние лишит мстителя возможности наблюдать за жертвой. Нужно было найти надёжную щёлочку, ближнюю дырочку, тайное укрытие. Таким местом оказалась площадка под Алкиным балконом, совсем низкая, и заползать туда приходилось чуть ли не по-змеиному. И каждый раз после девочкиного звонка, молча или с руганью, но Алкина дверь открывалась. И если в дверь звонят, а на пороге никого, то звонит или призрак, или дух, или гном, или гад (точней, гадюка). Неизвестно, когда бы девочка остыла к своей затее, но в один из «пыточных» дней отзвуком на её очередной звонок из глубины квартиры прошелестело Алкино: «Папа!» И столько боли и надежды было в этом коротком возгласе, что девочка посчитала себя последней негодяйкой и казнилась нескончаемо длинную неделю. С тех пор она не мстила. Никому. Одно-единственное Алкино слово заставило девочку простить всех, кто её когда-либо обидел.

Через три года попугайчик Саша умер. И Алка с девочкой его хоронили. Девочка плакала, Алкино лицо было каменным. Зелёного волнистого попугайчика Алке на день рождения подарил папа.

«Славные люди — соседи мои»

Миллион своих маленьких лет девочка живёт в самой лучшей в мире, родной и тёплой серой пятиэтажке. И любит её нежно и преданно. Так любят серого слона, который, как всем известно, абсолютно розовый. Ну запылился малость — с кем не бывает? И девочкина пятиэтажка тоже розовеет — на рассвете и на закате. И тогда она делается такой раскрасавицей, что девочке хочется жить в ней ещё два миллиона, но уже своих больших лет. Жить одной в большом доме — умрёшь со скуки, и со всех сторон девочку окружают соседи. Но все в этом рассказе не поместятся…

На первом этаже живёт Елена Артёмовна с сыном Андреем. Андрей пилит скрипку, Елена Артёмовна — Андрея. Ну очень крепкий Андрей ей попался! На улицу он не выходит и с мальчишками не играет. Андрей не прочь бы погонять в футбол, да мама не пускает: скрипку пилить надо! Елена Артёмовна — старая злющая училка с такой огромной копной седых волос, что её вполне бы хватило на три головы. Училка пилит не только Андрея, но и всех обитателей двора: то дети у первого подъезда кричат, то дяденьки у последнего в домино стучат, то тётеньки бельё кругом развесили, то воробьям весело, то вороны каркают, то солнце яркое. И всё бы ничего, когда бы Елена Артёмовна псом Цербером день и ночь из своих окон не стерегла тропинку в палисадник. Девочка точно знает, что, кроме скучной долговязой жёлтой рудбекии и отовсюду выглядывающей изумрудной шелковистой травы, там никого: ни перевозчика душ — мрачного старца в рубище Харона, ни прекрасной и печальной Эвридики, ни великого певца с кифарой Орфея, ни вечного мученика, катящего в гору гигантский валун, Сизифа, ни храбреца Ахилла, ни победителя Геракла. Но тогда кого караулит трёхголовая Елена Артёмовна? И девочка вынуждена снова наведаться в палисадник…

На втором этаже с мамой и папой живут Людка-будка и Васька-Васёнок, дурной поросёнок. Толстые молчаливые хомяки на весь вечер приклеиваются к лавке и жуют булки. А ну попроси у них кусочек!.. И не вздумай — не дадут!

Жадина, говядина,
Солёный огурец,
По полу валяется,
Никто его не ест!

В салки, догонялки, классики, вышибалы, казаки-разбойники они не играют. Потому что лавка бегать не умеет. С ними только в молчанку играть: щёки от жиру лопаются, а сами — ни гу-гу.

У гражданки Соколовой
Бегемот сидит в столовой,
Чешет вилкою живот,
Скатерть новую жуёт
И кричит: «Ри-ри-ри-ри!»
Кто играет, тот замри!

Людка с Васькой всегда играют. И выигрывают! Но исключительно в молчанку: ну булочки молчаливые попадаются!.. И про булочки. Девочка гибка, как пружинка, стройна, как стебелёк, и пластична, как глина в руках гончара. Мама всё никак не могла понять, что делать с этой россыпью талантов, пока однажды не отвела девочку в самую настоящую кузницу самых настоящих олимпийских чемпионов к самому настоящему тренеру по художественной гимнастике. Самый настоящий — почти всегда и самый строгий. Так произошло и в этот раз. Тренер долго сверлила девочку опытным тренерским взглядом, а потом ни с того ни с сего резко скомандовала: «Шпагат!» Девочка съёжилась и на всякий случай вжала голову в плечи, а перед её глазами на задних ногах вдруг загарцевали цирковые лошадки, бодро вскидывая передние в такт оркестровому маршу. Видно, пауза затянулась, и виной тому были, разумеется, красивые дрессированные лошади, которых никто, кроме девочки, почему-то, увы, не заметил. «Меньше булочек надо есть!» — отрезала строгая тренер и попросила посторонних удалиться из спортзала. Посторонними, конечно, оказались девочка с мамой. Они удалились, а «булочки» удаляться не желали. «Булочки» мучили девочку даже во сне. А всё потому, что она их не ела… А шпагат?.. Девочка научится! Просто она никогда не думала, что такая мелочь может решить всю её судьбу…

На третьем этаже живёт ведьма — морщинистая старуха с трясущимися руками, золотыми зубами, иссиня-чёрными коротко стриженными и во все стороны торчащими волосами и неизменно прямой спиной. Своей странной причёской ведьма похожа на неприбранную ворону. Но зеркало в её хозяйстве всё же есть, потому что поверх платья на старухе обычно красуются крупные яркие бусы, а губы подведены красной помадой. Все эти женские таинства совершаются не иначе как у зеркала. Днём по всему подъезду у каждой двери ведьма старательно рассыпает соль, бормоча себе под нос дурацкие стишки, а вечером прилежно, по складам и нараспев, читает газету «Правда» так громко, что девочкиным родителям её читать уже не нужно. Ведьма живёт одна, но за горами, за долами, за зелёными лесами где-то на свете у неё есть внучка. И надо же случиться

такой беде, что внучка и девочка, по мнению старухи, совершенно одного возраста, роста и размера. Из каждого дворового угла своим корявым пальцем зазывает ведьма девочку к себе. Старуха вечно путает её имя и всякий раз зовёт по-новому. Съесть девочку она всегда успеет, а пока девочка ей нужна для примерки вороха одежды, купленной внучке. И если этот ворох девочке придётся впору, то во внучкино тридевятое царство-государство полетит он обычной почтовой посылкой. Чтобы не умереть со страху (вместо зубов у ведьмы — клыки, вместо ногтей — когти), девочка выполняет все её команды с закрытыми глазами, не всегда попадая в рукав или в штанину и застёгивая пуговицы так, что кофточки и халатики сидят на манекенщице сикось-накось. А не явиться на ведьмину примерку нельзя: уж больно напоминает эта дамочка ведьму из сказки «Терёшечка». И когда она станет грызть дуб, где придётся схорониться девочке, гуси-лебеди страдалицу не спасут: городским ленивым птицам только бы сласти выпрашивать у посетителей зоопарка. А нет спасения, так и смерти не бывать! Поэтому девочка плетётся на примерку. И как-нибудь ей ужасно надо хоть одним глазком взглянуть на старухину внучку, чтобы проверить, золотые у неё зубы или простые и обыкновенная она девочка или ведьма?..

На четвёртом этаже живут Светка-кукушка с дочкой Наташкой. Ни перьев, ни крыльев, ни хвоста у Светки нет, и может ли она куковать и летать, девочка не знает. Маленькая Наташка похожа на щенка, который тычется холодным носом в прохожих в надежде, что вот сейчас его возьмут в свой тёплый дом, и радостно виляет хвостиком. Наташка — весёлый воздушный шарик, и, чтобы она не улетела, её всё время нужно держать за ниточку. И девочка держит. И часто бывает у Наташки в гостях. В шкафу у Светки-кукушки висит длинное белое платье с пышной волнистой юбкой и большим цветком на поясе. Наташка сто раз его показывала, но Светка это платье не надевает. Разные дяденьки приходят и уходят, а платье висит. И зачем покупать вещи, которые не носишь?.. А девочка с удовольствием надевает всю свою красивую одежду! И когда у девочки жирные волосы, она их просто моет шампунем, а не сыплет на голову муку, не ходит по дому полдня снежной бабой и не вычёсывает белой метелью, как делает Светка. И неужели все кукушки в муке купаются?..

Замарашка рук не мыла,
Месяц в баню не ходила.
Столько грязи, столько ссадин!
Мы на шее лук посадим…

Это дворовые мальчишки кричат Таньке.

Репу — на ладошках,
На щеках — картошку,
На носу морковь взойдёт —
Будет целый огород!

А это — Аньке. Грязные и худые Танька и Анька живут с толстой мамой Ирой на пятом этаже. На ней рваный халат, она всегда шатается от усталости, и от неё противно пахнет вином. Папа бросил не дочек, а Ирку. Но когда он жил с ними, Танька и Анька не были раздеты и не просили у всех еды. Раньше девочки любили мороженое и конфеты, а теперь — всё подряд. И даже в сырую погоду на них только тоненькие платьица и испачканные трусы. Танька и Анька кашляют, и у них из носа лезут сопливые пузыри. А малышки не замечают — привыкли. Девочка дала Таньке и Аньке по ириске, а Танька вдруг вынула из кармашка крошечный осколок зеркала и помаду и протянула девочке:
— Квась губы! — торжественно произнесла она.

Помада оказалась сомнительного — оранжевого — цвета с неприятным запахом. Но, чтобы не обидеть Таньку, губы пришлось «квасить». Когда девочка вернулась домой, от помады на её губах, конечно, не осталось и следа. Но так думала девочка, а у девочкиной мамы на этот счёт имелись свои соображения. Каким-то непостижимым образом жалкие остатки оранжевой жути предательски залегли в уголках девочкиных губ. И доказывай теперь, что ты не верблюд и, кроме единственного тюбика гигиенической помады, выклянченной и хранимой больше собственной жизни, у тебя ничегошеньки нет!.. У Ирки часто бывает милиционер. И, если она не перестанет уставать и шататься, он сдаст Таньку и Аньку в детский дом. Но она шатается по-прежнему, и от неё всё так же воняет. А девочки хотят жить с папой. У него новая, хорошая, настоящая семья. И он их заберёт. Только надо чуть-чуть подождать. Одну маленькую капельку. Так сказали девочке Танька и Анька. И девочка тоже будет ждать. Потому что вместе ждать быстрей!

«Славные люди — соседи мои». А дедушка Некрасов не может ошибаться.

Наталья Тагорина

Дом на берегу

● ● ●

Н.

Так грозовой порыв распахивает окна—
В озоне и пыли, листву к земле клоня.
Так после ливня сад, прохладной линзой вогнут,
Стоит вокруг меня и требует меня.

Так близкий ли, чужой—из отступившей дали
Щемящей красоты, сжимающей виски,—
Глядит, не отстранясь, в сгустившемся кристалле.
Так дети после слёз—слабы и глубоки…

И, оживая, мир светлеет понемногу.
Так,—распускаясь в круг прохладного огня,
В себя вбирая всех, всё подводя к итогу,—
Твоя любовь, как жизнь, проходит сквозь меня.

● ● ●

К руке твоей склоняюсь: там, под кожей,—
Биение и свет.
И мир, сплетённый бережно и сложно,
Утешен и согрет.

И помнит всё. И беспечально дремлет
Меж завтра и вчера.
Солёная река—древнее древних—
Не знает переправ.

Воды не перейти: неодолимо
Разлитое внутри.
И дом на берегу, и годы—мимо.
И свет горит.

● ● ●

Как стол, заваленный бумагами,
Газон в кленовом беспорядке.
Седыми утренними рагами
Сентябрьский воздух дымно-сладкий
В окно с раскрытыми фрамугами
Вливается, а свет на шторе
Восходит солнечными фугами.

И, музыке беззвучной вторя,
Внутри неё самой, не около,—
Бездонно и почти случайно—
Ты улыбаешься далёкому,
Не просыпаясь под лучами.

● ● ●

Ветку тронь—качнёшь в пустоту
Майский двор, скамейку, фонарь.
Бедной жизни невмоготу
Вечности цветущий букварь.

Мучает неназванный сад.
Болью прорастает весна.
Силится вернуться назад
Кто-то—в имена.
Имена.

● ● ●

Заснежена твоя клеёнка
На парапете у метро.
Промёрзло нищее добро—
Салфетки, вязанные тонко.

И руки дряхлые дрожат,
И снегопаду уступают,
И кружево не успевают
Отряхивать. А снегопад

Тебя молчаньем охватил,
Удерживая, как младенца,
Как переполненное сердце,
Истаивая до светил…

Он светом увлекает вверх—
И в тесноте его высокой
Стоишь фигуркой одинокой,
Уже отделена от всех.

Но каждый божий человек,
Невидимо идущий мимо,
Тебе знаком необъяснимо.
И так—превозмогая снег,

Со всеми в перекличке тайной
На этом голом пятачке—
Стоишь смиренно, налегке,
С беспомощным своим вязаньем.

Так—словно на недолгий срок
Во всезвучащем разговоре,
В его космическом узоре
Ты—самый важный узелок.

• • •

Подорожник-июль — на саднящую ранку — от боли и пыли.
И опять на качели: из небыли в были, из небыли в были…
Чьи бы руки встречали, глаза бы искали, смеялись и пили
В безвоздушном пространстве тягучие взгляды: не ты ли?

Но не ты. И с пустым раскачавшимся сердцем домой или в поле.
Водворяя себя с одуревшей неволи в сушайшую волю,
Вдруг находишь конверт недошедшего лета — внутри только листья —
И становишься сам этой солнечной, горькой жизнью.

• • •

Наедине. На глубине.
На безымянной остановке.
Моей в тебе. Твоей во мне…
Как осторожны и неловки,
Как немы первые слова!
…И лишь торопятся вглядеться
Не мы, а изумлённых два
Навстречу выпорхнувших сердца.

ДиН пародия

Евгений Минин

Я всё сказал — чего же боле?

Ожиданье

ты кто сердца глаголом жёг
нет унижения дружок
небесном супчике бесплатном
не плачь сизиф не пей…
Бахыт Кенжеев

ты кто сердца глаголом жёг
поклонников собрал в кружок
и постигая униженье
бесплатный выхлебал супец
из выжигаемых сердец
респект тебе и уваженье

ты кто зовут тебя сизиф
кому-то явь кому-то миф
не плачь о высохшем глаголе —
жду шестикрылый серафим
придёт и пушкин вместе с ним
я всё сказал чего же боле?

Педагогический метод

Ученикам не ставлю двоек,
Пишу всегда в журнал колы.
. . . . .
Колы в журнале на четвёрки
Легко потом переправлять.
Андрей Канавщиков

Я всё сказал — чего же боле?
Веду предмет не первый год.
От директрисы в нашей школе
И уваженье, и почёт.
Мой метод — это дело чести,
Достигну разных с ним высот,
Поскольку мы на первом месте
По успеваемости.
Вот!

Екатерина Сергеева

Время стеклянных шариков

Весна—осень

(Студенческое)

1.

Ветви берёз, фейерверки,
брызги сока, как брызги аи.
Это вкусно?
Поди проверь-ка.
Ай-ай-ай,
кью-кью-кью.
Птицы, птицы.
Под кустом оставляю пальто
с розой чёрною в верхней петлице.
Износилось.
На выброс.
А что?
Жёлтые пищалки акации,
шмелино-пчелиные локации,
тень чёрная, кружевная,
закутает в мантилью подругу мая.
Стала капустница Антиопой.
Чёрные пятна дрожат, плывут, забирают в плен.
Лен,
ведь у меня самая красивая
Антиопа?

2.

Листья
из холода в комнаты,
притворяются
апельсинами,
горько пахнут.
Синее
над домами из жёлтого кирпича,
на синем чёрный знак—
клин.
I wanna be loved by you…
Мерилин, Мерилин.
А я больше не.

Только старые куклы

Мы с мамой шьём кукол
и не выходим из дома.
Гречка, картошка, морковь.
Манной каши запах знакомый,
дедсадовский, сладкий.
Макароны с тушёнкой.
Звонко
вода из ведра в умывальник.
Туалет в огороде.
Всегда приезжали летом,
но в этом
году
всё не так.
Тик-так, тик-так, тик-так.
Ку-ку—деревянный звук.
Мама тревожится:
сколько?
Маминых ломких рук
тонко-зелёные вены
тянутся. Плачу, пугаюсь.
Валя, не плачь, будь смелей.
Помнишь тех снегирей
в парке, что возле дома?
Нитки и ткань.
Куклы.
Первая—комом.
Вторая.
Пятая. Пятое мая.
Мы всё ещё здесь.
Есть, есть, есть,
хочется есть.
Валя, поешь, полсухарика, ложка варенья,
на дне поскреби тут.
Старые куклы умрут.
Только старые куклы умрут.

● ● ●

ландыши ландыши
прямоугольник земли
куст сирени уже без цветов
мы цветы с собой принесли
белые лилии резким голосом
твоих старых пластинок
брат
белое солнце пустыни
всегда заберёт назад
свои тягучие тени
серые как
халва
брат один и брат два
копают колодец картошку
чинят забор и крышу
жарко в земле колени
белые камни дышат
белые стены храм
харам

● ● ●

Павел
ставит ловушки
на зайцев белок мышей
яблоням ноги моет
в яблоках сок уже
бродит
пчелиный рой
в улей
домой.
Павел
готовит щи
сметанное сердце
мне
даёт яблоко
белый бок алый
Павел не надо Павел
мы не сойдёмся в цене
грушу дай сливу
(хранит аккуратно в песке)
но—нет
крепка рука
в руке
(если смертельно устала)
то
половина—отр
Пётр

● ● ●

Детство—время стеклянных шариков.
Голубых и лиловых.
Снова
С утра—«Пионерская зорька».
Вечер—сливочный вкус ириса.
Бабушка слушает радио.
Каша из риса
Бормочет и пыжится на плите.
Масла кусок—желток—тает в твоей тарелке.
А ещё мы кормили белку.
А ещё…
Всё.

● ● ●

Полтретьего ночи.
Будит, заходит.
Спать—очень.
Даёт чай, даёт мёд.
Говорит, выйдешь—убьёт.
Там, говорит, за ржавыми баками,
Косточками арбузными, корочками
Серый с короной кормится.
Из тебя, поросячья девочка,
Скелетик сделает.
Мама, я не…
Ушла.
В слабом звене
Есть резон.
Это не сон.

● ● ●

Миска. А в ней—малина и сливки.
Нежно и сладко.
А ну отниму.
Конфета в обёртке.
Розовый липкий
След на клеёнке.
Спасибо ему.
Смутно, как сон,—
Были на море.
Пёстрая галька.
Гладкая влажность.
След высыхает.
И исчезает.
Надо запомнить.
Надо оставить.

в полночь нити черны
постепенно светлеют
Анна розовым клеем
укрепляет основу и вплетает уто́к
утро
доит и льёт
жирно-белые струи пальцы Анны кораллы
губы — лёд
Анна ждёт
созревают в теплице помидоры и перцы
хрустко остро и сладко
любит лечо Олег
полотенца и чашки чистота всё в порядке
любят лечо Антон и Егор и Виталий
тихо в погребе млеет жёлтый сливочный снег
капли зноя всё гуще тень ползёт по стене
и Олег и Антон и Егор и Виталий
на далёкой войне
Анна ставит свечу не одну а четыре
подоконник в стекло постучал мотылёк
открывает окно мотылёк — прямо в ирий
семя яблоко сад и огонь
мотылёк-уголёк
Анна ждёт и умеет
как никто
голод ей господин
Анна ждёт как Арахна
всё плетёт мотыльковые сети
пусть вернётся вернётся пусть хотя бы один

Паня

Паня смеётся, песни поёт,
печёт пироги с малиной.
Сладко тают во рту
тесто, ягоды, мёд.
День впереди
длинный.
К Пане входящий — счастлив и сыт.
Болеющий станет здоровым.
Манна обильно с неба летит —
падает снова и снова
Пане на косы.
Паня идёт
к белкам — гостинцы в кармане —
богатым, ореховым был этот год.
Орехи в ладони — манит.
Чёрные молодцы Паню под ручки:
что грызунов привечаешь ты, сучка?
Паню — на площадь.
Сзади — толпой.
Каждый, кто — палку, кто — камень с собой.
Мне — Паню жалко.
Я — не в толпе.
Кошкой крадусь вдоль забора.
В моей клетчатой сумке
не камни, нет.
Нежнейшие,
мягчайшие
подгнившие помидоры.

Евгений Минин

А душа совсем босая…

Душелюбное

Белой ватой затыкают уши
под горячей крови заговор,
стих ложится на босую душу,
словно снег на заоконный двор.
Катя Капович

У меня душа уже с годами
начинает мёрзнуть в ноябре.
Я её засыпала стихами,
словно первым снегом во дворе.
Так живу я с нею, не бросая, —
не могу ж совсем бездушной быть!
Кстати, а душа совсем босая…
Думаю ей тапочки купить.

Что за житуха?

Пойдёт хозяйка за водою —
в райцентр на скорой увезут.
Виктор Коврижных

А с окружающей средою
ужасное творится тут:
пойдёт хозяйка за водою —
в райцентр на скорой, и капут.
Пошлёшь соседа за бутылкой —
и от него лишь в поле свист.
Стишок напишешь — и с ухмылкой
ужо примчался пародист…

Денис Калакин

Итака

* * *

Древний Рим на рубеже паденья.
Всё тревожней почта из провинций.
Дни проходят в праздности и блуде.
Неуклонно дешевеют деньги.
И с чеканным профилем патриций
спит лицом в давно остывшем блюде.

Император сильно сдал, по слухам.
Стал одышлив, и слабеет зренье.
Ревматизм и опухоль в колене.
Смотрит всё нахальнее прислуга.
Галлы и тракийцы на арене
тоже мрут без воодушевленья.

Легионы стянуты к границам.
Но не видно нового Агриппы
там среди командного состава.
Катит боевая колесница
больше по инерции, со скрипом.
Да, скрипят Империи суставы.

Всё вообще теперь идёт со скрипом,
как поэт заметил справедливо,
и за это в мартовские иды
сослан к морю, в глушь, читает рыбам.
Что ж, легко отделался, счастливо.
Прежде мог бы просто выпить яду.

Несомненны признаки упадка.
В переулке, с неподдельным чувством,
беглый раб вещает что-то черни.
И тверда, как прежде, только складка
меж бровей у мраморного бюста.
И, как прежде, мягок свет вечерний.

Ну а в целом всё пока неплохо.
Отодвинем сонную гетеру,
под струю вина подставим чашу.
Выпьем за прекрасную эпоху,
за закат блестящей, в общем, эры,
уходящей, но пока что нашей.

* * *

Как северной совы перо,
сегодня вылиняло небо
и вряд ли станет голубей.
На тротуаре у метро,
под ноги накрошивши хлеба,
старушка кормит голубей.

А рядом ты, одет легко,
леча расстроенные нервы,
похмелье, проще говоря,
глотаешь тёплое пивко,
дожив до заморозков первых,
до середины ноября.

Спеша на службу, москвичи
сутулят плечи, ощущая
дыханье близкое зимы.
Взгляни, как чудно горячи
стаканчики плохого чая
у продавщицы шаурмы!

Как осторожно их берут,
и ворот поднимают выше,
и пьют, и продолжают путь.
Лишь ты на ледяном ветру
стоишь столбом, и неподвижен
твой взор и абсолютно пуст.

Ты созерцаешь мир вокруг
и только щуришься при виде
мельканья первых белых ос,
возникших так внезапно, вдруг,
и замечаешь, как Овидий,
на всём следы метаморфоз.

Сейчас вот, выгнувшись назад,
та долговязая девица
поправит шапочку свою,
заглянет искоса в глаза
тебе и превратится в птицу,
порхнёт и двинется на юг.

* * *

Quintili Vare, legiones redde.

Время, коварный противник, разбило в пух
стройные так недавно твои порядки.
На лицах солдат растерянность и испуг.
Враг заманил в ловушку, играя в прятки.

Да, чем дальше, тем глуше германский лес.
Конный твой авангард утонул в болоте.
В этих местах тяжело усидеть в седле.
Впрочем, не легче приходится и пехоте.

Съехав с дороги и бросив поводья, ты
вглядываешься сквозь туман в эти злые топи
и успеваешь заметить лишь, как кусты
вдруг прорастают лесом железных копий…

…раненых добивают, ещё слышны,
с каждой минутой тише, проклятья, стоны.
Чувства остались усталости и вины.
«Квинтилий Вар, верни мои легионы!»

Грубая в слух проникает чужая речь.
Лошадь без всадника краем подлеска скачет.
И, доставая из ножен короткий меч,
бессмысленно думать, могло ли всё быть иначе.

* * *

На полпути из Пуатье в Дижон,
поклажею сверх меры перегружен,
сломался дилижанс и, распряжён,
стоит, все планы спутав и нарушив.

Чад волоча и раздражённых жён,
шагают пассажиры через лужи
к гостинице, где ждёт холодный ужин,
дождливый вечер, скука и крюшон.

Там, кролика тушёного ножом
поковыряв, сердито смотрят: ну же!—
на автора, но, жалости лишён

и к их судьбе дальнейшей равнодушен,
тот в темноте скрывается снаружи,
их навсегда оставив с багажом

на полпути из Пуатье в Дижон.

Итака

Не следует спор заводить о цене.
С богами особенно. Странствий конец—
для радости повод иль грусти?
Домой возвратившись, к началу начал,
хромая, сойдёшь на знакомый причал
в любимом тобой захолустье.

Мужей среди прочих и ты послужил
когда-то отчизне, которой мужи
достойными были сынами.
Огонь, и вода, и троянская медь
давно за кормой и в прошедшем, а смерть
случается с кем-то, не с нами.

А ты, ты вернулся, герой и мудрец,
хитрец несомненно, и царский дворец
гудит, потревоженный улей.
В ударные все ударяя, трубя
во все духовые, встречает тебя
твой остров, твой *ultima thule*.

И женщина, чем-то похожая на
другую, на ту, на которой женат
ты некогда был, безмятежно
в твои, изучая, вглядится черты
и скажет слегка неуверенно: «Ты…»
Банально? Банально, конечно.

Внесут, чтоб умыться с дороги, сосуд.
И нужные жертвы богам принесут.
И стол приготовят, и ложе.
Смешаются в чаше вино и вода.
А то, что вернуться нельзя никуда,
поймёшь ты не сразу, чуть позже.

Елена Минина

Глазами Блока

У сонной кромки

Сегодня ночью мне снились дети.
Они играли, смеялись громко…
Весна кружилась, и день был светел
На грани яви, у сонной кромки.

У сонной кромки казались смехом
Порывы ветра с колючим снегом,
В напевах вьюги звенели эхом
Напевы птичьи под синим небом.

Но лёд весенний бывает ломким,
А я бежала вдогонку детям
По грани яви у сонной кромки…
И… провалилась в глухую темень.

Глазами Блока

Двадцатый век… Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё темнее и огромней
Тень Люциферова крыла)…
А. Блок

Смотрю на мир глазами Блока,
Печалью сердце растворив,
Моё «прекрасное далёко»
Уже развенчано, как миф.

Пусть это выглядит жестоко,
Но невозможно не принять
Слова пророческие Блока,
Что мир из пепла не поднять.

Уж за порогом двадцать первый!
Но так же тёмен Люцифер,
И обнажённость наших нервов
Пронзает плотность атмосфер!

И солнце светит одиноко,
Пытаясь обозначить путь…
Но веру в светлое «далёко»
Уж не вернуть! Уж не вернуть…

По Енисею

Я на палубе стояла в печали.
Вечерело. Облака догорали…
Теплохода ход едва было слышно.
Я хотела полететь, да не вышло.

Испугалась: я не чайка, не утка—
Полетишь, и выйдет скверная шутка—
Дно обшарят в тщетных поисках тела,
И не скажет ведь никто: «Улетела…»

Я стояла на корме. Тосковала.
Мне глядеть на красоту было мало,
Я хотела стать скалой, птицей, елью,
На порогах камнем лечь, глубью, мелью!

Слиться с небом и рекой воедино!
Я стояла на корме. Ветер в спину.
Я молилась: «Боже мой, неужели
И сюда придут железные звери?
Спилят все Твои леса, выпьют воду?
Боже, Боже, ограничь нам свободу!
Ты оставь нам только добрую волю,
А худая пусть летит в чисто поле,
Пусть там скачет между пней мелким бесом
Да сажает семена с новым лесом».

Я молилась: «Помоги, Боже Правый,
Уберечь Твои леса от пожаров…
Научи нас, вразуми, Боже Святый!
Только этой красотой мы богаты».

Потемнело. Замолчала природа.
Раздавался мерный гул теплохода.
Волны, пенясь, к берегам уходили
В перспективе… но иной: дальше—шире.

Нина Ищенко

Фандомная проза как сад расходящихся тропок

Широкое распространение Интернета и социальных сетей в последние годы привело к развитию таких явлений, которые не существовали раньше или существовали в зачаточном состоянии, не оказывая значительного влияния на повседневную жизнь. Сейчас благодаря новым возможностям общения возникают целые субкультуры, в первую очередь молодёжные, которые быстро растут и исчезают, но при всей своей эфемерности имеют общие черты. Феномен этот довольно интересен, но осмыслен ещё недостаточно. В данной статье предпринята попытка проанализировать философские основания одного из таких явлений.

Функционирующие в Сети субкультуры очень разнообразны по содержанию, но часто имеют общую структуру, которая наглядно видна в таком явлении последних лет, как фандом. Название происходит от слова «фан» (поклонник). Фандомом называется сообщество поклонников какого-нибудь художественного произведения, книги или фильма. Существует фандом Гарри Поттера, «Трёх мушкетёров», советской фантастики и так далее.

Для появления фандома недостаточно просто прочитать книгу и молча восхищаться ею. Фандом начинается тогда, когда читатель делится впечатлениями о прочитанном с другими поклонниками произведения. Общение между поклонниками — субстанциальный признак фандома, определяющий способ его существования.

В настоящее время фандом какого-нибудь произведения функционирует следующим образом. Все участники имеют страницу в Интернете, блог или свой сайт. Такой блог ведётся как дневник, где публикуются записи о жизни, творчестве, литературе, искусстве. Появляются они, как и записи в обычном бумажном дневнике, нерегулярно, частота заполнения блога никак не регламентируется, хотя редко обновляемые дневники, естественно, привлекают меньше читателей.

Если в своём блоге читатель наряду с другими заметками делится какими-то впечатлениями о произведении, это привлекает внимание других поклонников. Они имеют возможность написать комментарий, оценить высказанное мнение, поделиться своим. Чтобы облегчить такое общение, в большинстве функционирующих фандомов существуют обзоры.

Обзоры — это анонимный блог, который занимается исключительно тем, что публикует списки новинок такого рода, которые появились в Сети. В зависимости от того, насколько фандом живой, обзоры публикуют новости раз в неделю, раз в три дня или каждый день. В такой публикации указано всё, что появилось по данной теме за истекший период: такой-то прочитал третью главу книги и делится впечатлениями; такой-то спрашивает, какого числа родился главный герой; такая-то нарисовала иллюстрацию к пятой главе или вышила подушку в цветах главной героини; кто-то приглашает всех любителей из своего города погулять в парке и обсудить любимую книгу; кто-то услышал музыку, которая напомнила ему какой-то знаковый эпизод сюжета; кто-то сделал своими руками шпагу с инкрустацией; кто-то продаёт старое издание, так как купил новое, и так далее. В функционирующем фандоме новости такого рода появляются постоянно, и существуют люди, которые этим интересуются, реагируют на это, пишут и высказывают своё мнение по этим вопросам.

Средний фандом насчитывает несколько десятков человек. Популярные фандомы, как в случае с Гарри Поттером или «Властелином колец», могут быть гораздо больше. Софандомники живут в разных городах и даже в разных странах. Они объединяются на страницах своих блогов и, пока состоят в фандоме, живут жизнью фандома как одно целое.

Чтобы с энтузиазмом тратить время на такие вещи, нужно иметь время и энтузиазм. Отсюда понятно, что фандом формируется в первую очередь из школьников и студентов, а точнее, из школьниц и студенток, хотя возрастных ограничений здесь нет. Известны фанаты как десяти, так и семидесяти лет от роду. Некоторые уходят из фандома быстро, когда остывает первый пыл, некоторые остаются в фандоме на много лет и не теряют интереса к такого рода деятельности.

Охарактеризовать гендерный состав фандома нелегко из-за анонимности в Интернете, но,

по существующим оценкам, количество мужчин в этой среде колеблется в пределах десяти—тридцати процентов для разных фандомов, причём последняя цифра считается очень высокой.

Идея всем софандомникам встретиться в реальной жизни естественно возникает в ходе общения и часто воплощается в жизнь. Если сюжет позволяет, софандомники организуют балы, танцы, маскарады, сами шьют костюмы, делают бижутерию и холодное оружие, посещают танцевальные курсы и постоянно обсуждают всё это в Сети. В некоторых фандомах такие встречи становятся регулярными: например, проводится осенний бал и весенний бал, куда приглашаются иногородние, делаются фотографии и так далее.

Большой частью фандомной жизни являются ролевые игры. Игровая деятельность фандома—тема слишком обширная, чтобы сколько-нибудь полно осветить её здесь. Игры существуют не в каждом фандоме. Игра требует более серьёзной подготовки. Участники выбирают себе роли в рамках сюжета, пишут сценарий, изготавливают костюмы, оружие, предметы быта. Игра длится от одного до нескольких дней, в ней участвуют десятки людей; игра породила свою собственную обслуживающую идейную структуру. Всё действо похоже на комедию дель арте, когда каждый действует в соответствии со своим амплуа по общим намеченным контурам сюжета. Подготовка, а затем разбор игры дают пищу фандому на много дней.

Фандомная субкультура распространена в англоязычных странах, в Японии и, начиная с девяностых, приживается в России. Первое по времени явление европейской культуры, которое уже имеет важные признаки фандома,—это читательский успех рассказов Конан Дойля ещё при жизни автора. Тут появляется значимый элемент, который становится определяющим в дальнейшем,—взаимодействие с читателем. Читатель влияет на судьбу героя. Читатели пишут продолжения, пусть даже эти читатели—профессиональные писатели, как Джон Диксон Карр или Рекс Стаут. Читателями создаются версии, которые могут быть интереснее авторского варианта в литературном отношении.

Фандом принимает свою классическую узнаваемую форму в феномене толкинизма. «Властелин колец» был написан в 1948 году. В шестидесятые годы появляются произведения, посвящённые роману, исследования эльфийских языков, атлас Средиземья, описание погребальных обрядов разных придуманных Толкином народов и так далее. В семидесятые число таких публикаций растёт. Ролевые игры в таком виде, как мы их знаем, формируются среди толкинистов. Фандомы Шерлока Холмса и «Властелина колец» существуют до сих пор и являются очень активными и многолюдными.

Среди разных видов деятельности фандома литературная занимает особое место. «Проза» по-английски—fiction, фанатские тексты называются фанфикшн, отдельное произведение называется фанфик, или просто фик.

Разновидностей фанфиков очень много. Для примера рассмотрим сонг-фики, то есть песни. Это может быть песня от имени какого-нибудь персонажа, может быть песня, в которой пересказывается сюжет или выражаются впечатления читателя. К песне пишется музыка, жанры которой самые разнообразные. Она самодельная и непрофессиональная, но это не всегда значит плохая. Некоторые музыкально одарённые авторы выходят за рамки фандомной субкультуры, чему служит примером Майя Котовская, известная под псевдонимом Канцлер Ги. Как автор-исполнитель она пишет в нескольких фандомах и ездит с концертами по всей России. Когда осенью 2014-го после войны в Луганск стали возвращаться жители, света почти нигде не было, и работала одна-единственная радиостанция «Радио Новороссии», на этой волне звучала песня Канцлера Ги «Романс Ротгера Вальдеса», написанная в фандоме «Отблески Этерны».

Песни иллюстрируются видеорядом. Это может сделать любой участник фандома, сообразуясь со своими вкусами и видением произведения. В некоторых случаях видео снимается участниками фандома специально для данного проекта, гораздо чаще используется готовый материал, отрывки из существующих фильмов, клипов, мультфильмов, аниме, любительская съёмка. Результат выкладывается в блоге, на «Ютубе», на любом сайте, и поклонники могут оценить его и обсудить. В частности, для упомянутой песни Канцлера Ги использовались кадры из фильма «Повелитель морей» (в роли Олафа Кальдмеера—Рассел Кроу) и сериала «Отчаянные романтики» (в роли Ротгера Вальдеса—Эйдан Тёрнер).

Кроме стихов, фанаты пишут и прозу. Распространённые сюжетные ходы для фанфика—дописать, что было дальше; спасти персонажа. Если читателю не хочется, чтобы Констанция погибла, а хочется, чтобы она осталась жива, вышла замуж за д'Артаньяна и жила с ним долго и счастливо, такой читатель пишет на эту тему рассказ, повесть, роман, пьесу, поэму гекзаметром, если хватит умений и увлечённости, а современные технологии позволяют найти благодарную аудиторию.

Исходное произведение называется *канон*, а возникшие на его основе переработки—*фанон*. Отталкиваясь от сюжета канона, фанаты пишут предысторию и постисторию, разрабатывают разнообразные боковые ответвления сюжета. Какое-нибудь событие, упомянутое автором в одной строке, можно развернуть в произведение любого размера и жанра. Можно написать канонный

сюжет с точки зрения другого персонажа. История о подвесках, рассказанная миледи, кардиналом, Гримо или Арамисом, будет отличаться от версии Дюма. Исходный сюжет можно пересказать как мелодраму, готический роман, детектив, боевик, юмористическую фантастику, космооперу и так далее. Огромные возможности даёт АУ—альтернативный универсум, где описывается, «что было бы, если бы»: если бы храбрый гасконец приехал в Менг на час раньше или на час позже, если бы он свернул на другую улицу и проехал мимо дома Бонасье, если бы он опоздал с подвесками к балу. В каждой точке сюжета возможен веер вариантов. При этом можно стараться свести сюжет к канону, а можно полностью уйти от канона и создать совсем другое произведение.

В фанфиках можно сохранять характер персонажа, а можно разыгрывать те же события с другими людьми. Одним из вариантов такой смены персонажей является реверс: Констанция—королева, Анна—камеристка, что тогда будет? Портос—граф де Ла Фер, он женится на Анне де Бейль, а Атос встречается с госпожой Кокнар, как будут развиваться события? К этой разновидности примыкает кроссовер, обмен персонажами, когда герои одного канона разыгрывают сюжет другого: Атос и д'Артаньян оказываются на Бейкер-стрит, 221Б, и должны расследовать дело собаки Баскервилей, а Холмс и Ватсон живут в Париже семнадцатого века и должны вернуть подвески из Англии. Очень часто под именем известного персонажа начинает жить совсем другой герой, созданный в меру таланта пишущего.

Фандомы обычно стараются ввести в рамки эту деятельность. Довольно регулярно проводятся внутрифандомные конкурсы, например, по желанию раз в месяц или раз в три месяца; могут действовать постоянные конкурсы с неограниченным сроком набора произведений. Как правило, для участия в конкурсе набирается команда, вводятся критерии принимаемых текстов и системы оценивания, предлагаются задания разного уровня и сложности. Например, время—Констанция в Бетюнском монастыре ждёт д'Артаньяна; нужно сдать тексты трёх категорий: венок сонетов, повесть в стиле Джейн Остин от имени Констанции, рассказ в стиле О. Генри от имени настоятельницы монастыря. Произведения оценивают, подсчитывают баллы, пишут отзывы и рецензии.

Два раза в год, в июне и январе, происходит Фандомная Битва, в которой соревнуются команды разных фандомов. Подготовку к ФБ начинают за несколько месяцев. Этот конкурс—гораздо большего масштаба. Обязательно нужно получить несколько оценок из других фандомов, а для этого следует самим поставить оценку в другом фандоме. Об этом договариваются заранее, как и о форме отзыва. Иногда достаточно расставить баллы, иногда нужно писать рецензию с обоснованием своего мнения.

Предпринятое краткое обозрение литературной деятельности фандома показывает, что суть её сводится к возможно более полному перебору вариантов развития сюжета в разных литературных формах. Фандом как коллективный субъект создаёт своеобразный гипертекст, произведение, впервые описанное Борхесом в рассказе «Сад расходящихся тропок» (1944). Пишется такой борхесовский роман в течение нескольких лет, а то и десятилетий, дописать его до конца невозможно в принципе. Канон и фанон вместе реализуют все версии развития событий, описанных автором в сюжете. Автор выделил только одну тропинку, фанон дописывает остальные. Теоретически качество фика может быть как ниже, так и выше, чем у канона, то есть авторская версия не выделяется принципиально.

Как видим, Борхес на кончике пера открыл явление, которого в его время ещё не существовало. Популярность Шерлока Холмса не могла дать в сороковые годы материала для описания фандома и принципов его деятельности. Такое предвидение означает, что фандом как явление и идеи Борхеса имеют общую причину в западной культуре Нового времени. Эта причина коренится в западном понимании свободы.

Базовая интуиция современной западной культуры—это атомизированный индивид. Общество описывается как соединение индивидов, общественные интересы—как равнодействующая частных интересов. Рыночная экономика возникает как результат частной экономической деятельности. В политической сфере такое понимание человека и общества приводит к либерализму, в сфере искусства—к постмодерну.

Основная ценность западного общества—свобода, понимаемая как свобода выбора индивида. Соответственно, полнота бытия понимается как реализация всех возможных вариантов выбора. Западное общество всё дальше уходит от христианского понимания свободы как выбора между добром и злом. Для человека той культуры свобода—это множество вариантов. Если человеку предлагается сто вариантов зла, он несвободен, но такое понимание уже давно стало неактуальным и даже непонятным. Отсутствие вариантов воспринимается как ограничение и несвобода, даже если все эти варианты ошибочны и вредны. Такое понимание свободы стало пробивать себе дорогу в шестнадцатом веке и окончательно победило в последние сто-двести лет, проникнув в философию, политику, экономику, искусство.

Воплощением этой идеи в искусстве и является фандомная литература. Сама структура фанона утверждает равный статус всех версий сюжета и всех литературных обработок текста. В предельном случае в фаноне терпит поражение эстетика

Гегеля, согласно которой произведение искусства должно выражать некую идею в образах и оценить произведение искусства можно по тому, насколько полно оно выражает эту идею. Идеальное содержание сюжета, правда характеров, единственно верный выбор художественных средств для её реализации—всё это в фаноне отходит на второй план и становится вспомогательным средством при переборе возможно большего числа вариантов, которые зависят только от желания пишущего. Так произвол отдельного индивида торжествует над законами искусства.

Предложенный в статье краткий очерк истории и функционирования такого явления современной культуры, как фандом, на конкретном примере показывает, как базовая интуиция западной цивилизации о самодостаточном индивиде реализуется в искусстве.

Александр Салаутин

Хочу позвать тебя с собой

● ● ●

Как только я принца в себе обнаружу,
Я словно запрет непременно нарушу,
Молчанье любви моей. Трепет признанья,
Как голос спасенья в обитель страданья,
Проникнет в твою измождённую душу,
Как только я принца в себе обнаружу.

О, если всему есть конечные сроки—
Не могут быть люди всегда одиноки,
Не можем и мы и, конечно, не будем,
Досаду и боль, изничтожив, забудем.
Эх, быть нам счастливыми в пекло и стужу!
Когда же я принца в себе обнаружу?!

● ● ●

Хочу позвать тебя с собой
В манящий мир добра и света,
В бездонный ласковый покой
И нескончаемое лето.
Там пред очами всюду новь,
Чисты слова, как трели птичьи,
И славно царствует любовь
Во всей красе, во всём величье.
…Мы цепко за руки взялись,
Сердца в волненье, разум в силе.
О мир чудесный, отворись,
И мы не вспомним, кем мы были!

Человек

Избегая общественных прений
или мнимых крылатых парений
в светлой бездне небесных высот,
он, живое земное созданье,
укрепляет столпы мирозданья
тем, что сладкий мотив лжепознанья
никому, никому не поёт.

Он не стонет о собственных болях,
его руки в коростах, мозолях—
не во имя бесплодных химер,
но во имя насущного мига.
Он опасен, как мудрая книга
для любого холёного лика,
для тебя, для тебя, лицемер!

В его сердце любовь—как награда.
Будь хоть жутким посланником ада—
его сердце попробуй-ка, тронь!..
Он несчастных в беде не бросает
и спасает, спасает, спасает.
Он уйдёт. И о нём зарыдают
три стихии—и даже огонь!

Дмитрий Косяков

«Книгуру 2020»

Писатели пытаются понять подростков

О чём думают современные подростки

Внутренний мир современного подростка совершенно прозрачен и полностью закрыт. Вот такой парадокс.

Почему прозрачен? Да потому, что он тотально зависим от американизированного масскульта. Посмотрите очередной супергеройский блокбастер, и вы будете знать всё, что думают современные подростки (в случае девочек можно посмотреть очередной клон «Сумерек» или «Монстрхай»). Можно возразить: ведь не все подростки видели конкретно этот новый фильм. Но будьте уверены, модные рэперы, компьютерные игры, телесериалы говорят ровно о том же.

Весь вал масскультурной продукции пережёвывает одни и те же две-три мысли, отсюда и такое подавляющее идеологическое воздействие на неокрепшие мозги. Наши подростки находятся в цепких лапах массовой культуры, они абсолютно одинаковы и предсказуемы (в том числе в своём стремлении к непредсказуемости и оригинальности).

Почему же тогда их внутренний мир закрыт? Да потому, что никому, кроме корпорации «Дисней» и её клонов, в голову подростка входа нет: ни родителям, ни учителям, ни писателям. Разве они могут конкурировать с раскрученными образами-брендами, в продвижение которых вложены миллионы долларов? Пожалуй, единственный выход—это полностью мимикрировать под тот самый масскульт. Но этот путь требует игры по чужим правилам. А игра по чужим правилам—это заведомый проигрыш.

В общем, наши подростки оказываются для нас иностранцами, аборигенами, инопланетянами.

Сомнительный демократизм

В свете вышеизложенного любопытно взглянуть на литературный конкурс «Книгуру», посвящённый произведениям для подростков, как на попытку писателей прорваться на чужую и запретную территорию. При этом, как с гордостью отмечают организаторы, «Книгуру»—«единственный в мире литературный конкурс, в котором окончательное решение принимают школьники десяти—семнадцати лет. В этом году лауреатов выберет специальное подростковое жюри».

Ну что же, звучит демократично. Однако это сомнительный демократизм. Наших подростков необходимо воспитывать, прививать им вкус. Ибо сейчас этот вкус упал ниже плинтуса. В своём нынешнем состоянии подростки, конечно, выберут что-нибудь запретно-похабное—не то, что потянет их вверх, а то, что будет потакать их стереотипам.

На это нам возразят, что шорт-лист сформировало жюри профессиональных литераторов, а подросткам предлагается выбрать уже из отобранного и проверенного списка. Но тогда это и сомнительный демократизм. Прямо как в жизни: где-то за кулисами для вас выбрали список из пяти-шести негодяев, и вам предстоит «самостоятельно» выбирать из них президента.

Так что демократизм конкурса «Книгуру» странен и смахивает на показуху. Но это частности. Нас интересуют сами авторы и их способы работы с подростковой темой.

Кстати, хочется отметить, что почему-то все писатели делали героями своих книг именно подростков. Всё-таки книги *для* подростков—это не обязательно книги *про* подростков. Литература может вводить подростков в мир взрослых, демонстрировать им модели взрослого и ответственного поведения, задавать образцы. Но это к слову. Переходим к самим произведениям. В финал попали пятнадцать авторов. Мы не будем разбирать каждый текст—рассмотрим лишь некоторые яркие примеры.

Ольга Мареичева

«Девочка-девочка…»

Ольга Мареичева пошла как раз по вышеописанному пути: потакая вкусам современных подростков, написала «ужастик», опираясь на советский детский фольклор про жёлтые шторы, красные перчатки и так далее. Выбор фактуры мне представляется удачным: многие отечественные авторы уже обращались к теме детских «страшилок», но тема до сих пор не заезжена и не исчерпана.

В результате у Ольги Мареичевой получается довольно увлекательная история.

Но дальше встаёт вопрос: а зачем нам была рассказана эта история? Посмотрим на классика и законодателя жанра ужасов—Стивена Кинга. Ужасы являются для него лишь формой, способом донести определённую моральную, философскую или гражданскую идею. Например, «Кладбище домашних животных» говорит о том, что неумение принять мысль о неизбежности смерти может серьёзно покалечить жизнь человека; «Зелёная миля» восстаёт против расизма и уродств американской пенитенциарной системы и так далее.

В основе каждой «страшилки» Кинга лежит сугубо человеческая история. Мы переживаем за персонажей, потому что их мысли и чувства нам понятны и близки. Вот и организаторы конкурса подчёркивают, что «эксперты „Книгуру" часто отдают предпочтение „проблемным" текстам».

Что же останется в истории Ольги Мареичевой за вычетом мистики? Девочка мечтает купить красные перчатки, а бабушка не разрешает. Обкатанная масскультом ситуация: подросткам хочется поярче нарядиться, а взрослые не разрешают—считают это вульгарным. Рынок скормил подросткам весьма выгодную идею: хотите продемонстрировать свою оригинальность—купите себе модные тряпки, повесьте пёстрые шторы, устройте себе модную обстановочку. Вот подростки и бегут за оригинальностью не в библиотеку, а в тату-салон или парикмахерскую—красить волосы в голубой цвет.

Не кажется ли вам, что спор о шторах—это слишком мелко и не стоило расписывать историю на много страниц, чтобы рассказать нам об этом?

Не знаю, может быть, попытка донести какую-то мысль присутствует вот в этом отрывке:

Всё началось, когда в больницу попала моя прапрабабка. Её, бабушкина, бабушка. Тогда родня тоже собирала деньги, неофициально, конечно,—медицина была бесплатна, и все были равны. Это значило, что бабушке предстояло лежать наравне со всеми: в коридоре. Ну, если повезёт, в палате человек на пятнадцать. Небольшой, но толстенький конверт сделал чудеса: бабушку положили в небольшую палату, где лежало всего шесть старушек.

Вот тут я честно не понял, что хотела сказать автор… что бесплатная медицина—это плохо? что тогда медицина была хуже, чем теперь? Простите, с советских времён (ведь против них ополчается Мареичева) количество больниц в стране *резко сократилось и продолжает сокращаться*, количество койко-мест было урезано *в разы*! То есть сегодня ситуация выглядит *гораздо хуже*.

Почему Мареичева не сетует на то, что было мало больниц, не призывает развивать здравоохранение? Вместо этого её не устраивает, что когда-то «все были равны». Ей хочется, чтобы люди были *неравны*, чтобы «все остальные» были выброшены из больниц и в больницах лечились только бабушки плохих писательниц? Вот такие «оговорочки по Фрейду» способны опозорить любого автора и убить к нему доверие и всяческий интерес.

Людмила Потапчук

«Та, которая шкаф»

Людмила Потапчук пошла иным путём. Она отодвигает мистику на второй план (во вторую часть повествования) и открыто заявляет некую актуальную для подростков проблему—проблему травли со стороны сверстников. Интересно, на контрасте, выстроена и композиция первой части: описание жестоких издевательств одноклассников над главной героиней перемежается с воспоминаниями о том, как прекрасно они все между собой дружили прежде.

Это здорово интригует: что же такое произошло, что разрушило дружеские отношения с одноклассниками (и даже с классной руководительницей) и превратило жизнь главной героини в ад?

А пока мы знакомимся с подробностями её истории. Шура, естественно, новенькая в классе, но поначалу её отношения со сверстниками складываются превосходно. Шура увлекается музыкой, а в школе есть аж два музыкальных кружка—один явно «плохой», а другой «хороший»:

«Лучики» вела вялая Юльборисовна. «Лучики» были как раз для «просто попеть». Пели, правда, в «Лучиках» такие песни, про которые Шурина бабушка после одного отчётного концерта сказала вполголоса Шуриной маме, что они у неё вот уже пятьдесят лет как сидят в печёнках. Нона Петросовна в своём «Ваганте» песен из бабушкиных печёнок не признавала. Те, кто от неё не убежал, устраивали на сцене, как она сама выражалась, трэш и угар.

То есть «Лучики» были плохи тем, что в нём пели песни прошлых лет? Да что же это такое снова?.. Чем это писателям советское прошлое поперёк горла встало? Ведь совершенно очевидно, что современным подросткам Советский Союз попросту неинтересен. К чему выбирать в качестве объекта критики нечто давно и бесповоротно ушедшее? Так безопаснее? Думается, да. Советское прошлое является одобренным свыше объектом для критики, как «царский режим» в СССР,—ругайся на здоровье!

И всё-таки этот конфликт между двумя музыкальными кружками выглядит натянутым. В жизни не видал бабушек, которым не нравились бы песни их молодости. И что же в таком случае предпочитала Шурина бабушка—Егора Крида и «Кровосток»? Среди моих знакомых есть такие, кто вовсе не застал «проклятый совок», но советские

песни очень даже любят. То же, кстати, относится и к знаменитейшим отечественным рокерам: Егор Летов, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Фёдор Чистяков, Сергей Чиграков — все с удовольствием исполняли со сцены советские песни, хоть «оттепельные», хоть времён «культа личности».

Ну хорошо, пропустим этот авторский пунктик насчёт советских песен. Чем же ещё занимались в «хорошем» музыкальном кружке? Оказывается, там готовились праздновать Хэллоуин:

— А разве Хэллоуин — не бесовский праздник? — неловко спросила клавишница Алёна Голованова. — У нас в школе говорили…

— Ерунду у вас в школе говорили! — вспыхнулась Нона Петросовна. — Чем им там, в вашей школе, не угодил канун Дня всех святых? Кельты им там мне нравятся? Чужие культуры им там не нравятся?

Вот это поведение Ноны Петросовны, которую Людмила Потапчук всячески выставляет в качестве «правильного» преподавателя, мне совершенно не нравится. Даже если Нону Петросовну лично не устраивало, чему и как учат детей в школе, она повела себя совершенно непедагогично. Прежде чем науськивать детей против других преподавателей, не следовало ли подумать… о детях? Ведь получается, что ради собственной популярности среди детей она ставит их в конфликт с их окружением.

Готова ли она нести ответственность за этот конфликт? По ходу развития сюжета Нону Петросовну из школы «попросили», а её конфликтные дети остались наедине с теми, с кем их Нона Петросовна поссорила.

Кстати, и Хэллоуин-то тоже является запатентованным продуктом всё той же американизированной массовой культуры. Ведь не от древних кельтов подростки узнают про него, а из модных мультиков и фильмов.

И наконец, выясняется, что́ испортило отношения Шуры с одноклассниками: неудачное выступление на каком-то смотре. Вдохновлённая Ноной Петросовной Шура исполняет рок-балладу собственного сочинения — что-то про «печальную ведьму». И вот тут уже начинается фантастика… Нет, не та, когда замкнувшаяся в себе героиня попадает в потусторонний мир, а совсем другая.

Песня про ведьму *почему-то* вызывает возмущение у взрослых и у отборочной комиссии, в результате чего *почему-то* комиссия не допускает к участию в городском конкурсе весь Шурин класс, а классная руководительница *почему-то* сваливает всю вину на одну Шуру, а одноклассники, ещё вчера прекрасно дружившие с Шурой, *почему-то* превращаются в жестоких монстров и начинают её травить.

Сразу четыре фантастические натяжки в одном повороте сюжета! Во-первых, не то что к року, а и ко всем остальным проявлениям масскульта на школьных праздниках у нас относятся с трепетом и обходительностью. На детских праздниках мы уже видели и стриптиз, и попотрясение в костюмах пчёлок. А тут какая-то рок-баллада… какая-то «печальная ведьма». Может быть, лет сорок назад это бы кого-то и шокировало, но точно не теперь.

Во-вторых, где это видано, чтобы городская комиссия или классный руководитель повели себя подобным непедагогичным образом? Прямо как-то все звёзды сошлись в повести Потапчук: в ней нет *ни одного* сколько-нибудь вменяемого взрослого! Да и злоба одноклассников выглядит слишком «запрограммированной». Всё это необходимо автору, чтобы поставить и попытаться решить проблему травли. Но вместо решения она, автор, эту проблему усугубляет.

Она настаивает: не оглядывайся на других, делай что хочешь. Но вообще-то суть пребывания в обществе как раз и заключается в том, чтобы уметь оглядываться на других, учитывать их интересы, предвидеть последствия своих действий. Хочется тебе исполнить песню — подумай: а точно она понравится слушателям? А то у нас под окнами регулярно молодчики на машинах с громкими аудиосистемами «радуют» окружающих свежими достижениями отечественного рэпа. Чем Шура лучше них?

Потапчук нудно и подробно расписывает нам Шурины несчастья, но ведь в этих несчастьях виновата… только сама Потапчук. Она выдумала неправдоподобную ситуацию и поместила в неё героев. Конечно, травля в наших школах бывает, но корни у неё, как правило, совсем иные. Разобраться в этих корнях, предложить некое решение тем, кто оказался объектом травли, — эта задача Потапчук явно не по силам.

Она лишь расписывает нам, какие все вокруг плохие — не оценили тонкой души героини. То есть автор пестует подростковый нарциссизм в себе и в своих читателях и в итоге создаёт какой-то пасквиль на людей. А ведь даже у злодеев бывает своя правда. Понять правду другого — в этом залог преодоления вражды и отчуждения. Потапчук же уводит читателей от этого решения.

Лариса Романовская

«Наутилус останется»

Произведение Ларисы Романовской лично мне понравилось больше всех. И проблема в нём поднята не дежурная, а вполне актуальная и наболевшая — проблема эмиграции. Мальчику Вите вместе с мамой предстоит переезжать на постоянное место жительства в США, там уже работает его папа.

И правда, эмигрируют сегодня все: жители Севера и Дальнего Востока России бегут от холодов и безнадёги на юг, деревня стягивается в города, провинциалы рвутся в столицу, а столица — за границу. Куда рвётся заграница, нам неизвестно — может

быть, на Луну вслед за Илоном Маском. Такая вот мировая перекачка людей.

И мальчику Вите предстоит переезд из Москвы в Америку. Ситуация знакомая, но богатая возможностями для писателя. Можно глазами подростка показать разницу жизни «у нас» и «у них». И это хороший повод задуматься над тем, чем же мы дорожим в своей стране, познать себя. Помнится, в начале девяностых и у моей семьи была похожая ситуация—отцу поступило предложение выехать за границу с семьёй. Помню, что я был в восторге: ведь там я смогу смотреть иностранные мультики каждый день!

Впрочем, годков мне было тогда совсем немного, меньше, чем мальчику Вите. А Витя уже подросток и кое-что должен понимать. Увы, мальчик Витя оказывается типичным подростком—то есть полнейшим овощем. Его волнуют компьютерные игры, масскультурные персонажи и прочая жвачка. Лариса Романовская весьма реалистично рисует поведение и внутренний мир современного подростка. Вот его ощущения перед отъездом:

Витя смотрел теперь не на потолок, а в стену. Сбоку, за письменным столом, стояли его ящики с игрушками. «Лего», бионикы, черепашки-ниндзя, шарики от «Киндеров», детальки и фигурки всякие…

Постойте, но ведь это всё американское—вот в чём штука. Получается, что различия между «там» и «тут» стираются. Автор честно ищет, но не находит какие-то особые черты российской жизни. Может быть, потому, что Москва—это всё-таки не Россия? Мне кажется, дело не в этом. Романовская копнула куда глубже, чем собиралась. И это признак хорошей литературы.

Её произведение показывает, что современный подросток и так живёт в Америке. Психологически, культурно. Какой тут может быть культурный шок от переезда? Он расстаётся со своими друзьями? Но Витя точно так же расстался бы с ними, если бы уехал, скажем, в Норильск. Пожалуй, для него отъезд в Норильск был бы ещё тяжелее, чем в другую страну. А играть в онлайн-игры можно и в США.

Гораздо сильнее по поводу переезда переживает Витина мама, но она тоскует не по родине:

А мама вдруг ладонью по столу.

«Да отстань ты от меня! Я же в Штатах никем буду! Я же из-за тебя еду!»

Да, это проблема. Но ведь мама наверняка была бы никем и в российской глубинке, где почти не осталось рабочих мест для учёных, писателей, экономистов или кем она там работает. А если бы и для мамы нашлось хорошее рабочее место в Штатах, тогда проблема расставания с родиной, перемещения в чуждую культурную и языковую среду исчезла бы?

Романовская пытается поставить проблему родины, расставания с нею… и не может. И дело не в творческом бессилии автора (творческие силы у неё есть), а в том, что само понятие родины, похоже, радикально преобразилось, изменило свои очертания.

Папа пишет мальчику Вите:

«Я тебе дрон купил». И прислал фото коробки.

Папа этот дрон обещал привезти в Москву. И чтобы запускать всем вместе—с Лёхой, с Яриком, с Серым. Униx в парке, на Яузе. Не в Америке!

То есть родина—это место, где лучше запускать американские (а на деле, конечно, китайские) дроны? Но это, повторюсь, не претензия к автору. Романовская искренне пытается вместе с мальчиком Витей отыскать признаки, черты современной России и не может этого сделать. Вот ещё одна попытка:

На чужом этаже [школы] на стенах тоже были рисунки к Девятому мая, гимн и герб. И трёхцветная рамочка—как длинный флаг. Витя не знал, этот флаг ещё его или уже не очень. И не мог вспомнить, какие в Америке герб и гимн.

Неужели уезжающему мальчику жалко двуглавого герба и переделанного советского гимна? Родина—это флаг? Или это—пасхальное яйцо, которое Витя видит на другом стенде? А вот то, что мальчик запомнил линолеум, что его вдруг потянуло на урок к своим,—это почему-то трогает, кажется чем-то настоящим, непридуманным.

И вот мама и сын перед отъездом идут в последний раз прогуляться по городу:

Получалось, будто они сейчас в Москве совсем одни. Будто это новый город, они в него только приехали и совсем никого тут не знают.

Подведём итог. Ситуация отъезда ставит перед нами вопрос: а есть ли откуда уезжать? Где мы живём? Жизнь героя состоит из конструктора LEGO, ниндзя-черепашек, компьютерных игр, планшетов—что же он теряет? Культурно он уже живёт в Америке. Сакраментальный вопрос «с чего начинается родина?» встаёт перед нами во весь рост. И нам, жителям современной России, придётся отвечать на него заново. Та песня была про другую страну.

Вот только произведение Романовской вряд ли будет оценено подростками. Слишком недетская тема. Это скорее тянет на хорошую взрослую литературу.

Дмитрий Сиротин

«Родинка на щеке»

Ситуация, описанная в повести Дмитрия Сиротина, экстраординарна: его главный герой оказался в психиатрической лечебнице. Во многом история, которую нам рассказывает Дмитрий Сиротин, напоминает истории Мареичевой и Потапчук—это снова противостояние яркой оригинальности против окружающей серости.

Психушка, как и полагается, является метафорой несвободного и безумного общества. Тут даже запрещён доступ в Интернет:

Мы должны смотреть только телевизор. Только то, что всем показывают. Чтобы не могли выбирать — и нечаянно выбрать что-нибудь не то.

Мне кажется, намёк достаточно прозрачен. Но, на мой взгляд, противопоставление Интернета телевизору по принципу «свобода/несвобода» — ложно. Ведь и в Интернете подростки смотрят всяческую чушь. Так уж устроен Интернет, что он никогда сам по себе не предложит пользователю нечто умное и глубокое. Он всегда предложит только самое пошлое и примитивное. Скажем, чтобы отыскать в Интернете музыку Гэри Мура, надо уже заранее знать этого музыканта.

Если просто набрать в поисковике «хорошая музыка», получишь гору ссылок на премерзейшую попсу. Так что никакой свободы выбора Интернет не даёт, поскольку скрывает от пользователя само наличие этого выбора.

Кстати, выходит, что если у героя тоталитарные врачи отобрали телефон, по которому он так тоскует, то это пошло герою только на пользу, ибо благодаря отсутствию Интернета он взялся вести свой дневник, стал задумываться, внимательно присматриваться к окружающим людям. Пожалуй, я бы так и сделал: отобрал у подростков их гаджеты, — всё равно они там одну ерунду разглядывают.

Но вернёмся к повествованию. Надо сказать, что слог у Сиротина лёгкий, непростую жизнь своего героя он описывает с большой долей лирического юмора, не впадая в зубоскальство. Читать повесть приятно. Да и сам герой довольно необычен. В отличие от героев предыдущих историй, у него есть внутренний мир, он задумывается над разными жизненными и философскими проблемами, пытается решать их в своём дневнике.

Что волнует героя?

Ну, любовь, конечно. Несправедливость всякая. В школе и в мире. А про что же ещё писать?

Мне кажется, писать надо про то, что действительно волнует, а не так, что — цветочки, апельсинчики, мишки-зайчики…

Совершенно очевидно, что это не только позиция героя, но и авторская позиция. И она, на мой взгляд, совершенно правильная. Писать надо о самом важном, о наболевшем. И герой Сиротина оказывается в довольно типичных для подростка кризисных ситуациях. Помнится, Лимонов как-то верно сказал, что школа не учит нас главному: как реагировать на унижение, как поступать в случае неудачной любви и так далее. Вот во все эти ситуации Сиротин помещает своего героя: он безответно влюбляется, он сталкивается с хулиганами, он скучает по ушедшему из семьи отцу…

Увы, ни одну из заявленных, действительно важных для многих подростков, проблем автор не решает. Он лишь более или менее талантливо фиксирует их. Нельзя счесть решением и финал повести: одноклассники и мама начинают бережнее относиться к герою после того, как он попадает в психушку. Какой же урок может извлечь юный читатель из такого финала? Что надо вызвать к себе жалость, впасть в истерику, тогда все проблемы решатся сами собой?

Давайте присмотримся к созданному Сиротиным герою и художественному миру повести, чтобы разобраться в корне проблемы.

Герой Сиротина — ярко выраженный гуманитарий. И тут сразу возникает один серьёзный перегиб: обгоняя одноклассников по литературе и русскому языку, занимаясь литературным творчеством, мальчик отстаёт во всём остальном. Я понимаю, так бывает, наверняка в этом присутствует и автобиографический элемент. Но герой стремится замкнуться в своей гуманитарности, а всё остальное преподносится нам как вторжение в его хрупкий «поэтический» мир.

Сиротин совершает ту же ошибку, что и Людмила Потапчук: он ссорит своего героя (и пытается поссорить нас) с окружающим миром. Все вокруг такие грубые, бездуховные… Одноклассники — грубы (высмеивают влюблённость героя), учителя авторитарны (заставляют заниматься физикой и химией), соседи по психушке неадекватны. Особенно почему-то чужие мамы герою не нравятся (и автором показаны без симпатии).

Конечно, присутствуют в мире повести и хорошие люди: папа девочки Наташи (гитарист), папа главного героя, санитарка Оля. Но все эти «хорошие» персонажи слишком интеллигентны и потому беззащитны, не приспособлены к жизни. Таким образом, мир «Родинки на щеке» отчётливо разделён на два лагеря: беспомощные, но одухотворённые интеллигенты-гуманитарии и приспособленные, но толстокожие простые люди. Грубо говоря, интеллигенция и хамы.

Эта оппозиция крайне порочна. Ибо магистральной темой всей отечественной культуры был поиск путей сближения интеллигенции и народа, а современные авторы, напротив, ищут путей *от* народа, путей отдаления. Такая позиция не только неприлична, она ещё и проигрышна. Ведь именно затаённые страх и неприязнь к окружающим и становятся причинами замкнутости героя, его одиночества и всех его жизненных проблем.

Сиротин, возможно, сам того не осознавая, превозносит своего лирического героя над презренной толпой. Но чтобы стать любимым, надо научиться любить и понимать людей, чтобы не бояться хулиганов, надо завести побольше хороших друзей. А если будешь свысока плевать на весь свой народ, то что тебе останется?

Что на первом месте?

Лучшие работы участников конкурса «Суперперо»

Арина Никанина

Школа №150, 8 класс

Как обрадовать маму?

(Рассказывают домашние питомцы)

Тигра

Я — Пф, кролик декоративный. Пф звала меня мама. И брата моего так звала. И другого брата. И сестру… И ещё четырёх других сестёр. Но в этой человеческой семье меня зовут Тигра. Я не откликаюсь. Нечего их баловать. Другая ушастая откликалась-откликалась на имя, ими придуманное, так теперь учат тапочки приносить, когда домой заходят. А ведь я предупреждал её. Она не кролик, суетливая такая, громкая и пахнет тревожно. Четыре года её нюхаю, вроде привык уже, а всё тревожусь.

Я у них самый старший. Одиннадцать зим живу. Помню, как с мамой и родственниками в клетке тесной сидели. Мимо люди проходили, улыбались. Вдруг подошла женщина. Посмотрела на меня внимательно. Я стал прыгать: «Забери меня!» — карабкаться вверх по моим спящим братьям и сёстрам. «Этого заверните!» — крикнула она другой женщине. И вот я еду навстречу новой жизни!

В новой жизни меня ждала девочка. Я стал её подарком. У неё пятки были вкусные. Я за ними бегал, а когда находил — облизывал. А она громко смеялась. Потом она выросла. Пятки уже не такие вкусные. Потом появился Рыжий Зверь. И меня перестали выпускать из моей клетки. Да я уже и не стремился. Сижу себе, травку жую, наблюдаю, о жизни размышляю.

Шурик

Я — Александр Македонский. Кот. И я очень горжусь тем, что родился котом! Об этом я много размышлял, когда бывшие хозяева вынесли меня с моим другом-лотком на помойку. Я говорил лотку, чтобы он не переживал, я — потомок древней расы котов, за мной скоро вернутся, а я велю и его забрать. Лоток соглашался, но всё равно нервничал. На третий день я заразился паникой от лотка, забыл про гордость и начал звать своих хозяев. Пришла девочка. Я кинулся к ней со всех ног, объяснял, как мог, что я Великий Кот, Александр Македонский, и что готов принять её поклонение. Девочка сказала: «Какой ты жалкий и облезлый! Пошли маму жалобить что ли?..» Мама сказала: «Фу какой!» Я им кричал: «Я — не Фу! Я — Александр Македонский!»

Шуриком меня теперь кличут. Но поклоняются. Лоток завели царский. Кормят. С кровати не гонят. За ушком чешут, когда разрешаю. Зверь у них пушистый живёт. Пахнет крысой, но с ушами и скачет. Я охотиться сначала за ним пытался. Потом понял: он местный, живёт тут. Бесполезное такое существо. Глупое. Даже имени своего не знает. Но он мирный. Сидит себе, травку жуёт. А люди мои чего удумали — меня и крысы с ушами им мало оказалось! Собаку привели в дом! Вот бедствие настоящее!

Стеша

Я — Стеша! Английская гончая! Я всегда в движении! Я люблю свою Двуногую Сестру! Я люблю свою Двуногую Маму! Я люблю мячик! Я люблю тапочки! Я люблю сапоги с мехом! И без меха сапоги тоже люблю! Я люблю нечто в клетке! Кот сказал, что это крыса с ушами. Но я ему не верю. Пахнет как-то оно знакомо, хвост у меня на него вытягивается. Оно с нами не разговаривает. Глупое. Даже имени своего не знает. Кота я тоже люблю! Но Кот — дурак, орёт истошно, когда я его люблю. Тогда Мама кричит моей Двуногой Сестре: «Спаси кота!» Она бежит спасать Кота, Кот орёт ещё громче. Радуется. А Мама ругается на всех нас. А мы же играем так.

В прошлом году к нам с Сестрой на улице щенок подошёл. Не совсем щенок — по размерам как лошадка маленькая. Я лошадок видела, знаю. Говорит: «Возьмите меня поиграть?» Я с Сестрой говорю: «Да, конечно!» Поиграли так хорошо. Домой собрались. Щенок вдруг расплакался: «Бросили меня! Привезли на машине, высадили и уехали. Второй день тут брожу. Страшно, холодно, кушать хочу!» И плачет, и плачет. Я Сестре говорю: «Домой его надо вести, жалко». Она отвечает: «Конечно, Мама рада будет!»

Привели щенка, Маме показываем. А у Мамы глаза большие стали, и она как Кот начала звуки издавать, когда я с ним играю. Обрадовалась.

Лара

Я—Лара. Щенок-лошадка. Нет, уже не щенок. Я взрослая. Я работаю. Хозяин мне построил маленький тёплый дом. И я охраняю его большой дом. С его Хозяйкой. К нам каждую неделю приезжает моя первая семья—Двуногая Мама, Двуногая Сестра и сестра Стеша. И мы весело играем. Бегаем вокруг большого дома. Прячем кости. Пугаем птичек и соседей за забором. Кот не приезжает. Жалко, он так любил с нами играть. Кричал весело. Иногда вместе с Мамой. И нечто в клетке тоже не привозят. Но оно совсем глупое, с ним не поиграть. Даже имени своего не знает.

Двуногая Сестра сказала нам по секрету, что скоро у нас появится ещё кот. На помойке видела она одного. В лотке. Но он пока прячется, когда их со Стешей видит. Вот Мама обрадуется!

Семён Бондарев

Школа №69, 6 класс

Что на первом месте?..

Когда я был совсем маленький, всегда думал, что в жизни главное—это уметь читать, считать, в общем, быть образованным! Честно говоря, я всегда так думал… до недавнего случая.

Сейчас я вам всё расскажу!

Летом я ездил с родителями к бабушке и замечательно там проводил время! Много гулял, ездил на озёра, ходил на рыбалку. Но как-то раз была дождливая погода, и я решил остаться в городе. За мной пришли друзья и позвали меня гулять, мы пошли в детский садик возле бабушкиного дома и стали играть там в прятки. Было весело!

Когда я в очередной раз спрятался у крыльца и сидел там тихо и незаметно, чтобы меня не нашли, я вдруг увидел такую картину: взрослая, культурная и образованная, с виду добрая, женщина открыла дверь, вышла на крыльцо; в руках за шкирку она держала маленького котёнка и кричала, видимо, дворнику или сторожу: «Михалыч, решай что-то с этой тварью, опять забрался в садик!» Мужчина, уже в годах, ответил: «Ну что я сделаю с ним? Он всё равно забежит». А женщина ему сказала: «Хоть что делай с ним, хоть утопи, но чтобы этой пакости не было в саду!»

Мужчина взял малыша и пошёл в сторону мусорных баков, во второй руке был пакет. Я не знаю, что он хотел сделать с этим бедным котёнком, но в тот момент мне так стало страшно за него, что я выскочил и закричал: «Дяденька, отдайте мне его!» Он дал мне котёнка и сказал: «Вовремя ты, малой, подоспел, жизнь спас котейке!»

Я взял дрожащего котика и понёс в дом. Теперь у моей бабушки есть кот по имени Кузя, который не даёт ей скучать во время моего отсутствия!

Конечно, сначала меня дома поругали, что, мол, где его в квартире держать, но когда услышали мою историю—похвалили! И вот тогда я задумался: человек может быть успешным, красивым, образованным, всё в этом мире знать, но в то же время быть злым и бездушным.

И есть ли смысл тогда от этих знаний, если в душе нет добра?

Анастасия Куприна

Школа №93, 10 класс

Добро между поколениями

В современном обществе остаётся всё меньше и меньше добрых, неэгоистичных людей, способных на хорошие поступки. Люди стали злыми, безразличными к чужим бедам, никому не интересны твои чувства и переживания, каждый думает только о себе. Мне кажется, что, совершая хорошие поступки, человек становится лучше и делает других людей счастливее.

Ежегодно в мире отмечается праздник—День учителя. В этот день мы вместе с группой одноклассников отправились поздравлять бывших учителей нашей школы. Первым учителем, к которому мы пошли, была Капитолина Алексеевна—учитель начальных классов. Капитолина Алексеевна рассказывала нам обо всей своей жизни, начиная с рассказов о весёлой школьной жизни и заканчивая историями о своих внуках и детях. До глубины души затронул её рассказ о своём сыне. Она показывала нам совместные фотографии с ним, и на глаза сразу же наворачивались слёзы: ведь, к сожалению, её сын в возрасте пятидесяти восьми лет погиб, оставив после себя двух замечательных дочерей; но, несмотря на это, учительница всё равно одинока.

Когда мы предложили ей сфотографироваться с нами на память, она сначала была удивлена, а потом на её глаза навернулись слёзы, руки и губы задрожали. Она была счастлива! Ведь человеку для счастья нужно так мало: ласка, тепло, забота. Стоит задуматься об этом! Почему дети заслуживают любви, а пожилые люди нет? Благодаря этим людям мы живём.

Разница между поколениями велика, так как раньше дети ценили родителей и заботились о них, а сейчас подростки стали эгоистичны и жестоки, их не интересуют переживания своих родных, они

думают только о себе. Давайте вернём в этот мир эгоизма и лицемерия доброту.

Тимур Худяков

Школа №151, 9 класс

В этой процедуре чего-то не хватает…

Наконец-то можно высказаться по теме, которая тебя действительно интересует, а не вот это вот всё!

Я учусь в девятом классе, и тема ОГЭ мне, конечно же, очень близка. Как и любой школьник-выпускник, я скорее недоволен системой проведения ОГЭ, чем наоборот. В чём недовольство? Да взять хотя бы камеры наблюдения в классах и металлоискатели на входе в пункт проведения экзамена. У меня только один вопрос. Хотя нет, два. Зачем и кому от этого лучше?

Нет таких слов, которые могли бы точно описать, что чувствует ученик, придя на экзамен. Отличник ты или троечник, сердце в пятки уходит одинаково у всех! Атмосфера та ещё. Даже после пробников остаётся неприятный осадок: «Садимся по одному!», «Телефоны отключаем, кладём в портфели, портфели возле двери!», «Где паспорт?», «Не разговаривай!». Ни поесть, ни попить, в туалет сопровождают. Я что — преступник?! Тихий ужас! Ощущение как в колонии для несовершеннолетних (слава Богу, я там ни разу не был, но первая ассоциация именно такая).

Ладно, оставим организационные моменты. Хотелось бы отдельно поговорить о том, что нам навязывают сдавать. Вот, к примеру, я слышал, что собираются ввести обязательный экзамен по истории. Кому она нужна для профессии, те пусть и сдают! Я считаю, знаниями по истории своей страны должен обладать каждый уважающий себя человек, но зубрить её только потому, что ты можешь получить двойку на экзамене? Серьёзно? Да половина моих одноклассников в одночасье возненавидит этот предмет! А всё потому, что *надо*, заставляют, не дают права выбора. Мне, может, и интересна история сама по себе, но для моей специальности (а я в будущем планирую поступать в СибГАУ) она не важна, а вот баллы для поступления мне испортить может.

Ну и напоследок пару слов о содержании. Открываем демоверсию ОГЭ по физике, читаем задания. Сам Альберт Эйнштейн до такого бы не додумался, чего требуют от девятиклассника. Физику тогда нужно вводить в пятом классе — глядишь, к девятому бы подготовились.

В общем, не хватает во всей этой процедуре чего-то позитивного, что помогло бы нам успешно сдавать экзамены, а не пить успокоительные перед сном. Ничьи чувства задеть не хотел, но буду рад, если к моим размышлениям прислушаются.

Устами младенца

Светлана Бочкарёва

мама Лены

Как росла Лена

(От двух до семи)

2 года

Лена ещё плохо знает цвета.
— Мама, ты у меня такая хорошая, у тебя глазки такие… такие (видимо, хочет сказать комплимент)… такие… беленькие!

Обедаем. Мама положила ей картошку с котлетой.
— Молоко давать тебе?
— Да, давай что положено!

Лену угощали петушками на палочке. Позже она про них вспомнила и говорит:
— Дай мне петушка!
— Так ты же съела. Больше нет!
— Иди купи. Зелёного и красного. Возьми сумку и иди в магазин. А я пока тут полежу, подожду.

— Мама, помоги игрушки собрать, а то у меня ручки маленькие.

Лена проснулась очень рано, мама ещё спит.
— Мама, вставай!
— Рано ещё, спи!
— Там все проснулись уже. Я в окно смотрела.
— Кто все?
— Ну, все. Голубки, вороны, носороги…
— Носороги проснулись?

— Ну да, слоны, носороги, все проснулись!
— Ладно, раз носороги проснулись — надо вставать.

Должен прийти мастер по свету. Лена:
— Ну когда уже этот фломастер придёт?

3 года

Обход врачей. Невролог просит рассказать стихотворение, чтобы проверить речь. Лена застеснялась, отказалась. Выходим в коридор.
— Почему стишок не рассказала? Доктор подумает, что ты глупая, не знаешь.
Следующий — лор. Лена с порога:
— Рассказать вам стихотворение?
Лор в шоке.

У Лены есть музыкальная игрушка — лошадка с каретой. Лена так часто её включает, что она всем надоела (кроме Лены). Папа её спрятал. Лена приходит к маме:
— Где моя лошадка?
— Я откуда знаю? Ты же с ней играла.
— Папа сказал, что она в другой город уехала. Не знаешь куда?

Мама учила Лену разным городам. «Москва — столица России. Париж — столица Франции». Ездили в деревню, по возвращении рассказывали о поездке папе. Мама хочет проверить, запомнила ли Лена название деревни.
— Откуда мы приехали?
— Из Парижа!

Съела без спросу шоколадку. Баба спрашивает:
— А кто съел шоколадку?
— Это было так давно, что об этом уже можно и не вспоминать.

4 года

Лена болеет. Мама утешает:
— Вот таблеточка подействует, выспишься и завтра снова будешь здоровой. Проснёшься как огурчик!
— Такой же зелёной?

Лена утром не хочет надевать юбку, а хочет платье. Мама:
— Надоели твои платья! Я три часа разглаживаю рюшечки, а ты всё за один раз ухряпываешь!
Лена (мрачно):
— Юбку я тоже ухряпаю.

Купили редиску для салата. Лена съела почти весь пучок.
— А салат из чего делать будем?
— Я оставила три редиски на салат.
Через некоторое время, доедая:
— Знаешь, я подумала, что салат — это не прикольно!

5 лет

Лена рассказывает, как репетировали танец в садике.
— И много вас там было?
— Много! Целая стая!

Лена приболела, её забрали из садика раньше, потому что она кашляла и жаловалась воспитателю. По дороге домой она в хорошем настроении поёт и танцует. Мама:
— Что-то ты не выглядишь больной.
Лена:
— Ла-ла-ла… (Прерывает пение.) Кхе-кхе!

6 лет

Лена ходит на танцы. Им обещали в конце года выступать на отчётном концерте в театре на сцене. Мама:
— А ты не испугаешься?
— Нет!
— Но там людей много. Не будешь бояться?
— Нет, не буду!
— Молодец! Ты у меня не из пугливых.
— Да, я не из пугливых. Я из породистых!

Собирается в садик, выбирает заколку.
— Мама, какую мне надеть — жёлтую или синюю?
— Любую!
— Нет, ты скажи!
— Жёлтую!
— Нет, жёлтая не подходит, лучше синюю! (Зачем спрашивала?)

7 лет

Поехали в Дивногорск с классом. Рассказывает по приезде. Мама спрашивает:
— И куда вы пошли после электрички?
— Ну, по городу…
— Понятно, что по городу. А поточнее?
— Ну, по лестнице. Там большая лестница была, мы всё шли и шли…
— А потом?
— Долго шли…
— А потом?
— А потом пришли!
— Куда вы пришли?!
— Потом мы пришли в тень!

Ходили в музей имени В. И. Ленина. Там секция с вещами времён СССР. Лена видит печатную машинку с клавишами.
— Мама, я знаю, что это такое!
— Что?
— Это старинный принтер!

стр. 75

Анташкевич Евгений Михайлович
Москва, 1952 г. р.

Современный русский писатель. Член Союза писателей России. Автор романов об одном из самых драматических периодов русской истории — первой половине XX века. Лауреат литературных премий. Китаист, исследователь, потомственный военный. Долгое время проработал на Дальнем Востоке. Политический аналитик, эксперт радиостанции «Говорит Москва». Главный редактор Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов.

стр. 19, 53

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филфак Пермского госуниверситета. Автор книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и литературных премий имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель поэтических групп «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Был собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», «Литературной газеты», спецкором «Труда». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в альманахе «День поэзии. XXI век», в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени и медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 62

Белкин Владлен Николаевич
Дивногорск, 1931–2020

Поэт. Родился в селе Щербакуль Омской области. В 1952 году окончил факультет русского языка и литературы Ярославского педагогического института. Работал в Ярославской области учителем, журналистом, клубным работником. После института появились первые публикации в газетах, альманахах, коллективных сборниках. В 1954 году по комсомольской путёвке уехал в Северный Казахстан на освоение целинных земель. В 1956 году, услышав о начинающемся строительстве Красноярской ГЭС, переехал в Дивногорск, где сначала работал учителем в вечерней школе, но вскоре стал работать каменщиком, рубил просеку, бетонировал дорогу, возводил школу-интернат. Владлену Белкину удалось поздороваться за руку с Юрием Гагариным, который принимал участие в укладке первого кубометра бетона в правобережный котлован ГЭС. В 1959 году вошёл в состав литературной группы, образованной при дивногорской газете «Огни Енисея». В 1961 году вышла в свет первая книга летописи Красноярской ГЭС и Дивногорска — «Потомки Ермака». В эту книгу вошли и стихи Белкина, посвящённые молодому городу, его людям и стройке. Владлен Николаевич был соавтором и последующих трёх книг «Потомки Ермака», за подготовку которых стал лауреатом премии Красноярского комсомола. В начале 1960-х годов на страницах краевых газет и альманаха «Енисей» в рубрике «Стихи строителей Красноярской ГЭС» впервые появилось имя Владлена Белкина с указанием рабочей профессии — «строитель». В 1973 году за работу на строительстве ГЭС и города Дивногорска он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Владлен Николаевич трижды избирался депутатом городского совета народных депутатов Дивногорска. В 1975 году был принят в члены Союза писателей СССР, а с 1979 по 1989 год был ответственным секретарём краевой писательской организации Союза писателей. Почётный гражданин города Дивногорска, награждён знаком «Почётный работник культуры Красноярского края».

стр. 170
Бецко Анжела Михайловна
Нефтеюганск, 1968 г. р.

Родилась в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работает инженером. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Неман», «Югра» и др. Автор трёх поэтических сборников и книги прозаических миниатюр. Участница окружного литературного семинара для молодых литераторов (Сургут, 2013). Член Союза писателей России. Живёт в Нефтеюганске.

стр. 68
Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр. 71
Гутов Александр Геннадьевич
Москва, 1963 г. р.

Выпускник МГПИ имени В. И. Ленина. Филолог. Член Союза литераторов Москвы, стихи опубликованы в журналах «Дружба народов», «Юность», «Московский вестник», «Арион», «Сибирские огни», «Кольцо „А“», альманахе «База», чешском журнале «Умелек». Повесть «Лёха, Геша, Иванов» опубликована в журнале «Юность», романы «Лабиринт» и «Тени Эзеля» — в альманахе «Подвиг».

стр. 51
Демирханов Арэг Саркисович
Красноярск, 1932–2020

Советский и российский архитектор, общественный деятель и поэт, специалист по градостроительству, объёмному проектированию и дизайну городской среды. Профессор, член-корреспондент Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.

стр. 19
Дугин Александр Гельевич
Москва, 1962 г. р.

Известный российский общественный деятель, философ, геополитик и социолог, лидер Международного евразийского движения. Родился в Москве. В юности входил в Южинский кружок — неформальный клуб, члены которого собирались на квартире у писателя Юрия Мамлеева. Дугин критиковал коммунизм, принимал участие в обороне Верховного Совета в 1993-м, был соратником Эдуарда Лимонова и главным идеологом партии национал-большевиков. В 1994 году французский журнал «Актюэль» называет Дугина «наиболее влиятельным мыслителем посткоммунистической эпохи». В 1998 году, после раскола в НБП, выходит из партии и становится советником спикера Государственной Думы Геннадия Селезнёва. В 1999-м возглавляет Центр геополитических экспертиз. В конце 90-х читает курс лекций в Генеральном штабе. С закатом ельцинской эпохи переходит из непримиримой оппозиции на сторону власти. Мечтает о создании евразийской сверхдержавы, основу которой составит Россия. С начала 2000-х продвигает идеи евразийства и консерватизма. Всё больше обращается к научной деятельности. Для философского факультета МГУ разрабатывает курс лекций «Постфилософия». Активно участвует в качестве эксперта в передачах центральных телеканалов. В 2011-2014-м годах — работа на социологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова заведующим кафедрой социологии международных отношений. Защита докторской диссертации по социологии (по теме «Социология воображения»). С 2016-го — главный редактор телеканала «Царьград». Философские труды Дугина переведены на английский, немецкий, французский, испанский, португальский и сербский языки.

стр. 27
Евтихиева Анна Сергеевна
Москва, 1974 г. р.

Кандидат филологических наук, преподаватель филологического факультета МГУ. Член Союза писателей России.

стр. 73
Емельянов Константин
Александрия (Вирджиния, США), 1966 г. р.

Родился в городе Алматы, Казахстан. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета в 1989 году. Стихи печатались в журналах России, Германии, Финляндии и США.

стр. 152
Еселевич Владимир Семёнович
Белореченск (Краснодарский край), 1961 г. р.

По профессии — врач-хирург. В 2004 году в Иркутске вышел сборник прозы «Звонок с того света». Печатался в журналах «Сибирь» и «Сибирские огни».

стр. 165
Жданов Александр Борисович
Калининградская область

Поэт, прозаик, художник, историк искусства. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в Баку. По окончании средней школы работал, служил в армии. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ. Работал в школах — сначала в Литве, потом снова в Баку. С 1989 года живёт в Калининградской области. Здесь прошёл все этапы газетной работы:

корреспондент, завотделом, ответственный секретарь, главный редактор. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», в альманахах «Российский колокол», «Литера К». Автор трёх сборников стихов, трёх книг прозы, альбома живописи и графики и трёх учебных пособий по истории изобразительного искусства. Призёр Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман». Преподаёт в детской школе искусств.

стр. 179 **Калакин Денис**
Москва, 1977 г. р.

Родился в Рязани, последние 15 лет живёт в Москве. Публиковался в журнале «Новая Юность».

стр. 73 **Константинов Аркадий Владимирович**
Новосибирск, 1966 г. р.

Родился в Новосибирске. Учился на гуманитарном факультете НГУ, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Автор шести поэтических сборников. Произведения печатались в литературных журналах «Арион», «Новосибирск», альманахах «К востоку от солнца», «Братина», коллективных сборниках, а также в российской периодике. Победитель открытого поэтического турнира в Новосибирске (2015). Лауреат Международного фестиваля «Жарки сибирские» и регионального фестиваля «Тареевские чтения» (2017). Дипломант Всероссийского поэтического форума «Умный смех» (Москва, 2017) и Международного конкурса хайку (Москва, 2018).

стр. 158 **Коряков Юрий Михайлович**
Красноярск, 1962 г. р.

Родился в Абакане. В 1983 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. В период с ноября 1986 по август 1988 года проходил службу в Республике Афганистан в должностях от командира мотострелкового взвода до командира роты. Документальная проза опубликована в журнале «День и ночь».

стр. 186 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра».

стр. 56 **Матвеева Новелла Николаевна**
Москва, 1934–2016

Советская и российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед. Родилась в Детском Селе. В 1962 году заочно окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. С детских лет писала стихи, печаталась с 1958 года. Первый сборник издан в 1961 году, тогда же Матвееву приняли в Союз писателей СССР. В последние годы жизни жила на подмосковной даче, мало с кем общалась. Матвеевой оставлен огромный архив неопубликованных работ. С конца 1950-х годов Новелла Матвеева стала сочинять песни на собственные стихи и исполнять их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. С 1972 года сочиняла песни также на стихи своего мужа, поэта Ивана Киуру. Как и ряд других бардов-исполнителей Москвы и ближнего Подмосковья (Ада Якушева и др.), Матвеева посещала с концертами пенсионеров и инвалидов в районных центрах социального обслуживания Москвы, в том числе ЦСО «Фили-Давыдково». В 1984 году в Центральном детском театре в Москве была поставлена пьеса Матвеевой «Предсказание Эгля» — фантазия по мотивам произведений Александра Грина, содержащая 33 песни. В 1996 году в журнале «Знамя» (№ 7) была опубликована книга её воспоминаний «Мяч, оставшийся в небе». В 1998 году Новелла Матвеева стала лауреатом Пушкинской премии в области поэзии, в 2002 году — Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. В последние годы работала над переводами сонетов Шекспира.

стр. 175, 178 **Минин Евгений Аронович**
Иерусалим (Израиль), 1949 г. р.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в городе Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум (1968). Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живёт в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Ведущий пародийной рубрики в «Литературной газете». Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), победитель конкурса поэзии издательства «Олма Медиа Групп». Главный реактор журнала «Литературный Иерусалим». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 97 **Михеенков Сергей Егорович**
Таруса, 1955 г. р.

Российский писатель-прозаик, журналист, историк. Родился в деревне Воронцово Калужской области. Окончил Закрутовскую восьмилетнюю и Мокровскую среднюю школы. Служил в Советской

Армии на Чукотке. Работал механизатором (до армии), учителем в сельской школе (1975–1977), журналистом (1977–1987). В 1985–1987 годах — редактор районной газеты «Рассвет», потом научный сотрудник Тарусского краеведческого музея. В 1995–2005 годах — помощник депутата Государственной Думы РФ П. Т. Бурдукова. Окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института имени К. Э. Циолковского, затем — Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (семинар Эрнста Сафонова). Публикуется в журналах «Москва», «Наш современник», «Юность», «Молодая гвардия», «Неман», «Родина», еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», других периодических изданиях. Автор серии романов о подольских курсантах, выходящих в издательствах «Эксмо» и, с 2009 года, «Вече». Занимается устной историей, краеведческими исследованиями, военной историей. В серии «Жизнь замечательных людей» («Молодая гвардия») издал биографию Десантника №1 генерала Василия Филипповича Маргелова. Автор сценария документально-художественного телевизионного фильма «Последний бой командарма» по мотивам одноимённой повести. Автор путеводителя по Тарусе, который выдержал пять изданий. Сотрудничает с крупнейшими издательствами страны: «Эксмо», «Вече», «Центрполиграф», «Молодая гвардия». В качестве эксперта и военного историка часто выступает на различных центральных каналах российского телевидения. Лауреат множества литературных наград.

стр. 80
Молотков Александр Леонардович
Зеленогорск (Красноярский край), 1958 г. р.

Детство и юность автора прошли на берегу озера Байкал. Средняя школа, техникум, Советская Армия. С 1982 года работает и живёт в городе Зеленогорске Красноярского края. Пенсионер. Публикуется впервые.

стр. 32
Пащенко Олег Анатольевич
Красноярск, 1945 г. р.

Писатель, журналист, общественный деятель. Родился в Томске. В 1964 году окончил Канский политехникум и работал мастером на стройках края. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет имени Жданова по специальности «Журналистика». С 1964 по 1967 год — служба в Ракетных войсках стратегического назначения в Забайкалье. С 1968 по 1986 год — работа в районных и краевых газетах. С 1987 по 1990 год — депутат Центрального районного совета народных депутатов города Красноярска. С 1997 по 2016 год — депутат Законодательного собрания Красноярского края. С февраля 1991 года — основатель и редактор краевой газеты «Красноярская газета». Член Союза писателей СССР с 1985 года. Почётный член-корреспондент Международной академии общественных наук, лауреат всероссийских премий имени Эрнста Сафонова, «Золотое перо». Награждён орденом «Слава нации».

стр. 3
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 185
Салаутин Александр Геннадьевич
Москва, 1975 г. р.

Родился в Саратове. Публиковал стихи на саратовском радио в передаче «Час поэзии». В 2008-м в Саратове вышел сборник стихов «Чадо города».

стр. 176
Сергеева Екатерина Юрьевна
Красноярск, 1970 г. р.

Родилась в Душанбе (Таджикистан), в семье военнослужащих. Окончила Красноярский государственный медицинский институт (лечебный факультет), Красноярский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков). Доктор биологических наук, профессор кафедры патологической физиологии Красноярского государственного медицинского университета. Публиковалась в журнале «День и ночь», альманахе «Енисей», нескольких коллективных сборниках, изданных в Красноярске и Санкт-Петербурге. В 2008 году вышла книга стихотворений «Маленькие кошки». Победитель конкурса «Пушкин. Лето. Красноярск» (2008) в номинации «Лучшее литературное произведение».

стр. 27
Шулаков Сергей Иванович
Москва, 1970 г. р.

Писатель, литературовед, переводчик. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Гусева В. И., специальность — литературная критика). Литературный редактор исторического альманаха «Кентавр», главный редактор журнала и интернет-сайта «Сельская молодёжь» издательства «Подвиг». Автор исторических романов и историко-детективных повестей. Публиковался в широком круге изданий: «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Независимая газета», «Новый мир», «Наш современник», «Русский колокол»,

«Российская газета», «Культура»,—и в другой центральной и региональной прессе. Лауреат премии имени В. Я. Лакшина (2009) в номинации «Критика, литературоведение» литературно-художественного и общественно-политического журнала «Юность». Лауреат Всероссийского конкурса «Вторая Отечественная» имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель «Бронзового Витязя» и золотого диплома Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2019). Член Союза журналистов России, Международной конфедерации журналистов, Московской организации Союза писателей России.

стр. 138
Ярош Владимир Александрович
Красноярск, 1955 г. р.

Родился в городе Каменске-Уральском Свердловской области. В 1978 году окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института (сейчас Уральский федеральный университет). Получил распределение в город Красноярск-45 на ЭХЗ, предприятие Минатоммаша, где работал инженером-технологом основного производства. Рассказы публиковались в российской литературной периодике и на портале «Проза.ру».

ДиН СИММЕТРИЯ

Валерий Брюсов

Любимцы отринутых дней

Романтикам

Вам, удалённым и чуждым, но близким и милым.
Вам эти строфы, любимцы отринутых дней!
В зеркало месяц виденья бросает Людмилам,
С бледным туманом слита вереница теней;

С тихой и нежной мечтой о принцессах лилейных,
Рыцари едут в лесу за цветком голубым;
Жёны султанов глядятся в кристальных бассейнах
В знойных гаремах, окутанных в сладостный дым.

Светлы картины, и чары не страшны, пропитан
Воздух великой тоской по нездешней стране!
В юности кем этот трепет тоски не испытан,
Кто с Лоэнгрином не плыл на волшебном челне?

Трезвая правда сожгла ваши чистые дали,
С горных высот мы сошли до глубоких низин;
С грохотом города стены холодные встали,
С дымом фабричным задвигались поршни машин.

Вышли другие, могучие силой хотений,
Вышли, чтоб рушить и строить на твёрдой земле,—
Но в их упорстве был отзвук и ваших стремлений,
В свете грядущего—луч, вас манивший во мгле!

Вам, кто в святом беспокойстве восторженно жили,
Гибли трагически, смели и петь и любить,
Песнь возлагаю на вашей бессмертной могиле:
Счастлив, кто страстных надежд здесь не мог утолить!

К русской революции

Ломая кольцо блокады,
Бросая обломки ввысь,
Все вперед, за грань, за преграды
Алым всадником—мчись!

Сквозь жалобы, вопли и ропот
Трубным призывом встаёт
Твой торжествующий топот,
Над простёртым миром полёт.

Ты дробишь тяжёлым копытом
Обветшалые стены веков,
И жуток по треснувшим плитам
Стук беспощадных подков.

Отважный! Яростно прянув,
Ты взвил потревоженный прах.
Оседает гряда туманов,
Кругозор в заревых янтарях.

И все, и пророк и незоркий,
Глаза обратив на восток,—
В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке,—
Видят твой огненный скок.

Там взыграв, там кляня свой жребий,
Встречает в смятеньи земля
На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

1920

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. Н. Наговицын

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Марина Наумова-Саввиных

РЕЦЕНЗЕНТ
Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев — Красноярск
Наталья Ахпашева — Абакан
Юрий Беликов — Пермь
Глеб Бобров — Луганск
Елена Буевич — Черкассы
Вера Зубарева — Филадельфия
Александр Кердан — Екатеринбург
Сергей Кузнечихин — Красноярск
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Миясат Муслимова — Махачкала
Александр Орлов — Москва
Олеся Рудягина — Кишинёв
Анна Сафонова — Южно-Сахалинск
Андрей Тимофеев — Москва
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева — Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Валерия Ковина, Виктора Рогачёва и Владимира Капелько

ИЗДАТЕЛЬ
АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский» банка ВТБ ПАО в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3, т. +7 950 991 4349

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.10.2020
Дата выхода в свет: 30.10.2020
Тираж: 1200 экз.

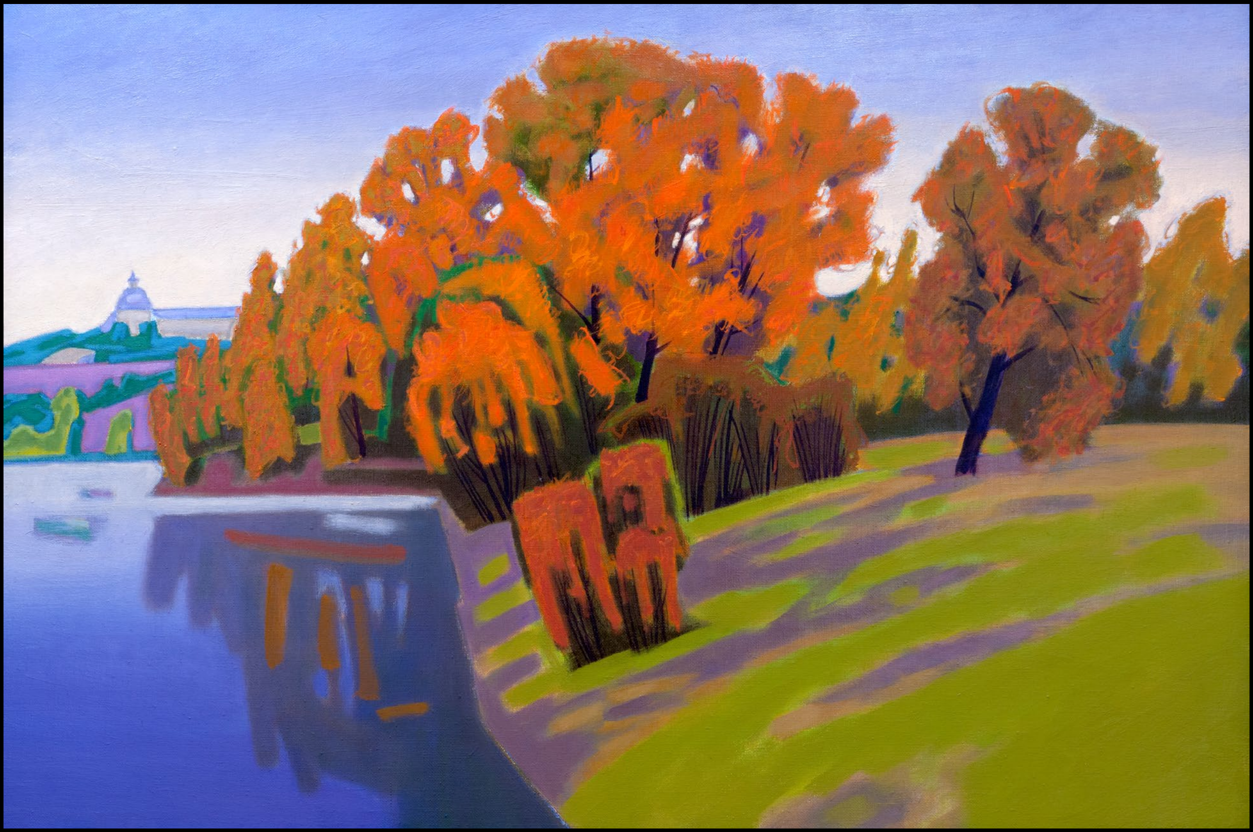
Цена свободная

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Виктор Рогачёв | Золото осени



Виктор Рогачёв | Сибирская элегия